

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Социально-
культурная
природа познания

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ
ФИЛОСОФИИ

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

| | |
|---------------|--|
| Том первый | ДОМАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ |
| Том второй | СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ПОЗНАНИЯ |
| Том третий | ПОЗНАНИЕ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС |
| Том четвертый | ПОЗНАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ |

В написании второго тома
приняли участие:

д-р филос. наук **В. А. Лекторский** — Введение, гл. 5; д-р филос. наук **В. С. Швырев** — гл. 1, 2; д-р филос. наук **А. М. Коршунов** — гл. 3; д-р филос. наук **В. Г. Табачковский** — гл. 4; д-р филос. наук **Г. С. Батищев** — гл. 6, 7; акад. АПН СССР **В. В. Давыдов**, д-р психол. наук **В. П. Зинченко** — гл. 8; д-р филос. наук **А. Ф. Зотов**, канд. филос. наук **Н. М. Смирнова** — гл. 9; д-р филос. наук **С. Б. Крымский** — гл. 10; д-р филос. наук **Л. А. Микешина** — гл. 11; канд. филос. наук **И. П. Фарман** — гл. 12; канд. филос. наук **В. П. Филатов** — гл. 13; д-р филос. наук **Г. А. Брутян** — гл. 14; д-р филос. наук **М. В. Попович** — гл. 15; канд. филос. наук **В. И. Кураев** — гл. 16; акад. АН СССР **Т. И. Ойзерман** — гл. 17; д-р филос. наук **Ф. В. Лазарев** — гл. 18; д-р филос. наук **Е. Д. Смирнова**, д-р филос. наук **В. А. Смирнов** — гл. 19; д-р филос. наук **П. С. Дышлевый** — гл. 20.

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

ТОМ ВТОРОЙ

Социально- культурная природа познания

Под редакцией
д-ра филос. наук В. А. Лекторского,
акад. Т. И. Ойзермана



МОСКВА «МЫСЛЬ» 1991

ББК 15.13
Т33

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ ФИЛОСОФИИ

Т $\frac{0301010000-009}{004(01)-91}$ — Подписное

ISBN 5-244-00253-8

ISBN 5-244-00260-0

© Издательство «Мысль». 1991

Введение

Второй том издания «Теория познания» посвящен исследованию познания как социально-культурного феномена. Тезис о социальной и культурной обусловленности знания и сознания достаточно привычен для современного философа. Следует, однако, заметить, что в ходе анализа этого тезиса выявляется довольно широкий спектр различных, порой взаимоисключающих воззрений. Это во многом объясняется неразработанностью важных вопросов, относящихся к философскому пониманию познания и знания, и потому сопряжено с определенными трудностями. Преодоление последних становится тем более насущным, что они возникают не в процессе спекулятивного теоретизирования, а в связи с философским осмыслением огромнейшего и постоянно растущего материала различных специальных наук о человеке: когнитивной психологии, психолингвистики, социального исследования познания, культурологии, истории науки и т. д. Это обстоятельство требует определения места теории познания в ряду многообразных наук о познавательной деятельности и в новом аспекте ставит общий философский вопрос: как совместить социально-культурную обусловленность познания с его фундаментальной характеристикой, состоящей в том, что оно всегда является познанием некоей реальности.

Иными словами, речь идет о необходимости рассмотрения в свете современного опыта ряда принципиальных особенностей отражения, их существенного уточнения, а в некоторых случаях и переформулирования. Этот круг вопросов рассматривается в *первом* разделе тома.

Второй раздел посвящен вопросам, по которым как в философской, так и в специально-научной литературе (психологии, социологии, культурологии) идут сегодня оживленные дискуссии о взаимоотношении познания и деятельности, о субъектно-объектных и субъект-

но-субъектных отношениях. В эти дискуссии вводится новый материал, а некоторые вопросы впервые рассматриваются на общепhilosophическом уровне (взаимосвязь познания, деятельности и общения; диалектика познавательных и аксиологических характеристик творчества и т. д.).

В *третьем* разделе речь идет о познании в системе культуры. Здесь в основном анализируются такие проблемы, которые не исследовались в нашей философской литературе, хотя они очень живо обсуждаются в специальных работах по науковедению, социологии, культурологии, истории науки и получили отклик в современных работах западных философов по философии науки. Имеются в виду такие, например, вопросы, как диалектика индивидуального и социального знания в процессе возникновения и закрепления новых идей, место познания в системе различных способов освоения мира, единство и многообразие типов и видов знания, пути взаимодействия специализированных и неспециализированных видов знания, связи и различия научного и вненаучного знания и др.

Специально рассматриваются такие малоисследованные феномены познания, как неявное, имплицитное, неотрефлексированное знание, которое, как выясняется, играет определенную и немаловажную роль в функционировании и развитии коллективных систем познавательной деятельности как на уровне обыденного знания, так и в форме того или иного специализированного знания, в том числе научного. Феномены эти обнаружены в связи с развитием исследований в области методологии науки, социологии научной деятельности, истории научного познания, науковедения, теории культуры. Их философское осмысление только начинается.

Вопросы взаимодействия языка и познания некогда весьма оживленно обсуждались в философской литературе. Правда, в последнее время интерес к ним несколько ослаб, а между тем они далеки еще от более или менее полного и общепризнанного решения. К тому же развитие современной лингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, формально-логических исследований, разработок в области искусственного интеллекта вновь и по-новому ставят целый ряд важных теоретико-познавательных проблем, которые широко обсуждаются в зарубежной философской и специально-научной литературе, в том числе в рамках интенсивно развивающейся

«когнитивной науки». Эти вопросы нуждаются в самом серьезном анализе с марксистских философских позиций.

Ныне уже нельзя ограничиваться простым провозглашением известного тезиса о единстве языка и мышления. Речь должна идти не только о мышлении, но и о познании в целом; не просто об их единстве, но о разных формах и типах этого единства, не исключающего различия, а иной раз и противостояния его полюсов; не о языке вообще, а о различных языках — не только о естественном, но и об искусственных, в том числе формализованных, находящихся между собой в сложных отношениях. Можно с уверенностью сказать, что сегодня невозможна теоретико-познавательная концепция, претендующая на контакт с современным научным познанием и в то же время игнорирующая проблематику взаимоотношения языка и познания. *Четвертый* раздел тома посвящен обсуждению данного круга вопросов на современном философско-научном уровне.

Вопросы, которым посвящен *пятый* раздел, кажутся на первый взгляд традиционными. В самом деле, о проблеме истины в целом написано немало. Это и понятно, ибо данная проблематика в известном смысле концентрирует в себе центральные вопросы теории познания. Вопросы объективной, относительной и абсолютной истины обсуждались в советской философской литературе неоднократно, тем не менее в их понимании до сих пор существует немало неясного. Главное же состоит в том, что развитие современного научного знания, революционные сдвиги в его развитии очень остро поставили вопрос о соотношении разных исторически возникающих концептуальных систем и в этой связи о выработке иного взгляда на проблему объективной истинности знания вообще, научного знания в особенности.

Вопрос о процессуальности истины, о взаимосвязи в ней относительного и абсолютного — это сегодня один из самых острых и актуальных вопросов теоретико-познавательного и методологического анализа научного знания. Его убедительное решение предполагает новое детальное рассмотрение проблемы истины, выделение в ней новых моментов, введение новых абстракций, рассмотрение, в частности, вопроса о взаимоотношении объективной истины и уровней реальности, проблемы реальности в современной науке вообще. Наконец, важ-

но отметить, что теоретико-познавательный анализ проблемы истины является основой для построения различных теорий в современной логической семантике. Таким образом, в пятом разделе отражен новый подход к этой классической теме, выделены новые аспекты и осуществлен философский анализ современных данных специальных наук (прежде всего естественных) и исследований в области методологии науки.

**ПОЗНАНИЕ
КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ****Глава 1. Теория познания и специальные науки о познании**

Исходные предпосылки постановки и решения проблемы соотношения теории познания диалектического материализма и специальных наук о познании обуславливаются общей принципиальной позицией, которую занимает марксизм в вопросе о соотношении философии в целом и специально-научного знания. Эта позиция, достаточно четко выраженная в трудах классиков марксизма, предполагает решительную критику и преодоление понимания философии как спекулятивного системосозидания, не опирающегося на анализ и обобщение результатов специальных наук и дополняющего вырабатываемую ими научную картину мира своими произвольными конструкциями. Но, выступая против философии как спекулятивного системосозидания, «домысливающего» за науку те связи с разрабатываемой ею целостной картиной мира, которые должны быть предметом научного исследования, классики марксизма отвергали негативистское отношение к философии, получившее наиболее четкое и законченное выражение в позитивизме.

Сторонники неопозитивизма, доводящие этот разделяемый позитивизмом в целом негативизм в отношении философии до логического конца, объявляют традиционную философию, или «метафизику», не просто ложным или научно не обоснованным знанием, а псевдознанием, отрицают познавательное значение ее положений о мире. При этом возможности философской деятельности они сводят к логико-лингвистическому анализу, не связанному с какими-либо мировоззренческими установками и выступающему по существу в ка-

честве разновидности специально-научного исследования. Диалектический материализм исходит из того, что осуществление методологической функции философии предполагает мировоззренческий аспект. Действительно революционные изменения в характере философской деятельности на современной фазе эволюции философии отнюдь не ведут к отказу от нее как от особой формы духовно-практического освоения мира (по терминологии К. Маркса), выполняющей функцию мировоззрения.

Развитие специально-научного знания, каким бы успешным оно ни было, не может устранить философию как форму теоретического сознания, занимающегося рационально-логическим осмыслением мировоззренческого аспекта отношения человека к миру, поскольку сами эти науки в процессе развития с необходимостью порождают философско-мировоззренческую проблематику. Это — объективный процесс, который осуществлялся и будет осуществляться независимо от того, насколько адекватно он осознается субъектами научного творчества, а также от того, становится ли он предметом исследования философов-профессионалов*.

Исходные положения диалектического материализма по вопросу о соотношении философии и специально-научного знания, безусловно, определяют и основные принципы подхода к соотношению гносеологии как философского учения о познании и специальных наук о познании. Однако здесь существует специфика, которую также необходимо учитывать. Осмысление сущности познания не может осуществляться в рамках относительно обособленного, «замкнутого на себя» предмета специально-научного познания, как это делается при исследовании отдельных форм движения материи. Исследование познания как особой формы отношения человека к миру, идеального плана практически-преобразовательной деятельности человечества должно непосредственно исходить из определенной философской пози-

* Весьма симптоматично в этой связи, что в те самые 20-е годы нашего столетия, когда на авансцену профессиональной философской жизни на Западе выходит Венский кружок логических позитивистов, декларирующих отсутствие «научной осмысленности» традиционной философской проблематики, оживленно дискутировались стимулируемые развитием квантовой механики философские вопросы: соотношение субъекта и объекта в познании физических явлений, «метафизики» и науки, естествознания и религии, истолкование философии Канта и т. д.

ции, определенной философско-мировоззренческой модели мира.

В силу этого развитие специально-научного знания не может привести к созданию некоей «общей специальной» науки о познании, вытесняющей гносеологию, теорию познания как философскую дисциплину. Нельзя представить развитие взаимоотношений теории познания и специальных наук о познании по модели, скажем, развития биологического знания. Если общая теоретическая биология строится как специально-научная дисциплина, то теория познания, учение о познании в целом, может существовать только как философская дисциплина, общие контуры предмета которой задаются определенной мировоззренческой моделью отношения человека к миру. Попытки разработки теории познания вне философского контекста, безотносительно к анализу философской проблематики, если они реализуются, неизбежно ведут к подмене общего учения о познании какими-либо частными формами анализа познания, односторонними его «моделями», как об этом свидетельствует, в частности, опыт логического позитивизма и аналитической философии. Интеграция данных отдельных наук, изучающих познание, в общей картине познавательной деятельности просто невозможна без постановки и решения философских вопросов, которые выдвигаются уже специально-научным познанием, но становятся предметом непосредственного исследования теории познания (скажем, содержание таких понятий, как «истина», «образ», «идеальное», «отражение»).

Диалектический материализм подчеркивает философский характер теоретико-познавательных исследований, невозможность разработки учения о познании в целом вне философии и вместе с тем является противником «гносеофилософии», если употреблять этот термин (по аналогии с термином «натурфилософия») для обозначения спекулятивно-умозрительного подхода к познанию. Эта позиция не есть формальное следствие из общих принципиальных положений диалектического материализма относительно соотношения философии и специальных наук, которые были охарактеризованы выше. Она вытекает из понимания существа теоретико-познавательного исследования в марксистской философии, в которой принципиально иначе, чем в классической гносеологии XVII—XVIII вв., истолковывается предмет гносеологии. И в сенсуализме, и в рационализме

познание рассматривалось как некий внеисторический процесс, как неизменная способность человека. Социально-исторический контекст познания оценивался при этом как своего рода «привходящее обстоятельство», как внешнее условие реализации естественной, от века заданной познавательной способности человека, которое сплошь и рядом выступает в качестве помехи этой реализации (например, учение Бэкона об «идолах» познания). По существу за рамки такого подхода не вышел и Кант в учении о неизменной априорной структуре трансцендентального сознания.

Принципиально новое понимание познавательного процесса было развито, как известно, в немецкой классической философии Гегелем. Отказавшись от понимания сознания как неизменной естественной априорной способности человека, он усмотрел задачу исследования познания в осмыслении социально-исторического процесса развития познавательного опыта человечества. Именно эту задачу он стремился реализовать в «Феноменологии духа». Марксизм переработал и развил на материалистической основе представление о познании как социально-историческом процессе, сформулированное Гегелем в рамках идеализма. Вводя практику в теорию познания, диалектический материализм, по выражению В. И. Ленина, значительно расширил горизонт социально-исторического познавательного опыта человечества, ставшего предметом теоретико-познавательного исследования. Разработка диалектико-материалистической теории познания должна опираться на все богатство познавательного опыта, накопленного человечеством в процессе исторического развития и воплощенного в многообразных проявлениях материальной и духовной культуры.

Характеризуя задачи диалектико-материалистического подхода к познанию, В. И. Ленин указывал в «Философских тетрадах»: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в *диалектической* обработке истории человеческой мысли, науки и техники»¹. Именно в этой работе В. И. Ленин сформулировал наиболее последовательно и полно положение о необходимости использовать материал специальных наук, изучающих познавательную деятельность, для обоснования и развития диалектико-материалистической теории познания. Он считал, что теория познания и диалектика должны сложиться из ряда областей знания: истории

философии, истории умственного развития ребенка, истории умственного развития животных, истории языка, психологии, физиологии органов чувств². Это указание В. И. Ленина является важнейшим компонентом программы развития материалистической диалектики и теории познания. В статье «О значении воинствующего материализма», также носящей ярко выраженный программный характер, В. И. Ленин сформулировал знаменитый тезис о необходимости союза философии и естествознания. Несомненно, что из самого духа ленинской программы дальнейшего развития диалектико-материалистического учения о познании вытекает необходимость теснейшего союза философов, занимающихся теоретико-познавательной проблематикой, с представителями специальных наук, изучающих познание.

Со времени создания В. И. Лениным «Философских тетрадей» специальные науки, изучающие познавательную деятельность человека, прошли долгий и сложный путь развития. В них накоплен большой опыт и решен, а еще в большей степени сформулирован и поставлен ряд теоретических и методологических проблем, имеющих важное философско-гносеологическое значение. В первую очередь это относится к исследованию научного познания, строения и формы научного знания, структуры научно-познавательной деятельности.

Чтобы способствовать реальным научным результатам, диалектико-материалистическая гносеология, методология и история науки могут и должны творчески взаимодействовать. При этом теория познания как философская дисциплина задает общую методологическую ориентацию исследованию проблем теории и истории науки, разрабатывает принципиальные предпосылки и исходные средства такого исследования. Таковыми являются теоретико-познавательные представления о познании как об отражении действительности, понятия объективной, относительной и абсолютной истины, учение о практике как основе и критерии познания и т. д. Очень важна методологическая функция материалистической диалектики как теории познания в разработке категориального аппарата, необходимого для исследования научного познания, представляющего собой сложную развивающуюся систему (развитие, противоречие, форма и содержание, сущность и явление, историческое и логическое, структура и функция и др.). В свою оче-

редь конкретное исследование современного научного познания и истории науки расширяет горизонт представлений о научном познании, стимулирует развитие соответствующей философско-гносеологической проблематики, ставя перед гносеологией новые проблемы, требуя уточнения и развития общегносеологических представлений, конкретизации содержания соответствующих категорий и т. д.

Общая тенденция современного исследования научного познания характеризуется расширением и углублением его объекта, переходом прежде всего от анализа по преимуществу структур «готового» знания к изучению процессов его формирования и развития механизмов научно-познавательной деятельности, обуславливающих эти процессы. Дальнейшее углубление анализа такого рода механизмов приводит к необходимости перехода от рассмотрения научного знания, так сказать, изнутри, как замкнутого самодовлеющего образования к изучению его в социокультурных исторических контекстах, к прослеживанию детерминации исходных оснований и предпосылок научно-познавательной деятельности — «парадигм», «научных картин мира», «тем науки» и т. д.

Расширение поля исследований науки, углубление их оснований выдвигают ряд важных теоретических и методологических проблем, требующих комплексного изучения, в том числе, конечно, и философско-гносеологического осмысления. Каковы основные из этих проблем? Прежде всего, на наш взгляд, это проблема сущности и функций науки, ее места в общей системе познавательной и вообще социокультурной деятельности. Современный анализ истории науки и культуры в целом убедительно показывает несостоятельность примитивных эмпирико-позитивистских схем формирования науки, сложность ее генезиса, неоднозначность самого понятия науки в различных исторических социокультурных контекстах, существование «парадигм» в истории науки, неоднородность структуры науки в этих «парадигмах», затрудняющую выработку общего понятия науки и критериев научности и т. д.

С проблемой природы науки тесно связана и проблема движущих сил ее развития. Вокруг нее, как известно, развернулась интенсивная дискуссия так называемых интерналистов и экстерналистов, в которой ни одна из сторон не одержала, да и не могла одержать, решаю-

щей победы. Существует множество неоспоримых данных, свидетельствующих о значимости внешних факторов детерминации научно-познавательной деятельности. Но в то же время можно выделить и определенные механизмы развития научного знания на основе внутренних логико-методологических закономерностей науки. Важно подчеркнуть, что исследование соотношения внутренних и внешних факторов развития науки осуществляется в настоящее время на конкретном материале истории науки, убедительно раскрывающем многоплановость и сложность взаимодействия этих факторов.

Весьма актуальными и сложными с теоретической и методологической точки зрения являются вопросы о природе и механизмах рефлексии в научном познании, о тех реальных нормах, идеалах и регулятивах, которые выступают в качестве предпосылок деятельности ученых в научных сообществах, о научных текстах как источниках историко-научных исследований и т. д. Можно было бы, разумеется, назвать еще немало более или менее крупных проблем, выдвигаемых развитием современного конкретного методологического и историко-научного исследования. Они или непосредственно, как, скажем, вопрос о сущности научного познания, или опосредованно связаны с философско-гносеологической тематикой.

Логика и методология научного исследования, история науки, слившиеся в настоящее время по существу в единый междисциплинарный комплекс специально-научного исследования научно-познавательной деятельности в процессе ее формирования, функционирования и развития, дают богатый материал, без учета которого невозможно существование философской теории познания как «открытой», развивающейся дисциплины. В свою очередь теория познания определяет теоретические и методологические ориентиры логико-методологическим и историко-научным исследованиям, способствуя их интеграции, принципиальной мировоззренческой и социально-культурной направленности.

Жизненно важное значение для успешного исследования познавательной деятельности имеет тесный союз философии, теории познания и современной психологии. Нет нужды доказывать, что без учета роли личности, реальной человеческой психики не может быть конкретного, полнокровного анализа процесса отражения, познания человеком объективной действительности. Пси-

хология в качестве специальной научной дисциплины возникла и развивалась как способ по возможности точного научного исследования психики, «душевной жизни», опирающегося на парадигму естественнонаучного познания с широким использованием эксперимента. Именно установка на методы исследования, свойственные естественнонаучной парадигме, и выступила в качестве характерной черты психологии по сравнению с исследованием «душевной жизни» в других формах культуры, в том числе и в философии. Ведь нельзя отрицать, что «душевная жизнь» человека всегда была предметом пристального внимания всех форм духовной культуры, в которых реализовалось человеческое самосознание, и на этом пути были накоплены ценные наблюдения, сделаны глубокие и содержательные выводы.

Реализация методов, характерных для естественнонаучной парадигмы, применительно к такому предмету исследования, как человеческая психика, порождала и порождает немало сложных мировоззренческих и методологических проблем, требующих серьезного философско-гносеологического анализа. Прежде всего это, конечно, вопрос о специфике психики как предмета научного познания. Ясно, что этот вопрос не может быть решен только в границах психологии. При его анализе и попытках решения неизбежно возникают проблемы философско-гносеологического характера. Они связаны, с одной стороны, с уяснением природы научного познания вообще, специфики проявления его закономерностей при изучении естественнонаучных явлений и сферы человеческой жизнедеятельности, своеобразия той формы опыта, в которой проявления человеческой жизнедеятельности и человека в целом могут стать предметом научного анализа, ориентирующегося на естественнонаучную парадигму. С другой стороны, философские проблемы, возникающие в связи с изучением психики, предполагают анализ соотношения материального и идеального, бытия и сознания, природы сознания и т. д. в целях выявления сущности психического.

В психологии как науке, претендовавшей на конкретно-научное исследование психики, всегда существовали тенденции к определенной эмансипации от традиционного философствования по поводу этих, как считали позитивистски настроенные психологи, «метафизических», чисто умозрительных проблем. В этих

тенденциях сказывалось и стремление отстоять самостоятельность психологии как довольно молодой специальной науки по сравнению с традиционной философией, имеющей солидный исторический «стаж». Развитие психологии, однако, убедительно доказало, что она не может достаточно четко выделить свой предмет исследования, не решив вопроса о том, что такое собственно психика, в чем своеобразие психической деятельности в отличие, скажем, от нейрофизиологической регуляции поведения, от логических процессов и т. д., не апеллируя к комплексу философских проблем, связанных с пониманием природы сознания, отражения, идеального образа и т. д. Игнорируя эти вопросы, позитивистски ориентированные психологи неизбежно обращаются к тем или иным формам «редукционизма» — нейрофизиологического, логицистского, социологического или культурологического и пр. Позитивистская «эмансипация» от философии оборачивается, таким образом, утерей собственного предмета.

Но в той же мере, в какой невозможно решение психологией вопроса о природе психики вне органического союза с философией, немыслимо в настоящее время успешное и плодотворное развитие философской теории познания без учета и ассимиляции достижений современной психологии в исследовании форм отражения и познавательной деятельности*. Прежде всего это, конечно, реализация и подтверждение на конкретном материале психологического исследования принципиального марксистского положения об определяющей роли общественных отношений во всех формах сознания и познания, субъективного отражения объективной реальности.

Важнейшее значение для марксистско-ленинской теории познания имеет, далее, последовательное обоснование на конкретном материале принципа активности отражения на всех уровнях и во всех формах³. Современная психологическая наука убедительно показала несостоятельность классических представлений о пассивном характере чувственного отражения, подробно

* Следует подчеркнуть, что имеется в виду прежде всего ряд достижений советской психологической науки, использовавшей в исследованиях теоретические и методологические принципы марксистской философии в подходе к психике. Успехи советской психологии, в частности, таких ее лидеров, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия и др., получили в настоящее время широкое международное признание.

и обстоятельно проанализировала его формы, в частности восприятие как активную психическую деятельность по созданию чувственного образа. В общем и целом, по-видимому, не будет преувеличением сказать, что все гносеологические представления о структуре познавательного процесса, о формах отражения, о когнитивных процессах, связанных с человеческой психикой, требуют значительных обновлений и уточнений в свете современных психологических данных.

Богатый материал дает современная психология для осмысления таких исключительно важных для гносеологии и вообще для философии проблем, как соотношение продуктивного и репродуктивного в познавательных процессах, сущность творчества в познании. Эти в общем-то традиционные проблемы получают новое освещение благодаря развитию психологических исследований, связанных с возможностями автоматизации определенных аспектов интеллектуальной деятельности и передачи некоторых ее функций машине, с диалогом человека и ЭВМ, с широким спектром применения электронно-вычислительной техники в целях оптимизации человеческого труда. Нет необходимости особо доказывать, что философско-гносеологическое исследование этой проблематики должно опираться на соответствующие данные современной психологии.

Наконец, крайне важное значение для философии в целом и философской теории познания в частности имеет достаточно четко реализуемая в современной психологической мысли тенденция рассматривать познавательные процессы в единстве сознания человека, в полноте и конкретности жизнедеятельности личности. В. И. Ленин, как известно, подчеркивал: «...без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого *искания* истины»⁴. Мыслит не мозг сам по себе, а человек при помощи мозга; отражает, познает объективную действительность также не некая абстрактная «познавательная способность», а живой человек в многообразных проявлениях его жизнедеятельности. Познавательные процессы осуществляются в ходе психической деятельности, в единстве функционирования всех ее форм.

Наряду с логико-методологическими дисциплинами, изучающими структуру научного знания и формы научно-познавательной деятельности, и психологией, исследующей «душевную жизнь» человека, актуальное

значение для развития современной философской теории познания имеют культурологические дисциплины. Достаточно углубленное изучение и научного познания, и психики человека приводит к необходимости расширения перспективы исследования, обращения к более широкому контексту, в рамках которого только и можно найти движущие силы развития знания и познавательной деятельности. Такое исследование в конечном счете предполагает обращение к человеческой *культуре*, взятой в ее историческом *развитии*, в *многообразии* всех форм ее *проявления*. Наиболее разработаны исходные концептуальные и методологические установки, по-видимому, в таком направлении, как семиотика культуры, выросшем в первую очередь на почве литературоведения и лингвистики *.

Не вдаваясь в подробную характеристику этого направления, заметим, что центральным понятием, конституирующим предмет научного исследования, в нем выступает понятие текста, который еще М. М. Бахтин определил как «первичную данность» всего гуманитарно-филологического мышления⁵. Текст при этом понимается очень широко — как любая манифестация культуры, которая может быть истолкована как знаковая система и к которой соответственно могут быть применены методы семиотического исследования. Развивая эту установку, Ю. М. Лотман считает, что «текст предстает перед нами не как реализация сообщения на каком-либо одном языке, а как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности»⁶.

Несмотря на возможные сомнения относительно широкого истолкования понятий текста и по объему, и по содержанию, охарактеризованное выше научное направление представляет, по нашему мнению, несомненный интерес для гносеологии. Широкое истолкование понятия текста создает возможность задать масштаб сопоставления знаково-символических систем различного типа, существующих в науке, искусстве, мифологии и т. д., выявить сходства и различия между ними.

* См. серию: «Труды по знаковым системам: Ученые записки Тартуского государственного университета»; среди авторов, примыкающих к этому направлению, прежде всего следует упомянуть Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова, В. В. Иванова, Б. А. Успенского.

Очень актуально и важно для теории познания, преодолевающей односторонность взгляда на язык науки как на замкнутую, непротиворечивую систему, представление о внутренней неоднородности текста, о сосуществовании и взаимодействии в, казалось бы, едином массиве текста различных языков и кодов, о совмещении, пользуясь выражением Ю. М. Лотмана, различных «голосов» в едином текстовом целом. Подход к языкам науки, к научным текстам с этой точки зрения, первоначально выработанной на литературоведческом материале и отчасти на материале истории архаических культур, делает актуальной для исследования научного знания проблему «диалога» и «понимания», ранее рассматривавшуюся как прерогатива гуманитарного сознания. Адекватное осмысление опыта культурологического исследования, по нашему мнению, с неизбежностью приводит к тому, что эта проблема приобретает общегносеологический статус, а содержание понятий, в которых она формулируется, становится характеристикой познавательного процесса в целом, элементом философско-гносеологической модели познания.

Специфика современного этапа специально-научного исследования знания и познания заключается в том, что оно приобретает четко выраженный междисциплинарный, комплексный характер, предполагает взаимопроникновение подходов, свойственных различным дисциплинам, рассмотрение таких проблем, разработка которых требует учета познавательного опыта, накапливаемого в различных традициях исследования и различных исследовательских направлениях. Скажем, упоминавшаяся уже проблема понимания, которая в настоящее время привлекает усиленное внимание специалистов по методологии науки, выступает также как психологическая и культурологическая проблема, и ее разработка в рамках методологии науки неизбежно должна учитывать определенные психологические и культурологические аспекты. Это комплексная, междисциплинарная проблема, что, однако, отнюдь не исключает ее специфических проявлений как методологической, психологической и культурологической проблемы. При анализе взаимодействия гносеологии с современным специально-научным исследованием познания обязательно нужно исходить из комплексности, междисциплинарности, взаимопроникновения специально-научного исследования познавательной деятельности

и ее результатов, задавая принципиальные ориентиры синтетического интегративного подхода.

Разумеется, рассмотрение специально-научного знания, которое должно учитываться при разработке теоретико-познавательной проблематики, не претендует на исчерпывающую полноту. Так, помимо гуманитарных дисциплин, о которых говорилось выше, в гносеологии, безусловно, следует учитывать и данные специальных наук, изучающих материальные процессы, являющиеся предпосылкой познавательной деятельности: физиологии высшей нервной деятельности, физиологии и биологии, теории информации, кибернетики. Без этих дисциплин ныне невозможно исследование проблем отражения, лежащего в основе процесса познания. Да и вообще было бы в принципе неправильно априори ограничивать круг того социально-научного исследования, данные которого могут стать материалом для развития гносеологии. На том или ином этапе на первый план могут выдвигаться и действительно выдвигаются различные научные дисциплины, стимулирующие разработку теоретико-познавательных исследований. Тот специально-научный материал, о котором речь шла выше, является в настоящее время особенно актуальным.

В современном исследовании познавательной деятельности происходят серьезные и глубокие изменения, связанные прежде всего с практическими потребностями управления процессами познания, в первую очередь научного познания, оптимизации процессов обучения с помощью познавательных навыков, интенсивного использования электронно-вычислительной техники и т. д. Темпы научно-технического прогресса предъявляют свои суровые требования к современному субъекту познавательной деятельности. Во главу угла встает проблема органического единства практики и познания в специфических формах, обусловливаемых особенностями общественного развития в наше время. При этом важное значение приобретает творческое взаимодействие философии и специальных дисциплин, изучающих познание, в процессе которого результаты специально-научного исследования получали бы философско-мировоззренческое и философско-методологическое осмысление, способствующее дальнейшему прогрессу «познания познания» — одному из важнейших факторов осознания человеком себя в окружающем его мире и преобразования им и этого мира, и себя самого.

Глава 2. Развитие форм отражения

Значение принципа отражения для диалектико-материалистической теории познания. В принципиальном споре между основными лагерями философии о сущности сознания, его отношении к бытию, материи наиболее острым и трудным для материалистической философии был, как известно, вопрос о происхождении сознания. Для идеализма, отстаивавшего субстанциональный характер духа, сознания, и для дуализма, допускавшего параллельное существование материальной и духовной субстанций, этого вопроса, естественно, не возникало. Представители материализма, претендовавшие на монизм своего мировоззрения, с неизбежностью должны были объяснить существование материи, обладающей свойствами ощущения и сознания, не нарушая принципа подхода к материи как к причине «самой себя» со всеми ее свойствами. Ни в одной форме домарксистского материализма эта задача не могла быть решена удовлетворительно. Даже наиболее передовые представители французского материализма делали уступки гилозоизму. Мы уже не говорим о вульгарно-материалистических, натуралистических попытках истолкования сознания.

Основоположники диалектического материализма всегда подчеркивали мировоззренческое значение вопроса о сущности сознания, о его роли в последовательном проведении принципа материалистического монизма. Признавая, что учение Спинозизма о познании как атрибуте бытия содержит рациональное зерно, Ф. Энгельс в «Диалектике природы» подчеркивал мысль о неизбежности порождения материей сознания, высказывал «уверенность в том, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время»¹.

Сознание, «мыслящий дух», является, таким образом, не модусом материи, не случайным ее свойством, которое может ей принадлежать, а может и не принадлежать отдельным ее формам, но необходимым признаком материи, без обладания которым она не полна, не является субстанцией в точном философском смысле этого термина. В отличие, однако, от Спинозы Ф. Энгельс подходил к вопросу об атрибутивности сознания с позиций диалектики развития материи, рассматривал дух, сознание как необходимое следствие разворачивания, реализации содержащихся в самом основании материи потенций. Иными словами, в процессе восходящего последовательного развития форм движения материи возникают такие ее свойства и способности, вершиной которых является «мыслящий дух». Эта концепция является мировоззренческой, теоретической и методологической предпосылкой решения вопроса о природе сознания, о его отношении к материи с точки зрения последовательного материалистического монизма.

Каковы те основания в здании материи, не обладающей изначально ни ощущением, ни сознанием, которые делают возможным развитие и возникновение на верхних ее этажах свойств ощущения, восприятия, представления, сознания? Ответ на этот вопрос дает В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», отстаивая и развивая в новых исторических условиях основания диалектического материализма: «...логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения»². Аналогичную мысль он высказывал, когда писал, что «в фундаменте самого здания материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением»³.

Принципиальное положение об отражении как всеобщем свойстве материи, которое выступает своего рода связующим звеном между материей ощущающей и материей неощущающей, получило развитие в диалектико-материалистической теории отражения, являющейся основой марксистско-ленинской гносеологии. Корифеем в разработке теории отражения был, как известно, видный философ-марксист Т. Павлов, в книге которого «Теория отражения» впервые в марксистской философской литературе понятие теории отражения получило систематическое развитие. Существенный вклад в исследование проблем теории отражения, прежде всего

самого принципа отражения в ленинском смысле, внесли советские философы и психологи П. В. Копнин, А. М. Коршунов, Я. А. Пономарев, А. Г. Спиркин, В. С. Тютин, Б. С. Украинцев и др. Важное значение для раскрытия философского содержания принципа отражения имели работы советских нейрофизиологов, особенно Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина.

Отражение, являясь свойством, которым обладает вся материя, определяется обычно в работах советских философов как свойство материальных явлений, предметов, систем воспроизводить в себе в процессе взаимодействия с другими материальными явлениями, предметами, системами особенности этих явлений, предметов, систем. Всеобщность отражения как свойства, лежащего в фундаменте всей материи, основывается на универсальности материального взаимодействия. В связи с этим возникает естественный вопрос о соотношении категории взаимодействия, раскрывающей универсальную особенность взаимосвязи явлений материальной действительности, и категории отражения, характеризующей всеобщее свойство материи и дающей возможность «перекинуть мост» от материи неоощущающей к материи оощущающей.

В советской философской литературе, посвященной проблеме отражения, обычно подчеркивается необходимость различения отражения в потенциальной форме, как оно существует в неживой природе, имеющего пассивный характер, и актуального отражения, имеющего четко выраженный активный характер, появляющегося у живых организмов⁴. Любое взаимодействие, таким образом, потенциально содержит в себе момент отражения в смысле приведенного выше определения — отображения одного материального образования в особенностях другого. Вместе с тем правильно, на наш взгляд, указывается, что «в отличие от взаимодействия... процесс отражения характеризуется «односторонней» зависимостью взаимодействующих объектов... Различение процессов отражения и взаимодействия дает возможность определить отражение как момент, сторону взаимодействия, а понятие «отражение» — как категорию, которая подчеркивает способность взаимодействующих тел к передаче и преобразованию структур и указывает на характер зависимости между этими телами. Один из взаимодействующих объектов в этом отношении выступает как отражаемое, другой — как отражающее»⁵.

Различение взаимодействия и отражения, вполне справедливое по отношению к понятию актуального отражения, требует, как нам представляется, известной оговорки применительно к понятию потенциального отражения, иначе возникают некоторые недоумения. Как же следует все-таки понимать всеобщность отражения? ⁶ На наш взгляд, нужно резче подчеркнуть всеобщность отражения как момента всякого взаимодействия, по отношению к которому так называемое актуальное (функциональное, информационное — не обязательно психическое) психическое, социальное отражение выступает уже как специфическая форма проявления всеобщего свойства отражения. Смысл ленинского понятия отражения как всеобщего свойства материи состоит как раз в том, что В. И. Ленин указывал на существование такого свойства в фундаменте всей материи, подчеркивая, что специальным наукам «на деле остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей, из тех же атомов (или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения» ⁷. Он выдвигал принцип отражения как философский принцип, не считая, что из всеобщего понятия отражения могут быть непосредственно выведены понятия, характеризующие конкретные формы отражения в ощущающей, мыслящей материи.

Было бы, несомненно, ошибкой отождествлять понятие об отражении как всеобщем свойстве материи, связанном со способностью одних материальных образований воспроизводить в процессах взаимодействия особенности других, с понятием отражения в более конкретном гносеологическом смысле, когда оно понимается как способность получения адекватных действительности образов. Последняя является, если брать генетическую последовательность форм отражения, наиболее сложной формой. Отражение как способность вырабатывать правильный образ действительности выступает, как известно, предметом теории познания, гносеологии. Появляющаяся, несомненно, в животном мире, она достигает наиболее полного и совершенного развития у человека.

Именно этот смысл отражения имел в виду В. И. Ленин, когда указывал, что «в основе теории познания диалектического материализма лежит признание внешнего мира и отражения его в человеческой голове» ⁸.

Ленинское понятие отражения как всеобщего свойства материи и основанная на нем теория отражения составляют теоретическую и методологическую основу для анализа генезиса познания как отражения. Ф. Энгельс в свое время указывал, что без знания предыстории человеческого духа, без «прослеживания различных ступеней его развития, начиная от простой, бесструктурной, но ощущающей раздражения протоплазмы низших организмов и кончая мыслящим мозгом человека», само «существование мыслящего человеческого мозга остается чудом»⁹.

Советские философы и ученые достигли значительного прогресса в анализе генезиса форм и типов отражения. Проанализированы и обобщены, в частности, данные, связанные с наличием генетических предпосылок чувствительности в неживой природе, со своеобразием раздражимости и чувствительности, спецификой сигнально-информативных процессов в неживой и живой природе, в технических устройствах, со структурой психических механизмов и т. д. Прделана большая аналитическая работа по уяснению смысла основополагающих понятий, таких, как понятия отражения, образа, информации, модели, сигнала и т. д. Вместе с тем исследование отражения, по нашему мнению, еще рано заносить в число чисто учебных философских тем. И наверное, не будет ошибкой утверждать, что в первую очередь это связано с развитием науки и практики, приводящим к расширению и углублению представлений о саморегулирующихся и самоуправляющихся системах, о реализации различных присущих им типов управления и регуляции, свойственных неживой (но системно организованной) природе, техническим устройствам, нейрофизиологическим структурам, психике, социокультурным образованиям. При более глубоком и конкретном изучении этой проблематики на философском и специально-научном уровне возникают стимулы для дальнейшего анализа проблем отражения, имеющих актуальное значение, в том числе для развития теории познания.

Типы и уровни отражения. Понятие функционального (информационного) отражения. Говоря о типах и уровнях отражения, обычно выделяют отражение в неживой природе, отражение в живой природе и отражение на социальном уровне. Указывается, что отражение, свойственное неживой природе, составляет элемен-

тарную основу отражения более высоких уровней, оно присуще всем объектам природы. Его значение как основы других, более сложных форм отражения определяется тем, что отражение в неживой природе является предпосылкой возникновения и функционирования этих форм. В отражении в живой природе выделяются: а) отражение, существующее в виде генетической информации, раздражимости простейших одноклеточных и растений, возбудимости нервных тканей при регуляции внутриорганических реакций животных и человека; б) психическое отражение на уровне животных. В отражение на социальном уровне включают формы общественного сознания и сознательное отражение индивидом окружающего мира, регулирующее его деятельность. Подчеркивается, что особое положение занимает отражение на социальном уровне в технике связи и управления, где человек создает искусственные системы, в которых используется естественное свойство отражения, присущее всей природе¹⁰.

Какие же механизмы отражения разворачиваются в процессе развития его форм? Важнейшей вехой в развитии форм отражения является возникновение того типа отражения, который многие авторы называют актуальным отражением, отражением в собственном смысле слова, а А. М. Коршунов — функциональным отражением. На уровне этого отражения начинается использование отражения как всеобщего свойства материи, основанного на взаимодействии материальных образований, для ориентации и регуляции активности одного из компонентов взаимодействия. При нефункциональном отражении след, отпечаток воздействия одного объекта на другой не становится для последнего каким-либо ориентиром активности. Следует заметить, что та схожесть копии с оригиналом, ее подобие, которое в обыденном сознании привычно ассоциируется с образностью, с отражением в гносеологическом смысле (например, отражение в зеркале или на гладкой поверхности воды), является типичным нефункциональным отражением. Зеркало совершенно «равнодушно» к образу, который отражен в нем, этот образ существует для человека, а не для зеркала.

Само структурное подобие копии и оригинала, модели и образца и т. п., таким образом, ничего еще не говорит о действительности отражения, о наличии образа, ибо исходной предпосылкой такой действительности,

открывающей возможность формирования на более высоких стадиях развития отражения образа, выступает способность материального образования стать актуально отражающим объект, использовать феномен отражения для ориентации своей активности. Как подчеркивал А. Н. Леонтьев, характеризуя важнейшее свойство психического образа, «связь образа с отражаемым не есть связь двух объектов (систем, множеств), стоящих во взаимно одинаковом отношении друг к другу, — их отношение воспроизводит поляризованность всякого жизненного процесса, на одном полюсе которого стоит активный («пристрастный») субъект, на другом — «равнодушный» к субъекту объект»¹¹.

Эта «пристрастность субъекта» возникает, конечно, на уровне психического отражения. Однако она имеет свои источники уже в механизме функционального отражения, когда воздействия окружающей среды начинают использоваться материальными системами определенного типа в целях организации приспособительного поведения, как средство «саморегулирования и самоуправления в целях самосохранения...»¹². Приспособительное поведение, регуляция и направленная активность в целях самосохранения предполагают использование результатов внешних воздействий в качестве ориентиров, несущих определенную информацию об окружающей среде. Можно поэтому назвать тип отражения, связанный с приспособительным поведением, информационным отражением.

Очевидно, что информацию в рамках данного подхода следует понимать достаточно широко: как определенное функциональное свойство явлений быть побудителем определенного типа действия для саморегулирующейся целенаправленной системы. Само же информационное значение для системы определяется спецификой этой системы, ее внутренними задачами, потребностями, целями. Как замечает А. М. Коршунов, «информация, конечно, выступает в виде познавательного образа, являющегося ее высшей формой, но информацию несут и лучи света, и шорох листвы и т. д., но только в том случае, если эти процессы так или иначе включаются в сферу деятельности человека или любой другой системы управления»¹³. Только для самосохраняющихся, саморегулирующихся систем мир становится информативным. На основе заложенной в них внутренней

программы поведения, так или иначе закодированной в материальном субстрате данной системы, у них появляется способность определенным образом относиться к предметам и явлениям внешнего мира как к ориентирам поведения.

Сказанное распространяется не только на органические или организмоподобные природные системы, но и на технические. При этом естественно, что наличие функционального информационного отражения само по себе отнюдь не предполагает какой-либо субъективной оценки предметов внешнего мира отражающей системой, хотя объективно эти предметы имеют определенное значение для реализации внутренней программы поведения системы. Система, использующая информационное отражение, всегда как бы «знает» наперед, предвещает в той или иной степени результаты ее возможных взаимодействий с внешним миром и активно строит свое поведение, ориентируясь на эти результаты и организуя, мобилизуя свои ресурсы и средства.

В чем заключается, скажем, отличие ориентации цветка на солнце, являющейся примером направленной реакции, от притягивания куска железа магнитом? И в том и в другом случае одно материальное тело вызывает движение другого материального тела. Различие, по-видимому, можно усматривать только в том, что живой организм, в данном случае растение, осуществляет *построение движения* по каким-то присущим ему механизмам, кстати, далеко не так уж ясным для современной науки, а не просто пассивно вовлекается в траекторию, навязываемую ему извне, как это имеет место с физическим телом. Приспособительная реакция, не говоря уже о более сложных формах поведения и деятельности, представляет собой развернутый во времени и пространстве, внутренне структурированный процесс, в который в определенных «точках соприкосновения» с внешней реальностью включаются механизмы внутренней активности системы, направляющие процесс в целом.

Итак, необходимой методологической предпосылкой анализа проблем отражения должно быть рассмотрение форм отражения как средств саморегуляции и самоуправления самоуправляющихся и развивающихся систем. Такие системы в достаточно четко выраженном виде в эволюции материального мира появляются на

уровне живой природы *. Генетически исходной формой отражения, характерной для живой природы, является раздражимость. Под раздражимостью понимается способность организма к простейшим реакциям в ответ на действие специфических раздражителей. Раздражимость имеет приспособительный характер, т. е. способствует выживанию вида.

В отличие от других форм реакций материальных объектов на внешние раздражители реакция организма осуществляется целиком за счет энергии самого организма. Энергия внешнего раздражителя лишь инициирует внутренний процесс ¹⁴. В этом свойстве раздражимости можно усмотреть проявление признака информационных воздействий, в которых, как известно, физические энергетические характеристики носителя информации отнюдь не обязательно совпадают с информационным эффектом, хотя надо заметить, не всякая раздражимость имеет сигнальный характер. В связи с этим в литературе высказывается мнение, что под раздражимостью следует понимать только те реакции организма, которые имеют сигнальный характер, а приспособительные реакции, не связанные с сигнальным воздействием, надо квалифицировать как возбудимость. Дальнейшее закрепление и развитие в живой природе приспособительного поведения предполагает появление особых материальных структур, ответственных за отражение, — специализированных биологических образований для передач генетической информации, гуморальной и, наконец, нервной системы.

Нервное (нейрофизиологическое) и психическое отражение. Нервное, или нейрофизиологическое, отражение является дальнейшим этапом развития информационного, функционального отражения. Если отраже-

* В настоящее время в науке начинают получать известное распространение представления о существовании природных системных организаций, обладающих свойством самосохранения, поддержания гомеостаза на добиологическом уровне. Можно утверждать, что вопрос о применимости понятия самосохраняющихся систем в неживой природе встает сейчас в повестку дня. Однако механизмы саморегуляции в системах такого рода, если они существуют, совершенно неясны. Поэтому в плане нашей темы — исследования форм отражения — делать здесь какие-либо заключения преждевременно. Констатация современного реального положения вещей отнюдь не противоречит тому, что прогресс точного научного исследования охарактеризованной выше проблематики имел бы очень большое философское значение, в том числе и для дальнейшей разработки представлений об отражении.

ние на уровне раздражимости и простейшей чувствительности обеспечивает *активность* организма, выражающуюся в отдельных движениях по поиску пищи, света, тепла и пр., то нейрофизиологическое отражение по мере развития нервной системы дает возможность осуществлять сложное *поведение*, предполагающее систему расчлененной организованной последовательности действий, лишь в конечном счете направленную на достижение жизненно значимой цели. Современная наука убедительно показывает несостоятельность примитивной рефлексологии в интерпретации поведения и нервного отражения.

Значительный вклад в преодоление реактологических и бихевиористических взглядов, в разработку адекватной интерпретации нейрофизиологического отражения и основанных на нем схем поведения внесли советские нейрофизиологи, выдвинувшие так называемую концепцию физиологии активности, создание которой связано, как говорилось, с именем выдающегося советского ученого Н. А. Бернштейна¹⁵; сходные идеи в советской физиологии развивал П. К. Анохин. Согласно концепции физиологии активности, организм в процессе взаимодействия с внешней средой не просто реагирует на ее стимулы, хотя и проявляет при этом известную активность, например затормаживая те или иные реакции. Поведение организма с точки зрения указанной концепции заключается в том, что организм активно реализует в столкновении с внешней средой свою внутреннюю программу, в основе которой лежат нейрофизиологические структуры, ассимилирующие «видовой опыт» организма.

«...Организм — не просто «непрерывная цепь откликов» на внешние воздействия, его поведение определяется внутренними программами, благодаря чему он зачастую идет против среды, активно преодолевая неблагоприятные факторы, игнорируя или используя внешние воздействия для реализации своих потребностей, выходя за рамки уравнивания со средой (уравнивание не объясняет, что заставляет организм развиваться при постоянстве внешних условий)»¹⁶. Если приспособительные реакции организма формируются, как показывают факты, послужившие исходной базой для разработки «физиологии активности» Н. А. Бернштейном, в процессе непрерывного сенсорного корригирования, непрерывной все более точной подгонки двигательной

реакции под требуемое задачей движения конечное выражение, то необходимо предположить, что в центральной нервной системе должно существовать в некоторой «закодированной» форме предвосхищение требуемого конечного результата реакции, «руководящая эграмма», охватывающая движение в целом.

Регулирование движения на основе постоянного корригирования нельзя представлять себе иначе как установление соответствия (или несоответствия) внешнего для рассматриваемой системы процесса какому-либо внутреннему ее состоянию, как «сличение с внутренней моделью». Ассимилируя поступающую в ходе взаимодействия с внешней средой сенсорную информацию в поисках взаимного решения задачи, обусловливаемой внутренней программой, организм строит динамичную подвижную «модель потребного будущего» — термин, введенный А. Н. Бернштейном. Как специально подчеркивает Ф. В. Бассин, возражая критикам физиологии активности, это выражение, естественно, не означает, что структура текущего физиологического процесса определяется будущим. «Оно означает только то, что формирование реакции происходит на основе опыта, который, будучи накоплен ранее, позволяет активно вмешиваться в это формирование с учетом вероятностных отношений. Наиболее характерным для «модели будущего» является то, что в ней своеобразно *«дано то, чего нет»*, то есть представлено — как цель, образ, символ или код — нечто, еще в объективной действительности не реализовавшееся. Именно эта внутренняя диалектическая противоречивость «модели будущего» и является основой регулирующих влияний, которые модель способна оказывать»¹⁷.

Концепция физиологии активности существенно меняет всю систему научных представлений о взаимодействии организма со средой по сравнению с классическими рефлекторными воззрениями. Она, в частности, позволяет ответить на неразрешимый в рамках этих воззрений вопрос: каким образом осуществляется *выбор* из всего множества потенциально возможных ответов на раздражение именно тех, которые адекватны данной ситуации? Качественно иное понимание структуры приспособительного акта в физиологии активности по сравнению с классическими представлениями Ф. В. Бассин суммирует в следующих моментах: *«потребность (выражающая изменение внутренних отношений.*

происшедшее под влиянием «среды индивида» или «среды вида»); установка; отобранный под влиянием установки стимул; реакция; обратная связь; сличение; придание исходу сличения благодаря влиянию установки функции положительного или отрицательного подкрепления; коррекция»¹⁸. Благодаря идее модели потребного будущего в представление о поведенческом акте с необходимостью входит фактор цели, а благодаря идее установки — фактор активного поиска.

Трудно переоценить философское значение этих идей. Они дали возможность объяснить на материалистической основе феномен целенаправленной активности живых организмов, преодолев узость механистического детерминизма и идеалистическую направленность традиционного телеологизма. Встают, однако, естественные вопросы: какое место в системе современных представлений об отражении в живой природе, при учете достижений физиологии активности, должна занимать идея психического отражения? Не является ли развитие безусловно прогрессивной тенденции научной мысли, которую выражают взгляды Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина, новым и, может быть, окончательным доводом в пользу нейрофизиологического редукционизма, в соответствии с которым более совершенный анализ нейрофизиологических процессов при отражении действительности делает ненужным представление об особом психическом отражении? Или, говоря словами П. Я. Гальперина, «для чего нужны организму психические отражения объективного мира, если налицо этот мир или его физиологические отражения (составляющие физиологическую основу психических отражений)?»¹⁹ Ясно, что это принципиальные вопросы, имеющие самое актуальное значение не только для психологии, но и для гносеологии, анализа процесса отражения как формирования образов действительности, обладающих свойством идеальности.

С точки зрения нейрофизиологического редукционизма нейродинамическая модель, возникающая в нервной системе в процессе ее взаимодействия со средой, интерпретируется как образ действительности. При этом идеальность образа как особое функциональное свойство высокоорганизованной материи не обязательно должна отрицаться; она может истолковываться как функциональное свойство нервной системы программировать поведение организма, возникающее на

основе кодирования предыдущего опыта. Однако это функциональное свойство приписывается не образу как психическому явлению, а самой нервной ткани.

Такой подход вызывает обоснованные возражения с философско-гносеологической точки зрения²⁰. Заметим также, что он, по нашему мнению, закрывает дорогу к анализу критериев различения отражения в живой природе и так называемого технического отражения в автоматических саморегулирующихся устройствах. Сама по себе нервная модель как кодирующая программу поведения материальная структура в принципе не отличается от программирующего устройства вычислительной машины. Признав это, можно сделать и дальнейшее умозаключение: если идеальность можно свести к функциональному свойству материальной структуры, выполняющей роль органа регуляции и управления сложной системы, то нет никаких оснований не приписывать этого свойства и программирующим устройствам технических саморегулирующихся и самоуправляющихся систем.

Сторонники нейрофизиологического редукционизма исходят из того, что нервная модель является не только необходимым — это, разумеется, безусловно следует признать, — но и достаточным условием осуществления процесса отражения и соответствующего поведения. Действительно, существуют ситуации автоматического поведения, автоматической регуляции отношений со средой, когда для решения жизненных задач необходима лишь мобилизация информации, закодированной в сложившихся в процессе прошлого опыта нервных моделях. Однако, как подчеркивается в физиологии активности, главный интерес и сложность для научного анализа представляет ситуация, где возникает рассогласование между возникающей задачей и возможностями ее решения на основе существующих нервных моделей.

Как уже указывалось, Н. А. Бернштейн исходил прежде всего из необходимости постоянной поисковой деятельности по корректировке двигательной реакции. «Модель потребного будущего» отнюдь не представляет собой статичной, сформированной уже к началу решения задачи нервной модели, напротив, она строится в процессе ее решения, в результате того, что П. Я. Гальперин называл ориентировочной деятельностью. Он подчеркивал, что «до тех пор, пока все реакции человека и животных... понимаются как автоматические, для

психических отражений нельзя найти место в физиологическом «хозяйстве» организма, и между объяснениями в психологии и физиологии остается зияющая брешь»²¹. Эта брешь будет заполнена только в том случае, если мы перейдем к анализу ориентировочной деятельности, к которой приходится организму прибегать тогда, когда в наличной ситуации отсутствуют условия, автоматически обеспечивающие успех поведения, когда нужно достичь этого успеха иным путем, иногда вопреки сбивающим влияниям внешней среды или прежде усвоенных привычек. Ориентировочная деятельность субъекта есть средство приспособления к ситуациям, которые отличаются от условий работы механизмов, управляющих автоматическими реакциями. Необходимость в ориентировочной деятельности возникает там, где не срабатывают автоматизмы прошлого видового или индивидуального опыта, где необходим активный поиск того, что требуется организму для решения стоящей перед ним задачи.

Когда одних автоматических действий для решения жизненных задач становится недостаточно, отмечает П. Я. Гальперин, субъект действия вынужден задерживать автоматическое реагирование и переходить к обследованию ситуации. «Подчиняясь этому требованию, мозг блокирует автоматические реакции и переводит возбуждение на механизмы ориентировочно-исследовательской деятельности. Вместе с ее разворачиванием совершается переход от уровня чисто физиологического отражения ситуации к следующему, более высокому — психическому уровню ее отражения. Здесь (как при восприятии картины) материальная фактура отражения отодвигается на положение основы, а на передний план выступает отраженное предметное содержание в виде поля возможных действий субъекта»²².

Итак, необходимым признаком психического отражения является поисковое движение в реальной действительности, приводящее к выделению ее новых свойств и отношений, выступающих в качестве ориентира при построении движений. Было бы неправильно рассматривать нейрофизиологическое отражение и психическое отражение, связанное с ориентировочной деятельностью, как некие обособленные в пространстве и времени процессы. По-видимому, точнее будет рассматривать отражение в живой природе (включая человека, поскольку он принадлежит живой природе) как

единый процесс, в котором психическое отражение имеется там и тогда, где и когда в результате действий с объектами реального мира (ориентировочная деятельность) происходит перестройка, формирование, развитие подвижных нейродинамических структур, обеспечивающих в конечном счете мобилизацию организма на решение жизненных задач.

Заметим, что, согласно этой точке зрения, понятие «модель потребного будущего» представляется не только и не столько физиологическим, сколько психологическим, во всяком случае оно заполняет ту брешь между объяснениями в физиологии и психологии, о которой писал П. Я. Гальперин. Оно характеризует не только изменения в нейрофизиологическом «субстрате», но и механизм, движущие факторы нейрофизиологического процесса, коренящиеся в определенных типах отношения организма с внешним миром. А там, где раскрываются механизмы взаимоотношений субъекта отражения с действительностью, выступающие в виде движущей причины перестройки, коррекции и развития основ системы регуляции отношений субъекта с внешним миром, связанной, разумеется, с динамикой нервного субстрата, — там, по нашему мнению, следует говорить уже о психологическом аспекте проблемы отражения.

Выступая в качестве обуславливающего фактора формирования и развития нейродинамических моделей, результаты психического отражения кодируются в этих моделях. Поэтому в той мере, в какой последние аккумулируют накопленный опыт, они представляют собой свернутую, редуцированную форму психического отражения. Как отмечал Я. А. Пономарев, «в основе своей это филогенетический или онтогенетический продукт психического взаимодействия. Психическое выполняет как бы творческую роль. Все, что было им достигнуто и в нужной мере закреплено, осуществляется теперь в одном из моментов взаимодействия, уже на уровне подчиненной психическому формы»²³.

Отсюда и возникает иллюзия независимости функционирования нервных моделей от психики, являющаяся питательной почвой для тенденции нейрофизиологического редукционизма. Однако в представлении о том, что нервные структуры могут самостоятельно осуществлять анализ и синтез раздражителей и направлять поведение организма, не учитываются генетические процессы развития живых организмов, в результате кото-

рых нервные структуры формируются под воздействием психического отражения.

На основе интерпретации сущности психического отражения можно предложить достаточно адекватное, на наш взгляд, объяснение феномена психического переживания, ощущения своей психики, сопровождающих его эмоций, всего того, что Локк в свое время называл «внутренним опытом». Феномен переживания, сопутствующий психическому отражению, возникает, по-видимому, как необходимость своего рода сигнала организму к переходу от автоматизмов поддержания физиологического равновесия к активной ориентировочной деятельности поиска тех условий, которые не могут быть обеспечены посредством автоматических реакций. Так, скажем, чувство голода является для организма сигналом о том, что его внутренние ресурсы пищевого обеспечения исчерпаны и необходимо осуществлять соответствующие действия во внешней среде.

Представление об ориентировочной деятельности как основании психического отражения позволяет также более точно осознать различие нейрофизиологического и психического отражения у живых организмов, с одной стороны, и так называемого технического отражения в саморегулирующихся автоматических технических устройствах — с другой. Техническое отражение осуществляется на основе закодированной в «памяти» программы. Это сближает техническое отражение с нейрофизиологическим, когда последнее осуществляется на уровне автоматического реагирования. Различие в том, что в первом случае программу задает человек, во втором — биологическая эволюция. Известно также, что возможна определенная эволюция программ в технических системах, «обучение машины». Все дело, видимо, в том, каковы возможности этой «эволюции» программ под воздействием реальной действительности, в какой мере поисковые ориентировочные действия технической системы могут приводить к перестройке и развитию заложенных в эту систему программ.

Итак, из сопоставления различных уровней и типов отражения можно сделать вывод, что их прогресс связан с развитием все более подвижных форм отношения к действительности, когда исходная программа задает лишь отправные контуры, общие предпосылки организации поведения, в рамках которого осуществляется конструктивное решение различного рода жизненных

задач на основе построения образа наличной ситуации, выступающего в качестве идеального плана действия. Чем выше развит живой организм, тем больше перспектив для свободной ориентации в широком круге объективно заданных ситуаций открывает исходная программа поведения.

Специфика отражения в социальных системах. Общий принцип анализа форм отражения (рассмотрение соответствующей формы отражения как определенного способа решения задач, возникающих во взаимоотношении системы, обладающей свойством отражения, с внешней действительностью), очевидно, должен быть применен и к исследованию отражения на уровне социальных систем. Можно много говорить о качественном своеобразии форм отражения, познания и сознания в человеческом обществе по сравнению с живой природой — о возникновении абстрактного мышления, сознания как высшего уровня психической активности человека, о появлении и развитии высших психических функций и т. д. Это действительно очень многогранная тема, и, по-видимому, если мы рассматриваем понятие отражения в качестве исходного при анализе всего того, что можно назвать духовной и «душевной» жизнью человека и человеческого общества, то анализ специфики социальной формы отражения в конечном счете должен предполагать освещение на основе принципа отражения всех проблем, связанных с особенностями человеческого сознания, психики, мышления, воли, эмоций, памяти и пр.

Естественно, в рамках данной главы задача должна быть сужена — речь может идти лишь о кратком рассмотрении понятия отражения применительно к социальным системам. При такой постановке задачи следует прежде всего охарактеризовать специфику механизма отражения в социальных системах. Ведь исходное отличие социальной формы движения материи от предшествующих ей форм движения состоит в возникновении и воспроизводстве социальных систем. Основой их существования является, как известно, практически-преобразовательное отношение человека к действительности, а оно возможно как устойчивый, воспроизводящийся от поколения к поколению способ общественной жизнедеятельности, предполагающий определенные отношения людей к действительности и друг к другу. Осуществляется это воспроизводство только в рам-

ках системной организации, обеспечивающей прежде всего непрерывность передачи эстафеты социального опыта.

Передача опыта культуры, его воспроизводство в условиях постоянной опасности деструктивного воздействия «дикой» природы, действующей в том числе через самого человека, предполагает наличие социальных регуляторов и норм, задающих программу воспроизведения определенных способов отношения людей друг к другу и к внешней действительности. Именно эти регулятивы и нормы выступают в качестве исходных генетических механизмов социального отражения. Эти «коллективные представления», как называл их Дюркгейм, являются своего рода «скрепками» общественных организмов и пронизывают, регулируют их жизнь.

Конечно, сами «коллективные представления» не составляют основу существования общества, как ошибочно считал Дюркгейм. Исходный для марксизма принцип примата общественного бытия над общественным сознанием предполагает понимание «коллективных представлений» как условий, средств существования и воспроизводства социальных систем, а не как обуславливающую их причину. Люди в процессе коллективного творчества находят известные реальные возможности организации своего общественного бытия, которые, осуществляясь, закрепляются в «коллективных представлениях», носящих мифологический характер (скажем, представление о единстве родового коллектива получает выражение в мифах о происхождении от общего тотемического предка). Но наличие определенных социальных программ воспроизводства культуры является необходимым условием существования социальных систем. Заметим, что «коллективные представления» органически связаны с реальными действиями — обрядами, ритуалами и их регулятивное воздействие немислимо без последних. Различить «идеальное» и «реальное» в формирующемся человеческом обществе, механизмы социального отражения и социального бытия можно только при учете *функции* того или иного коллективного практического действия. Если эта функция связана с *программированием* деятельности людей, то есть основания квалифицировать ее как проявление функционирования механизмов отражения, формирования и реализации идеального плана деятельности

(скажем, ритуальная пляска перед охотой или военным походом).

Регулирующее действие механизмов социального отражения как «коллективных представлений» обеспечивает непрерывность воспроизводства социокультурного опыта, становление специфически человеческой психики, формирование так называемых высших психических функций. Сознание, мышление, воля, память, эмоции, как психические процессы, являются, безусловно, следствием социокультурного развития. В настоящее время в психологии все более утверждается подход, рассматривающий высшие психические функции не как параллельные процессы, а как функциональные проявления единой человеческой психики, формирующейся и развивающейся в условиях социокультурной системы со свойственными ей способами совместной деятельности людей.

Глава 3. Категория познавательного образа

Категория познавательного образа — центральная в марксистско-ленинской гносеологии. Ее рассмотрение позволяет выявить сущность познания как высшей формы отражения действительности, понять сложную диалектику познавательного процесса, его структуру, связь с практикой, всей системой социальных отношений, раскрыть творческую активность познающего субъекта, обосновать единство познавательного отражения и творчества. Категория познавательного образа имеет важное значение для решения назревших проблем развития современной науки, раскрытия ее сложного синтетического характера, а также для практики и, что особенно важно, для формирования нового мышления как необходимого условия и результата перестройки нашего общества.

Очевидно, что понятие образа может быть выражено в системе взаимодействия субъекта и объекта. С этой точки зрения познавательный образ является активным отражением окружающего мира в сознании человека. Активность внутренне связана с адекватностью образа как соответствия знаний субъекта отражаемому объекту. Понятие адекватности (изоморфизма) применительно к образу означает соответствие его структуры структуре объекта, когда отвлекаются от конкретной природы элементов, образующих структуру, и их отношений. Следовательно, принцип изоморфизма, и в этом его значение, выражает абстрактное соответствие образа объекту. Дело в том, что любой объект познания выступает в качестве системы определенной сложности, и потому познание предполагает отражение его целостности, структуры.

Вместе с тем абстрактность понятия изоморфизма, применяемого в гносеологическом исследовании, определяет его известную слабость, поскольку мы вынуждены отвлекаться от некоторых чрезвычайно важных особенностей образа, формирующегося в деятельности субъекта. Например, неясным остается избирательность

образа, направленность субъекта на воспроизведение определенных сторон объекта. Далее. Не учитывается и такая коренная черта познавательного образа, как его идеальность. Не случайно категория изоморфизма весьма эффективно работает в современной науке при выяснении единства, например материального изображения и изображаемого, модели и образца (оригинала), но как только речь заходит о ее применимости к гносеологическому образу, возникают, казалось бы, неразрешимые трудности.

В самом деле, если образ идеален, то он не может быть прямо соотнесен, «наложен» на соответствующий объект, как это происходит в случае сравнения материального изображения и оригинала. Положение усложняется еще и тем, что соответствие образа его источнику устанавливается с помощью других идеальных образов, которые в свою очередь должны соответствовать сравниваемым явлениям — образу и его объекту. Проверка этого соответствия далее достигается с помощью других образов (условно назовем их образами третьего порядка). Так мы рискуем уйти в бесконечность, не решив вопроса об адекватности познавательного образа объекту.

На наш взгляд, решение вопроса о сущности образа (а тем самым и активности субъекта) предполагает ответ на следующие вопросы. Какова общая основа формирования познавательного образа, «превращения» материального в идеальное? Каковы механизмы формирования образа, «перехода» от объекта к образу, а затем от образа к деятельности? И наконец, каковы те характеристики, которые наиболее рельефно выражают адекватность познавательного образа? На этой стороне дела мы и остановимся.

Исследование образа, его адекватности объекту должно начинаться с выявления сущности процесса формирования образа, т. е. «превращения» материального в идеальное и идеального в материальное (данные процессы внутренне слиты и могут разделяться лишь в абстракции). Только в этом случае получает обоснование положение о том, что идеальное является формой связи субъекта с объектом. Тем самым лишается смысла вопрос, поставленный классическим идеализмом и агностицизмом: существует ли что-либо за пределами нашего опыта? Можно ли говорить о соответствии знания объекту? Преодоление узких рамок субъективизма воз-

можно лишь при учете решающего значения практики. Именно в практической деятельности устанавливается соответствие предметных действий характеру объективной действительности. Тем самым на основе практики субъект приобретает способность к формированию образов, адекватно ее отражающих.

Практика прежде всего определяет содержание, которое запечатлевается в знании человека. Как основа познания, она обуславливает значимость для субъекта тех или иных сторон действительности, которые отражаются в структуре знания. В принципе любой объект, с которым взаимодействует человек, неисчерпаем, обладает бесконечным количеством признаков. Но в познании фиксируются лишь значимые для деятельности признаки, опираясь на которые субъект осуществляет свою деятельность. Содержание образа, его форма и структура *избирательны*. Скажем, на уровне чувственности это выражается в зависимости образа от актуальных практических и иных задач деятельности человека. В образе выделяются именно те характеристики, которые так или иначе входят в сферу деятельности индивида. Сказанное относится и к логическому познанию с той лишь разницей, что здесь в качестве определителя содержания познания выступает в большей мере не индивидуальная, а общественная деятельность человека, совокупный социальный опыт людей.

Избирательность образа связана с необходимостью обеспечения определенной последовательности в «вычерпывании» свойств, отношений, закономерностей объекта, с продвижением субъекта от явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго порядка и т. д. Все это позволяет субъекту в ходе развития его практической и познавательной деятельности формировать теоретическую картину мира, адекватно отражающую действительность. Вместе с тем познавательный образ характеризуется *целостностью*. Избирательность и целостность познавательного образа внутренне связаны, что проявляется и в отдельных видах познания, и в развитии теоретической картины мира в целом. В современном научном познании это отчетливо выражается в дифференциации и интеграции знаний.

Дифференциация состоит в развитии знания, связанного с выделением субъектом новых аспектов познаваемого объекта, а тем самым с усложнением познавательной картины мира.

Целостность объекта, а также синтетичность деятельности субъекта определяют в конечном счете интегративную тенденцию познавательного процесса. А это значит, что в познавательном образе в первую очередь отражаются структурные характеристики, совокупность внутренних и внешних связей. При этом в чувственных образах отражаются внешние, пространственно-временные отношения, присущие отдельным объектам и предметным ситуациям, в рамках которых разворачивается сложная и многогранная деятельность субъекта. В форме логических абстракций, научных теорий воспроизводятся глубинные, уже недоступные органам чувств структуры, отношения объекта. Для научного познания типичны два наиболее общих вида образов — эмпирические мысленные образы и теоретические, отражающие объект с разной степенью глубины.

Отметим еще одну особенность познавательного образа — его *динамичность, мобильность*. Связанный с практикой и включенный в систему сформировавшихся знаний, познавательный образ обладает определенной самостоятельностью, он как бы «живет» своей собственной жизнью. Конечно, на разных уровнях отражения эта свобода выражается по-разному. Так, содержание чувственного образа, особенно восприятия, в большей мере определяется непосредственным взаимодействием с объектом. Логическое отражение, в частности на теоретическом уровне, обладает уже значительной самостоятельностью. Но как бы то ни было, любой, в том числе чувственный, образ не привязан однозначно к объекту, его свойствам и структуре. Подобное рассогласование выражает не только консервативность, известную пассивность образа (что, конечно, может иметь место), но и его зависимость от практики, совокупной деятельности, т. е. его активность. Поскольку практика определяет познавательное отражение, постольку она в конечном счете детерминирует процесс формирования познавательного образа, его избирательность, вариабельность.

Познающий субъект на каждом историческом отрезке развития общества ограничен в воспроизведении мира. Окружающий мир бесконечен и никогда не может быть познан полностью. Но важно и другое. Познавательный образ в некотором роде богаче, чем объективная действительность и практика, в ходе которой он возникает. Примером служит предвидение. В процессе предвидения формируются представления о явлениях, еще

отсутствующих, таких, которые могут возникнуть в процессе естественного или социального развития, но которых в данный момент нет.

Кроме того, в историческом познании субъект формирует представления о явлениях, уже сошедших со сцены общественной жизни. В этом заключается специфика исторического познания. Если в объективной реальности процесс всегда разворачивается от причины к следствию, если его временная направленность характеризуется движением от прошлого к настоящему и далее к будущему, то в сфере сознания, в ходе познания прошлого процесс идет от настоящего к прошлому, от следствия к причине. Следует указать и на деятельность воображения, с помощью которого конструируются образы не только отсутствующих явлений, но и принципиально не существующих, а также на условность как компонент познавательного отражения.

Одна из черт условности в познании — отсутствие непосредственного сходства с отображаемым. Однако это не исключает гносеологической ценности некоторых условных конструкций. Использование условности ведет к открытию закономерностей объективного мира. Развитие научного знания показывает, что условные элементы устраняются в конечных продуктах теории, в ее следствиях, непосредственно сопоставляемых с опытом, действительностью. Значение условных элементов состоит в том, что они выполняют роль еще не развитых понятий и теорий, содержание которых оформляется в итоге длительного развития науки. Так, из идеи эфира выросла теория поля; из идеи теплорода и вечного двигателя — понимание энергии; из идеи движения электронов, подобного движению планет, возникла атомная физика. Функции, выполняемые условными элементами, бесследно не исчезают и, как правило, приводят к формированию новых понятий, имеющих объективный прообраз. Значит, условные конструкции — это своеобразная поисковая модель, средство достижения объективно верного знания о мире.

Условные образования позволяют представить изучаемое явление в специфической форме, а именно в виде мысленно сконструированных идеализированных объектов. Последние, как правило, не имеют непосредственных реальных образцов и преимущественно выполняют оперативную функцию в ходе научного исследования. В отличие от абстрактных объектов, которые выступают

своеобразными носителями функционально выделенных реальных свойств, идеализированные объекты — это мысленно реконструированные объекты, не существующие и не осуществимые в действительности, например «идеальный газ», «абсолютно твердое тело», «равномерное и прямолинейное движение» и т. д. Чистой абстракции здесь противостоит творческое пересоздание, мысленное экспериментирование с наличными чувственно воспринимаемыми свойствами.

Эвристическая роль этих объектов заключается в том, что они являются идеальными предельными образами реально существующих вещей. Хотя идеализированные объекты не представляют собой простого воспроизведения объекта, обобщения опытных данных, тем не менее исходным пунктом их формирования является опыт, реальное взаимодействие субъекта с внешним миром. Поэтому совершенно неоправданно чрезмерное противопоставление идеализированных и реальных объектов, характерное для гносеологии неопозитивизма. Человек нуждается в идеализированных объектах для описания реального мира, его существенных отношений и закономерностей.

Как видно, условность, идеализация — это специфические приемы познания, выражающие диалектику познавательного отражения. Видимое отдаление от объекта и усиление субъективных моментов в познании обеспечивают приближение образа к сущности объекта, углубление содержания знания. Происходит как бы движение из мира реальности в мир условности, в мир идеализаций, чтобы глубже и точнее постичь саму объективную реальность. «Движение познания к объекту, — пишет В. И. Ленин, — всегда может идти лишь диалектически: отойти, чтобы вернее попасть...»¹ В этой связи становится понятной и роль символизации в познании, которая и состоит в выражении одного явления через другое, а именно внутреннего, обобщенного смысла через внешний, наглядный образ. Условность позволяет акцентировать, выделить интересующие явления. Символизация служит цели более выразительного, наглядного изображения этого основного смысла, позволяет, так сказать, «представить непредставимое», «соотнести несоотносимое».

Познавательный образ, как говорилось, является *идеальной* формой отражения действительности, истоки которой коренятся в деятельности, в практике субъекта.

В последние годы проблема деятельности вызывает повышенный интерес. О ней много пишут и дискутируют представители различных наук — естественных, технических и гуманитарных. Проблема деятельности стала комплексной. Наметились и некоторые важнейшие тенденции. Именно здесь возник ряд сложных в методологическом отношении проблем.

Речь идет в первую очередь о соотношении философского и конкретно-научного понимания сущности деятельности. Прежде всего отчетливо проявилась абсолютизация частнонаучных пониманий деятельности, характерных для той или иной научной дисциплины. Обратной стороной подобной абсолютизации является недооценка диалектико-материалистического понимания деятельности. В результате рождается другая крайность, состоящая в некритическом переносе частнонаучной интерпретации в философию. Методологически правильный подход заключается в разработке понятия деятельности как общеметодологического принципа, который может быть применен в рамках любого специально-научного исследования, но конечно же с учетом специфики области научного познания.

Особенность диалектико-материалистической интерпретации деятельности состоит, во-первых, в определении ее сущности на основе диалектико-материалистического решения основного вопроса философии. Деятельность рассматривается как процесс, включенный в цепь объективных отношений, причинных, закономерных связей. Во-вторых, сущность деятельности составляет материально-практическое преобразование действительности. В основе социальной активности людей лежит «та деятельность, которая подняла их от животного состояния до человеческого, которая образует материальную основу всех прочих видов их деятельности, — производство, направленное на удовлетворение жизненных потребностей людей...»². Некоторые черты материально-практической деятельности в плане рассматриваемой проблемы познавательного образа важно называть. К ним относятся ее предметность, или объективность, активно преобразующая роль, коллективность, динамически операционный характер, развернутость в структурно-функциональном и временном отношениях, включенность в систему ценностных отношений. Указанные признаки практической деятельности составляют сущность познавательного образа как целостного

идеального явления, обладающего сложной и в то же время динамичной структурой.

Именно в предметно-практической деятельности осуществляется формирование специфически человеческого отношения к действительности и на его основе — познавательных образов. В этой системе человек выступает субъектом совокупной деятельности, а тем самым и субъектом познания. Противостоящий ему мир, который активно преобразуется, предстает подлинным объектом практической и познавательной деятельности. Возникновение нового взаимодействия субъекта с объектом, формирование познавательного образа связаны с тем, что в ходе практической деятельности человек преодолевает узкие рамки сугубо биологического отношения живого существа к внешнему миру. Производство и использование орудий труда, появление новых форм человеческой коллективности приводят к тому, что внешние явления для человека приобретают иное, а именно социальное, значение, служат удовлетворению социальных потребностей. Это означает, что внешнее явление перестает выступать исключительно в роли предмета-сигнала. Для человека, осуществляющего новый тип деятельности, прежде всего орудийной, направленной на изменение среды, предмет с неизбежностью должен предстать в его собственной определенности. Соответственно у субъекта формируются и качественно новые потребности, мотивы. Рождается потребность в познании объекта, выявлении его объективных особенностей.

Конечно, функция познавательного образа не сводится только к познанию природных свойств объекта. Предметы природы, не говоря о социальных явлениях, всегда приобретают определенную значимость, поэтому познание объекта неотделимо от выявления той роли, которую он играет в процессе деятельности. Но независимо от этого назначение познавательного образа заключается в воспроизведении особенностей самого объекта. В одном случае это природные свойства (физико-химические, механические), в другом — социально сформировавшиеся признаки (утилитарно-практические, нравственно-эстетические и т. д.). Но в любом случае в познавательном образе отражаются особенности внешнего мира, его *объективность*.

Формирование идеального познавательного образа определяется тем, что в предметно-практической дея-

тельности осуществляется изменение объекта с помощью орудий и средств производства. Вместе с тем процесс целесообразной деятельности осуществим лишь в той степени, в какой он адекватен свойствам объекта, «унодобляется» ему. Логика деятельности в этом смысле с неизбежностью подчиняется внутренней логике изменяемого объекта. Это и значит, что в деятельности осуществляется вычленение объективных внешних и внутренних отношений предмета, а тем самым происходит своеобразное «снятие» копии, модели с объекта. Завершающим этапом является осуществляемый с помощью языково-знаковых средств перенос «снятой» с объекта модели во внутренний план, превращение ее в идеальный образ.

Как видно, в ходе активного воздействия субъекта на внешний мир осуществляется процесс материального изменения вовлеченного в деятельность объекта на стадии как опредмечивания, так и распредмечивания. В итоге этого процесса создается новое явление, воплощающее в себе результаты деятельности, которая в нем как бы угасает. Форма деятельности здесь превращается в форму предмета. Но поскольку созданный предмет используется в дальнейшей деятельности, постольку осуществляется движение от формы предмета к форме деятельности, т. е. происходит движение от материального к идеальному, к познавательному образу. Не случайно К. Маркс отмечал, что идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Конечно, такая «пересадка» материального в человеческую голову происходит не в виде физического переноса при воздействии внешнего явления на органы чувств, хотя и вне такого взаимодействия этот процесс неосуществим.

Человек должен обладать определенными природными органами чувств, развитой нервной системой, мозгом, чтобы действовать и в ходе деятельности, на ее основе формировать психическую способность отражения. Чтобы реализовались познавательные функции субъекта, обладающего мозгом, он должен осуществлять активное воздействие на внешний мир, преобразовывать его. Именно в этом процессе и рождается способность воспроизводить внешний мир в идеальном плане. В идеальном образе свойства нервной энергии, особенности нейродинамических процессов элиминированы. Здесь субъекту дан именно внешний мир, в котором он живет

и действует. Идеальное есть способ выявления субъектом предметного бытия внешних объектов, их значимости в деятельности.

Объективность, предметность субъективного образа проявляется через *проецирование* его содержания на внешний мир. Содержание образа как бы накладывается на сам объект, и это отчетливо выражается в чувственном отражении. Эта черта присуща и логическим абстракциям, мысленным образам. Правда, если в сфере чувственности проекция непосредственно заложена в механизме образа и отнесение к объекту осуществляется без какой бы то ни было дополнительной рефлексии, то в случае мысленного образа в силу его абстрактности, оторванности от действительности сплошь и рядом требуется дополнительная мысленная рефлексия. В современной науке это выражается, например, в процедуре интерпретации.

Однако предметность предполагает не только положенность содержания, его отнесенность вовне, к объекту отражения, но и заданность его для субъекта. Отражаемый объект задан субъекту в виде внешнего предмета, свойства, отношения. Для субъекта он существует как его внутренний образ, переживается им как внутренний факт самого сознания, как проявление его собственной жизнедеятельности. И тем не менее идеальное предстает в виде образов явлений, вовлеченных в деятельность и играющих в ней определенную роль. «Идеальное, — отмечает П. Я. Гальперин, — есть не вид бытия, а та совокупность черт объекта, которая открывается, является субъекту, способ явления объекта субъекту»³.

Далее. Формирующиеся у субъекта идеальные образы являются активным отражением действительности. Одно из проявлений активности выражается в деятельности, осуществляемой с помощью логических абстракций, понятий. Законы мышления есть отражение закономерностей внешнего мира. Однако отражение ими действительности опять же опосредствуется предметно-практическими действиями. «...Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики»⁴.

В активности познавательного отражения в конечном счете проявляется его объективность и субъективность. Диалектика объективного и субъективного образа, будучи выражением специфических черт предметно-практической деятельности, характеризует сложность соотно-

шения его с объективной реальностью, а также с самой деятельностью, на основе которой он вырастает. В конечном счете субъективное, активность в познавательном образе направлены на все более полное и адекватное воспроизведение объекта, которое включает и отлет от реальности, преобразование чувственного и мысленного содержания познавательного образа.

Диалектическое единство объективного и субъективного в познавательном образе проявляется в неразрывной связи *репродуктивного* и *продуктивного* аспектов. Репродуктивность означает способность субъекта воспроизводить объект в его относительной устойчивости или повторяющейся изменчивости. Выражая устойчивость форм бытия предметов, а также повторяемость форм деятельности, репродуктивное играет весьма существенную роль в познании объективного мира, обеспечивая определенную точность воспроизведения объекта. Но репродуктивность есть проявление активности познания, поскольку она формируется в практической деятельности, которая требует воспроизведения относительно устойчивых форм бытия в повторяющихся образах.

Как видно, репродуктивность в познании дополняет продуктивность, т. е. активность, связанную с воспроизведением действительности в изменяющихся формах познавательных образов. Продуктивность — главная черта познавательного образа, определяемая действием внутренних имманентных факторов и изменением условий, в которых деятельность протекает. Все это требует внесения определенных коррективов в содержание познавательного образа.

Сложность, динамичность образа выражается в его *многоструктурности*, под которой обычно имеют в виду соотношение в нем чувственных, эмпирических и теоретических компонентов. Не останавливаясь специально на данном аспекте, отметим следующее. Многоструктурность — прямое проявление зависимости образа от деятельности субъекта, и прежде всего практической. В ходе деятельности субъект осуществляет проникновение в глубь объекта, которое имеет специфический характер и выражается в том, что с помощью орудий и средств производства субъект вычленяет все более глубинные отношения изменяемых явлений, предметов. Деятельность субъекта связана с законами. В ходе развития деятельности возникает необходимость отражения внутрен-

него, существенного с помощью абстрактных образов, логических понятий, научных теорий.

Вопрос о соотношении чувственного и логического применительно к характеристике познавательного образа не решается однозначно. Чувственное и логическое нередко интерпретируются как качественно различные формы образов, дифференцирующиеся по уровню отражения объекта. Но чувственное и логическое, и это подтверждается всем ходом развития современной науки, переплетаются в сложном и в то же время целостном познавательном образе. При этом имеются в виду так называемые синтетические познавательные образы, в которых осуществлен «сплав» этих сторон познания. Мы не склонны противопоставлять эти подходы. Действительно, чувственное и логическое — это формы познавательных образов, обладающих своими специфическими чертами.

Вместе с тем вполне правомерно говорить и о синтетических образах, в которых осуществляется своеобразное единство чувственного и логического. Примером служат воображаемые модели, активно используемые в современной науке. Такая модель представляет собой своеобразную форму мышления, которая облекается в наглядную форму. Сошлемся и на мысленный эксперимент, в котором процесс мышления осуществляется в виде наглядных образов, позволяющих конструировать экспериментальную ситуацию, которая по тем или иным причинам не может осуществиться в виде реального эксперимента. Наглядное мышление широко используется в инженерно-техническом творчестве, имеет ведущее значение в рамках художественного познания. Синтетические образы выступают неизбежным компонентом по существу любой формы деятельности. Широко распространены они в различных формах познания и деятельности людей.

Однако проблема многоструктурности познавательного образа имеет и другие аспекты. Об одном из них, который порой выпадает из поля зрения исследователей, хотелось бы сказать. Речь идет о временной структуре образа, которая выражается в том, что в образе в диалектическом единстве воспроизводятся прошлое, настоящее и будущее.

Чтобы это было понятно, следует учесть ориентированность деятельности на будущее, которое субъекту обязательно должно быть представлено в виде опреде-

ленного результата до того, как он получен на практике. Ясно, что иметь результат до его материального воплощения невозможно. Однако невозможное непосредственно в практической деятельности осуществимо с помощью человеческого сознания, процесса целеполагания. Начальный и конечный этапы деятельности (последний и выражается в получении заранее планируемого результата в виде образа будущего) опосредуются сложной системой промежуточных состояний, характеризующих формы превращения исходного состояния объекта в его конечное состояние. Реальностью такое движение становится, во-первых, благодаря тому, что в познавательном образе выражается не только начальное состояние объекта, его настоящее, но и его будущее.

Утрата субъектом способности отражать разные временные параметры объекта, выражать соотношение разных временных состояний, например настоящего и будущего, ведет либо к распаду деятельности, либо к ее деформации. (В качестве примера можно указать на бернштейншанский тезис: движение — все, конечная цель — ничто. Если отвлечься от социальных условий, породивших оппортунистическую форму деятельности, выражающую отход от деятельности революционной, то можно сказать, что гносеологической причиной перерождения послужила деформация познавательного образа, выразившаяся в утрате у субъекта способности ориентироваться на будущее.) Распад образа, исключение из него будущего делают невозможным осуществление адекватной деятельности.

Но деятельность требует ориентированности субъекта не только на будущее, но и на прошлое. Воспроизведение в образе прошлого столь же необходимо, как и воспроизведение будущего. Это необходимо потому, что прошлое является основанием настоящего, и потому, что только в соотношении настоящего с прошлым обеспечивается наиболее полное и точное выявление тенденции движения объекта и развертывания деятельности в будущее. Соотношение настоящего с прошлым позволяет осуществлять корректировку деятельности в каждый момент ее реализации. Это относится и к практической и собственно познавательной деятельности.

Итак, познавательный образ представляет единство настоящего, прошлого и будущего. Именно благодаря такому единству обеспечивается воспроизведение объекта как развивающейся, динамичной системы, отражение

ее противоречивости. Конечно, существуют образы, по преимуществу ориентированные на воспроизведение разных временных компонентов. Так, образы исторической науки по преимуществу отражают прошлое. Функциональное различие образов по задачам воспроизведения временных состояний действительно существует. Но при этом надо иметь в виду следующее.

Прежде всего наличие такого рода образов не исключает и тех, которые имеют строго синтетический характер, когда временные компоненты слиты неразрывно. Подобное единство имеет место даже в образах, функционально направленных на отражение разных временных интервалов. В целостном познании воспроизведение временных моментов — не самоцель, а средство обеспечения целостности развивающейся системы, что и осуществляется за счет отражения ее разных временных параметров. Историческое познание, например, органически связано с решением задач настоящего и будущего. В свою очередь само познание прошлого неотделимо от познания настоящего и будущего. Не случайно поэтому восстановление исторической правды, адекватное воспроизведение прошлого нашей страны приобрело столь важное значение в осмыслении современности. В свою очередь познание настоящего обеспечивает познание будущего, а обращение к будущему есть условие более углубленного познания настоящего. В известном смысле разделение образов на виды в зависимости от их направленности на разные временные интервалы связано с решением некоторых задач и осуществимо лишь в абстракции.

Анализ познавательного образа с необходимостью требует выделения еще одного аспекта — его социокультурной природы. Мир в познании воспроизводится не только в его объективности. Поскольку отражение субъектом действительности опосредовано системой социально-исторических отношений, постольку в познавательном образе запечатлеваются ценностно-смысловые особенности явлений действительности. Это характерно в той или иной степени для всех видов познания, но особенно отчетливо данная черта проявляется в социальном познании. Сущность социального объекта непосредственно определяется общественно-исторической деятельностью людей и сформировавшимися на ее основе социальными отношениями. Поэтому и отражение объекта здесь обязательно предполагает выявление

его ценностно-смысловых характеристик, его значимости в системе той или иной деятельности.

Связь образа с социальными условиями, его детерминирующими, в определенных исторических условиях неизбежно определяет наличие в его содержании классово-идеологического момента, через посредство которого выражаются интересы определенных социальных групп, классов. Но познавательный образ включает и общечеловеческие интересы, оценки, содержание. Последние отчетливо проявляются в знаниях, служащих решению таких острых и актуальных проблем современности, как вопросы войны и мира, глобальные, демографические и т. д.

Следует отметить, что способ видения действительности, определяемый опосредствующим воздействием социально-культурных факторов, весьма сложен. Он несет в себе как бы разные исторические виды отражения действительности, способы, которые, переплетаясь, взаимно дополняют друг друга, усложняя структуру познавательного образа. Все это есть результат определенной преемственности: с изменением социальных отношений прошлое, ранее входившее в содержание имевшихся образов, включается в содержание нового, более развитого образа. В науке такая связь прошлого и настоящего отчетливо зафиксирована. Давно уже установлен факт зависимости актуального познавательного образа от содержания знаний, сформировавшихся в прошлые эпохи. Это выражается, во-первых, в опосредующей роли сложившихся систем категорий, которые как бы накладываются на формирующийся актуальный познавательный образ, включая его в систему сформировавшегося знания и создавая тем самым условия для дальнейшего развития знания.

Во-вторых, в содержании познавательных образов новой исторической эпохи может воспроизводиться в определенной мере способ социального видения, сформировавшийся в предшествующие периоды. Конечно, изменение социально-культурных условий неизбежно преобразует и контекст, опосредующий отражение и оценки объекта. Но старый контекст не исчезает полностью в силу определенной преемственности, включения в структуру нового образа общечеловеческих, так называемых вечных ценностей, а также определенной консервативности знаний. Последнее в большой степени зависит от тех или иных идеологических отношений.

Так, бюрократический стиль мышления, сформировавшийся в определенных исторических условиях нашего общества, безусловно, оказывает негативное воздействие на формирование нового мышления.

В-третьих, историческое напластование в содержании образа прошлого и настоящего, старого и нового выражается и в своеобразном смещении исторически сформировавшихся способов мышления. Последнее особенно характерно для переходных периодов, отличающихся либо тем, что новое еще не стало господствующим, либо старое еще живет, борется за свое сохранение. Наличие скрытых исторических пластов прошлого в структуре познавательного образа настоящего имеет большое значение для исторических исследований духовной жизни общества. Вне всякого сомнения, элементы прошлого в структуре современного познавательного образа выполняют важные функции. И именно эта связь, выраженная в языке, исторических источниках, и служит основанием для проникновения в прошлое, для понимания духовной жизни предшествующих поколений. Но обращение к прошлому лишь тогда плодотворно, когда оно служит преодолению консервативного, отжившего в познании, формированию нового содержания.

В последние годы исследование социальных, ценностно-смысловых характеристик познавательного образа во все большей степени становится объектом аксиологического рассмотрения как одного из аспектов философского исследования. В рамках такого рассмотрения тот элемент образа, который мы определили как значение, социально-культурный контекст, по существу выражается через категорию ценности. Способом же ее выявления служит оценка.

Обычное определение ценности осуществляется с выявлением значимости того или иного явления в деятельности человека. Поэтому *ценность* понимается как *значение* (в некоторых случаях говорят только о положительных значениях) предметов и явлений в процессе деятельности людей. Это есть функция предмета, имеющая социально-исторический характер, формирующаяся в деятельности и ей служащая. Например, сами по себе природные явления ценностью не обладают, они имеют лишь определенные природные свойства, которые, будучи использованы человеком, становятся ценностью. Понятно, что ценностные характеристики и отношения *объективны*. Конечной основой ценности вы-

ступает человеческая практика как объективный процесс. Не случайно поэтому исходной формой ценности является утилитарно-практическая, и лишь впоследствии на ее основе возникают иные, производные от практики виды ценностей.

Социально-исторический характер ценности выражается и в ее конкретно-историческом характере, определяемом той системой отношений, в рамках которой та или иная деятельность осуществляется. Ценность всегда зависит от социальной классовой природы общества. Если она будет относиться к явлениям общественной жизни, то может получить классовую окраску, иметь идеологический характер. Но существуют и общечеловеческие ценности.

Оценка есть субъективный способ выражения ценности объекта. При рассмотрении природы оценки важным оказывается определение ее гносеологической сущности. Говоря о гносеологическом статусе оценок, следует подчеркнуть, что речь идет о выявлении с их помощью не только ролевых функций явлений, но и их сущности путем анализа тех функций, которые они имеют. Поэтому целесообразно обратиться к анализу роли оценки в структуре познавательного образа. Такой подход плодотворен, ибо позволяет раскрыть особенности познавательных образов в ином срезе, способствует обогащению наших представлений. Для решения поставленной задачи выделим несколько типов оценок применительно к фундаментальным сферам человеческого познания — к области естествознания, технических наук, экологии, к общественным наукам.

Прежде всего о естественнонаучном познании, объектом которого являются природа, присущие ей процессы и закономерности. Широко распространено мнение о том, что естественнонаучное познание, а следовательно, и познавательные образы, входящие в его содержание, свободны от всего субъективного, а стало быть, оценочного. Объективность естествознания как образец научности в первую очередь усматривается в абсолютном устранении субъективного момента из процесса познания. Подобная традиция в науке сложилась довольно давно. В свое время (XVII—XVIII вв.) данное понимание объективности познания было направлено против засилья в науке предрассудков средневековой схоластики, поэтому такая трактовка имела положительное значение.

Но диалектико-материалистическое понимание объективности не может быть сведено к метафизическому. Объект всегда берется субъектом в форме деятельности, практики, т. е. субъективно, как подчеркивал К. Маркс. Это и означает, что принцип объективности познания вообще, в том числе и в области естествознания, предполагает учет активности субъекта, его роли в деятельности, преобразовании объекта и в самом познании. Одним из выражений этой субъективности и служит оценивающий характер познания. Оценка — неотъемлемый компонент познавательного образа, в том числе и такого, который функционирует в рамках естественнонаучного знания, даже если область исследования чрезвычайно отдалена от решения практических задач.

Оценка в структуре познавательного образа позволяет ученому увидеть связь развиваемых знаний с практикой. Это тем более верно, что в естествознании наряду с общетеоретическими проблемами, рассмотрение которых как бы удалено от утилитарно-практических соображений, существуют сферы знания, непосредственно смыкающиеся с решением производственно-технических и сельскохозяйственных проблем. Естественнонаучное знание — это лишь одна из областей познания, которая в большей мере, чем другие, как бы свободна от ценностно-оценочного подхода, хотя последний, как сказано, полностью не может быть исключен.

Вместе с тем природные явления входят в сферу человеческой деятельности в иных, уже преобразованных и подчиненных задачам практики формах. К числу таковых относятся явления, включаемые в технологический процесс и в техническое конструирование. Технологические процессы, безусловно, природны. Это физико-химические явления, а в настоящее время все более широкое распространение получают процессы биологические, которые непосредственно используются человеком в рамках определенной деятельности. Изменения, которые здесь происходят, касаются формы, придаваемой человеком течению природного явления. Они выражаются, в частности, в том, что данное явление протекает под контролем человека, служит реализации тех или иных целей. Конечно же включение природного в производственную деятельность людей невозможно вне осуществления оценивающих функций, сопоставления объективного природного процесса со способом реализации определенных целей. Подобная оценивающая

деятельность, можно сказать, составляет ядро одной из важнейших форм мышления, которое и называется технологическим.

Сказанное в полной мере относится и к техническому мышлению, выступающему в век научно-технической революции в виде не просто прикладного, а глобального знания. Неизбежность оценок в системе технических наук определяется рядом факторов. В первую очередь речь идет о выявлении роли естественных законов, процессов, свойств вещества и т. д. в плане их возможного преобразования в технические системы, и в этом его общность с технологическим мышлением. Понятно, что такой вид конструирующего познания обязательно включает в себя системы оценок. Но дело не только в этом. Надо иметь в виду происходящие кардинальные изменения в самой конструктивно-технической деятельности, связанные с возникновением новых областей технического знания, таких, например, как системотехника, эргономика. Их объектом выступает система сложного порядка, которая может быть охарактеризована как система «человек-машина». Объектом исследования здесь является уже не только техническая система, но и деятельность субъекта по изучению условий создания техники, а также управления ею. Технические науки наполняются гуманитарным содержанием, принимая ярко выраженный оценочный характер. Отчетливо это проявляется и в социальной экологии.

Отрицательные последствия вмешательства в природные процессы, ставящие человечество на грань гибели, выдвигают ряд задач, имеющих общечеловеческий характер. Они могут быть решены с позиции ценностно-оценочного подхода, в котором общечеловеческие интересы занимают доминирующее место. Это оценки, связанные с выявлением наличного состояния природы и природной среды, последствий воздействия человека на природу, с оптимизацией взаимодействия человека с природой и т. д. Современное экологическое мышление должно быть максимально гуманитарным. И это не случайно: с его помощью осуществляется познание взаимодействия человека с природой при особых, экстремальных состояниях их отношений. Познание природного фактора в этом случае обязательно включает познание и человеческого, анализ противоречивости современной действительности, выявление социальных факторов прогресса общества, который может обеспечить развитие

природных явлений, сохранение человеческого и его процветание.

Таким образом, нет сомнения в том, что структура образа содержит ценностно-оценивающий компонент, выражающий его социальность как проявление активности субъекта, его включенности в сложную систему социальной жизни. Сказанное в полной мере относится к видам познавательных образов, отражающих область социальной жизни. Таковы, например, познавательные образы, а вместе с тем и оценки, включенные в рамки философско-мировоззренческого знания. Не обсуждая сейчас проблему соотношения философии и конкретных наук, отметим лишь, что категории научной философии, так же как категории других наук, должны рассматриваться в плане диалектико-материалистического принципа отражения.

Вместе с тем надо учитывать специфику философского знания. В философском исследовании нельзя отвлекаться от места субъекта в мире, его отношения к развивающейся объективной реальности. Этим целям служит сложная система оценок, позволяющих выявить собственную определенность общественного бытия как основания человеческого общества, его существования и развития, а также определить роль человека в системе объективных отношений, учитывая при этом, что человек в ходе деятельности порождает эти отношения и развивает их, а также познает. Оценка, таким образом, здесь неотделима от объективного отражения внешнего мира.

Глобальный вид оценок, внутренне связанных с указанным выше, представляют оценки философско-социологические. Понятно, что различие общефилософских и философско-социологических понятий и оценок имеет относительный характер. В последнем случае смещается лишь акцент рассмотрения исследуемого явления, смещается в сторону общефилософского понимания общества, законов его развития, т. е. оценивающий характер познания становится очевидным. История есть деятельность людей, преследующих свои цели. Поэтому в конечном счете в рамках социологии, истории, а в принципе любой общественной науки речь идет о деятельности, ее результатах и продуктах.

Деятельность есть процесс, в ходе которого рождаются ценности. Но она сама также является ценностью и в качестве таковой может рассматриваться как актуально реализуемый процесс. Она выступает средством порож-

дения мира культуры, цивилизации, развития самого человека. Деятельность как ценность проявляется в результате, выражающемся в вещно-предметной среде, в которой человек существует и развивается. Важнейший итог деятельности — это развитие и саморазвитие человека. Конечно, и сама деятельность как ценность не может рассматриваться абстрактно, а только с учетом конкретных отношений. Будучи проявлением определенной активности, она может оборачиваться против свободного развития человека, его прогресса.

В заключение подчеркнем, что сказанное дает представление только о некоторых сторонах познавательного образа. Многое осталось за пределами нашего рассмотрения, поскольку мы стремились выделить аспекты, анализ которых имеет существенное значение для характеристики познавательного образа в наши дни.

Глава 4.

**Принцип практической
деятельности в марксистской
теории познания
и универсальность предметного
содержания практики**

Отличительная особенность диалектико-материалистического осмысления познания — нацеленность на раскрытие взаимовлияния его отражательной и практической специфики, на выявление наряду с многообразием форм практической обусловленности познавательной деятельности, всевозрастающей ее значимости для совершенствования самой практики.

Вопрос об общественной востребованности научного знания или шире — всей духовной культуры стал сегодня насущнейшим вопросом человеческой жизнедеятельности, определяющим ее перспективу. Одно из фундаментальнейших противоречий современной практики состоит в «расхождении» между масштабностью вещественно-преобразовательных ресурсов цивилизации и уровнем культурной развитости субъекта, использующего эти ресурсы. Только развитость, высокая духовность могут уберечь человека, превратившего, по словам К. Маркса, всю природу в свое неорганическое тело, от безответственного, зачастую варварского отношения к этому телу.

Подлинная гуманистичность практически-преобразовательного отношения человека к окружающему миру несовместима с любыми разновидностями отчуждения, «география» которого оказалась значительно шире, чем капиталистическая организация общественной жизни; авторитарная модель социализма также ограничивает влияние человека на экономические, политические процессы, на культуру в целом. В связи с этим обострился вопрос о том, насколько возможно созидание в процессе практической деятельности неотчужденной человеческой реальности, т. е. такой, которая обеспечивала

бы, как писал К. Маркс, отношение человека к себе как существу универсальному и потому свободному.

Если посмотреть на проблему отчуждения в плане соотношения познания и практики, то, думается, есть все основания признать, что застойный период в жизни нашего общества при декларации «практичности» хорошей теории характеризовался преобладанием именно отчужденных форм взаимосвязи познания и практики. Как остроумно замечали тогда ученые, наличие самой проблемы «внедрения» научных достижений свидетельствовало о недопустимом рассогласовании между научным познанием и практической деятельностью.

Установка на принципиальное единство познания и практики, содержащаяся в глубинных теоретико-философских основаниях марксизма и фиксирующая необходимой предпосылку универсальности человеческого мироотношения, оказывалась во многом нереализуемой в социально-культурных условиях того периода, когда общество переживало формы развития, затруднявшие либо не предполагавшие вообще критического осмысления своего социального опыта. Именно с этим связаны «серьезнейшие деформации, влекущие за собой различные формы отчуждения, противостояния идеологии и политики, знания и деятельности, проекта и реализации, замысла и действия, идеала и действительности и как их следствие — различные искаженные формы теоретического сознания и практического дела»¹.

Упомянутые обстоятельства обусловили появление множества новых вопросов, касающихся особенности функционирования принципа практической деятельности и в диалектико-материалистической теории, и в марксистской философии в целом. В данной главе нас будут интересовать вопросы: не фокусируются ли принципиальные коллизии реальной практической жизнедеятельности человека в таком явлении, как рассогласование различных «слоев» предметного содержания практики? Не приводит ли, далее, подобное рассогласование к деформации практики — к доминированию превращенных ее форм? Уяснение перечисленных вопросов существенно, на наш взгляд, для понимания особенностей функционирования практики в качестве теоретико-познавательного принципа.

Характернейшую особенность этого принципа, выражающую сущностную черту практики, составляет его всеобщность. Но здесь возникает вопрос: какую теорети-

ко-познавательную функцию могут выполнять превращенные формы всеобщности практики? Не функцию ли своего рода «решающего подтверждения»... теоретических заблуждений? Но дело-то в том, что апелляции к таким формам весьма нередки, скажем, в социальном познании. Типичным примером подобной ситуации, чаще всего анализируемым в нашей литературе, выступает вульгарная политическая экономия со свойственной для нее неуясненностью принципиального различия между «видимостным» и сущностным уровнями практики, а также оппортунистические представления о практике².

Однако обращение к превращенным формам всеобщности практики встречается и среди тех, кто не стоит на заведомо антимарксистских позициях, о чем свидетельствует хотя бы такое явление, как юридический фетишизм, сопряженный с субстанциализацией абстрактной всеобщности индивидов и редукцией их конкретности³. То же самое можно сказать о различных технократических перекосах, проявившихся в нашей социальной политике в застойный период. Ведь попытки теоретического обоснования этой политики не страдали отсутствием ссылок на практику. Страдали они фетишизацией превращенных форм практики и неуясненностью той целостной системы, которую образуют все ключевые слагаемые предметного содержания практики в ее чело-векоформирующей направленности.

Технократическому подходу к практике присуща тенденция сводить ее преимущественно к оперированию вещными структурами, от которого якобы производны все остальные уровни практического взаимодействия человека с миром. Проявления такого подхода можно обнаружить не только в социальном познании, но и в трактовке познавательной деятельности в целом. Справедливости ради следует заметить, что «вещной» трактовки практики подчас вполне достаточно для рассмотрения многих познавательных операций, пока не встает вопрос об их связи с глубинными предпосылками и условиями познавательной деятельности, с тем, что К. Маркс называл теоретическим освоением действительности, — вопрос о формировании субъекта такого освоения.

Исследование взаимозависимости слагаемых предметного содержания практики конечно же является прерогативой не только теории познания, но и диалектико-материалистической философии в целом. Теория позна-

ния и характерное для нее понимание практики представит здесь как элемент своего рода теории сознания. Такое понимание активно разрабатывается в современной философской литературе⁴. Оно способствует уяснению особенностей функционирования познания в живом практическом опыте сознания, изучению своего рода культурно-исторической онтологии сознания в структуре практики как способа человеческого бытия, обеспечивающего смысловую данность мира сознанию и уже затем — познанию⁵. Практическая обусловленность познания предстает при этом как такая возможность и необходимость познавательной деятельности, которая создается и реализуется благодаря органической взаимосвязи предметного содержания практики и предметного содержания сознания.

Существует и иная тенденция, основанная на стремлении отграничить практику как философскую категорию, относящуюся якобы исключительно к теории познания, от материально-преобразующей деятельности в целом⁶. В данном ключе разработана эвристически продуктивная трактовка практики под углом зрения диалектически противоречивого единства ее функций: как критерия и как основы познания. Центральный тезис, выражающий специфику данного подхода, — «материальная деятельность лишь в такой степени и в такой своей части является практикой (в онтологическом смысле), когда в ходе этой деятельности рождается знание или проверяется его истинность»⁷, — свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в предложенной трактовке практики не отвергается, а скорее развивается общепризнанное понимание практики, несводимое лишь к теоретико-познавательному.

Чтобы убедиться в этом, необходимо соотнести предметное содержание практики с предметным содержанием сознания и затем познания, а также те формы предметно-материальной и духовной всеобщности, в которых выражается такое содержание. Это мы и попытаемся сделать далее.

Существенной предпосылкой для решения поставленной задачи явилось преодоление узкогносеологической трактовки практики. Имеется в виду прежде всего уяснение общепризнанного статуса практики, в частности того, что идея практики вошла в марксистскую гносеологию через материалистическое понимание истории, а в понимание истории — через решение фунда-

ментальнейших гносеологических проблем, включая те, которые были поставлены предшествующей философией (проблемы истоков и путей преодоления человеческих иллюзий, решение которой проложило путь к диалектико-материалистическому мировоззрению). Тем самым был актуализирован вопрос об осмыслении гносеологических функций практики, ее места и роли в теории познания на основе понимания практики как философской категории, интегрирующей диалектический и исторический материализм в единое философское учение⁸. Очерченный подход стал довольно активно разрабатываться в нашей, а также зарубежной марксистской литературе и, думается, не только не исчерпал, но еще далеко не в полной мере явил свои эвристические возможности, особенно с точки зрения философского осмысления взаимодействия научно-теоретического и мировоззренческого осознания человеком действительности⁹.

Познание функционирует в структуре сознания, а в более широком плане — в структуре человеческого мироотношения, которое сопряжено со способностью субъекта отделять себя от ежеминутных дел как в пространстве, так и во времени, подчиняя эти дела своим спроецированным в будущее жизненным целям. Сознание аккумулирует способность человека переживать воспринимаемое как действительное, прошлое и будущее как настоящее; сама возможность и продуктивная способность познания неотделима от творческой силы того уровня духовного отражения действительности, который именуют мировоззренческим сознанием. Постоянным взаимодействием двух упомянутых уровней обеспечивается своего рода духовная саморегуляция практически-преобразовательной деятельности человека: ведь для того чтобы «творить мир», сознание должно отражать его, а чтобы творить реально осуществимое, оно должно отражать мир в его закономерных связях и отношениях, открываемых познанием и проверяемых практикой¹⁰.

В таком масштабном социокультурном контексте познавательная деятельность и ее результаты — научное знание — рассматриваются как «определенный, начиная с некоторого этапа истории необходимый метод решения проблем, стоящих перед обществом»¹¹. Они не просто детерминируются и проверяются практикой, а входят в живую ткань последней как ее методологи-

ческий регулятив (по крайней мере должны входить, если учесть усложнение и глобальность встающих ныне перед человечеством проблем).

Что касается методологического значения принципа практики для теории познания, то степень его «вплетенности» в живую ткань познавательной активности ничуть не меньшая, чем вышеупомянутая зависимость, ибо этот принцип приходит в гносеологию не как некоторое внешнее обоснование гносеологической позиции марксизма, а как способ анализа собственной природы форм и видов познания на основе выявления их функций в системе человеческой жизнедеятельности, выявления того социально-культурного контекста, внутри которого они функционируют и развиваются и который является реальной почвой их существования¹². Иными словами, гносеологическое содержание практики откристаллизовывается в структуре универсального содержания предметно-материальной целеполагающей деятельности как способа бытия человека. Последняя обеспечивает возможность, необходимость, более того — сущностную нацеленность познания.

Ведь социально-культурная значимость практической деятельности отнюдь не ограничивается созданием «второй природы» как резервуара средств для удовлетворения насущных человеческих потребностей. Трансформируя природу в человеческий мир, в предметную основу культурно-исторической реальности, практика тем самым обеспечивает «доступность» природы человеческому познанию, поскольку именно практическими возможностями человека на каждом конкретном этапе истории определяется та мера предметного содержания, которую несет в себе для человека «природа как таковая». В практике природа получает как форму своей явленности для человека, так и форму своего действительного развития в новой системе реальных взаимодействий, реализующей всякий раз определенную сумму закономерностей и свойств и тем самым проводящей значимую лишь для человека грань между актуальной реальностью (которая представляется природным миром, каков он есть сам по себе) и реальностью потенциальной, спектром возможных, ожидаемых, предвидимых состояний его развития или преобразования¹³.

Из сказанного следует вывод, существенный для интересующей нас темы: практика, обуславливающая познание, — это не просто «часть» предметно-мате-

риальной деятельности как целого, а функция, реализующаяся в способе бытия этого целого. Соответственно вопрос о взаимосвязи познания и практики упирается прежде всего в понимание взаимообусловленности различных слагаемых предметного содержания практики. Такой взаимообусловленности, которая выражает универсальность предметного содержания практики, не сводимую ни к одному из ее компонентов. Практика — процесс, в котором образуют органическую целостность отношение людей к природе, их отношение друг к другу и, следовательно, их отношение к самим себе. Вопрос об этой целостности является одним из центральных для понимания предметного содержания практики и сознания.

«Практически универсальность человека,— писал К. Маркс,— проявляется именно в той универсальности, которая всю природу превращает в его *неорганическое* тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности»¹⁴. Это один компонент, весьма существенный, но, как мы покажем далее, недостаточный для постижения универсальности практики. Чтобы понять подлинное его значение, необходимо выяснить, каким образом и почему «практическое созидание *предметного мира, переработка неорганической природы*» способны выражать не только утилитарно-потребительское отношение к миру, а и воспроизводство всей природы, деятельность «по меркам любого вида»¹⁵, т. е. отличительную особенность процесса освоения мира человеком, не только обусловленную тем, что К. Маркс называет превращением всей природы в неорганическое тело человека, осуществляемым в процессе труда, но и обуславливающую возможность упомянутого превращения.

Способность осуществлять преобразовательную деятельность «по меркам любого вида» превращает практику в универсальную меру всех вещей, попадающих в орбиту мира человека. Эта способность обеспечивается, на наш взгляд, тем, что человеческое мироотношение уже с первых своих шагов выступает как родоотношение, «самоутверждение человека как сознательного — родового существа», т. е. существа, относящегося «к роду как к своей собственной сущности, или к самому себе как к родовому существу»¹⁶. Именно потому, что человек в отличие от животного способен относиться

(относить себя) к своему собственному роду, делать его предметом своего отношения, он способен также превращать в предмет своего отношения и «род» любых иных существ или вещей.

Весьма показательно, что в цитируемой работе К. Маркса указанные факторы — превращение природы в неорганическое тело человека и «родоотношение» — образуют неразрывное целое, где каждый из них есть «свое иное». В таком же плане характеризуется упомянутая целостность в «Немецкой идеологии»: отношение людей к природе обуславливает их отношение друг к другу, и наоборот¹⁷. Обособлять эти факторы можно лишь в том случае, если иметь в виду исторически сложившееся разделение человеческой деятельности на такие, в частности, формы, как производственная, управленческая, педагогическая и пр.

Суть практики заключается в том, что она объединяет эти компоненты в органическую целостность. Именно благодаря такой интегративности практика и способна «вычленять» универсальные «схемы» человеческого мироотношения, функционирующие и в процессе осознания человеком действительности, и в ее реальном преобразовании. Не определяется ли универсальность этих схем спецификой предметного содержания практики, обуславливающей предметное содержание сознания, причем уже на ранних этапах его генезиса? Какова роль в подобной универсализации каждого из компонентов предметного содержания практики и сознания?

Обращает на себя внимание тот факт, что в «Немецкой идеологии» компоненты предметного содержания сознания «ранжированы» следующим образом: отмечая, что сознание не может быть ничем иным, как осознанным бытием, К. Маркс и Ф. Энгельс выделяют в нем 1) осознание «связи с другими лицами и вещами, находящимися вне начинающего сознавать себя индивида» (т. е. «осознание *ближайшей* чувственно воспринимаемой среды»), 2) «осознание природы»¹⁸. Получается, что на первых этапах социогенеза в предметном содержании сознания превалирует осознание человеком своей связи с другими людьми.

Можно ли зафиксировать это, так сказать, эмпирически? Далеко не всегда. Например, при изучении особенностей генезиса сознания на материале истории языка обнаружено наличие в предметном содержании архаиче-

ского сознания двух смысловых слоев: первый — отражение общих закономерностей взаимодействия тел природы, орудий труда и органов человека, использовавшихся в трудовом процессе (так называемых простых, «стандартных моментов технологического процесса»); второй — отражение «значительно более сложных» ситуаций, связанных с процессом общения, общественными отношениями, различными морально-этическими и этически-правовыми нормами социальной жизни, с социальными структурами первобытного общества. Второй слой предметного содержания сознания обнаруживает себя позднее. Означает ли сказанное, что в историческом генезисе мышления имеются два как бы разделенных во времени этапа: на одном развитие мышления обусловлено производственной деятельностью, на другом — процессом общения, социальными отношениями? ¹⁹ Если да, то не получается ли, что имеются и как бы две различные «практики», определяющие предметное содержание сознания: сугубо производственная и сугубо социальная?

Эти ситуации свидетельствуют о необходимости доводить исследование предметного содержания практики до уяснения взаимодействия его различных компонентов, связанных с производственной и социально-преобразующей деятельностью. Раскрытие характера такого взаимодействия есть необходимая предпосылка для понимания особенностей практической обусловленности сознания, в том числе и формирования и функционирования теоретического отношения человека к миру, направленного на познание закономерностей объективной действительности, равным образом и для углубления представлений об особенностях диалектической взаимосвязи между познанием и практикой.

Здесь важно выделить не просто «практичность», а, мы бы сказали, «структуру практичности» предметного содержания человеческого сознания. Необходимость выявления этой структуры диктуется тем обстоятельством методологического плана, что в нашей философской литературе до сих пор не изжитая тенденция сводить практику к материально-производственной, орудийной деятельности. Общественная природа такой деятельности, естественно, признается, но считается настолько сама собой разумеющейся, что в конкретных проблемных ситуациях, связанных с обращением к практике, о ней подчас и не заходит речь. Часто же

общественную природу практики просто «приплюсовывают» к ее характеристике: скажем, практика есть преобразование природы и преобразование социальных структур и отношений. Но тем самым рассмотрение практики оказывается «не доведенным» до общепедагогического принципа.

Данное обстоятельство сказывается и на понимании практической обусловленности сознания. Отличительная черта последнего (ее учет чрезвычайно важен и для уяснения специфики познания) — способность к обобщенному отражению действительности. Общеизвестно, что эта способность «укоренена» в человеческой практике.

Вернемся, однако, к исследовательской ситуации, которая охарактеризована выше и связана с более явной репрезентацией в предметном содержании сознания простых, стандартных моментов технологического процесса, что, казалось бы, свидетельствует о первичности упомянутого слоя в предметном содержании сознания. В таком случае истоки формирования способности к обобщающему отражению логично искать в многократной повторяемости орудийно-преобразовательных воздействий человека на окружающий мир. Можно ли из подобной повторяемости «вывести» обобщенность сознательного отражения? Такое выведение (об этом свидетельствуют, в частности, работы А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Поршнева и ряда других исследователей) весьма затруднительно, если не невозможно, в цепочке «индивид — орудие — объект орудийного воздействия».

Допустимо предположить, что, сколько ни повторяется воздействие одного предмета на другой, само по себе это повторение не «закрепится» в сознании субъекта в форме мыслительной всеобщности. Для подобного закрепления необходима взаимосвязь двух факторов: орудийной деятельности и общения, ибо именно общение, как показал еще Л. С. Выготский, дает импульс процедуре, закрепляемой формами мыслительной всеобщности, — процедуре обобщения. При этом характер взаимосвязи упомянутых факторов не укладывается в схему «сначала — затем». Как писал Л. Фейербах, критикуя эмпиризм, нельзя забывать, «что главным, самым существенным чувственным объектом человека является *сам человек*, что только во взгляде человека на человека загорается свет сознания и ума»²⁰.

Со всей определенностью высказался по этому поводу

в свое время К. Р. Мегрелидзе, исследовавший генезис мышления. «Предметное содержание сознания, — отмечал он, — является не чем иным, как социальным его содержанием, ибо, во-первых, определенные вещи становятся объектами мышления, поскольку их выдвигает историческое развитие как проблему». Мыслительные образования (понятия) всегда выражают известный «цельный контекст», а не просто отдельно взятый изолированный класс вещей; они выражают прежде всего отношение человека к вещи, тот смысл вещей, который придан им в общественной практике. Самое главное в этом смысловом поле заключается в следующем: «...человеческое сознание занято объектами лишь постольку, *поскольку в этих вещах и через них оно мыслит и строит в предположении отношение к другим индивидам*. Вычитите из суммы мыслей, которые вообще приходят человеку в голову, мысли, имеющие отношение к другим субъектам, и посмотрите, сколько вещественного содержания останется в его сознании? В нем ничего не останется, ибо в нем и не было иного содержания» ²¹.

Здесь зафиксировано существеннейшее для интересующей нас темы различие между вещественным содержанием сознания и его предметным содержанием, т. е. социально-предметный характер последнего, образуемый именно специфической взаимосвязью орудийной деятельности и общения. Специфика этой взаимосвязи состоит в том, что она не суммативна, а детерминативна, но отнюдь не в линейном плане: дескать, в процессе орудийной деятельности с необходимостью возникает общение. Не менее значима обратная детерминация: орудийные действия как действия целенаправленные и осознанные возможны только в процессе общения. Не следует ли в связи с этим орудийные действия рассматривать как своего рода «общение посредством действий» (или, что аналогично, как обмен деятельностью)?

Именно на основе подобного «сплава» орудийной деятельности и общения формируется способность человеческого сознания к обобщающему отражению действительности сначала в «деятельностной» определенности последней, затем в ее «самости», т. е. в плане объективных свойств. В ходе обмена деятельностью между различными участниками трудового процесса человеческое сознание приобретает способность отражать деятельность не только в ее субъективной слитости с предметом, но и как объективно-практическое отно-

шение к нему субъекта. Тем самым деятельность отделяется от предметов, начиная осознаваться именно как это отношение; предмет же действия воспринимается сознанием как предмет, способный удовлетворить определенные потребности вообще, независимо от их наличия в данный момент у данного субъекта, следовательно, предмет действия выделяется уже не только практически, но и «теоретически»: он становится «идеей»²².

Таким образом, формирование самой идеационной способности, благодаря которой конституируется предметное содержание сознания, связано с нераздельностью таких характеристик предметного воздействия (этой, если воспользоваться выражением А. Н. Леонтьева, «главной единицы» деятельности), как орудийность и коммуникативность. Из повторяющихся орудийных действий, не будь они изначально коммуникативны, обобщенность сознания возникнуть не может. Не свидетельствует ли сказанное о каком-то особом месте коммуникативности в предметном содержании практики и не этим ли обеспечивается коренящаяся в упомянутом содержании «возможность сознания»?

Обратимся к разным этапам исторического генезиса сознания.

Если посмотреть на ранние его этапы под углом зрения структуры обуславливающих его деятельность ситуаций, то принципиальная значимость общения (рассматриваемого в данном случае как тождественное обмену деятельностью, а не в более поздних специализированных разновидностях) заключается в том, что деятельность каждого отдельного участника первобытного трудового коллектива возможна лишь при условии отражения им связи между ожидаемым результатом собственного действия и конечным результатом всего трудового процесса (связи, которая первоначально выступает в чувственно-воспринимаемой форме). Если же посмотреть на подобные деятельностьнные ситуации в более широком, мировоззренчески-методологическом плане, то нетрудно увидеть весьма существенную особенность конституирования обобщенности человеческого мироотношения, указывающую прежде всего на исток такой обобщенности, который не только обусловлен орудийной деятельностью, но и в не меньшей степени определяет ее. Не означают ли подобные ситуации, что на ранних исторических этапах предметно-материальной деятельности *общение* выступает как непо-

средственно-чувственное «приобщение» субъекта деятельности к универсально-всеобщему предметному содержанию деятельности, представленному всеобщностью человеческого рода?

В самом деле. Первобытный трудовой коллектив — это община. Отношение индивида к природе здесь, как показал К. Маркс, опосредовано принадлежностью его к общине и возможно только на основе такой принадлежности²³. Более того, на рассматриваемом этапе истории скудость освоенных человеком внешних природных сил обусловила то, что род (община) оказался исходным всеобщим предметным содержанием, освоенным индивидами. В более широком плане это означает, что общественные отношения индивидов предстали в качестве всеобщего для данного уровня практического освоения действительности способа деятельности, «снимающего» в общественном виде смысл открытой им объективной силы²⁴. Иными словами, даже самое скудное предметное содержание реального преобразовательного воздействия на природу все же способно универсализироваться благодаря вышеуказанному «приобщению» (обусловленному неотделенностью индивида от общинного целого) ко всеобщности человеческого рода. Не является ли подобная универсализация тем изначальным схематизмом обобщенности человеческого мироотношения, которым обусловлен обобщающий характер орудийной деятельности?

Нам представляется, что именно благодаря упомянутому схематизму обобщенности в человеческом самосознании формируется специфический (неявный) регулятив — целостный «образ мира», являющийся своего рода идеационной матрицей всех разновидностей человеческого мироотношения. Ведь «образ мира», как свидетельствуют психологические исследования, аккумулируя многообразные условия, в которых совершается деятельность субъекта (тот самый «цельный контекст» любых мыслительных образований, о котором говорил К. Р. Мегрелидзе), в функциональном плане предшествует деятельности, инициирует и направляет ее²⁵. Тем самым он с необходимостью входит в предметное содержание практики, точнее, является практически-духовным образованием, как бы аккумулирующим творческий потенциал соответствующего исторического типа практики.

Таким образом, схематизм обобщенности, задавае-

мый коммуникативностью практики, — это и схематизм целостности человеческого мироотношения. Очерченная особенность практики является существеннейшей детерминантой человеческого мировосприятия вообще и такой его слагаемой, как познающее мышление: ведь постижение целостности объекта, осуществляемое в процессе восхождения от абстрактного к конкретному, выступает неременнейшим условием получения истинного знания о нем.

У К. Маркса есть весьма характерное утверждение, касающееся универсальности предметного содержания человеческой практики и предметного содержания сознания: «Человек есть существо родовое, не только в том смысле, что и практически и теоретически он делает своим предметом род — как свой собственный, так и прочих вещей, но и в том смысле — и это есть лишь другое выражение того же самого, — что он относится к самому себе как к наличному живому роду...»²⁶ Случайно ли на первое место в этой иерархии «родоотношений» поставлен «свой собственный род»? Видимо, нет. Приведенная иерархия «родоотношений» нацеливает на уяснение приоритета человекоформирующего начала в предметном содержании практики. Такой приоритет неотделим от изначально коммуникативной специфики любых материально-вещественных образований, вовлекаемых в процесс практики либо формирующихся в нем.

Оговоримся, что, настаивая на особой роли коммуникативности в предметном содержании практики, мы тем самым не умаляем значение практики как все более масштабного преобразования материально-вещественных структур (вплоть до создания искусственных материалов со специально заданными свойствами). Речь идет лишь об *определяющем факторе, обеспечивающем универсальность социокультурного содержания каждого этапа такого орудийно-предметного преобразования*, и, далее, о своеобразии тех социально-предметных образований, которые возникают благодаря практической жизнедеятельности человека.

Остановимся на этом подробнее.

Отличительным свойством любого предмета, с которым имеет дело человек, является то, что этот предмет представляет собой *«бытие для человека... предметное бытие человека... наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому чело-*

веку, общественное отношение человека к человеку»²⁷. Здесь зафиксирована метаморфоза, претерпеваемая материально-вещественными факторами человеческой жизнедеятельности в процессе созидания предметных форм культуры. Однако это в то же время и метаморфоза человеческого мироотношения, связанная с переходом от оперирования функционально-инструментальными характеристиками предметов (теми, которые К. Маркс относил к плоскости «специального практического употребления предмета») к оперированию *универсальными социокультурными смыслами этих предметов*, которое, на наш взгляд, составляет характерную особенность человеческой практики.

Анализируя приведенное выше Марксово высказывание, В. И. Ленин подчеркивал, что его человекоцентрированность характерна «в высшей степени, ибо показывает, как Маркс подходит к основной идее всей своей „системы“... именно к идее общественных отношений производства»²⁸. Не выражает ли эта основная идея К. Маркса суть марксистской трактовки практики? Ведь выявление многомерности предмета практики есть по существу выявление социокультурной масштабности диалектико-материалистического принципа практики.

Уяснению указанного вопроса способствует, как нам представляется, рассмотрение структуры предметного содержания практики с учетом особенностей того явления, которое в современных философских исследованиях получило название «социальная предметность». Процесс освоения мира человека сопровождается вычленением (в первую очередь реальным, а не «теоретическим») трех разновидностей качеств, присущих объектам материальной действительности: природных, материально-структурных качеств (все многообразие качественно различных свойств самой природы); функциональных качеств (репрезентируемых утилитарным назначением объекта в его практическом употреблении); системных, интегративных качеств, которые могут быть структурно не материализованы в конкретных социальных предметах и явлениях, но выражают интегративные характеристики общественного целого (типичным примером такого рода качественной определенности является стоимость). Две последние разновидности качеств — это социальные качества «первого» и «второго» порядка²⁹. Они-то и образуют то, о чем мы говорили ранее как об универсальных социокультурных

смыслах предметов, функционирующих в системе человеческой жизнедеятельности.

Предметное содержание практики охватывает, подчеркнем, все названные разновидности качеств. Правда, каждая из них не существует в чистом виде, более того, наблюдаются весьма существенные метаморфозы их. Скажем, чтобы успешно осуществлять практически-преобразовательное воздействие на действительность, для субъекта практики безусловно важно постижение этой действительности в ее объективных свойствах, однако выявление таких свойств, как и само вычленение тех или иных предметов в качестве объектов воздействия, осуществляется только путем «снятия» упомянутых свойств функциональными характеристиками предметов. Но сказанным дело не исчерпывается, поскольку сами функциональные характеристики при этом как бы «рядятся» в человеческом мировосприятии под объективно-вещественные, природные. То же происходит и с переходом функциональных характеристик предметов в универсальные социокультурные характеристики.

Совсем не случайно универсальное социокультурное содержание практики, выражающее ее человекоформирующую направленность (и образуемое органическим переходом преобразования природных структур в преобразование общественных структур и отношений и далее — в саморазвитие человека как субъекта практической деятельности), — это содержание, постоянно реализуемое в процессе практики, остается как бы «за кадром». В «кадре» же непосредственного наблюдения оказывается либо трудовая производственная деятельность, либо те или иные сугубо социальные трансформации, либо же научный, производственный, социальный эксперимент и т. п. Получается, что практика столь же вездесуща, сколь и трудноуловима в своей целостности, тем более что она представляет собой высший тип органической целостности и, следовательно, максимальную взаимопереходность своих структурных компонентов.

В рамках конкретных деятельностных ситуаций, где предметное содержание практики предстает какой-либо одной из своих сторон, универсальность и целостность предметного содержания практики завуалированы. И дело не только в уже достаточно изученном в нашей философской литературе факте замещения универсаль-

ных социокультурных качеств предмета практического воздействия вещественными, но и в том, что попытка вскрыть общественно-практическую сущность подобных превращенных форм наталкивается на еще один уровень превращенности, когда универсальное социокультурное содержание выступает в нашем мировосприятии как содержание лишь функциональное.

Не является ли очерченный механизм замещения качеств, присущих предметам практического воздействия человека, глубинной предпосылкой такой фундаментальной особенности практики, как *«превращенность»*, если хотите, как склонность «заметать собственные следы»? В результате возникает возможность недооценки социокультурной универсальности предметного содержания практики. Рассматриваемое явление имеет, следовательно, серьезные гносеологические предпосылки. Поскольку в конкретных деятельностных ситуациях социокультурное содержание предметов оказывается как бы угасшим в их инструментальных функциях, поскольку здесь задействована лишь та часть аккумуляруемого данным предметом социально-исторического опыта практической и познавательной деятельности, которая актуализируется *«специальным практическим употреблением»* предмета, постольку *в любой конкретной деятельностной ситуации могут быть замаскированы ее универсальные социокультурные «следы», предпосылки и последствия.*

В связи с этим есть смысл говорить о двух уровнях того явления, которое К. Маркс, анализируя процесс угасания деятельности в ее продуктах, квалифицировал как фетишизм: о растворении социокультурного содержания предметов в их вещественных свойствах и о фетишизации функционально-инструментальных свойств предметов, связанных с их *«специальным практическим употреблением»*. Здесь имеет место своего рода абстрагирование от универсального социокультурного содержания, как предметов, с которыми имеет дело субъект практической деятельности, так и самих конкретных деятельностных ситуаций.

Опасность подобного абстрагирования заключается в том, что показатель, критерий эффективности функционирования того или иного предмета в структуре деятельности, да и самого процесса деятельности, в которую вовлечен данный предмет (совокупность предметов), замыкается на прагматической полезности, сию-

ситуативной отдаче без учета всех слагаемых данной ситуации и более отдаленных во времени либо пространстве социальных и экологических последствий. Примеров тому в сегодняшней действительности более чем достаточно (от Арала до Чернобыля).

Превращенность практики обуславливает трудности, с которыми всегда сопряжены попытки теоретической (в широком смысле этого слова) апелляции к практике. Ведь всякий раз необходимо отыскать тот непревращенный уровень практики, ссыла на который давала бы действительный, а не мнимый, хуже того — обратный, гносеологический эффект. Нам представляется, что данная коллизия, присущая функционированию практики в качестве гносеологического принципа, не получила еще должного осмысления в диалектико-материалистических философских исследованиях (особенно в социальной философии), как и в обществоведении в целом: политэкономии, политологии, теории управления и т. п. Нередко они оказываются в ситуации, которую можно квалифицировать как некритическое преклонение перед практикой³⁰.

Подводит, видимо, привычка относиться к социокультурному диапазону принципа практики как к чему-то лежащему «по ту сторону» конкретных гносеологических и сопряженных с ними деятельности ситуаций. Гносеологическая значимость практики сужается при этом до эмпирической проверки определенных теоретических положений. Сам факт проверки воспринимается как вполне достаточный критерий истинности. Тем самым фактически устраняется важнейшая задача философско-гносеологического осмысления практики — выявление вначале превращенных форм ее и соответственно устранение сопряженных с такими формами псевдопроверки ложных теоретических положений.

Ведь абсолютизация прагматической эффективности процесса деятельности чревата полнейшей «зашифрованностью» определяющего слоя предметного содержания практики, благодаря которому это содержание может универсализоваться до масштабов, обеспечивающих «вписываемость» его во «вселенскую законосообразность» сущего. Материальная действительность как объект преобразования, в результате которого возникает, функционирует и развивается человеческий мир, становится тогда и объектом *освоения*, т. е. превращения ее сущностных свойств в достояние субъекта жизне-

деятельности, а самого процесса такой жизнедеятельности — в способ дальнейшего развития действительности. Кстати, практической жизнедеятельности современного человека зачастую свойственно как раз рассогласование между преобразованием и освоением действительности; слишком многое он, движимый сверхактивностью, превратил в объект преобразования, так и не освоив. Масштабность орудийно-преобразовательного воздействия в подобных случаях не находит своего завершения в соответствующем ей положительном человекоформирующем эффекте (а нередко оказывается даже человекоразрушающей).

Человекоформирующая нацеленность предметного содержания практики проявляется в том, что последняя предстает как весьма специфическое преобразование мира — такое, которое способно нести в себе достигнутую субъектом жизнедеятельности меру освоения «всеобщего способа формирования любой возможной вещи», — отмечает К. А. Абишев. Это «способ действия людей с предметами, но порождающий в себе способ их мышления, понимания мира вещей самих по себе»³¹. Охарактеризованный способ действия получает свое выражение в коммуникативной нацеленности орудийного преобразования человеком окружающей действительности.

Ранее мы говорили о том, что такая нацеленность чаще всего остается как бы за кадром непосредственно предметной направленности практики и сознания. При чем следует учитывать, что превращенность практики имеет и положительную сторону. Не все ее случаи исчерпываются тем нарицательным понятием фетишизма, которое бытует в нашей философской литературе. Дело в том, что превращенность — это еще (а возможно, прежде всего) и такой способ самоорганизации предметного содержания практики, которым обеспечивается возможность напрямую, непосредственно замыкать мировосприятие субъекта деятельности на тех или иных материально-вещественных либо вообще предметных структурах, являющихся объектом его практического и теоретического интереса. Если бы субъект в каждой конкретной деятельностной ситуации был ориентирован только на социокультурное содержание предметной реальности, то неизвестно, дошел ли бы он до практического вычленения таких структур. Способность вычленить «вещь как вещь», а не как способ действия с ней

еще в большей степени важна для сознания, особенно для познания.

На определенном этапе постижения объективных свойств действительности для познающего субъекта, однако, становится существенным уяснение социокультурных предпосылок процесса познания универсальности того социокультурного контекста, в котором оно функционирует. Возрастает значимость форм самосознания науки. Стремление не только к воспроизведению в знании реальности, но и к сознательному контролю за ходом, формами, условиями и основаниями процесса познания (как в плане «внутренней» методологической, так и в плане «внешней» рефлексии, имеющей своим предметом социально-ценностные факторы познания, т. е. его условия и социальные результаты) становится все более характерным для современного научного познания³². Более того, при объективной направленности науки ей, как свидетельствует история культуры, изначально присуща рефлексия над процессом своей деятельности: «...отношение к тому аппарату понятий, которым она располагает, не как к чему-то само собой разумеющемуся, а как к результату определенной деятельности, отправляющейся от известных оснований и предпосылок, которые должны быть выявлены и взяты под сознательный контроль»³³. Методологическая функция философии, особенно выработанного ею принципа практики в его социокультурной масштабности, очень существенна для решения этих задач.

Рассматривая вопрос об отношении научного познания к социокультурному содержанию изучаемой реальности, следует также иметь в виду то принципиальное различие, которое существует между объективными свойствами реальности, интересующими естественнонаучное и гуманитарное познание. Если вспомнить три охарактеризованные ранее группы качеств, присущих предметам, охваченным человеческой деятельностью, то можно сказать, что естественнонаучное познание нацелено на «вещные» свойства таких предметов, гуманитарное — на не вещественные социальные их свойства, т. е. на высший уровень свойств материальной действительности, которые, как мы пытались показать, выражены в коммуникативности предметного содержания практики. Не обходится здесь и без курьезов, когда, скажем, татуировку либо рубцы на теле представителей архаичных племен (знаки социального статуса

индивида) причисляют к предметам материальной культуры.

Впрочем, это связано с тем, что высший уровень свойств материальной действительности отличается и более сложной, изощренной «превращаемостью». Остановимся на ее механизме подробнее. Выражением такой превращаемости является овещнение³⁴. В самом деле, уподобление социокультурных свойств вещественным получает свое предельное проявление в том, что даже человек предстает как особого рода вещь. Продукт человеческой деятельности наделяется самостоятельным бытием, сам же человек оказывается подчиненным этому продукту. Такова «классическая» модель отчуждения, охарактеризованная К. Марксом. Означает ли это, что социально-предметная форма отождествляется с вещественной буквально? Нет, здесь не непосредственное отождествление. Более того, эта форма сохраняет даже видимость происхождения из человеческой деятельности и видимость связи с человеческой сущностью. Вопрос, однако, в том, в каком облике предстает эта сущность? А она в данном случае выступает в виде некоей субстанциализированной, обезличенной всеобщности, абстрактной всеобщности³⁵, по отношению к которой и конкретные индивиды, и продукты их деятельности являются лишь безличной функцией. Тем самым социокультурное содержание предметов человеческой деятельности, самой деятельности и ее субъекта низводится до утилитарно-функционального. Человек выступает как средство, обеспечивающее функционирование абстрактной всеобщности («винтик», «рабочая сила», «кадры» и т. п.). В конечном счете коммуникативность предметного содержания практики подменяется псевдокоммуникативностью.

Воздействие превращенных форм коммуникативности на познавательную деятельность начало исследоваться в нашей литературе сравнительно недавно. Характерно, что здесь обнаружен весьма заметный «след» уподобления человеческой сущности субстанциализированной и обезличенной всеобщности, о которой только что упоминалось. Он обнаружен в ходе критического анализа обезличенно-деятельностной трактовки субъекта познания как некоего суммарного субъекта. В связи с этим не учитывалась такая сущностная особенность познания, как его диалогический характер, его нацеленность не только на результат в виде нового знания,

но и на человекосозидание, на сотворчество, основным содержанием которого является богатство человеческой личности³⁶. Начато также исследование воздействия отчужденных форм общения на формы протекания самого познавательного процесса и формы рефлексии над ним (натурализация и технизация познавательного процесса, его субъекта и предмета; формально-знаковый фетишизм; ценностный нигилизм)³⁷. Следовательно, в плане и общекультурном, и социальном, и познавательном субстанциализация абстрактной всеобщности чревата деструкцией человекосозидающих возможностей практики.

Какое бы конкретное содержание ни вкладывалось в субстанциализированную абстрактную всеобщность — будь-то «абсолютный дух» или «познающий субъект», «совокупность общественных отношений» либо даже «народ», — трансформированное в сущность, обособленную от конкретных индивидов и довлеющую над ними, оно сохраняет статус превращенной формы с определенным образом варьруемой атрибутикой.

Особенность превращенной формы, отличающая ее от классического отношения формы и содержания, подчеркивает М. К. Мамардашвили, состоит в объективной устраненности содержательных определений. Форма проявления получает при этом «сущностное» значение, играя роль некоего самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности определенной системы³⁸.

Если рассматривать в качестве такой системы предметное содержание практики, то возможность его превращения сопряжена, на наш взгляд, с динамикой таких его слоев, как орудийность и коммуникативность. Уже говорилось, что коммуникативность данного содержания всегда скрыта, неявна. Более того, она представляет собой очень специфический глубинный слой содержания, который в процессе своего функционирования всегда как бы превращается без остатка в форму. На стороне же содержания всякий раз оказывается орудийность, в которую «рядится» коммуникативность.

Что это за форма? Такой формой является *всеобщность практики*, выражающая меру универсальности ее предметного содержания. Именно — «меру». И если эта мера недостаточна, она тем не менее может при определенных условиях обрести статус всеобщности. Но в подобном случае мы будем иметь *мнимую всеобщность*,

которая, даже если она не обеспечена соответствующей универсальностью практики, выглядит на поверхности как всеобщность подлинная. Проявления мнимой всеобщности практики многолики: это может быть и недостаточно репрезентативный эксперимент в той или иной исследовательской ситуации и даже в целой отрасли научного познания; определенные отрасли производственной деятельности, те или иные технологические решения; наконец, способы организации человеческой жизнедеятельности, различные формы регуляции общественных отношений и т. п.

Обнаружение и критический анализ мнимой всеобщности определенных форм практики составляют, как нам представляется, одну из важнейших гносеологических задач философского миропонимания, реализация которой не может быть ограничена лишь рамками традиционного предмета теории познания, поскольку предполагает обстоятельное общеполитическое рассмотрение взаимодействия всех слоев предметного содержания практики. Реализация этой задачи имеет, думается, кардинальное значение с точки зрения повышения методологической роли диалектико-материалистической теории познания для современной науки, в особенности для социального познания.

Один из важнейших вопросов, возникающих при рассмотрении предметного содержания практики и формы, в которой выражается это содержание, — это вопрос о том, существует ли реальная альтернатива субстанциализированной, обезличенной, абстрактной всеобщности практики? Альтернатива есть. Она была обнаружена как своего рода *несубстанциализируемая сущность* человека, в частности при критическом осмыслении гегелевской интерпретации человеческой сущности как некоей абстрактно-всеобщей субстанции, которая якобы может «действовать сама по себе», в то время как она, подчеркивал К. Маркс, действует лишь в *«действительном человеческом существовании»*³⁹.

Таким существованием, в котором функционирует родовая сущность человека, является реальная общественная связь — «непосредственный продукт деятельного осуществления индивидами своего собственного бытия», реальная коллективность, названная К. Марксом «живой формой» всеобщности человеческого миротношения, или такой формой всеобщности, в которой «непосредственное выражение общественности обосо-

вано в самом содержании... деятельности»⁴⁰. Живая форма всеобщности человеческого мироотношения, достаточно развитая реальная коллективность может рассматриваться как своего рода эпицентр подлинной, а не мнимой всеобщности практики. Ибо практика есть такое предметно-преобразовательное воздействие человека на мир, всеобщность которого либо реализуется непосредственно в действительном общении с другими людьми, либо содержит непосредственное выражение общественности в самом содержании деятельности⁴¹. В этом случае, при условии высокого уровня общественных связей и отношений, всеобщность практики будет не иллюзорным, а реальным выражением универсальности ее предметного содержания.

Если же уровень общественных связей и отношений недостаточен, если он не соответствует масштабам и глубине того материально-вещественного преобразовательного воздействия на мир, которое осуществляется в рамках определенного типа практики, ущербным в конечном счете оказывается и свойственное такому типу материально-вещественное содержание. Здесь обнаруживается взаимообусловленность коммуникативности и орудийности практики, то, что каждая из упомянутых характеристик есть *alter ego* другой. Эта зависимость находит выражение и в человеческих типах, в степени развитости свойственного им самосознания, т. е. представлениях о мире и о своем месте в мире. Собственно, все слои предметного содержания практики «завязаны» на человеке и на том, что сегодня называют его социальным самочувствием.

Данное обстоятельство убедительно раскрыл, рассматривая связь материального производства, технологии и техники с динамизмом и развитостью социальных структур, М. К. Мамардашвили. «Техника «питается» живым человеческим творчеством, свободой. Ты не можешь быть в гражданской жизни рабом и при этом быть свободным в изобретательстве. Изобретательство требует интеллектуального мужества, определенной раскрепощенности. А сознание одно. И нельзя иметь раскрепощенность в одной точке и не иметь ее в другой. Кто раб перед начальством, раб и перед техническими проблемами. Он не может проявить чудес изобретательности или ответственности. А если и проявил, то это постепенно выдохнется, как сегодня уже почти иссяк запал технического творчества, унаследованный нами на

волне революции от предшествующей эпохи. Это видно даже по человеческому типу изобретателей, инженеров, ученых и т. д. И речь идет о том, чтобы высвободить пространство, в котором человек мог бы распрямиться»⁴².

Значение развитости, коммуникативного содержания практики еще более актуализировано тем обстоятельством, что универсальность предметного содержания практики содержит наряду с орудийностью и коммуникативностью еще один компонент, являющийся следствием диалектического взаимодействия двух первых. Мы имеем в виду такую особенность практики, как рациональность. С чем связан такого рода онтологический статус рациональности? Универсальность предметного содержания практики, если вспомнить сформулированную ранее его трактовку как в первую очередь родоотношения, есть в своем предельном выражении своеобразный сплав сущностных («родовых») свойств человека как субъекта практической жизнедеятельности, естественной законосообразности и человеческой целесообразности. Рациональность практики — это, в нашем представлении, показатель органичности такого сплава. Если же последняя отсутствует, практика превращается в своего рода «гремучую смесь» упомянутых сущностных свойств, несбалансированность которых становится все более опасной для самого субъекта практики.

Серьезнейшую деструкцию претерпевает в случае подобной несбалансированности сущностных свойств человека и окружающей действительности такая компонента предметного содержания практики, как орудийность. Она трансформируется в манипулятивность, примеры которой в изобилии преподносит сегодня практика природопользования. Иными словами, только последовательная рационализация может придать орудийно-преобразовательной деятельности ту степень подлинной универсальности, возможность которой заложена в человеке природой, но, увы, не реализована им.

Рациональность — специфическая характеристика человеческого мироотношения, которая, образно говоря, одной ногой находится в практике, а другой — в сознании. Возможность подобной двойственности задана коммуникативностью как такой слагаемой предметного содержания практики, которая, превращаясь в форму всеобщности, обеспечивает перспективу не только пред-

метно-материального, но и духовного выражения этой всеобщности во всеобщности сознания и, далее, познания. Рациональность является необходимейшей составляющей предметного содержания практики и в то же время ядром предметного содержания сознания, его способности отражать объективно-всеобщие свойства сущего.

Сказанное позволяет представить практическую обусловленность отражательной способности человеческого сознания как бы колеблющейся между двумя различными и в то же время тесно взаимосвязанными в процессе жизнедеятельности полюсами отражения: отражением действительности в ее объективных, независимых от человека свойствах (научно-теоретическое сознание) и отражением действительности в ее значимости для общественного субъекта (мировоззренческое сознание). Взаимодействие названных сторон отражательной деятельности сознания убедительно свидетельствует о его практической природе, ибо как «антропоморфность», ценностная насыщенность мировоззренческого сознания, так и та предельная степень «дезантропоморфизации» представлений о мире, к которой стремится научно-теоретическое познание, в одинаковой степени существенны для практики.

Рациональность последней, как становится все более очевидным сегодня, не в некоем гиперактивизме, когда, как говорил Ф. Бэкон, человек потрясает материю до основания, не в гигантизме, когда, по словам М. Хайдеггера, «количественное превращается в свое собственное качество»⁴³. Рациональность выражается в максимальной вписываемости практики в универсальные закономерности сущего, в том, например, что один из героев братьев Стругацких называл гомеостатическим равновесием начала, преобразующего природу, и самой природы. Осознание данного обстоятельства все более проникает в современную науку. Чтобы люди не упустили из-под контроля не отдаленные, а ближайшие повороты земной истории, чрезвычайно важно «знать границы гомеостаза, те критические значения параметров биосферы... за которыми начинается принципиально непредсказуемое развитие и возможен переход биосферы в такое состояние, в котором места для человека может и не оказаться»⁴⁴.

Проблема рациональности, следовательно, не сводится лишь к научно-теоретическому постижению действи-

тельности, превращаясь в важнейшую общекультурную мировоззренческую проблему, от эффективности решения которой зависят дальнейшие судьбы цивилизации. Роль философии в осмыслении рациональности как необходимой компоненты теоретического (в широком смысле слова) и практического освоения мира человеком особенно велика в методологическом отношении, ибо эта наука как теоретическая форма мировоззрения унаследовала от него интенцию на «соотнесение сущностей» — человека и окружающей его действительности.

Подведем некоторые итоги.

Итак, предметное содержание практики можно рассматривать как три взаимообусловленных слагаемых — орудийность, коммуникативность, рациональность. Центральное среди них, аккумулирующее родоотношенческую нацеленность человеческого мироотношения, — коммуникативность. Именно ею определяется непревращенный или превращенный характер практики. Каждый из слоев предметного содержания практики оказывается противоречивым: орудийности противостоит манипулятивность, коммуникативности — псевдокоммуникативность, рациональности — нерациональность. На уровне формы, в которой выражается предметное содержание практики, обостряется противоречие между подлинной и мнимой всеобщностью практики.

Вопрос о том, в какой степени способна практика, характеризующаяся диалектической противоречивостью и предметного содержания, и формы, выполнять функцию основы, движущей силы развития познания и критерия истинности его результатов, нуждается, на наш взгляд, в основательном осмыслении как один из актуальнейших для современной диалектико-материалистической теории познания. Простой и удобный ответ на этот вопрос по типу: «хорошая», «непревращенная» практика может-де выполнять гносеологические функции, а «плохая», «превращенная» не может — будет неубедителен, если учесть, что в практике «грешное» с «праведным» переплелось и, очевидно, будет переплетаться всегда.

Иными словами, оперирование принципом практики не упрощает, а, напротив, усложняет задачи философствования.

Глава 5. Диалектика субъекта и объекта в деятельности и познании

Анализ познания включает исследование отношения познающего и познаваемого, субъекта и объекта. Если я утверждаю, что знаю что-то о чем-то, то это предполагает одновременное осознание мною следующих моментов: во-первых, того, что мое знание говорит о существовании некоторого объекта, не совпадающего с этим знанием, внеположного ему; во-вторых, что это знание принадлежит мне, что процесс (познания) осуществляю я как субъект; в-третьих, что я претендую на выражение в знании действительного, реального положения дел и могу подтвердить эту претензию посредством той или иной процедуры обоснования знания.

Констатация этих моментов вызывает ряд вопросов, которые были предметом самых острых дискуссий в истории философии. Одним из них является вопрос о единстве и различии субъекта и объекта. Если объект принципиально отличен от познающего субъекта, то каким же образом знание может воспроизводить недоступную ему действительность? Если же субъект тождествен объекту, то вообще теряет смысл разговор о познании, так как последнее обязательно предполагает внеположную ему реальность.

Принципиальное решение этих вопросов в марксистской философии связано с введением принципа предметной практической деятельности. Деятельность соединяет и одновременно разделяет субъект и объект. В процессе деятельности субъект превращает в реальный предмет то, что первоначально было чисто субъективной целью, знанием, планом. Создаваемый им предмет обретает человеческий смысл, функционирует в рамках системы человеческой деятельности, т. е. в определенном смысле выступает как «функциональный орган» субъекта. Вместе с тем деятельность предполагает несовпадение деятеля и предмета деятельности, субъекта и объекта.

Познание как взаимодействие субъекта и объекта вырастает из их предметно-практического взаимодействия.

Осуществление познания как специфически человеческого отражения, воспроизведения существенных характеристик объекта предполагает не только активную деятельность субъекта, но и создание человеком — не как природным индивидом, а как общественным человеком, т. е. в кооперации с другими людьми, — определенной системы «искусственных» предметов, опосредующих процесс отражения и несущих в себе познавательные нормы, эталоны. Эти предметы-посредники, выступая как средства познания, обладают специфической особенностью. С одной стороны, их назначение состоит в том, чтобы давать объекту возможность познавательного отражения характеристик тех объектов, которые существуют независимо от них. С другой стороны, сами посредники являются своеобразными объектами, которые обладают определенными особенностями, имеют внутренние связи, предполагают способы оперирования с ними и существуют первоначально во внешней, опредмеченной форме (и лишь затем усваиваются индивидом и становятся его внутренним достоянием). Но это означает, что осуществление познавательного акта предполагает умение субъекта не только соотносить предметы-посредники с познаваемым объектом, но и владеть способами оперирования той реальностью, которой являются сами социально-функционирующие искусственные предметы.

Может, однако, возникнуть естественный вопрос: не игнорирует ли подобный подход тот несомненный факт, что познание не только осуществляется отдельными индивидами, но и сплошь и рядом происходит внутри сознания, без непосредственного внешнего обнаружения? Я не обязан кого-либо информировать о результатах моего восприятия какого-либо объекта, не говоря уже о том, что в этом восприятии могут быть такие переживаемые оттенки, которые кажется затруднительным выразить объективно. Хотя процесс мышления, как правило, неосуществим без тех или иных средств объективации — произносимых или фиксируемых на бумаге знаков естественного языка, математических символов и т. д., — мы сплошь и рядом мыслим «про себя», «в уме».

Интересные идеи и возникают обычно из глубин сознания, и их словесное оформление требует нередко большого труда. Да и вообще для каждого человека очевидно существование субъективного мира его собст-

венного сознания, являющегося его неотъемлемой принадлежностью и отличного не только от мира реальных объектов, но и от внешних предметных, объективно выраженных действий субъекта.

Мы уже обращали внимание на то, что осуществление акта познания предполагает отличие субъектом себя от познаваемого объекта, что, в частности, включает различение реальных предметов и субъективных состояний сознания. Но чтобы это различение стало возможным, субъективный мир должен быть в наличии, т. е. существовать. Однако субъективный мир, мир сознания, не является некоторой исходной данностью. На ранних стадиях индивидуального развития психики субъекту еще не дан мир объективно реальных предметов, отличных от него и существующих самостоятельно. Именно поэтому для субъекта не существует и он сам, и его мир сознания. А это значит, что субъективного мира на данном этапе развития в действительности нет.

Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский¹, исходя из ряда положений марксистской философии, высказал идею, которая затем легла в основу многочисленных теоретических и практических разработок и была, в частности, реализована в исследованиях А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко² и др. Она заключается в том, что внутренние психические процессы возникают как следствие интериоризации, т. е. вращения, перехода во внутренний план, тех действий субъекта, которые первоначально осуществляются во внешней форме и направлены на внешние предметы. Совершаясь во внешней форме, деятельность предполагает сотрудничество, кооперацию с другими людьми и использование общественно сформированных средств и способов, закрепленных в виде системы предметов-посредников.

В процессе интериоризации внешние действия подвергаются трансформации — обобщаются, вербализуются, сокращаются и вместе с тем становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности³. «Другими словами, высшие специфические человеческие психологические процессы могут родиться только во взаимодействии человека с человеком, т. е. как *интрапсихологические*, и лишь затем начинают выполняться индивидуально самостоятельно; при этом некоторые из них утрачивают далее свою исходную внешнюю форму, превра-

щаяся в процессы *интерпсихологические*... Сознание не дано изначально и не порождается природой: сознание порождается обществом, оно *производится*»⁴.

Внешняя деятельность в виде оперирования теми или иными предметами, знаками, схемами и т. д. — это не просто одно из средств объективации «подлинной» деятельности мышления, совершающейся в уме, а ее настоящая основа и исходный пункт формирования. Любая идея всегда выступает в так или иначе объективированной форме, хотя последняя не обязательно приобретает словесную форму: идея может выступать в виде представления о деятельности с тем или иным предметом и просто как наглядный образ той или иной ситуации; в последнем случае сама деятельность дана субъекту в «свернутом» виде и включена в это представление. Заметим, что перевод словесно неоформленной (т. е. неоформленной даже в плане внутренней речи) идеи в языковую форму — это не просто деятельность по выражению уже готового содержания в другом материале, а процесс развития самого содержания. Вообще каждая форма опредмечивания, объективации того или иного познавательного содержания означает определенное изменение последнего.

Следовательно, и процесс восприятия не является чисто субъективным, ибо предполагает овладение общественно-сформированным миром предметов, которые можно рассматривать как опредмечивание восприятия, подобно тому как, например, научные тексты (хотя, разумеется, не только они) — это опредмечивание мышления. Человек смотрит на мир «глазами общества».

Субъективный мир сознания выступает для индивида прежде всего как поток сменяющих друг друга наглядных образов, представлений. Обратим, однако, внимание на то, что любой наглядный образ (в том числе и образ воспоминания) не только выражает определенное переживание, но всегда относится к некоторому реальному объекту (совокупности предметов, процессу, объективной ситуации и т. д.). А это предполагает различение объекта и самого образа, осмысление объекта представления (с разной степенью детальности) в той или иной сетке объективных отношений: в пространственно-временных координатах, в определенных зависимостях от других объектов и т. д.

Разумеется, существование наглядных представлений предполагает способность мозга «удерживать сле-

ды» прошлых впечатлений. Важно, однако, подчеркнуть, что человеческое представление **относительно** не тождественно этому «следу», ибо всегда **имеет предметно-осмысленный характер**. Вот почему **для животных не существует ни представлений, ни субъективной памяти**: ожившие следы прошлых впечатлений, **во-первых**, субъективно не включены в этом случае **во временную связь** и существуют только в настоящем (т. е. субъективно для животного нет ни прошлого, ни будущего), **во-вторых**, не характеризуют предметный мир, а непосредственно связывают получаемую **извне информацию** с той или иной ситуативной реакцией.

Известный французский психолог П. Жане подчеркивает различие простого повторения и человеческой памяти. При повторении ранее познанного имеет место сохранение прошлого в настоящем (сюда относится область навыков). В социально обусловленном акте памяти (по терминологии Жане, в акте «истинной памяти») налицо рассказ, повествование о ранее бывшем, т. е. принципиально новое действие в настоящем, при котором прошлое выражается символически. Благодаря этому формируется иной по сравнению с реализацией навыков аспект личности, ее самосознание.

Эти же факты обыгрываются и субъективистски интерпретируются в современной экзистенциалистской психиатрии. Когда человек, забыв, куда он положил какую-нибудь вещь, пишет Ю. Цутта, спрашивает: «Куда она могла деться?» и, бездействуя, обдумывает это, он делает то, что не может сделать ни одно другое живое существо, так как он мысленно переводит возможность в действительность. При потере памяти, согласно экзистенциалистской психиатрии, человек не может «выйти» из переживаемой ситуации и **запомнить по-человечески** ⁵.

Наглядный образ как элементарный «квант» субъективного потока сознания всегда предметно осмыслен, и эта осмысленность возникает при формировании самих процессов сознания, т. е. в ходе **интериоризации** внешней деятельности в мире созданных предметов, воплощающих социально-исторический опыт. Понятно, что в различных социально-культурных условиях, т. е. при разной общественной практике, предметные смыслы, воплощающиеся во внешней деятельности, а затем в субъективном мире сознания, будут несколько отличными. Их содержание определяется не только миром

реальных объектов, но и степенью их освоенности исторически развивающейся общественной практикой. Значит, в этих условиях и субъективно переживаемые миры сознания могут в некоторых отношениях отличаться друг от друга, в частности в переживании времени, в характере смены состояний сознания и их взаимных отношений и т. д.

Важно подчеркнуть, что наглядный образ не имеет познавательного содержания, отличного от представленного в нем содержания внешнего объекта, хотя само существование образа и некоторые его переживаемые характеристики, не относящиеся к его предметному смыслу (его яркость или бледность, продолжительность самого акта переживания образа и т. д.), осознаются как принадлежащие субъективному миру, отличному от мира внешних предметов. Наглядное представление всегда указывает на реальный объект и вне этого указания не имеет никакого содержания и смысла. Поэтому, например, невозможно в сознании отделить содержание наглядного представления от содержания представленного в нем объекта (хотя само представление осознается в качестве отличного от объекта).

Предметная осмысленность содержания сознания, возникающая в процессе формирования последнего, т. е. в ходе внешней деятельности с общественно-созданными объектами, пронизывает все его компоненты, включая осознание самых элементарных единиц психической жизни. Обратимся в этой связи, например, к переживанию боли. Безусловны (и хорошо исследованы) физиологическая основа и функция болевых ощущений как своеобразного сигнала, информирующего индивида о необходимости устранения определенных внешних воздействий, представляющих угрозу для организма. Специфически человеческое переживание боли предполагает осознание этого переживания как особого, отличного от остальных, включение его в ряд других состояний психической жизни, локализацию болевых ощущений в теле данного субъекта (мы переживаем не боль вообще, а боль в данном месте руки или зубную, головную боль и т. д.), осознание того, что боль — это всегда моя боль и поэтому не присуща отличным от моего тела объектам, наконец, определенное отношение к самой боли.

Иными словами, хотя само по себе элементарное ощущение боли в отличие от восприятия или наглядного

представления выражает не знание, а переживание, оно тем не менее включено в определенные смысловые, в том числе познавательные, структуры, относящиеся, с одной стороны, к внешним объектам, с другой — к субъективному миру. Эти смысловые структуры усваиваются индивидом лишь по мере формирования его сознания, поэтому следует предположить, что само переживание боли на ранних этапах развития является иным, чем мы только что описали. Младенец принципиально не может локализовать ощущение боли, потому что его тело не существует для него в качестве объекта. Поэтому он как бы весь сливается с собственной болью. Поскольку младенцем еще не осознана область внешних объектов как чего-то самостоятельного, можно сказать, что в случае болевого раздражения для него весь мир выступает как заполненный переживанием боли. Можно предположить и то, что даже это элементарное переживание (как осмысленное переживание) будет различаться в зависимости от культурно-исторических условий, во всяком случае в плане отношения к боли, способов внешнего выражения этого переживания и т. д.

Сказанное о социально-культурной обусловленности процессов и функций сознания, разумеется, не означает отрицания того, что субъективный мир каждого индивида неповторим и своеобразен, что я могу знать о состояниях своего сознания то, что не знает никто другой. (Вместе с тем другой может знать обо мне, о моей личности и даже о моей психической жизни то, чего я не знаю сам.) То, как я воспринимаю, переживаю, думаю и т. д., характеризует именно меня, и только меня. Все дело в том, что процесс интериоризации, в ходе которого и формируется субъективный мир, каждый раз происходит в неповторимых условиях: данный человеческий организм даже в исходном пункте развития психики не похож на остальные; сам процесс индивидуального развития сознания совершается каждый раз в особенных условиях, в неповторимых отношениях с другими людьми; каждый человек занимает уникальное место не только в системе межчеловеческих социально-культурных связей, но и в сетке пространственно-временных отношений.

Когда я воспринимаю тот или иной предмет, я делаю это с определенной точки зрения, недоступной в данный момент никому другому, потому что сейчас именно я занимаю эту позицию, в сам акт моего восприятия вклю-

чен именно мой индивидуальный опыт, заставляющий выделять одни стороны предмета в большей степени, чем другие *. И все же я сознаю в этот момент, что воспринимаю тот же самый объективный предмет, который (с позиций, отличных от моей, и в несколько иных оттенках) воспринимают и другие люди.

Иначе говоря, принципиальные смысловые связи сознания, и в частности система предметных смыслов, при всем их индивидуальном различии обладают общезначимым характером. Таким образом, социально-культурная опосредованность имеет место и в процессе формирования уникальных индивидуальных особенностей данного субъекта, и в ходе усвоения всеобщих смысловых структур, лежащих в основе как познавательной, так и других специфически человеческих видов деятельности. Только в первом случае речь идет о преломлении всеобщих норм и эталонов через осуществление деятельности в конкретных неповторимых условиях, во втором — о присвоении индивидом самих этих норм.

Итак, мы еще раз хотим подчеркнуть положение — ныне оно составляет основу конкретно-психологических разработок — о том, что принципиальные характеристики познавательной деятельности, особенности знания нельзя правильно понять, если исходить из анализа сознания как такового. Ведь само сознание не является готовой изначальной данностью, а формируется и развивается в процессе интериоризации внешней практической деятельности, опосредованной предметами, созданными человеком для человека и воплощающими общественно-исторический опыт человечества. Само предметное бытие человеческой деятельности, писал К. Маркс, выступает «чувственно представшей перед нами человеческой *психологией*...» ⁶.

Нужно сказать, что в немецкой классической философии, прежде всего в системах Фихте и Гегеля, значительное место занимал анализ деятельности внешней объективации, опредмечивания и его роли в развитии сознания, самосознания и познания. Согласно Фихте, необходимым условием становления Я, субъекта, является отчуждение, объективация абсолютным субъектом собственной деятельности в виде не-Я. Гегель идет дальше и обращает внимание на ту роль, которую в про-

* Изучению влияния личностных характеристик на процесс восприятия посвящена ныне огромная психологическая литература.

цессе самосознания абсолютного духа, т. е. в процессе становления его в качестве абсолютного субъекта, играет социальная, межиндивидуальная деятельность, направленная не только на опредмечивание тех или иных представлений, относящихся к сфере духовной культуры, но и на переработку внешней природной среды, т. е. трудовая деятельность.

Важно, однако, подчеркнуть, что не только у Фихте, но и у Гегеля речь идет в конечном счете об объективации, внешнем предметном выражении того содержания, которое потенциально уже заложено в недрах абсолюта, понимаемого как изначально духовная сущность (абсолютное Я у Фихте, абсолютный дух у Гегеля). Поэтому, строго говоря, в этом случае имеется в виду не порождение субъективности, мира сознания, а лишь его спонтанное саморазвитие из глубин абсолюта, развертывание, которое лишь опосредовано деятельностью по внешней объективации. Иначе говоря, прежде всего происходит движение «изнутри» «вовне», а затем обратное движение — углубление сознания в самого себя, становление полноценного самосознания, опосредованного внешним опредмечиванием.

Ход рассуждений в марксистской философии прямо противоположен: прежде всего имеет место движение «извне» «вовнутрь» — интериоризация, присвоение индивидуальным субъектом различных общественно выработанных способов деятельности и в этой связи становление индивидуального сознания и самосознания. Вместе с тем это усвоение совершается в процессе активной предметной деятельности индивидуального субъекта так, что движение «извне» «вовнутрь» выражает не простое причинное воздействие внешнего предмета на субъект, а переход активной деятельности субъекта из внешнего плана в план внутренний.

В то же время деятельность субъекта первоначально направлена не столько на внешнюю объективацию того содержания, которое уже имеется во «внутреннем плане», сколько на формирование последнего. И лишь на этой основе затем осуществляется второй процесс, который начинает взаимодействовать с первым, — экстериоризация, внешняя объективация, опредмечивание внутреннего содержания сознания, процесс, являющийся необходимым компонентом всякого творчества.

Марксистское понимание природы, путей формирования и способов функционирования сознания принци-

пиально противостоит и современному психологическому бихевиоризму, сторонники которого, с одной стороны, практически отрицают возможность научного исследования сознания, а с другой — сами внешние действия (поведение) субъекта понимают не в их социально-культурной опосредованности, а скорее в качестве простых органических реакций.

Из сказанного следует еще один важный вывод. В исходном пункте процесса формирования сознания три вида деятельности выступают как связанные воедино: внешняя практическая деятельность, процесс познания и коммуникация. В ходе осуществления одного и того же предметного действия субъект одновременно выполняет ряд функций: изменяет форму внешнего предмета, совершает акт познавательной ориентировки и усваивает общественно сформированные способы практической и познавательной деятельности, воплощенные в предмете, который он использует в качестве посредника-орудия. Следует при этом заметить, что акт передачи сообщения от одного субъекта к другому надо понимать не просто как усвоение субъектом общественного опыта, опредмеченного в данном орудии, не как совершаемый собственными силами акт распредмечивания «свернутых» способов деятельности, процесс декодирования «посланных предками» сообщений.

В действительности усвоение адекватных способов деятельности с социально-функционирующим предметом возможно лишь при включении субъекта, в данном случае ребенка, в живую коммуникативную связь с другими ныне существующими людьми, взрослыми, которые обучают его человеческим методам использования созданных человеком вещей и тем самым формируют у него культурные установки и нормы, включая приемы познавательной деятельности. Прежде чем ребенок научится действовать сам, он совершает действие в непосредственной кооперации со взрослым человеком (так называемая совместно-раздельная деятельность). Отношение к предмету деятельности и познания здесь, таким образом, явно опосредовано отношением к другому человеку.

Особенно четким этот процесс становится в тех случаях, когда возможности получения сенсорной информации резко ограничены, как это происходит, например, при психическом развитии слепоглухонемых детей. В условиях работы дистантных рецепторов общение

взрослого с ребенком включает значительную долю таких подражательных действий последнего, которые внешне могут выглядеть не в качестве продукта и формы коммуникации, а как выявление спонтанной активности самого ребенка. В случае слепоглухонемы явственно выступает то обстоятельство, что психические процессы и функции «лепятся», создаются в процессе совместно-раздельной деятельности ребенка и взрослого, — деятельности, в ходе которой происходит передача ребенку общественного опыта использования созданных человеком вещей. Развитие этой деятельности характеризуется постепенным уменьшением доли участия взрослого и соответственно возрастанием активности ребенка, в результате чего в конце концов процессы присвоения общественно выработанных способов деятельности и творческого преобразования предметного мира начинают выступать в их единстве⁷.

Впоследствии, на стадии сформировавшегося сознания, непосредственная связь практической деятельности, познания и коммуникации разрывается. Отнюдь не всякое познание прямым образом связано с выявлением способов практического преобразования объекта, хотя глубочайшая внутренняя связь познания и практической деятельности сохраняется на всех этапах и уровнях знания. Очевидно и то, что развитый процесс познания вовсе не совпадает с актом коммуникации, последний выделяется в самостоятельную сферу деятельности, управляемую особыми законами. В самом деле, когда я рассуждаю «про себя», то многие очевидные и привычные для меня ходы мысли я пропускаю, как бы «проглатываю», ряд предпосылок не формулирую явным образом, некоторые исследовательские приемы осуществляю в «свернутом» виде и т. д. Сообщение результатов моей познавательной деятельности предполагает эксплицитную формулировку многого из того, что содержалось в неявном виде (хотя и не всего, ибо возможность коммуникации обязательно связана с наличием ряда общих неявных предпосылок у разных индивидов), а также учет точки зрения собеседника, уровня его знаний в данной области и т. д.

Вместе с тем любая познавательная деятельность — какова бы ни была ее субъективная форма — по принципиальным механизмам осуществления имеет социально-опосредованный характер, а значит, осуществляется не только для меня, но и для любого другого человека,

включенного в данную систему социально-культурных нормативов. Как мы уже отмечали, это относится и к таким познавательным идеям, которые всплывают в сознании в словесно непосредственной форме, ибо наряду с речевым общением существуют и более простые уровни человеческой коммуникации, в частности такой ее основной и исходный вид, как сама предметная деятельность.

В то же время именно в процессе коммуникации в наиболее явном, развернутом виде выступают те внутренние нормы, которые управляют познавательным процессом. «Но даже и тогда, когда я занимаюсь *научной* и т. п. деятельностью, — деятельностью, которую я только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном общении с другими, — даже и тогда я занят *общественной* деятельностью, потому что я действую как *человек*. Мне не только дан, в качестве общественного продукта, материал для моей деятельности — даже и сам язык, на котором работает мыслитель, — но и мое *собственное* бытие *есть* общественная деятельность; а потому и то, что я делаю из моей osoby, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное существо»⁸, — писал К. Маркс.

Если речь идет о теоретико-познавательном исследовании, т. е. о выявлении используемых для производства знания всеобщих предметных смыслов, норм и эталонов, то наиболее подходящим материалом для анализа оказываются процессы, средства и продукты именно коммуникативной деятельности, в которых познание получает опредмеченное, объективированное выражение, а не сами по себе взятые явления сознания, в которых эти предметные смыслы и эталоны выступают как бы уже в «превращенной форме», в «свернутом» виде и не всегда достаточно очевидны для самого субъекта.

Сделаем ряд необходимых разъяснений. Прежде всего заметим, что при теоретико-познавательном анализе речь идет не об исследовании самого процесса коммуникации во всей его сложности и многообразности: решение последней задачи предполагает координацию усилий целого ряда наук, включая теорию информации, семиотику, психологию, психолингвистику, социальную психологию, социологию и др. В теории познания выделяется в материале коммуникативной деятельности лишь та сторона, тот аспект, который непосредственно интересует исследователя: опредмеченные, объективированные, всеобщие нормы, эталоны произ-

водства и оценки знания. Поэтому, строго говоря, теория познания исследует не процесс коммуникации, а некоторые всеобщие условия его осуществления с точки зрения передачи знаний. Поскольку эти условия включены в сам процесс, последний становится эмпирическим материалом для гносеологического анализа * (это, разумеется, не исключает, а, напротив, предполагает взаимодействие теории познания со специальными науками, изучающими как коммуникативные процессы, так и механизмы познания).

Обратим, далее, внимание на то, что процесс передачи знаний предполагает их объективацию не только в виде текстов или высказываний, но и в форме созданных человеком предметов, имеющих социально-культурный смысл. Поэтому теория познания обязана анализировать предметную деятельность в единстве ее практически-преобразовательных, познавательных и коммуникативных функций как основу всего познавательного процесса. Вместе с тем теория познания не может не считаться и с данностью предметных смыслов в сознании, хотя бы уже потому, что объективная предметная деятельность, соответствующая некоторым из глубинных познавательных эталонов (в частности, перцептивным объект-гипотезам), до сих пор совершенно недостаточно научно исследована, и мы не располагаем иными, помимо данных сознания, способами выявления содержания этих смыслов.

Таким образом, в марксистско-ленинской гносеологии осуществляется радикальная переориентация традиционной теоретико-познавательной проблематики, принципиально изменяется сам способ ее постановки и исследования. Исходный пункт анализа знания понимается не как изучение отношения индивидуального субъекта (будет ли это организм или сознание) к противостоящему объекту, а как исследование функционирования и развития систем коллективной, межсубъектной деятельности. В основе последней лежит практическое

* «Реально мы всегда имеем два взаимосвязанных отношения — человек и бытие, человек и другой человек (другие люди). Эти два отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены». «Вопрос о существовании внешнего мира и вопрос о существовании других людей (и отношений к ним) должны быть сплетены в своей исходной постановке, вскрывающей мир и других людей как предпосылку существования, подлинного существования субъекта» (*Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 254, 329*).

преобразование внешних объектов. В единстве с предметным преобразованием осуществляются познавательное отражение и коммуникация. Преобразовательная и познавательная деятельность предполагает создание целого мира социально функционирующих «искусственных» предметов-посредников, в которых объективирован общественный опыт преобразовательной и познавательной деятельности.

Сам индивид как субъект сознания и познания существует лишь постольку, поскольку он выступает как агент этой деятельности, т. е. включается в определенную объективную систему отношений к другим субъектам и овладевает социальными способами деятельности, объективированными в предметах-посредниках. В этом смысле можно сказать, что специфически человеческое познание и его субъект — это «искусственные» продукты. Не в том, разумеется, смысле, что познание имеет дело только с собственными творениями человека и не отражает характеристик реальных, независимо от сознания существующих объектов, и не в том, что субъект — это какая-то химерическая выдумка. Имеется в виду лишь то принципиальное с точки зрения марксистско-ленинской гносеологии обстоятельство, что познавательный процесс, производство знания предполагают разрыв с естественным отношением организма к внешней среде и использование таких эталонов, которые имеют социально-культурный (и в этом смысле «искусственный») характер.

В связи со сказанным следует обсудить тезис, распространенный в философии Нового времени и классически развитый в системах Канта и Фихте, в котором сознание приравнивается к созиданию познавательного объекта. Безусловно, выявление принципиальной связи между знанием и деятельностью, теорией и практикой, подчеркивание активной роли субъекта в процессе познания были существенным вкладом в разработку теории познания. Марксистская философия творчески ассимилировала эти идеи, непосредственно отталкиваясь прежде всего от их разработки в немецкой классической философии. И все же мысль о том, что познание объекта принципиально тождественно его созиданию, конструированию, не является приемлемой для научной теории познания. Можно, правда, попытаться снять субъективистское звучание этого тезиса, переформулировав его как идею о том, что всякое знание представляет собой

набор некоторых потенциальных практических способов деятельности с объектом и что сами эти способы выражают реальную структуру объекта и в этом смысле объективно обусловлены. Но и в такой формулировке рассматриваемый тезис вряд ли приемлем, ибо сохраняется его главный недостаток — непосредственное приравливание знания к способам практической деятельности.

Представление о том, что человек имеет наиболее адекватное знание о тех предметах, которые он сам создал, совершенно неосновательно. Хорошо известно, что можно быть прекрасным ремесленником или техником и довольно слабо разбираться в процессах, которые объективно определяют успех тех или иных технических операций. Сегодня гораздо более изучены закономерности, которым подчиняются, например, физико-химические процессы, чем законы такого человеческого творения, как язык. Далека человек и от совершенного понимания того, как строятся и изменяются научные теории. Мы уже не говорим о том, сколь много предстоит сделать для познания явлений сознания. В то же время существует множество вполне достоверных знаний такого рода, вопрос о практическом использовании которых пока не стоит. Эти знания непосредственно не вооружают способами практического, искусственного воссоздания тех объектов, к которым они относятся (хотя, разумеется, в сочетании с другими знаниями они могут быть использованы в будущем для разработки новых технологий, новых способов практической деятельности).

Безусловно, познание вырастает из практической деятельности и в ходе развития обслуживает материальную практику. Это положение является одним из фундаментальных в диалектическом материализме. Верно и то, что само познание, будучи отражением, всегда выступает вместе с тем особым рода деятельностью, а значит, конструированием, созиданием, ибо деятельность всегда опредмечивается в тех или иных объектах. Важно, однако, подчеркнуть, что познавательная деятельность направлена на воспроизведение свойств реальных объектов при помощи особой системы искусственно созданных предметов-посредников. Конечно, в ходе познания может иметь место также воздействие на внешний объект, например в процессе экспериментирования, но это воздействие связано не с изменением (или

тем более созданием) характеристик объекта, а лишь с производством условий их более четкого обнаружения. (Подчеркнем, что речь идет именно о тех свойствах, которые выступают в данной ситуации как объект познания. Ибо, разумеется, в процессе любого материального воздействия какие-то объективные свойства всегда изменяются, а какие-то даже создаются.)

Где действительно происходит конструирование предметов в процессе познания, так это в деятельности с предметами-посредниками. Человек строит новые приборы, инструменты измерения, создает и развивает научные теории, конструирует модели, определенным образом оперирует знаками и символами и т. д. Но эта созидательно-конструирующая деятельность относится именно к предметам-посредникам и не означает творения познаваемого объекта. При помощи искусственных предметов-посредников субъект воспроизводит другие объекты (и при этом, как мы отмечали, нередко знает последние лучше, чем первые).

Из сказанного не следует, что предметы-посредники сами не могут быть объектом знания. Но в этом случае они перестают быть посредниками и предполагают построение новой системы предметов-посредников, в которой будет воплощено знание о них. Следует специально подчеркнуть также и то важное обстоятельство, что теория имеет целью воспроизведение сущности объекта безотносительно к той или иной конкретной, частной ситуации практического использования в отличие от восприятия, включающего лишь те предметные смыслы, которые непосредственно связаны с наличной общественной практикой. Именно эта особенность теории создает базу для развития и совершенствования практической деятельности, для нахождения способов практического использования новых сторон объектов, которые уже познаны теоретически, но еще не стали предметом технической деятельности. Таким образом, познание, являясь деятельностью и будучи генетически и функционально зависимо от предметной практики, вместе с тем нетождественно последней.

В процессе практической деятельности создаются предметы, представляющие непосредственную ценность для общества и индивидуальных субъектов. Но практика предполагает использование и орудий — предметов, в которых объективирован опыт материальной деятельности человечества. Воспроизведение свойств реальных

объектов в процессе познания может осуществляться лишь путем создания целого мира особых предметов-посредников, подчиняющихся специфическим социальным законам функционирования и несущих в себе общественный познавательный опыт. Предметы-посредники, используемые в процессе познания, представляют ценность не сами по себе, а лишь как носители знания о других объектах. Творчество и познание, следовательно, связаны самым теснейшим образом и предполагают друг друга. Но по самому существу акт познания не может совпадать с актом созидания познаваемого предмета; в противном случае у нас не было бы вообще оснований говорить о познании и знании.

Развившаяся в философии Нового времени идея о тождестве знания и созидания познаваемого предмета кажется полной противоположностью античному представлению о знании как о пассивной рецепции. Однако обратим внимание на то, что обе эти идеи сходятся в одном: в понимании знания как непосредственного схватывания — в первом случае внешнего объекта, во втором — деятельности самого субъекта. В обоих случаях отсутствует понимание того обстоятельства, что воспроизведение в знании характеристик реального объекта возможно лишь путем конструирования другой системы объектов — особого мира предметов-посредников. Иными словами, отсутствует понимание опосредованного характера всякого знания.

В свое время Кант обнаружил очень важную особенность познания: объективность опыта означает не только отношение субъекта к миру внешних объектов, но и отношение к самому себе как объекту особого рода. Правда, Кант дал неверную интерпретацию этого явления как порождения объективности опыта трансцендентальным единством самосознания.

О чем идет речь в действительности? Объективность опыта предполагает по крайней мере, что субъект в состоянии отличить те его моменты, которые связаны с действиями внешних предметов, от тех, которые вызваны субъектом, т. е. обусловлены, с одной стороны, изменением его положения относительно тех или иных объектов (его перемещением, изменением точки зрения, перспективы восприятия и т. д.), а с другой — сменой состояний сознания. Но наличие у субъекта указанной способности означает, что он может относиться к себе как особому объекту, обладающему сознанием, т. е.

может осуществлять акт элементарного самопознания. Значит, в зависимости от той меры, в какой у субъекта отсутствуют самосознание и самопознание, познавательный опыт не может сохранять единство и непрерывность, т. е. не может полностью выступать как объективный.

Известный психолог Ж. Пиаже, основываясь на результатах экспериментальных исследований, выделяет разные стадии в развитии познавательных структур ребенка. Первоначально, на стадии так называемого сенсомоторного интеллекта, ребенок не существует для себя как объект, а значит, и как субъект. Поэтому окружающие его предметы не сохраняют в его опыте постоянных отношений друг к другу и собственных константных характеристик, независимых от течения самого опыта (т. е. не сохраняют постоянства размера, объема, веса и т. д.). Предмет, выпавший из поля восприятия ребенка, например если он не смотрит в соответствующую сторону или если один предмет загорожен другими, не существует для ребенка, как бы «абсолютно исчезает». Познавательный опыт имеет, таким образом, черты разрывности. Взрослые воспринимаются ребенком лишь в качестве особенно активных предметов, источников удовольствий и наказаний⁹.

Пиаже подчеркивает, что на первых стадиях интеллектуального развития субъект не способен рефлексивно относиться к себе, и поэтому его сознание не существует как объективно, так и субъективно. Это значит, что субъект не отличает не только своего сознания от собственного тела, но и последнее от мира внешних предметов; он в собственном опыте как бы слит с миром внешних предметов. Именно поэтому предметы опыта еще не выступают здесь как объекты, т. е. нечто отличное от субъекта.

Вместе с тем было бы неверно истолковывать отмеченные Пиаже характеристики первоначальных стадий интеллектуального развития как своеобразное «экспериментальное подтверждение» тезиса философского субъективизма, согласно которому исходным образом субъекту дан не мир объективных вещей, а он сам и состояния его сознания. Дело в том, что субъект с самого начала развития психики объективно включен в определенные отношения с внешними предметами и другими людьми. Хотя субъективно для него эти предметы первоначально не выступают как объекты, а другие люди

как субъекты, тем не менее лишь знание механизмов развития этих объективных отношений, в которые человек оказывается включенным сразу после рождения, позволяет объяснить развитие познания.

Что касается той формы, в какой для субъекта выступают указанные объективные отношения, то знание ее самой по себе не способно прояснить характер смены познавательных структур. Напротив, сама субъективная форма может и должна быть объяснена исходя из системы объективных отношений. Наконец, отметим, что на первоначальных стадиях интеллектуального развития субъекту не дан не только мир объектов, но и он сам, состояния его сознания. Поэтому та картина исходного познавательного отношения, которую создает философский субъективизм, совершенно не подтверждается данными познавательного опыта.

Развитие структур познания, показывает Пиаже, предполагающее переход от необратимых к обратимым интеллектуальным операциям, включает изменение психологических отношений ребенка со взрослыми. На первоначальной стадии эти структуры «центрированы», т. е. не дают возможности отличать непосредственную точку зрения от объективных отношений предметов. Главным механизмом приобщения ребенка к социально-культурному опыту является подражание взрослому человеку, который выступает как абсолютный авторитет. Для стадий познавательного развития характерны ступени последовательной «децентрации» интеллектуальных структур, т. е. формирования отношения к себе как бы со стороны. Но это означает одновременно и изменение в сторону полной обратимости отношений со взрослым. Иными словами, ребенок начинает относиться к взрослому человеку как принципиально равному себе, как к другому субъекту. Авторитарное давление взрослого сменяется интеллектуальным обменом и познавательной кооперацией. Поэтому ребенок получает возможность в полной мере относиться к себе как к Я, т. е. существу, подобному всем другим.

Таким образом, то, что Пиаже называет полной обратимостью интеллектуальных операций, необходимо включает рефлексивное отношение субъекта к самому себе. Принципиальные черты возникновения индивидуальной рефлексии были в философском плане сформулированы К. Марксом. «В некоторых отношениях, — писал он, — человек напоминает товар. Так как он ро-

дится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек»»¹⁰.

Следовательно, отношение субъекта к самому себе как Я необходимо опосредовано его отношением к другому. Рефлексия рождается не в результате внутренних потребностей «чистого», изолированного сознания, как это представлялось Р. Декарту, И. Фихте и Э. Гуссерлю, а в процессе межчеловеческих отношений, в качестве сложного продукта развития системы коммуникаций. Вместе с тем было бы неправильным толковать вышеприведенные слова К. Маркса в том смысле, что сначала индивид признает другого в качестве субъекта, другого Я, и лишь затем, по аналогии с этим другим, начинает относиться к себе как к субъекту. В действительности существует опосредованность двоякого рода: индивид не только воспринимает себя по аналогии с другим, но одновременно и другого по аналогии с собой. Иными словами, Я и другое Я возникают одновременно и необходимо предполагают друг друга. Этот факт, между прочим, четко зафиксирован в исследованиях Пиаже.

Следует отметить, что взаимное уподобление друг другу начинается, по-видимому, с идентификации действий субъектов. Ведь первоначально человек не воспринимает в качестве объекта даже собственное тело: глаз не видит себя, человек не может взглянуть на собственное лицо и т. д. Существуют такие части тела, которые одновременно воспринимаются и «изнутри» — как нечто принадлежащее данному существу, и «извне» — как объекты, вписанные в мир материальных предметов. Это те органы, посредством которых человек осуществляет предметные действия, которые дают ему возможность передвигаться в объективном мире: руки, ноги. Их внешний вид в принципе не отличается от вида соответствующих частей тела другого человека. В ходе совместной деятельности одного человека с другими (прежде всего ребенка со взрослым), по-видимому, осуществляется идентификация действий разных индивидов, а затем взаимное уподобление индивидов в целом, т. е. одновременное становление Я и другого Я.

Из сказанного о взаимной опосредованности отноше-

ния человека к самому себе и к другому не следует, что мое самосознание и познание мною другого человека принципиально тождественны. Действительно, индивидуальная рефлексия предполагает взгляд на себя как бы со стороны другого. Но я всегда знаю о себе нечто такое, что непосредственно другому недоступно: у меня есть ощущения, переживания, воспоминания, которые даны лишь в акте моей рефлексии и которые я могу скрыть от всех (могу, например, даже не выдать ощущения боли). Я, таким образом, непосредственно «внутренне» чувствую состояния собственного сознания. Этот важный реальный факт был зафиксирован и философски осмыслен представителями субъективистских и трансценденталистских концепций. Действительно, о субъективных состояниях другого я могу судить лишь косвенным образом — либо на основании наблюдения его действий, либо воспринимая ту информацию, которую он сообщает о себе. И в первом, и во втором случае не исключается возможность обмана.

Это, однако, не исключает принципиальной тождественности механизмов психической жизни людей, а предпосылкой успешности реально осуществляющегося процесса коммуникации служит наличие в большинстве случаев взаимопонимания. Мои субъективные состояния даны мне в акте самосознания непосредственно, как они не могут быть даны другому, но я сознаю их в тех формах, которые не являются только моим личным достоянием, а имеют межиндивидуальный характер. Иными словами, акт субъективной рефлексии предполагает, с одной стороны, такой объект, который непосредственно доступен лишь мне (мои субъективные состояния), а с другой стороны, такие средства познавательной фиксации этого объекта, которые предполагают «любого другого» человека (т. е. то, что осознал бы этот другой, если бы имел непосредственный доступ к состояниям моего сознания).

Таким образом, познавательный опыт, обладающий характеристиками объективности, т. е. опыт, предполагающий сознательное отношение субъекта к миру объектов, необходимо включает рефлексивное отношение субъекта к самому себе и отличие своего тела от всех других предметов, а также состояний сознания от объективных изменений в предметном мире. Субъективный опыт, выражающийся в акте самосознания и самопознания, отличен от объективного опыта, отно-

сящегося к миру внешних предметов. Но это не просто два ряда опытов, существующих независимо друг от друга и протекающих как бы параллельно. Оба ряда взаимно предполагают и опосредствуют друг друга. Субъективный опыт становится возможным лишь в результате отношения к себе как к объекту, включенному в объективные отношения с предметами и другими людьми. В свою очередь внешние предметы начинают выступать для субъекта как мир объектов, независимых от него и его сознания, лишь тогда, когда возникает первый, элементарный акт самопознания.

Субъект сознает не только свою включенность в объективную сеть отношений, но и уникальность собственной позиции. Последняя выражается, во-первых, в том, что его тело занимает такое место в системе пространственно-временных связей, которое не занимает никакой другой субъект, во-вторых, в том, что только он имеет «внутренний доступ» к собственным субъективным состояниям. Объективная уникальность этой позиции, как и ее субъективное осознание, предполагается самой структурой опытного знания (это относится к любой попытке применить теоретическое знание для описания опытных данных).

В этой связи заметим, что в ряде теоретико-познавательных концепций эмпиристского толка, распространенных в современной западной философии, критика декартовского тезиса («Я существую» — как высшее основоположение всякого знания) нередко принимает форму отрицания какого бы то ни было серьезного познавательного значения индивидуального самосознания. Так, А. Айер подчеркивал, что положение «Я существую» по сути дела еще ничего не говорит обо мне, так как лишено всякого содержания, не идентифицирует меня с каким-либо объектом. (Это утверждение, замечал Айер, отличается от утверждения о том, что существует человек, обладающий такими-то и такими-то характеристиками.) Высказывание «Я существую», считал английский эмпирик, может быть уподоблено простому указанию на индивидуальный объект, не сопровождаемому словами. Такое указание, как известно, не несет никакой информации. К тому же, по его мнению, возможно знание, не сопровождаемое самосознанием¹¹.

Между тем, как мы пытались показать, самосознание невозможно без отношения человека (субъекта) к себе

как к определенному объекту, обладающему специфическими характеристиками и включенному в сеть объективных отношений. Лишь при наличии определенных содержательных зависимостей опыта может возникнуть акт индивидуального самосознания (разумеется, эти зависимости могут непосредственно субъективно не осознаваться, но в неявном виде они присутствуют всегда). Поэтому Р. Декарт, И. Г. Фихте и Э. Гуссерль были правы, когда утверждали, что акт самосознания и рефлексии в скрытом виде уже предполагает принципиальные характеристики знания. Они ошибались в другом — в том, что пытались понять особенности знания и познавательного процесса, исходя из анализа акта рефлексии, «чистого» самосознающего Я. Действительная же зависимость является прямо противоположной: возникновение Я, его самосознания и рефлексии должно быть понято как результат процесса формирования познавательного опыта, как следствие развития определенных объективных отношений данного субъекта к миру материальных предметов и других людей. Субъект-объектное отношение предполагает отношение субъекта к самому себе и к другим людям.

В современной советской философской литературе можно встретить противопоставление субъект-объектных и субъект-субъектных отношений. При этом считается, что первые характеризуют лишь отношение человека к миру вещей и не должны поэтому иметь места там, где речь идет об отношении человека к самому себе или к другим людям. Однако субъект-объектные отношения — это универсальная характеристика деятельности и познания. И в той мере, в какой отношения к себе и к другим выступают в формах деятельности и познания, они не могут не выступать в рамках субъект-объектных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Другое дело, что межсубъектные и внутрисубъектные отношения не сводятся к субъект-объектным. Субъект не только «дистанцируется» от себя (в случае акта саморефлексии) или от другого (в случае чисто познавательного интереса к последнему или когда он становится предметом исследования), но и «сливается» с собой и другими. Совокупность отношений к себе и к другому не сводится к практически-деятельностным и познавательным. Акт подлинного взаимопонимания обязательно включает и уподобление себя другому, подстановку себя на его место, сопережи-

вание, эмпатию. А последнее, конечно, выходит за пределы субъект-объектных отношений. Следовательно, отношение человека к самому себе и к другому не сводится к субъект-объектным отношениям, хотя и необходимо предполагает их.

До сих пор мы обращали внимание на далеко идущее сходство объективированных видов знания и тех знаний, которые неотделимы от индивидуального субъекта. Отметим, что в целом ряде важных моментов объективированное знание непохоже на то знание, которое присуще индивиду. Если индивидуальный субъект обладает каким-то неявным знанием (например, знанием языка, на котором он говорит, знанием своего Я и т. д.), то он, хотя и не владеет этим знанием в расчлененной и отрефлектированной форме, все же так или иначе сознает его. Что касается объективированного знания, то в нем могут существовать и такие элементы, которые в настоящий момент не осознаются ни одним индивидуальным субъектом.

В самом деле. Допустим, что какой-то ученый выявил до сих пор неизвестные науке зависимости и написал об этом статью. Она была принята и опубликована в научном журнале. Ее прочитало несколько десятков человек, специалистов в данной области. Однако никакого воздействия на дальнейший ход исследований статья не оказала и вскоре была забыта. Прошло около столетия. За это время умерли и автор статьи, и те немногие люди, которые в свое время ознакомились с ее содержанием. Сейчас ни один человек не только не знает того, о чем написана статья, но даже не догадывается о самом факте ее существования. Означает ли это, что объективированное в статье знание вообще не существует? Вряд ли мы решимся на такое утверждение. Ведь статья не исчезла. В комплекте старых журналов она покоится на полках библиотек и только временно не включена в актуальный познавательный процесс. Однако вполне возможно, что исследователь истории науки обнаружит ее, прочтет и придет к выводу, что ее идеи исключительно актуальны. И тогда опредмеченное в статье знание начинает вторую жизнь: оно становится предметом обсуждений, споров, на него начнут ссылаться в научных публикациях, ученые будут размышлять над выраженными в статье идеями.

Обратим внимание также на то, что в любом объекти-

вированном знании, как правило, имеется такое содержание, которое в данное время неизвестно никому из тех, кто пользуется этим знанием. Это содержание может не осознаваться и самим субъектом знания — творцом научной теории или автором художественного произведения. Его содержание выявляется лишь в ходе исторического развития познания. Так, термодинамика и атомно-молекулярная теория возникли первоначально независимо друг от друга. Но это не значит, что, пока связи между этими теориями не были выявлены и осознаны, эти связи объективно не существовали. Далее, когда Кантор формулировал свою теорию множеств, он еще не знал о присущих ей парадоксах, хотя в самом содержании этой теории они уже существовали.

Важно при этом подчеркнуть, что, когда речь идет об осознании того содержания, которое присуще объективированному знанию, происходит не привнесение в него субъективных взглядов, а выявление тех связей, которые объективно имелись в данном знании, но до некоторого времени не осознавались. Это относится и к интерпретации текстов (научных, философских, литературных и т. д.). Конечно, любая интерпретация неизбежно содержит определенный элемент субъективности. Поэтому она может претендовать на истолкование текста лишь тогда, когда в ней раскрыто действительное содержание текста и не внесено в последний ничего не содержащегося в нем. Таким образом, определенные элементы объективированного знания могут не осознаваться в данный момент времени никем из индивидуальных субъектов, составляющих общество.

Обратим внимание еще на одно существенное обстоятельство. Знание, неотделимое от индивидуального субъекта, дано последнему в качестве непосредственно совпадающего с соответствующим объектом (иначе это не знание, а лишь иллюзия). Этого рода знание субъективно выступает как нечто статичное и завершенное. Между тем то объективированное знание, которое возникает в результате научного исследования, в принципе не может быть законченным. Оно обязательно предполагает наличие ряда проблем, «белых пятен», т. е. требует дальнейшей исследовательской деятельности, связанной с выдвижением и обсуждением новых гипотез, их оценкой по определенным стандартам и т. д. Это в свою очередь возможно лишь при существовании разделения исследовательского труда и организации

специальной системы научных коммуникаций: журнальных публикаций, диспутов и иных форм общения исследователей.

Если знание, неотделимое от индивидуального субъекта, непосредственно выступает как адресованное ему лично, то объективированное знание явным образом адресовано всем субъектам, занимающимся изучением данных проблем. Следовательно, способы обращения с объективированным знанием имеют непосредственно коллективный характер. Поэтому исследование научного знания и связанного с ним познания невозможно без анализа систем коммуникации, функционирующих в особого рода коллективах — научных сообществах. К такому выводу все больше склоняется современное науковедение¹².

Но не вытекает ли из сказанного, что объективированное знание — это знание бессубъектное, т. е. что оно существует независимо от какого-либо субъекта, без отношения к последнему? Для подобного вывода нет оснований. Дело в том, что, хотя объективированное знание и создаваемое знание, т. е. знание того или иного индивидуального субъекта, не одно и то же, между ними существуют очень тесные связи.

Прежде всего отметим, что творцом объективированного знания может быть лишь человек, конкретный индивидуальный субъект. А это значит, что по крайней мере в момент возникновения любое объективированное знание должно в какой-то степени осознаваться, т. е. быть достоянием субъекта. Возможность создания компьютером отдельных фрагментов объективированного знания не противоречит сказанному. Ведь результаты деятельности компьютера лишь до тех пор могут выступать как знания, пока за машиной стоит человек, задающий ей программу и способный интерпретировать произведенный ею продукт. Без человека компьютер знания не производит.

Знание не может существовать «в себе», безотносительно к его использованию в познавательной деятельности конкретных людей. Конечно, это использование лишь возможно, но важно, чтобы такая возможность сохранялась. Последнее обеспечивается тем, что продукт, в котором объективировано знание, даже в том случае, если он не входит в актуально совершаемый познавательный процесс, остается включенным в такие социально-культурные связи, которые делают возмож-

ным в любой момент времени использование его в деятельности конкретных субъектов. Это значит, что даже те фрагменты объективированного знания, которые в данный момент не осознаются, сохраняют тем не менее тесную связь с тем, что осознается и используется в актуальной деятельности. Если связь между фрагментами знания, включенными в познавательный процесс и не включенными в него, прерывается, то последние вообще перестают быть знанием.

Допустим, что данная цивилизация погибла и никто не знает языка, на котором говорили ее представители. Хотя сохранились книги, написанные на этом языке, расшифровать их невозможно, т. е. связь между погибшей культурой и актуально совершающимся социально-культурным, в частности познавательным, процессом утеряна. Значит, содержание этих книг не может быть раскрыто для нас в качестве знания.

Познание совершается реальными людьми, конкретными индивидуальными субъектами. Знание в субъективной или в объективированной форме существует лишь постольку, поскольку прямо или опосредованно соотносится с их деятельностью. Вместе с тем саму познавательную деятельность следует рассматривать в социально-историческом измерении: как деятельность связанных друг с другом субъектов — прошлых, настоящих и будущих. Поэтому если какие-то фрагменты объективированного знания в данный момент времени не осознаются ни одним из существующих субъектов, то это не значит, что эти фрагменты целиком находятся вне сознания субъектов, ибо последние могут относиться к субъектам как прошлого, так и будущего.

Социально-исторический характер познавательного процесса, его коллективность выражаются не только в том, что этот процесс осуществляется множеством взаимодействующих индивидов. Само их взаимодействие предполагает существование особых, специфических законов коллективного процесса развития знания, — законов, отличных от тех, которые характеризуют индивидуальное познание. Таким образом, носителем коллективного познавательного процесса не является индивидуальный субъект или простая совокупность последних. Таким носителем можно считать коллективного субъекта, понимая под ним социальную систему, несводимую к конгломерату составляющих ее людей. Заметим, что существует множество коллективных субъек-

тов познания, связанных между собой определенными отношениями. Например, изучение функционирования той или иной «парадигмы» теоретического знания предполагает анализ некоторого сообщества; последнее в этом случае выступает в качестве коллективного субъекта определенного вида познавательной деятельности. Разные «парадигмы», очевидно, определяют различных относящихся к ним коллективных субъектов.

Естественно, «парадигмы» включены в процесс развития научного в целом знания, для которого характерны общие стандарты и нормы. Следовательно, данное научное сообщество является подсистемой более обширной системы: сообщества всех специалистов определенной области знания и сообщества всех людей, занимающихся научной деятельностью. Ученый использует в своей деятельности тот или иной национальный язык, т. е. он включен в общество, в котором говорят на данном языке, но в которое, очевидно, входят и те, кто не занимается наукой. Поэтому функционирование и развитие знания определяется процессами, происходящими в более широкой социальной системе, чем сообщество ученых. Общественные науки непосредственно связаны с социальным положением, интересами и практической деятельностью конкретных социальных групп, и именно последние выступают в качестве коллективных субъектов познания социальных процессов. При этом тип социальной практики определяет горизонт их познавательных возможностей. Человек, не занимающийся наукой, тоже осуществляет процесс познания и, следовательно, тоже подключен к различным коллективным субъектам.

Имея в виду не только разнообразие, но и единство социально-исторического процесса развития познания, общество в целом следует также рассматривать в качестве коллективного субъекта, включающего множество как коллективных, так и индивидуальных субъектов. Именно наличие определенных связей между разными коллективными субъектами обеспечивает единство познавательного процесса. Различие между этими субъектами обуславливает разное понимание того, что следует считать познанием. Полный разрыв связей между коллективными субъектами привел бы к распаду познания как единого процесса, осуществляемого человечеством. В этом случае общество в целом перестало бы быть субъектом познавательной деятельности.

Каждый индивидуальный субъект включен одновременно в разные коллективные субъекты. Различные системы познавательной деятельности с их стандартами и нормами интегрируются в индивиде в некоторую целостность. Существование последней является необходимым условием единства Я. Разрыв связей между различными коллективными субъектами или невозможность интеграции в рамках данного индивида тех систем познавательной деятельности, которые относятся к разным коллективным субъектам, привели бы к распаду индивидуального субъекта.

Таким образом, познание может быть правильно понято лишь в том случае, если оно рассматривается в связи с формами жизнедеятельности конкретно-исторических субъектов, на основе исследования предметно-практической и коммуникационной деятельности коллективных и индивидуальных субъектов. «Если рассматривать отношение субъекта к объекту в логике, то надо взять во внимание и общие посылки бытия *конкретного* субъекта (= *жизнь человека*) в объективной обстановке»¹³, — подчеркивал В. И. Ленин.

Индивидуальный субъект, его сознание и познание могут быть поняты при учете их включенности в различные системы коллективной практической и познавательной деятельности. Но это не означает, что индивидуальный субъект каким-то образом растворяется в коллективном. Во-первых, сам коллективный субъект не существует вне конкретных людей, реальных индивидов, взаимодействующих между собой по специфическим законам коллективной деятельности. Коллективный субъект нельзя уподоблять индивидуальному. Первый не является особой личностью, не обладает собственным Я и не совершает актов познания, отличных от тех, которые осуществляют входящие в него индивиды. Во-вторых, познание, неотделимое от индивидуального субъекта, хотя и тесно связано с объективированными системами знания и в конечном счете определяется последними, непосредственно с ними не совпадает. Индивидуальные особенности моего восприятия, мои воспоминания, мои субъективные ассоциации относятся к знанию, важному лично для меня и доступному только мне. Они не входят в систему объективированного знания, являющегося достоянием всех индивидов и включенного в структуру коллективного субъекта. Иначе говоря, знания, присущие индивидуальному и

коллективному субъекту, не совпадают полностью и не растворяются друг в друге, а взаимно предполагают друг друга.

И. Кант, И. Г. Фихте, Э. Гуссерль выделяли наряду с индивидуальным еще и трансцендентальный субъект. Последний выражает внутреннюю общность между различными эмпирическими индивидами и в этом отношении может показаться похожим на коллективный субъект. Действительно, определенные подходы к идее коллективного субъекта содержатся в концепциях названных философов. Но это только подходы, и они могут быть обнаружены лишь после того, как сформировалось учение о социально-историческом характере процесса познания. Непосредственно же трансцендентальный субъект в их понимании принципиально отличен от коллективного субъекта как конкретной социально-исторической общности.

В самом деле. Трансцендентальный субъект, как считают трансценденталисты,— это особая личность, сверхиндивидуальное Я. Вместе с тем он сверхэмпиричен и существует вне времени и пространства. Но коллективный субъект хотя и отличен от индивидуального, он вполне эмпиричен и имеет определенные пространственно-временные границы. Трансцендентальный субъект доступен лишь «изнутри», со стороны индивидуального сознания и по существу является глубинным слоем последнего. Что касается коллективного субъекта, то его не существует вне системы взаимодействующих индивидов, но он существует в известном смысле вне каждого отдельного индивидуального субъекта. Коллективный субъект выявляет себя и законы своего функционирования не столько через внутренние структуры сознания индивида, сколько через внешнюю предметно-практическую деятельность и коллективную познавательную деятельность с системами объективированного знания. Наконец, коллективный субъект не единствен: одни коллективные субъекты и присущие им формы деятельности возникают, другие отмирают. Отношения между разными коллективными субъектами могут быть достаточно сложными.

Глава 6. **Познание, деятельность, общение**

Понятие общения может быть истолковано двояко. Во-первых, может иметься в виду нечто тождественное понятию коммуникации. Такому отождествлению способствуют и представления обыденного сознания, и традиции нынешнего научного обихода. Тогда речь шла бы о тех процессах сообщения, передачи, циркуляции передаваемого, т. е. о коммуникативных процессах, которые подлежат ведению психологии, социопсихологии, психолингвистики и тому подобных дисциплин. Однако там мы не нашли бы таких содержаний, которые требовали бы проблематизации сущности и природы познания. Скорее там мы имели бы дело с факторами, касающимися механизмов проявления и обнаружения этой сущности, т. е. с факторами, заведомо вторичными или приходящими. В этом смысле справедливо утверждение, что «именно в процессе коммуникации в наиболее явном, развернутом виде выступают те внутренние нормы, которые управляют познавательным процессом»¹. По-видимому, и эта область по-своему небезынтересна. Но она нуждается в исследованиях, сравнительно более специальных или вспомогательных.

Во-вторых, в понятие «общение» можно вкладывать и такой смысл, который по сути онтологичен и в высокой степени мировоззренчески значим. Раскрытие его затрагивает самую сущность познания и его итоговое назначение. Речь идет уже не о коммуникативных процессах, не о поддающихся передаче и сообщению фрагментах или производных проявлениях человеческого бытия, но именно о нем самом как целостности. В последнюю следует включать и те его ярусы, которые не распредечиваемы, т. е. запредельны для деятельности и поэтому коммуникации недоступны. Это объективные, независимые от сознания и степени сознательной коммуникативности, сугубо бытийные отношения между людьми: отношения общения. Это такие онтологические узы, которые связывают субъектов друг с другом двояко: и потенциально, в качестве заставаемой ими, предугото-

ванной им общности, и актуально, в качестве общности, создаваемой и устанавливаемой ими заново. Общение при таком его понимании и есть не что иное, как единство того и другого: *пред-общности* и *вновь-общности* в их взаимном проникновении, т. е. как единый реально-творческий процесс. Содержания, не поддающиеся распрямлению, участвуют как в *пред-общности*, так и во *вновь-общности* ². В последующем изложении познание будет рассматриваться как пронизанное общением именно в этом, онтологическом смысле, не покрываемом категорией предметной деятельности и не подводимом под нее в принципе.

Нам предстоит показать возникновение или как бы порождение проблематики онтологического общения изнутри тех сюжетов, которые исследовались прежде в аспекте деятельностного характера, социальной природы познания, его включенности в культурные контексты ³.

1. Является ли субъект-объектное отношение достаточным началом для познания? Не искажает ли антропоцентризм это отношение?

Речь идет не о том, логически достаточно или недостаточно субъект-объектного отношения для *гносеологической* рефлексии над познанием, но прежде всего о том, достаточно или нет этого *реального* отношения для осуществления познания, а как следствие — и для рефлексии над познанием. Хотя реальное осуществление познания где-то и когда-то в силу исторических обстоятельств, конечно, может и не обладать внутренней полнотой, но от этого придется отвлечься ради анализа проблемы в чистом виде.

Нередко ныне различают и соотносят познавательную деятельность и общение как, с одной стороны, сферу господства субъект-объектного отношения, а с другой — сферу междусубъектности. Это даже кажется часто несомненным. Почти столь же часто предполагают производность общения от деятельности. Но можно ли утверждать сводимость междусубъектных отношений к субъект-объектному, хотя бы в конечном счете? Не является ли допущение выводимости первых из второго данью гегелевскому логическому преформизму и панлогизму, философскому редукционизму?

Присмотримся к многообразнейшему опыту осмыс-

ления таких проблем, как проблема неограниченного духовного становления человека и особенно его ценностной сферы в ее безотносительности ко всем заранее установленным конечным мерилам; парадоксы раннего детского развития; парадоксы в судьбах великих произведений искусства с их многократными возрождениями и обретениями новой силы влияния; трудности в раскрытии высших требований нравственности; главные аспекты угрожающей человечеству гибелью глобально-экологической ситуации; философские предпосылки нового мышления как мышления социально-педагогического, требующего самых радикальных переосмыслений всех оснований. Этот опыт оказывается едва ли совместимым с философским редукционизмом, более того, с самим стилем логики-преформистского мировоззрения, которое притязает на обладание (и способность распоряжаться) достаточно хорошим знанием того, в чем заключается абсолютное начало универсума, его Субстанция, соответствующий ей Миропорядок. Новый же опыт, напротив, говорит в пользу несводимости друг к другу разных уровней, или ярусов, действительности. Он говорит о том, что далеко не всегда осуществимо снятие их друг в друге, а если и осуществимо, то лишь ценой разрушения, практически-действенного нигилизма. Диалектика предстает иначе — уже не как логика тотальных редукций через снятие, а как логика взаимодополнения и взаимопроникновения принципиально разных уровней, как диалектика многоуровневости универсума. Это, конечно, создает немалые сложности, связанные с традиционным концептуальным аппаратом диалектики.

Начнем с выяснения того, в чем состоит необходимость субъект-объектного отношения. Если бы мы попытались кратко резюмировать интегральную значимость всех возможных реализаций познания на почве этого отношения, то получили бы тезис: такова великая, многоступенчатая, драматически-историческая *школа объективности*. В течение эволюции человек восходит по ступеням своего совершенствования в качестве субъекта именно благодаря тому, что он шаг за шагом расширяет и углубляет, обогащает и делает все более многомерной сферу доступного ему для распрямления и познания объективного бытия. Скудное объективное содержание может быть предпосылкой лишь скудной и ущербной субъективности. Человек все больше и больше по-

гружается во внечеловеческую действительность, в беспредельную Вселенную, все интенсивнее распредмечивает ее и выращивает самого себя из ее предметных богатств, наполняя ими свое общение. Исторически более развитый и совершенный человек отличается именно тем, что его сущностные силы гораздо менее замкнуты какими бы то ни было локальными границами, включая и общечеловеческие мерила, и гораздо более непредвзято объективно открыты навстречу самому неожиданному иному предметному содержанию.

Однако путь конкретизации сформулированного тезиса пролегает через вскрытие его антиномичности⁴. До тех пор пока не принят всерьез противостоящий ему антитезис и пока не разрешено (к тому же не одним лишь мышлением, а всей жизнью) противоречие между ними, даже смысл тезиса остается непроясненным. Антитезис же таков: никакой объект сам по себе (т. е. если он не выступает носителем чего-то сверхобъектного), да и никакая совокупность объектов самих по себе, их множество или система в принципе не дают — посредством их распредмечивания — собственно субъектных атрибутов, особенно ценностных устремленностей. Такого рода устремленности суть обязательные предпосылки процесса распредмечивания, начиная с самых ранних его стадий. Именно они направляют этот процесс — придают ему конструктивную, созидательную направленность, преодолевающую, насколько это возможно, стихийность, хаотичность, или энтропийность (в самом широком смысле). Само же распредмечивание каких бы то ни было объектов еще не есть «самопорождение» человека.

Трудность эта, обостренно выраженная в виде антиномии и даже в целой серии вытекающих друг из друга антиномий, толкала к тому, чтобы найти укорененность человеческого бытия в универсально-всеобщих (субстанциальных) характеристиках, которые при отсутствии многоуровневого подхода к ним выступают как однородно природные. Утверждая человека в качестве исторического наследника объективной диалектики на уровне не только объектов, но и субъектных характеристик, утверждая его в качестве «дитя природы», уже невозможно продолжать решать проблему первоисточков человеческой деятельности редукционистским, субстанциалистским способом.

Это в свою очередь вызывало в истории философии

сильнейшую неудовлетворенность субстанциализмом и толкало на антисубстанциалистские пути. Это вело, далее, к забвению или отрицанию всех тех чрезвычайно важных предпосылок, к которым обязывает тезис о наследовании человеком объективной диалектики. Получалось своего рода провозглашение отказа, или отречения, человека от субстанциальных корней. Буквально это формулировалось так: «...будучи всегда и повсюду *альфой* человеческого культурного мира, природа никогда не становится его *омегой*...»⁵ Здесь отвержение чисто натуралистического определения высших ценностей всего человеческого прогресса не оставляло иной возможности, кроме монопольного и автаркического определения человеком ценностей внутри горизонта своего бытия. Но тогда любая внечеловеческая действительность оказывалась заведомо проще, грубее, *ниже* человеческой. Человечество наделялось тем самым способностью идти по пути собственного прогресса, ориентируясь исключительно на потребности и «мерила» *самого же* человечества.

Так объективная диалектика низводилась всего лишь до отправного пункта в преданном забвению *прошлом* и в дальнейшем служила не более чем фоном и средством — «пособием» для человека. «...*Кажется* человеку, что его цели вне мира взяты, от мира независимы...»⁶ И точно так же ему кажется, будто ценности «вне мира взяты», порождены человечеством безотносительно к миру, ко всей остальной Вселенной. Так человечество воздвигает себя на вершину мироздания, ставит себя в центр Вселенной, и человеку приписывается право рассматривать что бы то ни было сверху вниз, как если бы он был обладателем Абсолютного Мерила, «мерой всем вещам». Такова позиция ценностного *гео- и антропоцентризма*.

С точки зрения антропоцентризма и в пределах его парадигмальных возможностей все, что только может быть подведено под категорию «объект», уже тем самым заранее, т. е. по сути дела априорно, ставится (по всем категориальным измерениям) *ниже* субъекта. Это значит, что любое объективное (а не только объектное) содержание рассматривается как обязательно менее сложное, менее развитое, менее совершенное, менее богатое по сравнению с содержанием субъектным. Если же, напротив, допустить принципиальную множественность несводимых друг к другу уровней дейст

вительности, то за объектной сферой останутся только относительно более низкие уровни.

Нельзя упускать из виду и тот крайний случай антропоцентристской позиции в субъект-объектном отношении, когда объект по определению считается принадлежащим предельно низкому уровню бытия — уровню *вещному*. Так, объект сводится к объекту-вещи, а это в свою очередь искажает субъект-объектное отношение, превращая его в отношение субъект-вещное. Такого рода искажение находит себе своеобразную, исторически определенную почву — практически-реальное огрубление как предметных условий и результатов деятельности, так и самого ее субъекта — человека до степени вещеподобия, т. е. их *овещнение*. Последнее во всех аспектах ведет к нигилистическим последствиям⁷. Это явление содержит поучительные для нас уроки: в нем доведены до крайнего выражения все те тенденции, которые потенциально свойственны антропоцентристскому искажению субъект-объектного отношения.

При поверхностном подходе указанные тенденции кажутся ведущими к возвышению субъекта как центра и самостоятельного источника познавательной и вообще деятельной активности. Однако предметная деятельность, исходящая из обедненного содержания объекта, во многом изолирует субъект от мира. Чем больше человек преуспевает в освоении только низших уровней бытия — фактов и объективных законов, обращаемых в средства своего одностороннего распорядительства, тем сильнее и плотнее он загораживает от самого себя уровни более высокие — все, что не поддается обращению в инструментарий монопольного господства в космосе.

Человек лишает себя многих возможностей в исторической «школе объективности», когда ограничивает субъект-объектное отношение горизонтом антропоцентризма. Он теряет перспективу и ориентацию на сверхстратегический итоговый смысл, ради которого и проходит низшие ступени этой школы в пределах субъект-объектного отношения. Дело в том, что простейшие и грубейшие факты и законы принуждают человека признавать их такими, каковы они на самом деле, учат быть не менее объективным и по отношению к *иным* уровням бытия, которые не открываются ему и не навязывают своего существования в их своеобразии и глубоком значении до тех пор, пока он не дорастет до них.

Таковы все ценностные качества, все культурно-исторические феномены, пронизанные духовным смыслом: последний никогда не заставляет нас увидеть его и почитаться с ним. Духовные смыслы не таят в себе ни подкупающих утилитарных выгод или иных приманок, ни «наказания» неудачами. Тщетны всяческие попытки как-то хитро миновать и обойти сторонкой простейшие ступени объективности, когда человеку приходится приучать себя к соблюдению законов естественных, слепых событий — логики грубых вещей. Но печальна участь застрявшего на уровне таких вещей и не извлекающего для себя урока объективности на все иные случаи.

Чтобы субъект-объектное отношение выполняло свое интегральное назначение, оно не должно быть сковано антропоцентристскими ограничениями. Объект может быть сколь угодно сложен, сколь угодно богат, может занимать сколь угодно высокое место на любой шкале сложности. Он может быть сколь угодно неожидан, парадоксально непредсказуем, «странен» и инаков вопреки человеческим способам предвосхищения и «уловления» его в категориальные сети. Значит, истинное отношение субъекта к предмету само по себе есть отношение вполне открытое, в идеале же — безусловно открытое. Но достижимая для человечества мера реальной открытости зависит от его исторически ограниченных сущностных сил.

При ориентации на безусловную открытость любое ограниченное достижение выступает уже не как основание для самодовольства и высокомерия, а как показатель нашего несовершенства, т. е. отнюдь не говорит об окончании поиска или ненужности новых усилий. Действительность и проявляющая себя через нее неисчерпаемо богатая и беспредельная объективная диалектика таят в себе бесконечно много такого, что проходило и проходит мимо нашего восприятия, в том числе и мимо аппарата современной науки *.

Чтобы наша ориентация на возможно максимальную открытость по отношению к могущей встретиться действительности не оставалась лишь неким отвлеченным пожеланием, которое ни к чему конкретно не обязывает, надо изначально допустить присутствие во всяком пред-

* «...Бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть...» (Ухтомский А. А. Письма // Пути в неизведанное. Сб. 10. М., 1973. С. 383).

мете также и того, что не сводится к вещи и к объекту. Это значит, что любой представший перед нами предмет всегда может быть (кроме всего имманентного ему) еще и носителем каких-то более сложных характеристик или чего-то более высокого, чем он сам по себе, — культурно-значимых, культурно-определенных, культурно-содержательных ценностных качеств. Мы не можем ручаться за то, что некоторый предмет никогда не был принадлежащим некоторой былой культуре (или, как говорят, иной цивилизации), что он никогда не будет принадлежащим сфере грядущей культуры. Мы не можем поручиться за полнейшую нейтральность и абсолютное безразличие предмета по отношению к какой бы то ни было иной культуре. Во всяком случае бесспорно то, что всякий предмет, всякий объект явно или неявно берется через посредство человеческой истории как потенциально включенный в ее контекст. Не нужно только думать, будто наш человечески-земной контекст есть единственно возможный.

Весьма показательно и ценно, что ученые-естественники сами стали все больше и больше переходить от прежней «презумпции естественности» всякого объекта к ориентации на «презумпцию возможной искусственности» объекта*. Эта «возможная искусственность», разумеется, отнюдь не наносит какого-либо ущерба нашей направленности на природу и отнюдь не оттесняет исследование естественных законов. Но если даже никакой «искусственности» в объекте не обнаружено и не зафиксировано (что обычно и происходит в пределах естественнонаучного подхода), это не колеблет тезиса, что всякий объект опосредствован исторически определенным контекстом и только внутри последнего может подлежать распредмечиванию.

За любой исторической формой культуры всегда стоят какие-то субъекты, ответственные за нее; ничьей, бессубъектной культуры не бывает. Следовательно, всякий субъект, даже в пределах субъект-объектного отношения, имея дело с определенными инаковыми культурными предпосылками, тем самым вступает в некоторое отношение и к тем субъектам, которые стоят за

* Согласно Н. С. Кардашеву, ««презумпция естественности» каждого астрономического объекта представляется неприемлемой» (Астрономия. Методология. Мировоззрение. М., 1979. С. 321). В. В. Рубцов и А. Д. Урсул полагают, что «любое достаточно сложное явление всегда может оказаться искусственным» (там же. С. 368).

названными предпосылками. В этом уже заложена *возможность общения* субъекта с другими.

Мы видим, таким образом, что предметная деятельность, уже в силу того что она начинается с объекта, не как культурно нейтрального и безотносительного к субъектности, должна начинаться и с исторически определенных междусубъектных связей. Значит, познавательная и вообще духовная деятельность, взятая не в некоем ущербном или фрагментарном виде, а как многомерный и многоуровневый процесс, не уместается в рамках субъект-объектного отношения.

Итак, даже самое субъект-объектное отношение выступает всегда хотя и безусловно необходимым, но *недостаточным*. Особенно важно, что недостаточным оно оказывается именно там, где дело касается наиболее сложных, высших уровней и потенций познавательной и духовной деятельности вообще — тех, которые как раз и ведут ближайшим образом к разворачиванию специфической проблематики и утверждению атмосферы междусубъектного общения.

2. Предметные истоки междусубъектных отношений и историческая драматизация

Нам важно было утвердить принципиально нередукционистский подход, чтобы исключить низведение междусубъектных связей до объектных, а тем более до объектно-вещных. Теперь мы обретаем возможность последовательно проследить, с одной стороны, насколько междусубъектные связи нуждаются в постоянно обновляемом предметном содержании, а с другой — как познавательное духовное раскрытие конкретности и многоуровневости объекта требует опосредствования через отношения между разными субъектами, *через общение* между ними.

Чтобы междусубъектные связи не переставали быть именно таковыми, т. е. чтобы они не деградировали, каждый из участников этих связей должен воспроизводить атрибуты субъективности. Ведь если люди прекращают относиться друг к другу именно как люди-личности и перестают выступать друг для друга обладателями специфических культурно-личностных качеств, то и связующие их узы утрачивают междусубъектный характер, обесчеловечиваются.

Каким же образом каждый участник междусубъект-

ной связи может хотя бы в минимальной степени обладать субъектными атрибутами? Он не может достигнуть этого посредством их сохранения по инерции, т. е. удержания в неизменном виде того, что прежде имел. Дело тут не в защищенности личностных качеств человека от воздействия извне. Устойчивость духовная, собственно субъектная не только не похожа на устойчивость твердого тела, а даже прямо противоположна ей. Высшие ценности духовного мира не потому устойчивы и живы, что будто безотносительны к остальному миру, но потому, что верность им обязывает субъекта к наиболее подвижному, устремленному, творческому отношению к миру. Духовная устойчивость — это не прочность упрямой и слепой самотождественности, но непрерывность творческого самообновления, имеющего открытую в беспредельность перспективу. Значит, субъект остается субъектом отнюдь не по инерции, а, напротив, вопреки инертности, благодаря непрерывному самообновлению, преодолевающему косность, омертвелость, рутину.

Однако в отличие от живого организма в биологическом смысле субъект обновляет свой предметный мир и питаемые им сущностные силы именно как силы предметно-содержательные. Это значит, что субъект не ассимилирует свою среду, подчиняя ее лишь своей собственной мере и сущности, но распредмечивает самые разнообразные, инородные по отношению к себе меры и сущности во всем их своеобразии. Благодаря этому человек становится способным раскрывать шаг за шагом и свои глубинные, «дремлющие потенции» (К. Маркс) — назовем их «виртуальными». Актуализируя потенциальное и распредмечивая его, субъект и сам становится иным. Все это позволяет вновь и вновь разгораться живому пламени его искания и творческого самообретения.

Обогащая свой предметный мир, субъект делает себя способным к новым взаимным связям с другими. Парадоксальность междусубъектного общения такова: чтобы быть *самим собой*, человек должен до определенной степени быть *не совсем тем же самым*, каким был прежде. Если ему нечего принести на встречу с другим, кроме повторения самого себя прошлого, стереотипного в действиях и словах, то ему просто-напросто нечем лично быть по отношению к другому. Значит, он не шагнул вперед во времени и вопреки течению его, вопреки диалектике не всмотрелся в мир свежим взгля-

дом, не вслушался в него, освободившись от эха минувших времен, не стал созвучен неповторимости вновь наступившего момента. Напротив, если человек при встрече с другим оказывается не просто копией себя же вчерашнего, а обогащенным новыми реальными или идеальными содержаниями жизни, если приносит другому что-то найденное и обретенное им, вновь возникшее в его душевно-духовном мире, то тем самым он и другого воспламеняет радостью духовного обогащения и обновления. Значит, междусубъектная связь каждого из ее участников постоянно нуждается во все новом и новом предметно-содержательном вкладе.

Существует и обратная, причем не менее существенная, зависимость. Общий, диалектически противоречивый и многомерный путь познания (и культуры вообще) слишком сложен и не однолинеен, чтобы по нему мог продвигаться индивид-одиночка. Познавательная «драма» требует весьма *многих* ролей для ее верного «разыгрывания». Интегральный путь познания, объемлющий множество разноплановых движений, направлений и переходов, множество разных уровней, в целом спиралевиден. Но не только индивид, а и большие социальные группы, даже целые культурные эпохи в их самодвижении выражают каждая лишь некоторый ограниченный участок этого интегрального пути. Всякий узкопарадигмальный подход оставляет достаточно многое в предмете за своими рамками, а именно то, что отвечало бы существенно иному подходу. Оставленное без внимания содержание, даже если все-таки вовлекается, то лишь в неявном и «неузнанном» виде.

Вот тогда-то и сказывается замечательнейшая и ничем не восполнимая роль *другого* субъекта, другой культурной парадигмы, исторически иного подхода. Другой субъект, именно потому что он не связан «парадигмальными» ограничениями первого, распредмечивает нечто не поддававшееся распредмечиванию и выступает личностным носителем иного предметного содержания, в том числе и извлеченного из того же самого объекта. Он не столько перешагивает границу, разделявшую разные, чрезмерно разнородные содержания, сколько приходит как бы с иной стороны к данной границе. Благодаря этому он приносит иные содержания в виде особенностей своего культурно-исторического мира. Так и случается, что казавшиеся недоступными аспекты той же самой действительности открываются не непо-

средственно, а *через посредство других* субъектов.

Весьма часто случается, что один субъект несет и представляет исторически относительно ложное содержание, коль скоро речь идет о познании, тогда как другой выступает носителем преимущественно более истинного содержания. Именно этот случай извлекался как «образец», как «норма», как эталонная ситуация для построения встречи между разными субъектами, культурами, эпохами и т. п. Вопреки этому нас здесь привлекает иное: те многообразные случаи, когда ни один из вступающих в связь субъектов или культурных групп, ни одна из парадигм отнюдь не лишена положительного опыта, а следовательно, несет другим нечто такое, чем они могли бы посредством общения обогатить себя.

Таким образом, история познания включает в себе такие междусубъектные связи — не только между личностями, а и между культурными группами, эпохами и т. п., — посредством которых предметные содержания как бы разворачиваются и распределяются *между разными* участниками этих связей, а тем самым претерпевают своего рода *драматизацию*: каждый несет свою относительно важную долю общего богатства содержания, большую или меньшую, но подлежащую — через немалые дисгармонии — в конечном счете включению в постепенно складывающуюся, всегда открытую интегральную гармонию. Однако, увы, далеко не сразу устремление к сугубо неантагонистическому, полифонически-диалектическому синтезированию разных познавательных и культурных содержаний в живые целостности может быть освобождено от антагонистических и иных превратных форм.

3. Взаимопорождение и взаимопроникновение человеческого познания и общения

Социально-психологическое понятие общения имеет свои основания и свою оправданность в определенных границах. Желательно, однако, методологически четко уяснить эти границы. Когда в специально-научном исследовании требуется описать и раскрыть взаимовлияния и взаимодействия между индивидуальными сознаниями, психологическими установками, эмоциональными состояниями в какой-то группе, тогда это понятие уместно. Такого рода межперсональные связи, конечно, не сводятся к тому внешнему их слою, который

выступает как *непосредственно* наблюдаемая и переживаемая реальность. Нетрудно доказать, что и это психологическое взаимодействие уже включает в себя также ненаблюдаемые и недоступные непосредственному фиксации компоненты. Но главное заключается в том, что эти связи, эти «информационные контакты» и локально-ситуативные соприкосновения или обмены могут лишь контрастно подчеркивать своей, вообще говоря, необязательностью для сущности каждого из участников именно то, что *такие* коммуникативные процессы отнюдь не предполагают сущностной сопричастности субъектов, т. е. их общности по бытию.

Сопричастность и глубинная общность не сводятся не только к осознаваемым, а и к неосознаваемым аспектам социально-психологического общения, включающим в себя связи неявных установок, скрыто действующих привычек или критериев поведения, подсознательных склонностей к избирательности, «подразумеваемых» оценок и т. п. За совокупностью этих процессов лежит принципиально отличная от них сфера и проблематика: насколько люди на путях своего культурно-исторического становления претворили и насколько не претворили свою потенциальную внутреннюю общность. Другими словами, насколько они превратили предпосылки взаимной общности в реальный процесс взаимопроникновения судеб и в практику отношений.

В социально-психологическую коммуникацию вступают только фрагменты бытия человека или даже лишь информационные и эмоциональные проявления, личные или безличные. И чем изобильнее эти частичные выражения, тем меньше бывает места для глубинного общения, тем меньше присутствия в них подлинного Я каждого. Коммуникативная адаптированность и ролевая «гладкость» усредненного поведения может лишь маскировать отсутствие действительного общения и реальность *разобщенности* между индивидами.

Психологическая и другие виды коммуникации тоже по-своему гносеологически значимы, хотя, скорее, в аспектах более специальных. Но никакого *источка*, который *порождал* бы познавательные или иные ценностные устремленности как таковые, в коммуникации нет, да и не может быть, ибо затрагивает она преимущественно подсобную инструментальную область — область средств, несущих служебно-техническую и вспомогательную функцию. В онтологическом же общении, напротив,

встречаются лицом к лицу многообразные, разнородные социально-культурные содержания, которые своими противоречиями проблематизируют целостность бытия каждого человека и требуют от него не только исследовательских, но и жизненных, творчески-поисковых усилий для их разрешения.

Онтологическое общение направляет прилив деятельной энергии в определенную область познания, науки, но не «снизу», не со стороны оснащенности средствами, а «сверху», особенно через безусловную ценностную мотивацию. Без этой «заразительной» роли общения, без непосредственной персонификации разными личностями разнородного социально-исторического опыта, который сам по себе оставался бы лишь суммой безличных потенций, многие познавательные задачи так и не были бы даже поставлены. Тем более они не смогли бы без общения стать притягательными для искателей истины. Заряжая индивидов энергией познавательного поиска, онтологическое общение одновременно по меньшей мере приоткрывает им возможности выхода за пределы узкодисциплинарных и «парадигмальных» рамок. Именно общение как встреча субъектов с существенно разнородными стилями мышления, ориентациями и духовными горизонтами может принципиально раздвинуть границы и раскрыть глубину познавательной и общекультурной проблематизации. Разумеется, мотивирующее влияние онтологического общения может иметь место только там и тогда, где и когда есть независимое время и пространство для самого этого общения — *вне* или *над* теми правилами, которые детерминируют узкорольное, прикладное и функциональное поведение со всеми его условностями, со свойственной ему коммуникативностью.

Онтологическое общение не только порождает познавательные устремленности, не только дает им первоначальный толчок и ценностные ориентиры, оно также пронизывает собой наиболее динамичную деятельность как раз в решении самых трудных, самых сложных, творчески-проблемных «ситуаций», где должны быть синтезированы принципиально разные уровни самой действительности. В известном смысле можно сказать, что существует *такой класс познавательных задач*, которые разрешимы только посредством общения, причем именно неформализуемого, нерегламентированного никакими посторонними соображениями или факторами.

Только отношения общения помогают снять ограничения и позволяют встретиться друг с другом не просто исполнителям некоторых познавательных функций, а самим внутренним содержаниям культурно-исторического процесса, самим жизненным богатствам *явного* и *неявного* опыта, самим реально многомерным человеческим мирам. При этом все зависит от способности и готовности каждого принять и воспроизвести в себе субъектный мир *другого* вместе с его бесконечно устремленными векторами — ценностными мотивами, с его высшими ценностями. Только через реконструкцию другого субъекта и *его* видения себя каждый субъект впервые достигает начал адекватного самосознания и самопознания, точнее — самопонимания *. Следовательно, онтологическое общение вырабатывает саму возможность обретения субъектом того самостоятельного внутреннего смыслового пространства, в котором он впервые становится способным — без подмены себя подлинного — *самоотчетливо* и *самоответственно* совершать познавательную деятельность, направленную на мир и на самого себя.

Конституирующее, воистину фундаментальное значение онтологического общения для самой возможности познавательных ценностных устремленностей и для решения большого класса познавательных задач, которые неразрешимы без принятия и реконструкции субъектом личного мира других субъектов, дает ключ к проблематике собственного *понимания* в отличие от объяснения. Посредством понимания и при его благотворном влиянии не только обнаруживают себя более адекватно и полно, но даже вообще *впервые возникают* наиболее тонкие компоненты и характеристики человеческого субъектно-личностного мира. Речь идет о тех характеристиках, которые вне атмосферы понимания не смогли бы начать процесс становления, а отмерли бы, не получив необходимой поддержки. В этом смысле понимание есть не только сила, выявляющая то, что есть, но и истинно творческая сила, условие совершенствования и подлинной духовной работы человека над собой, в особенности с помощью познания истины.

* «Само бытие человека... есть *глубочайшее общение*. Быть — значит *общаться*... Быть — значит быть для другого и через него — для себя» (Базгин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 312).

Наконец, особенный случай существенного участия общения в познании представляет собой высшая, творчески-поисковая форма *критики*. Для такого рода критики, в том числе в научном познании, важна не столько работа по расчистке предметного поля от заблуждений, сколько обретение (через поиск, через соотнесение разных способов концептуализации) своей собственной «позиции». Критика предстает как обобщающий поисковый путь субъекта к собственным, но ранее не доступным, более высоким и совершенным принципам, открывающимся ему через драматическое столкновение исторически сменявших друг друга форм познавательной деятельности, а также через синтез и полифоническое сотворчество дополняющих друг друга уровней познания. Самокритичность субъекта в познавательной культуре, его принципиальность и мыслительная обязательность предстают как плод вобранного им в себя опыта общеисторической взаимной критики между различными типами познавательной деятельности, между разными парадигмами. Критика выступает как необходимая и плодотворная именно для *позитивного* решения проблем.

Посредством сопоставлений можно убедиться, что познавательные задачи, которые требуют для своего разрешения критики именно поисковой, т. е. ведущей к обретению и обогащению субъектом собственной ценностной позиции, с одной стороны, и задачи, познавательный характер которых порождается логикой онтологического общения, — с другой — это или сопряженные, или переходящие друг в друга, или по сути дела даже почти совпадающие друг с другом задачи. Но, будучи таковыми, они резко отличны от чисто исследовательских проблем, разрешимых в пределах отношений присвоения-освоения, при мотивированности деятельности более или менее своемерными интересами и потребностями. Исследование отличается тем, что вооружает субъекта познавательными результатами, позволяет ему сохранить *ту же самую* онтологическую и аксиологическую позицию, помогает в попытках остаться прежним, но зато лучше и более полно оснащенным возможностями и инструментами (вектор *своецентристский*: к себе и ради себя).

Задачи *искания*, напротив, зовут субъекта отправиться в путь своего становления *иным*, мотивируя это уже *не своемерными интересами, а притягательными ценно-*

стями (вектор *инакоцентристский с доминантой на других и с устремленностью к другим*). Самое важное и своеобразное как раз и заключается в том, чтобы осмыслить, как сильно изменяется познавательная культура во всех ее измерениях и параметрах, когда из атмосферы *своецентристских исследовательских интересов* познание переносится в атмосферу ориентирующих искание ценностных *притяжений*. Тогда-то уже не просто деятельностная и социальная природа познания (имеющая место и в закрытых социумах, при социумо-центризме), но именно *онтологически-общительский характер* выходит на первый план и начинает задавать тон.

Таким образом, человеческое познание как особенная сфера культуры всегда имеет не только социальный и деятельностный характер, но равно и принципиально не покрываемый последним и не выводимый из него *общительский характер*, т. е. имеет онтологически-общительские измерения. Но это не просто вопрос об уточнении концептуального строя наших понятий, ибо онтологическое общение неподводимо под предметную деятельность и не может быть осмыслено в деятельностной парадигме. Это еще и нечто гораздо более важное — переориентация способа конституирования познания внутри остальной культуры, его стратегии и конечного, высшего назначения, благодаря которым познание может быть высвобождено из объятий человеческого социально-группового или общечеловеческого *своецентризма*, из-под установки на покорение мира и господство над ним как над миром объектов-средств, из плена человеческого самоутверждения. И тогда познание в полной мере послужит самораскрытию человечества, принятию им своего призвания в незавершимой встрече с вселенской действительностью на началах неантропоцентризма. Это и приводит нас к проблеме творчества.

Глава 7. Познание и творчество

1. Насущность креативности

Вопреки звучанию темы данной главы ее задача далеко не исчерпывается *соотнесением* сферы познания (включая и научное познание) и специфически творческого отношения субъекта к миру, которое осуществляется далеко не только в познании. Главная ее задача в другом — в том, чтобы сосредоточить внимание на проходящих сквозь всю иерархию культурных контекстов *предельных возможностях и итоговых смыслах* познания и творчества (а также на бесконечных *устремленностях* субъектов ко все более и более полному претворению этих возможностей) и верно понять их. Обращаясь к такого рода аспектам, следует позаботиться о достаточной степени независимости от «подсказок» со стороны наиболее массовидных фактов и тенденций, от привычного видения творчества извне — с позиций нетворческих. Мы должны обрести ориентированное на бесконечные устремленности *ценностное видение*. Тогда важно будет увидеть в познании и в творчестве не что-то отделимое от субъекта, от конкретного человека, а то, без чего он не может *состояться* в своем универсальном, смысло-жизненном созидательном призвании. Значит, главное и определяющее для нас заключается не просто в соотнесении познания и творчества, а в прояснении того, как может человек поистине стать и быть тем, кем он *должен и призван* быть *посредством* познания и *посредством* творчества. Но при этом не может быть и речи о низведении их до уровня *средств* или функциональных инструментов для удовлетворения каких бы то ни было человеческих потребностей, индивидуальных или коллективных. И познание, и творчество всегда есть нечто существенно и принципиально большее, нежели инструмент или средство.

Такой ориентации способствует уже достаточно выявившая себя и продолжающая усиливаться тенденция к *гуманитаризации* всех наук, в том числе негуманитарных социальных наук, естествознания и научно-

технического творчества, более того — к их *гуманизации*. В особенности это связано с бурной глобализацией проблем науки, технического прогресса, с их экологизацией; постановка под вопрос самого существования человечества на Земле до крайности заострила их.

Это касается не только той всегда имевшей место социальной обусловленности и культурной опосредованности ¹ характера деятельности, ее норм и идеалов, ее мотивов, которая сказывалась *независимо* от ее осознания и приятия и *помимо* таковых ², но и сознательного включения культурно- и ценностно-определенных ориентаций в научное исследование, в его состав и структуру ³. Более того, все чаще звучат голоса о включении ценностных измерений даже в самый предмет естественнонаучного исследования, например в общей биологии, в истолковании эволюции, в изучении жизни и живого вообще ⁴.

В передовых отраслях науки все настоятельнее проявляется неудовлетворительность прежней, лишь *объектно* ориентированной научной образованности с ее ценностным нейтрализмом и техницистским настроем на какую угодно приложимость или на безразличие к таковой. Время выдвигает совсем иную задачу: ради осуществления человеком самого себя и своего назначения в качестве общественного субъекта он нуждается в своем развитии как *познающий* субъект. При этом его культурный мир должен быть все более насыщен гуманитарным и ценностным содержанием, быть все более диалектичным.

Почти та же тенденция одновременно и с не меньшей силой выдвигает на первый план предельные возможности и ценностные ориентации творчества как такового, всех созидательных и самосозидательных (обращенных также и на себя) возможностей человека-субъекта. Многократно возрастает *риск* ценностной неоправданности, в конечном счете недопустимости человеческой деятельности (а тем более безоглядной активности и готовности «натворить») в тех родах занятий, которые издревле концентрировали в себе творческие потенции как удел и привилегию немногих. Таковы писатели, поэты, вообще художники всех жанров, изобретатели, оригинальные воспитатели, врачи, реформаторы общественных структур и т. д. Профессиональная форма таких занятий, наделенная «элитарной» исключительностью, ставила созидание в ситуацию трагического разрыва, при-

чем трагического и для них и для всех других, с жизнью огромного множества людей и даже с их собственной жизнью, с нетворческим бытием. Ныне, как никогда прежде, эти занятия явно подлежат строжайшей ценностно-смысловой, критической оценке и нравственно-духовному контролю, притом не по локальным («своим»), а по универсальным критериям.

Однако важнее другое — то, что затрагивает едва ли не всех независимо от профессиональной принадлежности. Дело в том, что ныне практически каждый человек оказывается вплетенным во все более сложную, иерархизированную и многомерную систему социальных ролей и функциональных связей, многократно пересекающихся друг с другом. В ролевое поведение включается и занимает в нем все большее место то, что формально-инструктивно предписано извне, стандартизировано; в нем все больше безличных готовых образцов действия и сознания, которые множатся вместе со всевозможным оснащением, техническим, а в тенденции и компьютерным. Нужно стремиться быть все более высокоразвитой и самостоятельной духовной личностью, чтобы эта оснащенность ролевыми образцами, формами, средствами, эта техницизированность не заслонила предметный смысл дела.

Вместе с тем все пронизывает институционализация, охватывающая любые процессы выработки социально значимых результатов. То, что ныне называют «научно-техническим творчеством»⁵, реально предстает как дело громадных коллективных псевдосубъектов, участники которых собраны вокруг комплексных программ. Но чтобы справиться с этой вездесущей институционализированностью, с громоздкой ролевой функциональностью и быть всегда на высоте — на *лично-человеческой* высоте — при выполнении даже и безличных функций, индивид должен обладать гораздо более богатой *над-ролевой, надфункциональной* сферой. Только в ней и может расцветать достаточно высокая степень творческого отношения к миру и самому себе, именуемая *креативностью**. Индивид может быть и оставаться человеком в описанных условиях, быть контролирующим их субъектом только при *все более высоком минимуме* креативности.

* Термин «креативность» считается «достаточно устоявшимся» (см.: Хрестоматия по общей психологии. М., 1981. С. 298 (примеч.)).

2. От творчества в развитии к творчеству в совершенствовании

Вышесказанное в существенной мере получает усиливающий импульс, когда мы обращаемся к исторически насущным задачам перестроечных процессов, к структурным перестройкам, интенсификации социального прогресса, а главное — к подчинению его требованиям культурного, собственно человеческого *совершенствования*. Важно при этом не упустить из виду, что совершенствование не менее (а в известном смысле даже более) радикально отличается от развития, чем последнее от роста, в котором осуществляются преимущественно количественные изменения. Развитие содержит качественные изменения, так или иначе вытекающие из принципиальных возможностей и допустимых состояний саморазвивающейся системы, и целиком протекает в специфичных для нее измерениях. Совершенствование же включает, кроме того, обретение системой (или субъектом) и гармонический синтез не охватываемых развитием возможностей — принципиально иных измерений или характеристик. Это связано уже не с развертыванием имманентных потенций или каких-либо снятых в органической системе содержаний, а с процессами, тяготеющими и устремленными к объективным бесконечно удаленным ценностным ориентирам. Но это осуществимо уже за пределами возможностей какой бы то ни было органической системы *.

Решение специфических задач совершенствования в этом более строгом смысле требует от субъектов в максимальной степени как раз таких качеств и поступков, которые не поддаются никакой функционально-ролевой и институциональной формализации, алгоритмизации и технизации, включая и компьютерную. Оно требует непрерывного, последовательного и систематического *культурно-социального творчества*: преобразования и созидания беспрецедентных для «предыстории человечества» связей и уз общения, в том числе и общения глубинного, в бытийной взаимности и сопричастности всех каждому и каждого всем. Трудную и тонкую работу

* Отличие гармонически-полифонических связей как более высоких от органически-системных охарактеризовано в статье автора этих строк «Диалектика перед лицом глобально-экологической ситуации» (см.: Взаимодействие общества и природы: Философско-методологические аспекты экологической проблемы. М., 1986).

человеческого совершенствования способен выполнять лишь тот, кто сам совершенствуется, работая над собой, кто достигает все более высоких уровней креативности.

Мы видим, с одной стороны, чрезвычайно насущную необходимость в высокой, диалектической познавательной культуре, с другой — в высоком уровне креативности. Все это как раз и выдвигает проблему предельных потенций познания и творчества, их итогового человеческого смысла, который, хоть и неявно, пронизывал всю историю.

При избранном нами ракурсе рассмотрения особенно важно избежать опасности соскользнуть в субъективизм, подменяя те или иные объективно сущие *субъектные* содержания, в том числе и аксиологические, какими-либо субъективно-предвзятыми предпосылками. Мы не должны заранее окрашивать предмет в «нужный», «потребный» цвет, подменяющий его универсальный смысл социально престижной оценкой. Известно, что и познание, и творчество, особенно *научное* познание и так называемое *научное* творчество (креативность в науке), чрезвычайно отягощены такого рода подразумеваемыми предпочтениями и престижными оценками в ходячих житейских представлениях о них. Но, увы, не столь уж редко такие представления переходят в сферу преподавания, во вполне академические сочинения * и в самосознание многих. В противовес этому следовало бы постараться не принимать никаких подобных предпочтений и престижных оценок и расчистить от них поле для поискового размышления. Последнее становится собственно философским только тогда, когда оно включает в себя *критику* познания и *критику* творчества, вернее, критику когнитивных и креативных устремлений индивидов, а может быть, и всего человечества в свете ценностного смысла совершенствования — назначения человека во Вселенной, в универсальном космогенезе.

* «Наука является высшей формой творчества... Наука есть самое могучее духовное орудие человека...» (Гиргинов Г. Наука и творчество. М., 1979. С. 67).

3. Подводимы ли познание и творчество под категорию деятельности? Запороговое как виртуальное

Ныне все еще часто верят в то, что всякое возрастание научной образованности само по себе — безусловное благо и верный показатель, своего рода гарант общего подъема и расцвета человека. Ведь «знание — сила», сказал еще Фрэнсис Бэкон! Не менее часто считают самодостаточной и самооправданной способность к внешне продуктивной *оригинальности* в какой-либо области науки, техники, искусства, что отождествляется с творчеством вообще. Ради увеличения этих-то способностей, согласно этому умонастроению, ничего не жалко если не принести в жертву, то по меньшей мере взять в качестве подчиненного средства, орудия, инструмента. Безграничное наращивание таких сил-способностей кажется достойным возведения в самоцель, в нечто не зависимое ни от каких более высоких критериев, безотносительное к любым мерилам или ценностям. Таковую «творческую» принимают за нечто само по себе обладающее своего рода абсолютной ценностью. Носители этого умонастроения, видимо, не ведают того, что при современной катастрофической глобально-экологической ситуации оно не только губительно, но и самоубийственно.

Никакие способности и силы, никакое их развитие не могут возводиться в самоцель и самоценность, безотносительно к объективной диалектике Вселенной. Чем продуктивнее, чем действеннее они, тем на самом деле строже ответственность за то, посвящены они или не посвящены чему-то более высокому — критериям человеческого призвания.

В свое время И.-В. Гёте заметил, что нет ничего хуже деятельного невежества. То же самое можно было бы сказать и о практическом рутинерстве, активно противящемся любому поиску и творчеству. Но все же степень вреда от активной некомпетентности или рутинерской инертности сравнительно ниже, чем от «творчески»-продуктивной активности, которая отлично «вооружена» богатством образованности и научно-теоретической подготовки. Активность, небесталанная в творческой изобретательности, исследовательской находчивости, оригинальности, гораздо опаснее, если она при этом беспринципна и глуха к абсолютным ценностным мерилам диалектики, т. е. духовно ущербна. Чем она *сильнее* теоретически и творчески, тем она страшнее.

Если в такого рода дисгармониях мы усматриваем нечто крайне тревожное, то мы обязаны найти и осмыслить ориентации, противостоящие им. Задача заключается в том, чтобы преодолеть уродливый разрыв между деятельными когнитивно-креативными *силами* (культурой как «мерой присвоенности-освоенности») и духовными высшими *ценностями* (культурой как «мерой самопосвященности») и подчинить первые вторым.

Прослеживая соотнесенность познания и творчества, надо четко представлять, *внутри какой именно сферы* обе соотносимые реалии обретают неотъемлемо присущий каждой из них, но не слишком отвлеченный, т. е. достаточно содержательный, *«общий знаменатель»*. Это должна быть не формальная рамка, а содержательная целостность, которой в равной мере принадлежали бы реалии и которая тем самым позволяла бы сопоставлять их даже в самых, казалось бы, разноразмерных и далеких от совпадения параметрах.

Если судить по имеющейся у нас литературе, то скорее всего многие авторы называли бы в качестве такого «общего знаменателя» *предметную деятельность*. Вместе с тем нашлось бы немало и таких авторов, которые сочли бы вполне удовлетворительным и уместным методом для соотнесения познания и творчества, исходя из предметной деятельности, метод *восхождения от абстрактного к конкретному*, от всеобщего к особенному. При этом имелось бы в виду, что предметная деятельность как таковая, как всеобщее основание, позволила бы путем последовательно конкретизирующего движения прийти, отправляясь от нее, к раскрытию главных ее особенностей, как специфически познавательных, так и специфически творческих. Стало быть, предполагалось бы, что не только познание во всех его проявлениях, но и творчество целиком и полностью подводимы под категорию деятельности и представимы в качестве ее (деятельности) своеобразных модификатов, или порождений, всеобщего деятельностного начала.

Прежде всего ответим на вопрос: подводимо ли познание под категорию деятельности? Разумеется, речь идет не о том ущербном толковании последней, когда она сводится лишь к субъект-объектному отношению и не несет в себе ничего сверх того, но о более полном понятии деятельности, включающем в себя также и междусубъектный ее характер, принципиально несводимый к субъект-объектному отношению. Но междусубъект-

ный характер, имманентно присущий деятельности, — это далеко не все содержание междусубъектного отношения как именно отношения, претворяемого, в частности, в *глубинном*, онтологическом общении. Поэтому познание — напомним этот вывод * — имеет не только деятельностьную, но, по мере перехода на высшие и духовно содержательные его уровни, также и *общительскую* природу. Познание находит в общении как самостоятельным и более высоком, междусубъектном принципе не менее важную основу, нежели в деятельности. Тем не менее если брать преимущественно современное научное познание, поскольку в нем задает тон *объектная* ориентированность, то применимость к нему принципа деятельности далеко еще не исчерпана ⁶.

Иначе обстоит дело с собственно творчеством, если только брать его не собирательно, не как совокупность косвенных проявлений симптомов (о которых трудно сказать, где они не проявляются так или иначе), а как фундаментальное отношение субъекта к миру и к самому себе. Для этого отношения все сущее в мире могло бы быть и иным, все проблематизируемо — в субъекте и вокруг него, в предметах-продуктах его жизни. Для него что бы то ни было выступает как могущее быть преобразованным и преображенным, *созданным иначе*, переустроенным ради лучшего соответствия ценностным критериям созидательства. Это отношение — возрождающее или устремленное к возрождению всего бытия. Лишь одним из его проявлений, но — заметим это! — отнюдь не обязательным, не всегда необходимым является какое-то новое конкретное *приращение* к прежнему бытию или хотя бы к прежнему знанию.

Если фундаментальное креативное отношение субъекта к миру и к самому себе действительно приемлет мир как воссоздаваемый и преобразимый, то оно включает также присоединимость к этому бытию (и знанию) некоего дополнения или восполнения сравнительно нового, небывалого результата. Но обычно внимание сосредоточивают только на внешней результативности — на феномене «оригинальной продуктивности», не умея увидеть в нем *лишь продолжение креативного отношения ко всему тому массиву заставаемого бытия и знания, которое уничижительно именуют «старым»*.

* См. главу 6 «Познание, деятельность, общение» в данной книге.

К сожалению, именно в этой результативности и видят обычно *необходимый* «признак», или показатель, творчества. Но еще печальнее, что в нем усматривают также и *достаточный* показатель креативности. На самом же деле только из существования фундаментального обновляющего и как бы заново воссоздающего бытие реального отношения в принципе вытекает возможность «оригинальной продуктивности», а постольку, хотя бы в первом приближении, и его объяснимость.

Конечно, критиковать «оригинальную продуктивность» нелегко, потому что она защищена и подкреплена довольно стойким и влиятельным житейским предубеждением. Критика последнего невольно дает повод подозревать, будто за нею стоит стремление антиновационное, консервативно направленное, традиционалистское. Такое ложное подозрение естественно в силу бытующей альтернативности между стремлением к упрямому сохранению былого во всей его фактичности и обязательному отходу от всего былого, его отвержению ради негативной новизны; третьего якобы не дано. Таково следствие непонимания того, что фундаментальное настоящее креативное отношение начинается и адекватно осуществляется только *по ту сторону* этой альтернативности вместе с присущими ей полюсами. Этому отношению одинаково чужды и пристрастие к неизменности, закоснению, традиционализму (что, однако, далеко не то же самое, что *живые традиции*), т. е. к субстанциалистской установке на приковывание себя к миру, каков он по сути его окончательно и неколебимо *есть*, с одной стороны, и пристрастие к новизне во что бы то ни стало, к погоне за *своей*, индивидуальной или групповой, *самооригинальностью* *, т. е. к антисубстанциалистской установке на бунтующее противление миру, каков он есть, — с другой.

Подлинная креативность мотивирована вовсе не *самооригинальностью*, не стремлением к новизне ради новизны, а верностью *первооригинальности*, т. е. историческим и универсальным первоисточкам, а тем самым и тому абсолютному *ценностному* итоговому *смыслу* всякого осуществленного и неосуществленного сущего.

* Девизом креативности могли бы послужить слова В. А. Моцарта из его знаменитого письма: «Я не ищу оригинальности» (цит. по: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970. С. 20).

Поэтому всякое бытие таит в себе то, что достойно бережного и благодарного продления, требующего восстановительных усилий, исправляющих прошлое как искажавшее или обесмысливавшее его, одновременно вызывая к нашему стремлению внести в него радикальные нововведения.

Спрашивается, подводимо ли так понимаемое креативное отношение под категорию деятельности или нет?

Деятельность есть единство противоположностей — опредмечивания и распредмечивания, — но между этими двумя сущностными процессами есть важная логическая асимметрия: только второй процесс воспроизводит и переводит из потенциального состояния в актуальное все прошлые предметные достояния, и только он позволяет пополнять деятельностную сферу относительно новым, обогащающим ее предметным содержанием. Только распредмечивание размыкает деятельностный круг. Однако на каждой по-своему ограниченной исторической ступени развития и совершенствования человечества и каждого человека (индивидуально пройденная лестница по своему составу может сильно расходиться с общественной) возможна лишь соответствующая ей, столь же *ограниченная степень доступности* действительности для распредмечивания ее человеком. Как бы ни были велики достижения, всегда найдутся и такие уровни самой действительности, которые из-за их еще большей сложности окажутся пока еще запредельными, непосильно трудными для адекватного проникновения в них человеческой деятельности и познания. Такие содержания, до поры до времени остающиеся исторически недоступными, лежат по ту сторону *порога распредмечиваемости*.

Совокупность таких не поддающихся распредмечиванию содержаний образует *запороговую* сферу действительности, которая конечно же не локализована лишь пространственно, не отделена четкой границей, но пронизывает собой все явления допороговой, доступной сферы, согласно верному принципу, сформулированному еще Анаксагором: «Все во всем»¹. Запороговые факторы присутствуют вокруг нас, а также и внутри нас, пронизывая собой все наше существо, вопреки иллюзии, будто в нас наличествует только то, что мы практически контролируем и знаем. Особенно важно учитывать реальное существование до поры до времени не распредмечиваемых и не могущих стать ни понятны-

ми, ни даже известными нам более сложных уровней внутри нас самих. В этом отношении человек не составляет исключения из универсального правила о неисчерпаемости действительности в глубину. В человеке таится недоступное ему, более того, виртуальное его бытие, дремлющие потенции его жизни и еще не осознанные им возможные дарования.

Из сказанного должно быть понятно, что запороговое, виртуальное бытие субъекта на каждой исторической ступени не входит в сферу его деятельности, а поскольку «человек видит в мире и в людях предопределенное своею деятельностью»⁸, постольку не входит и в его познание. При этом необходимо различать весьма существенный неосознаваемый и неартикулируемый состав деятельностного процесса вообще, познавательного в частности (неосознаваемые социальные, психологические и культурные факторы, предпосылки, мотивации и т. п.), с одной стороны, и запороговое, виртуальное содержание, — с другой. Первый, хотя и неявен, все же *может* в принципе быть выявленным при ином направлении деятельности или для иной деятельности, тогда как второе на данной ступени *не может* войти в деятельность ни при каком ее повороте или перестроении. Первый — это потенциальное, но актуализуемое содержание, второе — неактуализуемое, виртуальное. Когда А. А. Ухтомский напоминает нам о бесценных областях реального бытия, проходящих мимо наших неподготовленных ушей и глаз, если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны⁹, он не проводит такого различия и фактически ведет речь *сразу* и о том, и о другом. Нам же здесь принципиально важно выделить запороговую, виртуальную область для четкой постановки проблемы сдвига пороговой границы в креативном процессе. Креативность невозможна, если не происходит сдвиг порога распрепредмечиваемости, и притом достаточно радикальный. Чем выше нечто по сложности, по совершенству, а следовательно, и по ценности для нас, тем более вероятно, что оно еще надолго остается запороговым.

Собственно, креативность есть не деяние, а *прежде всего* такое своеобразное отношение — *отношение по преимуществу!* — в которое человек вступает не столько своим деятельностным, допороговым бытием, сколько своим бытием запороговым, виртуальным, вступает в соприкосновение (а может быть, и в сопричастность) не

только с допороговыми, а и с запороговыми содержаниями мира. То, что недоступно и невозможно для деятельности (сколь бы творческой она ни была!), то в некоторой мере возможно и доступно для фундаментального отношения. Но эта мера уже совсем иная, ибо она возникает не имманентно, не как плод односторонних человеческих усилий и уровня развитости сил субъекта и совершенства его личностного мира, а в силу глубинного взаимообщения, логики свободного междусубъектного полифонирования, или гармонического состояния взаимной сопричастности. Когда осуществляется встреча, тогда и к сдвигу порога распрямечиваемости предлагается путь именно как *дар встречи*. Это в нем исходно и первично. Элемент же одностороннего деяния в нем вторичен и произведен.

Вглядимся в реальные черты развития знания, особенно научного, на всех его уровнях — от наблюдения и описания до развертывания серий теорий, наконец, при введении новых исследовательских программ и даже больших научных парадигм (программ в более широко объемлющем смысле). Начнем с наблюдения. Сколь ни велика роль предсказаний новых фактов более или менее теоретическим или концептуально-объяснительным путем, все же неизмеримо важнее бывает суметь их именно наблюдать. Чрезвычайно значимы всякий раз бывали и будут те парадоксально новые факты, которые приносили с собой потрясение здания науки и вносили сильнейшую освежающую струю в познавательную атмосферу целой культурной эпохи. Однако сам по себе объективный состав парадоксально нового факта не получает «права голоса», звучание он получает лишь при адекватной его регистрации и хотя бы эмпирически-мыслительском соотнесении с имеющимся знанием, достаточно понятийно грамотном, чтобы воспринималась его парадоксальность, а сам он оказался приемлемым.

Если факт чрезмерно парадоксален и выходит за границы приемлемости в данном обществе с его познавательными парадигмами, то он выталкивается за границу данной формы познания, в частности сферы науки. Он либо полностью игнорируется, либо, если и фиксируется, то не благодаря, а вопреки познавательным канонам эпохи, а именно как еще не подлежащий специфически познавательной обработке *общекультурный* факт. Таковы, например, факты, выявляющие высшие потенции духовно-нравственной жизни — преданность, верность,

агапическое сострадание, — перед которыми научное познание (не ослепшее до степени фанатизма от сциентистских крайностей и идеологии «науковерия») скромно и смущенно отступает, догадываясь о своем несовершенстве. Так или иначе, но резонно поставить вопрос: не должен ли всякий достаточно *креативно значимый* факт быть *не только* фактом для познания, а и фактом общекультурным?

4. От креативно значимого факта к креативной задаче. Критика метода восхождения

От чего в самом познании зависит восприимчивость к фактам парадоксально необычным, таящим в себе креативные возможности? Способность наблюдать и регистрировать повышается и становится более открытой к факту благодаря воспитывающему влиянию совокупной культуры как целого, особенно ее ценностных смыслов. Но познающий субъект должен быть подготовлен к тому, чтобы расширить рамки именно познавательной приемлемости: он должен иметь минимум способности быть в состоянии ожидания неожиданного и улавливать непривычно и сверхобычно новое значение и звучание факта. А это зависит от широты его эмпирически-описательных мыслительных сетей и «узости» их понятийных ячеек. Стало быть, это требует методологической грамотности мышления, но последняя на эмпирическом уровне зависит от того, насколько она впитана субъектом на уровне объяснительно-концептуальном, теоретическом и, далее, на истолковательном. Значит, вопрос о развитии знания перерастает в вопрос о развитии его в ходе понятийно-концептуализирующей и истолковывающей деятельности, совершаемой как внутри тех систем, в которые рационально организуется знание, так и в процессах, происходящих между системами.

Сначала обратим внимание на самый жестко-формальный способ организации знания — дедуктивный. Многим казалось, будто он исключает какое бы то ни было приращение знания и обрекает на тавтологичность, ограниченную развертыванием того, что заложено в посылки. Это, однако, встречало возражения¹⁰. Небезынтересны в этой связи разные доказательства обязательного приращения информативности при формально-логических процедурах. Если же взять эту тему шире, то, поскольку дедуктивную работу позволительно уподо-

бить работе своего рода *машины*, следует видеть не только автоматизируемые аспекты, но и функции наладки и коррекции «*машины*», а последние в любой момент могут потребовать чисто человеческой способности отнестись к ней как создаваемой заново, как если бы она впервые изобреталась *, т. е. быть на высоте положения ее первого творца, ее автора. Отсюда следует, что и формально-дедуктивная организация знания не может бесперебойно действовать и существовать без некоторого проявления и преломления субъектной креативности. Однако само по себе, т. е. изолированно взятое, дедуктивное движение, хотя незаменимым образом и *служит* развитию знания через его строгую экспликацию, вовсе не осуществляет это развитие внутри себя.

При содержательно-системном построении научного знания, что, разумеется, вовсе не исключает формализмов, а дает простор для включения их в его состав в качестве аппарата, неодинакового на разных его уровнях, имеет место явное взаимопроникновение и синтез индуктивных и дедуктивных процессов, а благодаря этому и внутрисистемное развитие знания. Тем не менее любая система знания может играть понятийно-конструктивную, объяснительную, предсказательную и специально-методологическую функции только при сохранении и соблюдении тех *ограничений*, в рамках которых она только правомочна, будь она теорией в строгом смысле или познавательной концепцией вообще. Соблюдение ограничений не позволяет системе знания вместить в себя содержание большее, нежели позволяет косвенное, заведомо одностороннее и абстрактное преломление той креативности субъекта, которая всегда предполагается, но никогда не входит целиком во внутрисистемное развитие знания.

Когда мы переходим от того, что происходит внутри системы знания, к совокупности таких систем и к их взаимодействиям, поле для содержательных процессов расширяется, но еще не принципиально. Находиться в достаточно тесном познавательном взаимодействии и конструктивном взаимообмене могут только такие концепции и теории, которые объединены между собой общими основаниями — исследовательской программой

* Даже «когда я повторяю усвоенное доказательство... я по меньшей мере самостоятельно создаю его всякий раз, когда мне приходится его повторять» (*Пуанкаре А. Математическое творчество // Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 311*).

или, что гораздо шире, научной программой в смысле П. П. Гайденко¹¹, — общими познавательными идеалами и нормами, особенностями стиля мышления. Парадигмы здесь не подлежат проблематизации, постоянно подразумеваются в качестве предпосылок и тем самым тоже выступают как ограничения, принятие которых есть условие продуктивной научной деятельности познавательного сообщества или условие преемственности в этой деятельности во времени.

Метод восхождения от абстрактного к конкретному также не составляет исключения из этого правила. Он всецело сохраняет в качестве непроблематизируемой предпосылки свое исходное начало (в более специфическом случае — «клеточку»). Это верно как для процесса развертывания одной понятийной системы, которая объемлет ряд надстраивающихся друг над другом малых теорий*, так и для последовательности, или «серии», теорий в их историческом следовании в рамках одной определенной традиции и исходя из одного определенного основания. И в том и в другом вариантах развитие знания имеет свои ограничения, принципиально не переходимые самим этим методом.

Процесс восхождения в его развертывании выступает как многократное последовательное «вычерпывание» из предметного поля все нового и нового дополнительного предметного содержания, носящего индуктивно-исторический характер, причем это позволяет кое в чем корректировать логико-теоретическое движение. Перед нами, несомненно, процесс *развития* знания, развития, которое тем и отличается от простого роста, что полностью не может быть предзаложено в исходном начале, но вместе с переходом на каждую новую ступень присоединяет к нему некое дополняющее его, соподчиненное ему «малое начало». В этом смысле можно было бы сказать, что процесс восхождения имеет целую *цепь начал*. Стало быть, здесь конечно же не может не быть приложения для креативных способностей субъекта. Однако радикальный вопрос заключается в том, находит ли *всю полноту* осуществления креативное отношение или хотя бы деяние, или это все-таки лишь некоторое косвенное,

* Эскиз «синтетической» сложной системы, объемлющей последовательность малых систем, дан в нашей статье «К вопросу об условиях познания диалектического противоречия» (см.: Философские науки. 1964. № 6. С. 171).

хотя относительно более яркое, *проявление и преломление* такого отношения.

Если забыть об ограничениях, в рамках которых возможно восхождение от абстрактного к конкретному, то возникает видимость, будто тут происходит настоящее претворение самого творчества и его «всеобщей логики», перед светом которой, наконец, пали все его загадки и тайны. Но мы не имеем права закрывать глаза на названные ограничения, на то, что в рамках метода восхождения синтез, включение исторического содержания и возможные коррекции процесса совершаются только при условии сохранения в неприкосновенности исходного начала, с которым строго соподчинены все дополнительные присоединяемые «малые начала» (вся их «цепь») и которое *задает* для всего процесса логическое пространство и направление исследования. Существенно инородные содержания и направления познания не только не поддаются включению в процесс восхождения, но и не могут вступать с ним в своего рода «диалог» или тем более в полифоническое взаимодействие. Ход восхождения подчинен неколебимому «авторитету» принятого начала, задающего «конец» исходного понятия*.

Указанные ограничения не могут быть полностью преодолены чисто субъективно — путем повышения искусства владения этим методом или его «редактированием». Ибо по сути своей они идут не от познания, не от субъекта, а от ограниченности самого того объективно существующего *типа* систем, которым — в качестве теоретической реконструкции — адекватен этот метод. Это не что иное, как *органические* системы, фундаментальной сущностной характеристикой которых должна быть признана *логика снятия* (и только снятия). Последнее означает, что такого рода системы исключают какое бы то ни было инородное бытие внутри них, кроме так или иначе снятого, обращенного в их собственный внутренний «момент» или продукт и воспроизводимого именно в таком качестве.

Приемлемо для органической целостности и уместно в ней только то, что поддается такой ассимиляции ее, а что не ассимилируется в снятом виде, то отбрасывается

* На эту ограниченность, из-за которой метод восхождения мало пригоден в философии, обратил внимание В. С. Библер (см.: *Библер В. С. Мышление как творчество*. М., 1975. С. 14—26).

или даже активно разрушается! К той действительности, которая не может быть ни ассимилирована, ни разрушена, всякая органическая система глуха и слепа — там для нее начинается «ничто». В этом состоит онтологический предел допустимого для всякой органической системы и обнаруживается не только ее неизбежная *конечность*, а и *замкнутость*, зависимость от исходного начала. Именно в этом коренится также и принципиальная ограниченность адекватного ей метода реконструкции — метода восхождения от абстрактного к конкретному. Но креативное отношение, а следовательно, и деяние, на своей собственной основе осуществляющееся, имеет место только там, где допустима полифоническая встреча и взаиморефлексия сколь угодно разнородных и разноуровневых содержаний в их *ничем не снятой* самостоятельности и своеобразии. Для креативности необходима и важна встреча разных начал, различных образцов-парадигм, причем как общекультурных, так и специфически познавательных. Следовательно, креативное отношение не находит места ни в какой органической системе, сколь бы сильно последняя ни была «заинтересована» в творчестве, в его применении или его косвенных проявлениях. Поэтому развитие знания путем метода восхождения дает простор только для некоторых аспектов творчества, но отнюдь не для собственно креативности.

Наконец, обратимся к тому наиболее интенсивному процессу преобразований оснований познания, стиля мышления, норм и идеалов его, который происходит в кризисно-критические периоды. Тогда ставятся под вопрос все принятые парадигмы. Тогда совершается переплавка даже самых твердых, устоявшихся начал познавательной, а может быть, и не только познавательной культуры. Так или иначе в благоприятных и стимулирующих или, наоборот, в неблагоприятных и противодействующих социальных обстоятельствах субъект выходит в межпарадигмальное культурное пространство, где действуют предельные потенции познания. Последние характеризуются незавершимой перспективой и поэтому не могут вписываться в какую-либо одну-единственную парадигмально определенную, конечную органическую систему. Излишне говорить о том, что и здесь предполагается столь же интенсивное проявление творчества и даже самой креативности субъекта. Но достаточно ли этого чисто познавательного поля применения

в его наиболее широком и глубоком раскрытии для осуществления креативного отношения?

Весьма симптоматичны свидетельства на сей счет тех, кто сам несомненно принадлежит к числу выдающихся творческих талантов, именно в познании себя проявивших. Начнем с математика, обладавшего весьма сильной методологической рефлексией, с Анри Пуанкаре. «Бессознательное или, как еще говорят, подсознательное «я» играет в математическом творчестве роль первостепенной важности», — заключает он свои размышления на эту тему. Вместе с тем он полагает, что это выполняющее первостепенную работу, но недоступное самосознанию «я» по своему уровню «нисколько не «ниже», чем «я» сознательное... Оно лучше умеет отгадывать, чем «я» сознательное...»¹². Непосредственно к этой позиции примыкает и Жак Адамар, обращающий особое внимание на внемыслительное (внерациональное) и бессознательное вызревание всякой собственно творческой идеи — «инкубацию»¹³.

Принципиально важно, что эти творцы науки, а также А. Эйнштейн, М. Планк и многие, многие другие отмечают не просто выход за пределы сознаваемого когнитивного процесса в некий несознаваемый, тоже чисто когнитивный, потенциальный его подслон, но нечто большее — выход в сферу с радикально иными культурными измерениями: эстетическими либо вообще духовно-ценностными. Эти и подобные им свидетельства¹⁴ поддаются истолкованию как указующие на «надсознательные», точнее сказать, *запороговые* потенции субъекта. Это значит, что, восходя к своим предельным когнитивным потенциям, субъект не может остаться только в них, но одновременно по необходимости вступает в креативное отношение к действительности, включая и запороговые слои своего бытия.

Выше говорилось, что творчество, *прежде* чем обладать продуктивной оригинальностью, должно быть собственно креативным *отношением* к действительности. Таково отношение к ней как к создаваемой зарове, как к еще не разделенной на былое и небывалое, на старое и новое, как обладающей глубинной целостностью, неисчерпаемой диалектичностью, таящей в себе и абсолютные ценностные измерения. Теперь мы видим, что собственно креативное отношение в отличие от творчества как деяния не только не подводится под категорию деятельности, но даже и его осуществление и проявление

ние в творческом деянии не таково, чтобы имело смысл подводить последнее под категорию деятельности.

Важно не то, что творческое деяние есть «частный случай» предметной деятельности вообще, а совсем другое: не из деятельности и не из ее всеобщей природы вытекает возможность творческого деяния, а, *наоборот, именно благодаря до-деятельностному и над-деятельностному креативному отношению становится возможным производное от него творческое деяние, а потому и деятельность вообще* во всех ее особенных формах и проявлениях. Не деятельность порождает из своей сферы творчество, а, наоборот, собственно креативность как над-деятельностное отношение, в котором участвуют запороговые содержания и самого субъекта, и внечеловеческого мира, порождает все новую и новую деятельность, раскрывая субъекту прежде недоступные ему уровни бытия, сдвигая шаг за шагом порог распредмечиваемости. Вся без исключения допороговая сфера образовалась исторически только благодаря такой ведущей или первичной роли креативности.

5. Общение и креативное отношение как противоположное познавательному

Пониманию изложенного выше тезиса может способствовать то, что и в познании, поскольку оно обладает также общительской природой, и вне его, в иных сферах культуры, особенно в культуре глубинного *общения*, как раз и находит себе место, хотя далеко не явно и не очевидно, креативное отношение как отношение общения*. Таково состояние онтологической встречи — встречи между субъектами, в которую они вступают также и запороговыми друг для друга содержаниями своей субъектности и своих предметных миров. Отсюда должно быть понятно ключевое значение глубинного общения, но это совершенно особая, самостоятельная тема.

В свете сказанного выше очертим те характеристики познания и творчества как таковых, в которых они по их предельным потенциям и реализующим эти потенции

* Общение обозначают иногда не слишком удачным термином «диалог». Удивительно при этом, что, подхватывая идею о «диалогичности творчества», нередко продолжают держаться того мнения, что творчество есть не что иное, как синтетический «атрибут деятельности».

устремлениям ориентированы даже противоположным образом. Тогда, как можно надеяться, мы обречем возможность лучше уразуметь их взаимопроникновение, специфическое единение друг с другом.

Познание как деятельность и как отношение почти всегда, если не считать некоторых крайних случаев, имеет дело не только с девственной природой и вообще миром, каким мы его застаем, но на каждом существенном шагу и с действительностью, опосредствованной деятельностью, с искусственным миром культуры и преобразованной, хотя и далеко не всегда разумно, природой. Тем не менее по своим предельным потенциальным устремленностям оно призвано дать максимальную *истину* о любом предмете вне зависимости от того, создан он или нет, т. е. узнать, объяснить и понять сущее именно как сущее в его собственных объективных тенденциях, безотносительно к созиданию. Этого не отрицают и временные тенденции: бывшее, настоящее и предсказуемое сущее как категорически такое, какое оно, так сказать, «получается», или «получалось», или будет, возможно, «получаться» само по себе.

Следовательно, познающее мышление ставит субъекта как *решателя* познавательных задач в такую позицию, для которой даже и искусственно созданное бытие *принимается и рассматривается так, как если бы оно было никем не созданным*. Все субъектное объективируется наряду с внесубъектным сущим, и все последствия субъектного созидания принимаются как вписанные в остальную действительность, *наравне с нею*. Таково условие объективности во что бы то ни стало: все есть не что иное, как предмет возможного познания в пределах, очерчиваемых порогом распредмечиваемости, т. е. в допороговой сфере.

Творчество, напротив, радикально отличается как раз тем, что по своим предельным потенциям и реализующим его устремленностям даже все то, что никак еще не опосредствовано человеческой деятельностью и пока еще не может быть ею воспроизведено, оно принимает так, *как если бы вся действительность всегда поддавалась воспроизведению заново*. Более того, в меру человеческой посвященности абсолютным ценностям и в меру подведения действительности под них (а это гораздо шире и глубже меры сил для овладения ею, или распредмечивания) собственно креативное отношение на самом деле принимает эту действительность *такой, как*

если бы она могла быть заново порождаемой, правда, не самим человеком, а при его участии, при его интимной глубокой сопричастности. Здесь все сущее — былое, настоящее и грядущее — выступает не как категорически такое, как оно «дано», но «под вопросом», всецело проблематизированно и проблематично. Бытие повсюду и всегда чревато ценностно-смысловой необходимостью должного обогащения или дополнения, внесения в него чего-то существенно *иного*, т. е. чего-то такого, что *вовсе не могло бы возникнуть стихийно* из спонтанного продолжения наличных тенденций, без участия созидательной субъектности.

Весь мир для креативного отношения предстает как в себе самом незавершенный, неполный, недостроенный, и именно с позиций этого отношения субъект берет на себя обязательство и решимость устремленно *строить мир дальше* и, быть может, лучше, чем если бы он был по-прежнему предоставленным самому себе. Отсюда вырастает и способность к коренным новообразованиям в мире, но, разумеется, отнюдь не ради корыстно-человеческой пользы и не ради своемерной «самооригинальности», а лишь ради всей вселенской, беспредельной объективной диалектики как диалектики вечного совершенствования, космогенеза. Созидание человеческой культуры достойно быть посвященным не локально-земным заботам, а всекосмическому ее смыслу, как в музыке И. С. Баха. Однако это было бы практически невозможно, если бы субъект не вступал в креативное отношение всем своим реальным бытием, включая и запороговое, виртуальное. Все существо человека, ведомое ему и неведомое, доступное и недоступное, сущее и могущее возникнуть, вступает в глубочайшую сопричастность и приобщенность к бытию, погружается в него, отдается ему:

Единое пространство, там, вовне,
и здесь, внутри. Стремится птиц полет
и сквозь меня. И дерево растет
не только там: оно растет *во мне*.
И все живет слиянностью одной.
Так знай же: нет преграды для души.
Неслыханная даль с тобой сольется,
и голос твой, что прозвенел в тиши,
в тех звездах отдаленных отзовется¹⁵.

Недоступное человеку содержание бытия приоткрывается ему, проблематизируется и выступает как «поставленное под вопрос» лишь тогда и в той мере, в какой

сам человек «ставит себя под вопрос», расплавляет в себе все затвердевшее в инертной категорической определенности до подвижности огненной плазмы:

...О, пусть вдохновит тебя пламя,
где исчезает предмет и, обновляясь, поет...
Сам созидающий дух, богатый земными дарами,
любит в стремлении жизни лишь роковой поворот ¹⁶.

Только отдаваясь этому огненному потоку обновления своими запороговыми слоями бытия, субъект обретает возможность приобщиться к чему-то запороговому в беспредельной и неисчерпаемой действительности. Креативное отношение, следовательно, есть прежде всего не мыслительно-когнитивное, а *бытийное* отношение.

Итак, взятые в своих конечных, предельных итогах когнитивная и креативная устремленности резко, антиномически расходятся между собой. Первая берет мир, предуготованный кому бы то ни было и заставаемый человечеством (и любым субъектом) таким, каков он есть, как бы кристаллизуя его. Вторая, напротив, берет мир не обязательно таким, каким она его застаёт, но могущим быть *и иным* в сколь угодно глубоких своих характеристиках. Повсюду она видит мир как чреватый своей радикальной *инаковостью*, обновляемостью, как бы «декристаллизуя» его, расплавляя в потоке порождения заново. Она принимает его так, *как если бы он создавался заново*, даже если и не вносит в него ничего нового. Первая ищет и находит завершенность даже там, где, для того чтобы ее найти, приходится предварительно выполнить завершающую работу *. Вторая, напротив, ищет и находит незавершенность даже в самом, казалось бы, законченном бытии. Так, даже задачи сохранения былого, сбережения наследуемого содержания поднимаются на уровень как бы его порождения. Первая звучит как голос упрямых фактов и законов мира. Вторая зовет к великому беспредельному строительству, к созиданию всего того в космогенезе, для чего нужны руки, ум, вкус и, главное, небезадресная совесть человека-субъекта.

* В процессе понимания субъект, чтобы понять некоторое произведение, должен достроить его или дать его модифицированное прочтение; но все же здесь цель — лишь максимальная верность первичным интенциям автора. При универсализации когнитивной установки это приращение полностью вменяется автору, да и вообще всякое творчество видится как якобы преформированное.

6. Особенность креативной задачи в отличие от познавательной

Рассмотрим специально, как соотносятся между собой *специфические* для познавательного и креативного устремлений *проблемные задачи*. Познавательная задача может включать в себя в той или иной степени подзадачи, сравнительно более частные и особенные (эмпирически-описательную, сравнительную, классификационную, теоретически-объяснительную или иную концептуальную, типологическую, ретро- и предсказательную, критико-рефлексивную, герменевтическую и т. п.), но в своем наиболее общем и чистом виде она разрешима посредством выработки мышлением того или иного типа знания о *предуготованном* предмете. Эта задача всегда *небеспредметна*, хотя сам этот предваряющий даже ее постановку предмет может в весьма различной мере включать плоды выделяющей его, оформляющей и вносящей конструктивное дополнение в него предметной деятельности. Спрашивается: может ли познавательная задача, оставаясь таковой, требовать большего, чем то или иное преломление и применение творческих способностей, а именно осуществления самого креативного отношения внутри ее собственного содержания? Может ли она сама быть также и *креативной задачей*?

Трудности решения задачи могут быть вызваны либо предметом, если он недостаточно выделен, оформлен или недоконструирован, либо методом, стилем мышления, нормами научного познания, его парадигмой, если они не содержат в себе достаточных способов, под которые была бы подводится задача. Что касается недостаточной предварительной выработанности предмета, то это трудности явно *вне-* и *допознавательные*. Трудности, вызванные ограниченностью метода, концептуальной и методологической культуры вообще упираются во *всеобщие* условия и основания познания, в необходимость их совершенствования, их радикального преобразования. Но ни предпринять, ни тем более успешно выполнить такого рода работу *над познанием* невозможно, оставаясь в границах его самого. Это оказывается возможно лишь за этими границами, в многомерном пространстве культуры — художественной, нравственной, даже культуры глубинного общения. Выходит, что если познавательная задача не слишком трудна и для ее разрешения в рамках самого познания есть концептуальные и методологиче-

ские предпосылки, то такая задача сама по себе не есть собственно креативная, ибо для ее разрешимости достаточно лишь косвенного преломления и применения творчества. Если же задача настолько трудна, что познавательных сил не хватает, т. е. если она, взятая как только познавательная, неразрешима, то она впервые поистине выступает как креативная. Таким образом, задача вместе с ее превращением в собственно креативную становится уже не познавательной только, а *общекультурной*. Таково положение дел уже на уровне факта: если он достаточно радикально нов и богат для познания, то он не только познавательный, но и общекультурный новый факт.

К тому же выводу можно прийти, исходя из анализа особенностей креативной задачи как таковой. Присмотримся к тому, каковы они.

Во-первых, креативная задача с самого начала отличается тем, что она непередаваема в уже сформулированном виде от других субъектов, не предписывается как императивное задание и вообще не может быть изначально дана как готовая, во всей полноте своего состава, своего смысла, но проходит *весь путь своего рождения и формирования*. Она предстает как требующая от субъекта принять ее в процессе первоначального возникновения и становления и суметь работать с нею именно как со *становящейся*. Субъект не имеет в ней никаких заранее данных или заданных указаний относительно ее подводимости под какую бы то ни было концепцию, теорию, систему знания или программу, или парадигму, как бы широка и объемлюща последняя ни была.

Если некоторая задача с самого начала бралась бы как уже подводимая под определенную концепцию, теорию или парадигму, как локализуемая внутри прежде известной и испытанной сферы, то это лишь означало бы, что она либо сама по себе объективно не есть задача собственно креативная, либо подверглась насильственному деформированию, обеднению и отсечению от нее как раз наиболее интенсивно творческих начальных фаз ее становления, фаз ее *постановки*. Относительно собственно креативной задачи заранее в принципе не может быть известно или дано, или привнесено ничего такого, что уже выступало бы как достаточное условие для ее постановки, а тем более предопределяло бы или извне предписывало бы ей некую локализацию, парадигмаль-

ную или иную принадлежность. По самой своей сути, будучи полностью проходящей весь процесс своего зарождения и становления, креативная задача всегда есть задача *вне- или междупарадигмальная*.

Во-вторых, собственно креативная задача более многомерна, нежели любая из областей культуры, отдельно взятая. Если даже впоследствии содержание такой задачи все же сосредоточивается в пределах одной из этих областей, то первоначально она и по своей объективной радикальности и глубине, и по тому, сколь многих различных способностей она требует от субъекта, выступает как задача *общекультурная*, т. е. многогранная, многоаспектная, имеющая в своем составе измерения *всех областей культуры* — познавательной, художественной, нравственной *, хотя и в различной мере или степени. Это равносильно тому, что такая задача принципиально не сводима к только и чисто познавательной или что если заранее дана ее разрешимость в качестве *только* познавательной, то она уже не есть собственно креативная.

В-третьих, если брать любое принятое и распространенное ныне толкование того, что такое «проблема», «задача», «вопрос» и т. п., в котором не содержится первичного процесса рождения, становления и постановки проблемы или задачи как общекультурной, то собственно креативная задача ускользает, ибо она нечто большее и не покрываемое «признаками» и ограничениями. Она выступает как своего рода *пред-задача* или *пред-проблема* главным образом и прежде всего. Поскольку своими корнями она уходит в нераспредмечиваемые, *запороговые* слои действительности и для своего приятия требует участия столь же запороговых слоев бытия самого субъекта, постольку она недоступна попыткам «уловить» ее сразу даже минимально жесткими категориальными «сетями» и тем самым предстает как зага-

* До сих пор чрезвычайно слабо изученное и плохо понятое в науке детство отличается высочайшей степенью креативной жизни, и это связано именно с тем, что дитя «еще не умеет» сужать задачу *до только* познавательной или *только* художественной или какого-либо иного «*только*», но спонтанно принимает ее или достраивает до конкретной многомерности задачи общекультурной, хотя это вовсе не обязательно проявляется в *отделимых* от его жизни внешних результатах (в «оригинальной продуктивности»). Кроме того, дитя более, нежели взрослый, расположено и восприимчиво к культуре глубинного общения (см.: Диалектика общения. М., 1987. С. 4—51), которая дает ключ к креативности и по сути дела образует ядро нравственной, художественной и познавательной культуры.

дочная и даже таинственная *, или, говоря одним словом, *энигматическая* ¹⁷. Поэтому вернее было бы сказать, что собственно креативная задача есть *не задача*, но скорее *энигматическая ситуация*, которая лишь впоследствии порождает задачу и переходит в нее в процессе своего оформления и завершающих фаз формирования. Следовательно, специфическая *творчески-проблемная* ситуация отличается от вообще проблемной ситуации тем, что она есть ситуация энигматическая.

В-четвертых, именно в силу своей неуловимости энигматическая ситуация требует от субъекта проблематизации им самых всеобщих «оснований», формообразований и категорий, из которых могут быть построены «ловчие сети», а тем самым существенной перестройки последних, их обогащения и уточнения явно или не вполне явно. Одним из наиболее ярких выражений недостаточности и неудовлетворительности прежних всеобщих оснований и парадигм культуры, а в то же время и их проблематизированности, поставленности под вопрос и чреватости своим перестроением и уточнением служит не что иное, как антиномически заостренное, многомерное диалектическое противоречие.

К осмыслению последнего в качестве необходимого атрибута и «трамплина» креативности ведет богатая историко-философская традиция диалектической мысли. Это и неудивительно. Скорее удивительно другое, а именно то, что и те, кто весьма далек от атмосферы и духа диалектики, так или иначе склоняются к некоторым аналогам или символическим образам, указующим по сути дела именно на диалектическую противоречивость **. Не поднимая здесь всей этой немалой темы, отметим, однако, что речь должна идти о весьма необычном «облике» диалектического противоречия, отличном

* В свое время Луи Пастер полагал, что вместе с утратой чувства таинственности человек перестает быть собственно ученым. В речи «Мое кредо» Альберт Эйнштейн сказал: «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, — это ощущение таинственности. Оно лежит в основе... всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал этого ощущения, кажется мне если не мертвецом, то во всяком случае слепым» (Эйнштейн А. Собр. научн. трудов: В 4 т. Т. IV. М., 1967. С. 176).

** Так, нередко высказываются характеристики творчества как необходимо имманентно конфликтного процесса, «янусианского» — по А. Ротенбергу (см.: Проблемы научного творчества. Вып. 3. М., 1982. С. 151), как оперирующего образами, несущими в себе «сжатый конфликт» — по У. Гордону (см. там же. Вып. 4. М., 1985. С. 16).

от того, в каком оно выступает внутри любой органической системы. Гармонически-полифонические связи и образованные из них целостности могли бы послужить тем контекстом, в котором возможна выработка более адекватного понимания антиномий, противоречий и т. п.

В-пятых, творчески-проблемная, т. е. энигматическая, ситуация может быть адекватно взята только тогда, когда она для субъекта выступает вовсе не как нечто необычайное, экзотичное, не как исключение из «нормального» порядка вещей и положения дел, но, напротив, только как более чем нормальное, универсальное состояние диалектически-живой действительности повсюду в неисчерпаемой Вселенной. Это касается также и субъективного мира человека, поскольку он не нарушен и не искажен деградиционными процессами и факторами. Это значит, что энигматическая ситуация не есть по сути дела *некая выделенная, исключительная «ситуация»*, окруженная со всех сторон омертвело-рутинным, вполне «спокойным» и чуждым творчеству бытием, но принадлежит беспредельной во всех измерениях *иерархии ситуаций*. Именно при сугубо неадекватной позиции и неадекватном подходе дело выглядит так, будто предпосылкой и условием умения справляться с творческой проблемой является надежная опора на ее нетворческий контекст — на беспроблемное бытие или знание, или еще на что-то в этом же роде. При этом думают, будто для успешного наступления на творческую проблему надо как можно плотнее окружить ее, взять в осаду, блокировав непроблематичными «средствами». Стараются в максимальной степени *изолировать* загадочно-проблемную «зону», а в конечном итоге «закрыть» ее как таковую посредством перекрывающих ее и депроблематизирующих методов. В этом, собственно говоря, и видят решение проблемы.

На самом же деле креативность вызывает к совершенно обратному способу поведения, к радикально иной стратегии: она требует признать и осмыслить энигматическую ситуацию как *однородную* со всем остальным, столь же потенциально креативным бытием мира, как естественную принадлежность иерархии таких же ситуаций, простирающейся во всех измерениях. Повсюду и всегда надо быть готовым увидеть в действительности разверзшуюся бездну проблем и тайн, бездну именно в том смысле, что нигде нет окончательного или окончательно достижимого «дна» или предела для творче-

ства *. Этот принцип неисчерпаемости, или «бездонности», в равной степени касается также и бытия самого субъекта: только тогда, когда он сознательно принят и претворен человеком в своей жизни, открываются возможности собственно креативного совершенствования.

В-шестых, творчески-проблемная ситуация не только не является ценностно безразличной, т. е. аксиологически пустой, но отличается объективной соотнесенностью с самыми высокими, абсолютными ценностными измерениями. Последние именно потому, что никаким принудительным влиянием себя вовсе не обнаруживают и непосредственно не выявимы, могут служить наилучшими ориентирами для творческой личности. Чем менее творческим оказывается субъект в своем бытии, отношениях и деятельности, тем более подвержен он влияниям объектного порядка и тем сильнее прямое давление на него принудительной детерминации. В нетворческой жизни человек подвластен объективным законам как грубо вещного, так и цивилизационного уровня: всякого рода регулятивам, нормам, готовым образцам действия и мысли. С этой детерминацией субъект просто-напросто вынужден считаться в ущерб своей свободе, ибо попытки игнорировать ее влекут за собой «возмездие» со стороны детерминирующих и нормирующих факторов: они «наказывают» всякую попытку уклониться от их соблюдения крахом предпринятых действий, разрушительными последствиями, которые не заставляют себя долго ждать.

Совершенно иначе обстоит дело в энигматической ситуации: здесь детерминирующие факторы оставляют максимально широкое пространство для выбора, «голоса подсказок» молчат, число «степеней свободы» чрезвычайно велико, субъектные решения ничем не предопределены. Отсюда и возникает нередко крайне опасная иллюзия уместности в творчестве субъективистского произвола, своеволия и своемерия, ибо именно в силу своей оригинальности и экзотичности творчество якобы не нуждается ни в каком высшем нравственно-ценност-

* Всякий субстанциализм тем и отличается, что постулирует такое абсолютное «дно» в виде логико-преформистской и редукционистской субстанции, которая в качестве чего-то самого простого и низшего объемлет и даже якобы порождает из себя что бы то ни было высшее.

ном контроле и само по себе оправданно *. В истории человечества, увы, неоднократно встречались таланты, соблазнившиеся идеей, будто «гению» творческих сил ничто не должно «мешать» из области свято чтимого — для него нет высших ценностей, или принципов. Выходило, будто сама его творческая одаренность освобождает его от ответственности в согласии с объективными мерилami и абсолютно значимыми смыслами.

На самом деле именно то, что креативность действительно невозможно поставить ни под какой внешний или функциональный контроль, не умерщвляя ее специфической сущности, налагает особенную, чрезвычайно высокую ответственность на ее субъекта. Но это уже не социально-правовая, а чисто ценностная ответственность, требующая личностно-внутреннего духовного самоконтроля. В энигматической ситуации всегда бывает необычайно трудно быть объективным. Но как раз это вызывает к действию чисто внутренний, никакими наградами или наказаниями не заменимый и не возместимый, ничем извне не стимулируемый долг субъекта быть предельно внимательным и восприимчивым к самым ненавязчивым аксиологическим критериям.

В-седьмых, собственно креативность в ее энигматичности отнюдь не противостоит нетворческому бытию субъекта, но пронизывает *все* это бытие своими более или менее косвенными преломлениями и проявлениями. По степени опосредствованности и отстояния от собственно креативности такие проявления можно типологизировать иерархически как принадлежащие трем уровням, или *трем смысловым полям*.

7. Три смысловых поля

А. Поле полезностей. Здесь, согласно заранее данным критериям функциональной пригодности и служебной используемости, находят себе место отделимые от процесса внешние результаты творчества — проявления оригинальной продуктивности.

Б. Поле устремленностей. Здесь имеют силу ценностные ориентиры, но только такие, которые изначально были приняты субъектом и которые остаются неизмен-

* Опровержение идеи о «самооправданности» творчества, в частности исповедуемой Н. А. Бердяевым, стало одним из главных мотивов работы автора данных строк «Диалектика творчества» (депонирована в ИНИОН, деп. № 18609 от 1. 11. 84).

ными, неколебимыми для него. Всякая потребностная детерминация снимается, и тем самым полагается бесконечная перспектива развертывания предметных содержаний ради них самих по себе, а не с точки зрения интереса к тому, «что они нам дают». Принятые однажды ценностные ориентации выступают как непроблематизируемые, а поэтому не подлежат пересмотру, преобразованию, обогащению. В этом поле возможно незавершимое творческое искание и обретение, но лишь в некоторых ограниченных изначально эвристических направлениях.

В. *Собственно креативное поле*, или поле воссоздания и созидания самих беспредельных устремленностей. Только в этом поле получают полную претворимость вышеизложенные характеристики креативности *.

Независимо от излагаемой здесь философской концепции трех полей и параллельно ей в психологии вызрела и сложилась во многом оказавшаяся созвучной с нею *специальная* теория трех уровней, в которой преимущественное внимание уделяется психологии мотивационных факторов. Создательницей такой теории является Д. Б. Богоявленская¹⁸, которая характеризует три выделяемых ею уровня так:

а) *стимульно-продуктивный* уровень, где решающий задачу субъект движим и побуждаем требованиями извне, обязанностями, обещающей наградой за успех, соображениями престижа, всеми видами самоудовлетворения, самоутверждения и оценочными подкреплениями;

б) *эвристический* уровень, где возможны многообразные поисковые инициативы субъекта, не стимулируемые никакими наградами, славой, самооценками или погоней за успехом как таковым, или за яркой эффективностью будущего результата, т. е. без подталкивающих и подкупающих факторов, но сам субъект здесь не способен выйти за пределы однажды избранного направления поиска, продолжая двигаться лишь в пределах первоначально принятой им задачи и сохраняя ее почти неизменной (вряд ли, однако, правомерно привязывать этот уровень к только эмпирическому мышлению, как это делает Д. Б. Богоявленская);

* Сжатый очерк концепции трех полей дан в статье автора данных строк «Диалектика как логика мировоззрения целостно развитого человека» (см.: Материалистическая диалектика как логика. Алма-Ата, 1979. С. 120).

в) *собственно креативный* уровень, где субъект явно способен выходить к иным, отличным от поставленных перед ним задачам и полностью отдаваться им, откладывая менее радикальные и частные проблемы ради более широких и острых, более радикальных, ведущих в глубь предметного содержания. Субъект целиком загорается этим погружением в предметный смысл, посвящает себя поиску, становясь бескорыстно преданным самой сути дела. Здесь субъекту чужды, с одной стороны, любые требования, предъявляемые ему извне, ибо они не только излишни, но могут и серьезно помешать, как и всякая опека и регламентация, а с другой стороны, любая внесодержательная псевдовнутренняя мотивация — тщеславие, самопревознесение, познавательный гедонизм, — ибо последние свидетельствуют не о любви к истине, а о приверженности к собственническому присвоительству, наслаждению обладанием истины и использованием ее¹⁹.

Собственно креативное деяние субъекта выступает как совершение *открытия*. Спрашивается, возможно ли открытие в качестве исключительно познавательного акта? Изложенные выше соображения позволяют видеть, что лишь искажающий суть дела подход, несущий на себе следы так называемого культа научности, ведет к непременно положительному ответу на этот вопрос. Если же тщательно проанализировать *степени радикальности* открытия, то оказывается, что чисто познавательными могут представлять лишь *частичные* открытия, каждое из которых на самом деле представляет собой либо *дооткрытие* того, что уже было раньше разведано в принципе (при этом используется возможность дополнительного уяснения такого предмета, который уже раньше был зафиксирован в культуре и науке), либо *недооткрытие*, которое требует еще многих существенных усилий, пусть не столь заметных для постороннего глаза и не столь «громких», но в которых впервые достижимо целостное осмысление и прежде сделанных шагов в их подлинном значении.

Полное, целостное открытие есть всегда далеко не только установление чего-то нового в мире объектов или идеальных концептуальных моделей, не только дарование человечеству того, что открыто творческим субъектом (*внешнерезультативный* аспект), но также и дарование всем большей, нежели прежде, *общекультурной* (а не только познавательной) открытости субъектно-

человеческого мира внечеловеческому миру. Конечно, этот потенциал возросшей общекультурной открытости иногда под действием негативных факторов надолго остается нереализованным в жизни современников открывателя, а иногда даже, увы, в его собственной, но это не должно помешать попыткам расшифровать и выявить неявные смыслы и возможные социокультурные последствия всякого, пусть и кажущегося чисто познавательным, радикального открытия.

Подобно тому как мы не должны превозносить сверх объективной меры научность, мы не должны делать ни малейшей уступки и другому, не менее опасному превознесению и культу — культу человеческого творчества. Важно было показать (и притом без каких-либо узкогносеологических рамок и предубеждений) всю трудноуяснимую специфичность собственно креативности и ее многомерность, всю специфичность собственно креативных задач, которые по сути своей гораздо сложнее и комплекснее, чем задачи специально-познавательные. И это справедливо даже тогда, когда результативность творчества преломляется именно через познание, преимущественно через науку. Надо было несколько «потеснить» авторитет познания, чтобы дать место более полному утверждению диалектики творчества. Однако теперь творчеству пора уважительно воспринять уроки из опыта осуществления предельных возможностей *постижения и открывания истины*.

Познание, в том числе и научное, по своему итоговому человеческому смыслу есть далеко не только такая область, развитие которой позволяет человечеству все лучше и эффективнее вооружаться средствами, всякого рода инструментарием — вещественным, информационным, энергетическим. Оно есть еще такая школа объективности по отношению к миру, которая обучает человека видеть в действительности не только кладовую и арсенал средств, но и предметно воплощенную «программу» космогенеза, осуществление диалектики всекосмического совершенствования, к ценностному служению которому призван человек как созидатель. Благодаря познанию диалектика действительности воспитывает в человеке способность быть поистине человеком, субъектом-созидателем. Но чтобы верно понять это, надо решительно выйти за границы широко утвердившихся тенденций, особенно в естественнонаучном познании,

и перейти к предельным потенциям когнитивности как таковой.

Когда мы берем предметный горизонт для познавательной школы объективности только как обнимающий собой *природные* феномены, будь то доорганические или даже биологические, тогда нельзя найти и открыть достаточного содержания, чтобы из его распредмечивания узнать, каково человеческое назначение во Вселенной. Нужен гораздо более широкий горизонт. Необходимо включить в подлежащую познанию действительность еще и все то, чего в качестве стихийно-природных феноменов в ней нет и даже быть не может, но что виртуально в ней таится как культурно-созидательная возможность, присущая неисчерпаемой объективной диалектике Вселенной. Такие возможности надо максимально объективно познавать и принимать, вместо того чтобы навязывать миру свои собственные произвольно-субъективистские, индивидуально- и коллективно-антропоцентристские «модели». Надо узнать, признать и принять наш ценностно-должный образ — то, какими нас «ожидает» сама космическая действительность и какими мы призваны быть ради ее всеобщего, всеохватывающего саморазвития и самосовершенствования, вместо того чтобы опрокидывать и распространять на всю Вселенную наши земные мерила и потребности. Однако чтобы научиться претворению таких предельных потенций познания, следует почти на каждом шагу непрестанно вновь и вновь *достраивать, доразвивать* заставляемую нами реальность во всех тех направлениях, в которых ее скрытая логика позволяет и указывает это делать: такова работа *продления* объективной логики сущего за границы предуготованного нам природного бытия, такова работа культурного созидания в ее универсальном смысле.

Только включаясь в такого рода должную строительно-созидательную работу независимо от сугубо земных предпочтений и потребностей, человечество сумеет претворить также и *объективно* (т. е. в согласии с диалектикой) ценностно-ориентированные предельные потенции своего творчества, своей креативности. Только тогда оно поистине откроет чрезвычайно многое из того, что пока остается «закрытым» для нас, ибо *сами мы* еще недостаточно бескорыстно открыты внечеловеческому миру. В. И. Ленин однажды заявил Г. Уэллсу: «Если мы сможем установить межпланетные связи, придется

пересмотреть все наши философские, социальные и моральные представления...»²⁰ Однако скорее всего именно потому мы и не установили до сих пор ни с кем во Вселенной *взаимных* связей, что сами еще не готовы к пересмотру привычных для нас устоев, т. е. потому, что мы сами недостойны таких связей. Это учит нас самокритике, культуре раскаяния.

Глава 8. Предметная деятельность и онтогенез познания

Проблемы онтогенеза человеческого познания исследуются по преимуществу психологической наукой, в частности детской психологией. При их изучении советские психологи опираются на философское диалектико-материалистическое понимание познания, в основе которого лежит общественно-историческая *практическая деятельность* людей, и прежде всего коллективная, целенаправленная, чувственно-предметная *трудовая деятельность*, преобразующая окружающую действительность.

Марксистская теория познания исходит из того, что человеческое познание формируется в процессе взаимосвязанного осуществления людьми трех видов деятельности: коллективной практической деятельности, коллективной познавательной деятельности и коммуникативной деятельности. Эта теория ориентирована на изучение исторически развивающейся *коллективной* (а не индивидуальной) познавательной деятельности, средства и продукты которой выступают в объективированной форме¹. Хотя онтогенез познания связан со становлением и развитием его у индивида, психологи-марксисты учитывают существенную роль трех указанных коллективных видов деятельности людей при исследовании этих процессов.

Такому подходу к изучению генезиса познания способствует фундаментальное психологическое положение, сформулированное в свое время Л. С. Выготским на основе достаточно обширного эмпирического материала. Согласно этому положению, все психические функции (к ним можно отнести и познавательные функции индивида, например мышление) проходят в своем становлении две основные генетически связанные стадии: первоначально они осуществляются во внешне-социальной форме отношений людей (или в их коллективной деятельности), а затем во внутреннем плане, который регулирует деятельность отдельных индивидов. «Функции,— писал Л. С. Выготский,— сперва складываются

в коллективе в виде отношений детей, затем становятся психическими функциями личности»².

Л. С. Выготский был создателем культурно-исторической теории психического развития человека, согласно которой источники и детерминанты развития сознания и познания лежат в исторически развивающейся культуре. «Культура, — считал он, — и есть продукт социальной жизни и общественной деятельности человека, и потому самая постановка проблемы культурного развития поведения уже вводит нас непосредственно в социальный план развития»³. В процессе превращения коллективной деятельности людей в индивидуальную происходит *интериоризация* обеспечивающих их психических функций человека, когда внешняя форма осуществления последних превращается во внутреннюю (при этом происходит существенное изменение как содержания, так и познавательных возможностей этих функций).

В процессе интериоризации важную роль играет знак как реальный носитель человеческой культуры, как проводник культурной (или социальной) детерминации индивидуальной деятельности, индивидуального сознания и познания. Л. С. Выготский специально выделял стадии «внешнего» и «внутреннего» знака. При этом знак он считал прежде всего социальным средством, своего рода «психологическим орудием». «...Знак, находящийся вне организма, как и орудие, отделен от личности и служит по существу общественным органом или социальным средством»⁴.

Рассмотрение приведенных положений Л. С. Выготского позволяет полагать, что для него детерминация индивидуального сознания и познания имела следующую схему: *коллективная (социальная) деятельность в форме общения людей — культура — знаки — индивидуальная деятельность — индивидуальное сознание и познание*⁵. Изучение онтогенеза сознания и познания предполагает прослеживание всех звеньев приведенной схемы, в частности выявление роли коллективной деятельности и ее коллективного субъекта в детерминации индивидуального сознания и познания.

Следует отметить, что в некоторых современных работах специально обсуждаются существенные особенности именно такой детерминации сознания и познания. Так, в одной из них говорится следующее: «Индивидуальный субъект, его сознание и познание должны быть поняты, учитывая их включенность в различные си-

стемы коллективной практической и познавательной деятельности»⁶. И далее: коллективный субъект «существует в известном смысле вне каждого отдельного индивидуального субъекта. Коллективный субъект выявляет себя и законы своего функционирования не столько через внутренние структуры сознания индивида, сколько через внешнюю предметно-практическую деятельность и коллективную познавательную деятельность с системами объективированного знания»⁷. Таким образом, изначальным и подлинным субъектом всех форм деятельности (особенно предметно-практической) является коллективный субъект, и, лишь включаясь во все многообразие коллективных форм деятельности, индивид становится субъектом собственной деятельности, в том числе и познавательной.

Взгляды Л. С. Выготского на онтогенез человеческого сознания и познания послужили основой многих конкретных психологических исследований этого процесса, которые проводятся в нашей стране начиная с 30-х годов. В этих исследованиях особое внимание обращается на выявление механизмов интериоризации коллективной деятельности и обеспечивающих ее психических функций (в том числе и познавательных), а также на раскрытие роли знакового опосредствования в становлении индивидуальной деятельности и ее познавательных компонентов. Результаты этих исследований будут использованы ниже для описания узловых моментов онтогенеза человеческого познания, в котором существенное значение имеет коллективная и индивидуальная предметно-практическая и собственно познавательная деятельность людей.

Обобщение многочисленных психологических исследований позволило А. Н. Леонтьеву выявить общую структуру целостной человеческой деятельности, какого бы конкретного и частного вида она ни была (внешней, внутренней, предметно-практической, познавательной и т. д.). Любая деятельность имеет следующие составляющие: *потребность* \rightleftharpoons *мотив* \rightleftharpoons *цель* \rightleftharpoons *условия достижения цели* (единство цели и условий составляет *задачу*) и соотносимые с ними *деятельность* \rightleftharpoons *действие* \rightleftharpoons *операции*. Структура целостной деятельности претерпевает постоянные изменения и трансформации. Так, деятельность может утратить свою потребность и превратиться в действие, а действие при потере цели может превратиться в операцию⁸.

Реальное действие человека всегда воплощается в том или ином моторном акте, или движении. Такое движение — это не реакция, а акция, не ответ на внешнее раздражение, а решение задачи. Наиболее существенным признаком, отличающим движение человека от механического движения, является то, что оно представляет собой не только и не столько перемещение тела в пространстве и времени, сколько преодоление пространства и времени и овладение ими. Хотя движение осуществляется во внешнем пространстве, оно вместе с тем имеет и собственное пространство. Н. А. Бернштейн на основании обобщения совокупности свойств моторики в ее взаимосвязях с внешним пространством ввел понятие *моторного поля*. Отсутствие устойчивых идентичных линий в моторном поле, неповторимость движений наводят на мысль о том, что человеческое движение каждый раз строится заново. Моторное поле строится посредством поисковых, пробующих движений, зондирующих пространство во всех направлениях⁹. Так понимаемое движение может рассматриваться как генетически исходная единица психической реальности — реальности образов отражения.

Образы — это субъективные феномены, возникающие в результате предметно-практической и познавательной деятельности (в последней можно выделить два вида — сенсорно-перцептивную и мыслительную деятельность). Сенсорно-перцептивный образ является целостным, интегральным отражением действительности, в котором *одновременно* представлены основные перцептивные категории (пространство, время, движение, цвет, форма, фактура и т. д.). Важнейшей его функцией выступает регуляция деятельности. Чтобы выполнять эту функцию, отражение должно быть объективно верным.

Рассмотрим это подробнее на примере зрительного образа.

В зрительном восприятии выделяют два типа структур: пространственную структуру, связанную с локализацией в координатах трехмерного пространства окружающего мира, и структуру проксимальной стимуляции, соотносимую с анатомическими координатами сетчатки. В исследованиях микрогенеза зрительного образа и стабилизации изображения относительно сетчатки можно наблюдать определенную независимость этих структур друг от друга, хотя в реальном акте вос-

приятия они взаимосвязаны. Обе структуры характеризуются и некоторыми иконическими (картинными) свойствами, которые составляют чувственную ткань образа, как правило слитую с предметным содержанием воспринимаемой действительности, т. е. локализованную во внешнем трехмерном пространстве. В биодинамической ткани движения также присутствуют иконические, чувственные свойства (ощущаемость и чувствительность движения).

Пространственная структура образа складывается в результате действий субъекта с предметами, когда происходит преобразование биодинамической ткани движения в чувственную ткань образа. Сказанное относится не только к процессу формирования, но и к сформированному образу: ведь остановка может рассматриваться как накопленное движение, его симультанный слепок.

По мере формирования пространственного образа он наполняется предметными свойствами, облекается чувственной тканью и совместно с ней локализуется во внешнем пространстве. Сказанное относится к чувственной ткани, связанной по происхождению с биодинамической. Сложнее обстоит дело с чувственной тканью, связанной по своему происхождению со свойствами проксимальной стимуляции (со свето-цветовыми свойствами окружения). Можно предположить, что этот тип чувственной ткани не обладает изначально предметными (и соответственно картинными) свойствами. Они приобретаются по мере того, как она сливается с пространственной структурой образа и вместе с ней экстериоризируется и локализуется во внешнем пространстве. После этого образ выступает как интегральное и неразложимое целое.

Следовательно, движение и свет в одинаковой мере выступают в качестве «строительного материала» зрительной пространственной картины мира. Более того, обе формы чувственной ткани становятся обратимыми. При формировании пространственного образа ведущую роль играет чувственная ткань, имеющая своим источником движение, действие, на первых порах практическое, а затем и перцептивное¹⁰. В сформированном образе ведущее положение занимает чувственная ткань, имеющая своим источником проксимальную стимуляцию. При построении движения осуществляется обратный перевод, т. е. чувственная ткань образа

трансформируется в биодинамическую ткань движения.

В итоге мы получаем следующую картину. Субъект посредством движений извлекает предмет из внешнего пространства и «одевает» его светом. Это можно сравнить с художественным приемом М. Булгакова: уже выделенный в пространстве предмет «одевается светом молнии». Не менее отчетливо у Булгакова выражен и противоположный ход: «Человек при свете солнца соткался из воздуха, вылепился из жирного зноя»¹¹. У этого писателя свет действительно выступает как строительный материал многих его художественных образов. У Р. М. Рильке также можно найти иллюстрации того, что мы называем трансформацией биодинамической ткани в чувственную ткань. Он пишет об одной из скульптур Родена: «Само по себе движение в скульптуре — не новшество. Обновился лишь его характер, к которому свет притягивается особым свойством этих поверхностей, чьи скаты и уклоны столь изменчивы и многообразны, что тут свет медленно стекает, а там рушится — то мелкий, то глубокий, то зеркальный, то матовый. Прикоснувшись к одной из таких вещей, свет избавляется от своей неприкаянности; ему теперь не до произвольных поворотов; светом овладевает вещь и располагает им по собственному усмотрению»¹². Обратим внимание на то, что Рильке пишет о притягивании света к движению, прикосании его к вещи (а далее о присвоении и усвоении света) и, наконец, использует очень сильный образ: свет избавляется от своей неприкаянности.

Эти примеры иллюстрируют очень важный пункт наших рассуждений. Многие годы для теории перцептивных действий, развитой А. В. Запорожцем и объясняющей возможный механизм чувственного отражения, камнем преткновения была возможность распространения этой теории на восприятие перцептивных категорий, которые, как казалось тогда, не требуют участия моторных звеньев перцепции. Приведенные рассуждения и накапливающиеся экспериментальные данные позволяют распространить основные положения теории перцептивных действий и на восприятие таких перцептивных категорий, как свет и цвет.

Роль активного предметного действия в формировании у ребенка, например, осязательного образа четко выступает в следующем факте: если ребенок пассивно

перемещает руку по контуру предмета, то у него не возникает отчетливого образа его формы, для возникновения такого образа ребенку нужно активно ощупывать соответствующий предмет. В ряде исследований были выявлены важные особенности перцептивных действий у детей дошкольного возраста. Эти действия, с одной стороны, позволяют субъекту воссоздать некоторое подобие воспринимаемого предмета. С другой стороны, в результате действий происходит перекодирование, перевод получаемой информации на их собственный язык, на язык оперативных единиц восприятия, которые уже освоены субъектом и признаки которых ему хорошо известны. Таким образом, одновременно с уподоблением субъекта объекту происходит уподобление объекта субъекту¹³.

Развитие образов восприятия у ребенка происходит в процессе выполнения им все более сложных перцептивных действий. При этом овладение каждым новым их типом проходит ряд этапов. На первом из них выявление ребенком свойств предметов, учет которых необходим для выполнения практического действия, осуществляется в самом процессе такого действия, а результат достигается путем практических проб, без развернутого предварительного следования ситуации. Затем начинается складываться ориентировочное действие, предшествующее практическому и позволяющее ребенку обследовать нужные свойства и отношения предметов, используя внешние приемы (их сближение, прикладывание друг к другу и т. п.). На втором этапе ориентировочные действия изменяют форму, место внешних примеров занимают движения воспринимающих органов — осматривающего предметы глаза, ощупывающей их руки и др., при помощи которых создается образец ситуации, предвосхищаются пути практического поведения. Наконец, на третьем этапе сложившиеся перцептивные действия сокращаются и начинают осуществляться без видимых внешних проявлений: ребенку достаточно бросить взгляд на предметы, чтобы обнаружить их свойства и отношения, важные для решения практической задачи.

Поскольку овладение каждым новым видом перцептивных действий имеет в своем исходном пункте решение нового типа практических задач, развитие детского восприятия определяется общим развитием предметно-практической деятельности ребенка. Она ставит перед

восприятием все более сложные задачи и создает предпосылки для отыскания путей их разрешения. Так, развитие зрительного восприятия происходит на первом году жизни в связи с формированием хватания и удерживания предметов, передвижения ребенка в пространстве; на втором-третьем году жизни — в связи с усвоением способов употребления предметов, применения простейших орудий. В последующие годы дошкольного детства зрительное восприятие развивается главным образом на основе продуктивных видов деятельности — рисования, лепки, конструирования и др., требующих детального анализа формы предметов, их внутреннего строения, отношений по величине и т. п.

Развитие предметной деятельности ребенка происходит под руководством взрослых, под влиянием организованного и стихийного воспитания и обучения, в ходе которого ребенок усваивает общественный опыт, накопленный предшествующими поколениями. В частности, ему передаются систематизированные *образцы* различных свойств и отношений предметов, которые принято называть *сенсорными эталонами*. В качестве таких эталонов выступают система геометрических форм, система цветов спектра, общепринятая шкала музыкальных звуков, система звуков речи и др. Усваивая сенсорные эталоны, ребенок использует их в своих перцептивных действиях в качестве своеобразных «мерок», с которыми он может сопоставить любое вновь воспринятое свойство и дать ему соответствующее определение, найти его место в ряду других ¹⁴.

Последующая эволюция образов восприятия состоит в том, что они трансформируются в перцептивные схемы и приобретают различные смысловые значения, благодаря которым эти образы начинают постепенно абстрагироваться от непосредственной реальности и в них начинает соответственно уменьшаться удельный вес биодинамической и особенно чувственной ткани. Возникновение у человека перцептивных схем и смысловых значений связано уже с переходом на новый уровень отражения — на уровень *мышления*.

Многочисленные исследования психологов показали, что ребенок начинает познавать окружающий мир посредством мышления с выполнения особых предметно-практических действий, в которых первоначально слиты познавательные и практические (или исполнительские) компоненты. Только впоследствии собственно познава-

тельные компоненты действий приобретают относительную самостоятельность, выступая в виде подготовительных этапов в решении предметно-практических задач, а затем уже в виде таких познавательных действий, которые имеют собственные мотивы и цели ¹⁵.

Так, ребенок годовалого возраста, обладая некоторыми общественно выработанными способами употребления окружающих его предметов (например, использование совка в качестве средства копания песка), начинает экспериментировать с этими предметами, помещая их в различные положения по отношению к другим предметам или комбинируя их между собой (например, ребенок может использовать палочку для того, чтобы с ее помощью придвинуть к себе какой-либо предмет). При этом соответствующими действиями ребенок овладевает, подражая окружающим людям. Первоначально он схватывает общий смысл подражаемого действия, не умея вместе с тем правильно выполнить его из-за отсутствия требуемой конкретной моторики. Но при последующей реализации этого общего смысла действия ребенок овладевает необходимой моторикой и научается использовать его при решении различных конкретных и частных задач ¹⁶. Общение со взрослыми людьми — необходимое условие усвоения ребенком тех или иных познавательных действий.

Изучая процесс возникновения мышления у детей, А. В. Запорожец обнаружил, что на самых первых этапах этого процесса мышление вообще не может быть отделено от практического действия ребенка, направленного на преобразование того или иного предмета, и выступает как особое свойство самого этого действия, благодаря чему его можно назвать практическим интеллектуальным (или разумным) действием ¹⁷. Обобщая ряд исследований, посвященных происхождению мышления, А. Н. Леонтьев писал: «Первоначально познание свойств, недоступных непосредственно-чувственному отражению, является прямым результатом действий, направленных на практические цели. Лишь вслед за этим оно может отвечать специальной задаче... Действия, подчиненные познавательной цели, результатом которых являются добываемые посредством их знания, представляют собой уже настоящее мышление в его внешней, практической форме» ¹⁸.

Вместе с тем, как показали психологические исследования, мышление связано с определенными действиями

в отношении объекта даже тогда, когда оно приобрело речевую дискурсивную форму, т. е. стало относительно самостоятельным процессом. Конечно, такие действия осуществляются в *идеальном* плане¹⁹. Существенную роль при этом играет речь как средство общения людей.

Следует отметить, что изложенной выше позиции советских психологов, касающейся генезиса человеческого мышления, в определенной степени соответствует подход к этой проблеме крупнейшего западного психолога Ж. Пиаже, создавшего оригинальную теорию развития детского мышления. Мышление (или познание), согласно Ж. Пиаже, опирается на реальное, практическое взаимодействие субъекта и объекта. Внутри этого взаимодействия «субъект, раскрывая и познавая объект, организует действия в стройную систему, составляющую операции его интеллекта или мышления»²⁰. «... Не воздействуя на объект и не преобразуя его,— пишет Ж. Пиаже,— субъект не сможет понять его природу и останется на уровне простых описаний»²¹.

Исторически возникли два основных типа мышления, или рационального познания действительности: рассудочно-эмпирическое и разумно-теоретическое, отличающиеся закономерностями своего развития и функционирования. Без различения этих двух типов мышления нельзя сформировать современное понимание онтогенеза человеческого опознания. Рассудок направлен на расчленение, регистрацию и словесное описание результатов чувственного опыта. Разделение и абстрагирование, приводящие к «абстрактному тождеству», противоположаемому особенному,— таковы функции рассудка, с которого начинается рациональное познание. Благодаря рассудку наличные предметы схватываются в их определенных различиях и фиксируются в их изолированности.

Выход за пределы рассудка осуществляется разумно-теоретическим (или диалектическим) мышлением, открывающим в предмете его конкретность как единство различных определений, которые признаются рассудком лишь в их раздельности. Если принцип рассудка состоит в абстрактном тождестве, то принципом разума является конкретное тождество. Ф. Энгельс, как известно, отмечал, что у людей общи с животными все виды рассудочной деятельности: индукция, дедукция, абстрагирование, анализ, синтез, эксперимент. «По типу все эти методы... — писал он,— совершенно одинаковы у

человека и у высших животных. Только по степени (по развитию соответствующего метода) они различны... Наоборот, диалектическое мышление — именно потому, что оно имеет своей предпосылкой исследование природы самих понятий, — возможно только для человека, да и для последнего лишь на сравнительно высокой степени развития (буддисты и греки), и достигает своего полного развития только значительно позже, в новейшей философии...»²²

Рассмотрим подробнее содержание разумно-теоретического (диалектического) мышления. Его потенции заключены в самом процессе производительного труда. Оно всегда внутренне связано с чувственно данной действительностью. Теоретическое мышление в полной мере реализует те познавательные возможности, которые открывает перед человеком предметно-чувственная практика, воссоздающая в своей экспериментальной сути всеобщие связи действительности. Теоретическое мышление подхватывает и идеализирует экспериментальную сторону производства, придавая ей вначале форму предметно-чувственного познавательного эксперимента, а затем и эксперимента мысленного, осуществляемого в форме понятия и через понятие. Потребовалось значительное время, чтобы в процессе исторического развития материального и духовного производства теоретическое мышление приобрело суверенность и современную форму.

В. С. Библер выделил следующие основные особенности мысленного эксперимента: 1) предмет познания мысленно перемещается в такие условия, в которых его сущность может раскрыться с особой определенностью, 2) этот предмет становится объектом последующих мысленных трансформаций, 3) в этом же эксперименте мысленно формируется та среда, та система связей, в которую помещается данный предмет²³. Эти особенности мысленного эксперимента составляют базу теоретического мышления, оперирующего понятиями. Понятие выступает здесь как такая форма мышления, посредством которой воспроизводится идеализированный предмет и система его связей, отражающих в своем единстве всеобщность, сущность движения материального объекта. Понятие одновременно выступает и как форма отражения материального объекта, и как средство его мысленного воспроизведения, построения, т. е. как особое *мыслительное действие*. При этом именно отра-

жение объекта позволяет человеку сознать в процессе мышления независимое от него существование объекта, который дан как предпосылка деятельности. Эта предпосылка придает понятию зависимость от объективного содержания.

Таким образом, иметь понятие о данном объекте — это значит мысленно воспроизводить, строить его. Действие по построению и преобразованию мысленного предмета является актом его понимания и объяснения, раскрытия его сущности. В духовном производстве, как и в материальном, есть свои средства воспроизведения предмета. Человек *раскрывает* и *воссоздает* свойства предметов через их отношения и связи друг с другом. Одна вещь становится средством воплощения свойств других вещей, выступая как их эталон и мера. Результат такого воплощения может быть представлен, например, в виде шкалы твердости или в изображении форм пространства. При этом свойства меры и эталона представляют не собственную природу, а природу других вещей, мера и эталон оказываются символами последних. Различные системы символов (вещественных, графических) являются средствами «эталонизации», а тем самым и идеализации материальных объектов, средствами перевода их в мысленный план. «Функциональное существование символа,— писал Э. В. Ильенков,— заключается именно в том, что он... выступает средством, орудием выявления *сути других чувственно воспринимаемых вещей*, т. е. их всеобщего...»²⁴ Раскрытие и выражение в символах опосредствованного бытия вещей, их всеобщности есть *переход к теоретическому воспроизведению действительности*.

Общая задача познания состоит в том, писал В. И. Ленин, чтобы охватить «универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы»²⁵. В природном целом все вещи постоянно изменяются, переходят в другие, исчезают. Но каждая вещь, согласно диалектике, не просто изменяется и исчезает, а переходит в свое другое, которое в более широком взаимодействии вещей выступает как необходимое следствие бытия исчезнувшей вещи. Отдельные изменения и связи вещи могут рассматриваться как моменты более широкого взаимодействия, в котором она закономерно замещается своим другим, и этот переход сохраняет все положительное в ней, необходимое для целостной системы взаимодействия.

Рассмотрение становления вещей, их опосредствования друг другом в целостной системе осуществляется в процессе теоретического мышления. Объективную целостность, существующую через связи единичных вещей, в диалектическом материализме принято называть *конкретным*; теоретическая мысль как раз и стремится воспроизвести его в процессе восхождения от абстрактного к конкретному.

Теоретическое мышление реализуется посредством выполнения человеком различных мыслительных действий. Важную роль в этом процессе играют действия абстрагирования и обобщения. Благодаря абстрагированию человек вычленяет исходное отношение некоторой целостной системы и при мысленном восхождении к ней удерживает его специфику. Вместе с тем это исходное отношение первоначально выступает лишь как особенное отношение. Но в процессе обобщения человек при установлении закономерных связей этого отношения с единичными явлениями может обнаружить его всеобщий характер как основу внутреннего единства целостной системы*.

То обобщение, в процессе осуществления которого обнаруживаются и прослеживаются реальные взаимосвязи всеобщего с особенным и единичным, можно назвать *содержательным обобщением*. Произвести содержательное обобщение — значит раскрыть необходимую взаимосвязь особенных и единичных явлений с общей основой некоторого целого, открыть закон становления внутреннего единства этого целого. При этом, как отмечал Б. М. Кедров, «обобщение здесь достигается не путем простого сопоставления признаков у отдельных предметов, что характерно для чисто индуктивного обобщения, а путем анализа сущности изучаемых предметов и явлений, ибо их общность как раз и определяется наличием внутреннего единства их многообразия...»²⁶

Таким образом, содержательное обобщение осуществляется путем *анализа* некоторого целого с целью открытия его генетически исходного, существенного, всеобщего отношения как основы внутреннего единства этого целого. Существенное или всеобщее отношение,

* «...Обобщение — это обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного» (Розенталь М. М. Принципы диалектической логики. М., 1960. С. 211).

обнаруживаемое в процессе содержательного обобщения, имеет предметно-чувственную форму. Абстракция и обобщение содержательного типа получают свое выражение в форме *теоретического понятия*, которое служит способом выведения особенных и единичных явлений из их всеобщей основы *. Благодаря этому содержанием теоретического понятия являются процессы *развития* целостных систем.

Иметь понятие о каком-либо предмете — значит владеть общим способом его мысленного построения **. Способ, с которым связано понятие, — это особое мыслительное действие человека, само возникающее как дериват (производное) предметно-познавательного действия, воспроизводящего предмет своего познания. Иными словами, за каждым понятием скрыто особое предметно-познавательное действие (или система таких действий), без выявления которого нельзя раскрыть механизмы возникновения и функционирования данного понятия.

С этой точки зрения представляет интерес одно высказывание И. Ньютона о соотношении геометрии и механики, в котором вместе с тем отчетливо выступает внутренняя связь предметно-познавательных действий и некоторых теоретических понятий этих наук. Он писал: «Однако самое проведение прямых линий и кругов, служащее основанием геометрии, в сущности относится к механике... Геометрия основывается на механической практике и есть не что иное, как та часть *общей механики*, в которой излагается и доказывается искусство точного измерения» ²⁷. «Вычерчивание», «механическая практика», «искусство измерения» прямо связаны с определенными предметно-познавательными действиями ***. Без выяснения их строения и взаимосвязи нель-

* «...Понятие выступает... как орудие мыслительной деятельности, средство размышления, способ объяснения...» (Арсеньев А. С., Библер В. С., Кедров Б. М. Анализ развивающегося понятия. М., 1967. С. 33).

** «Понять явление — значит выяснить способ его возникновения, «правило», по которому это возникновение совершается с необходимостью, заложенной в конкретной совокупности условий...» (Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960. С. 159).

*** Вычерчивание прямых линий и кругов, отмеченное И. Ньютоном, может происходить как на бумаге, так и мысленно. Однако мысленное действие является образом предметного действия, выполняемого на бумаге.

зя, на наш взгляд, установить возникновение ряда важных понятий механики и геометрии.

Абстракции, обобщения и понятия, лежащие в основе теоретического мышления, существенно отличаются от абстракций, обобщений и понятий, характерных для эмпирического мышления. Целесообразно дать краткую сводку основных различий эмпирических и теоретических абстракций, обобщений и понятий (при этом будет использоваться термин «знания», который обозначает указанные операции в их единстве).

1. Эмпирические знания вырабатываются в процессе сравнения предметов и представлений о них, что позволяет выделить в них одинаковые, общие свойства. Теоретические же знания возникают в процессе анализа роли и функции некоторого особенного отношения внутри целостной системы, которое вместе с тем служит генетически исходной основой всех ее проявлений.

2. В процессе сравнения происходит выделение формально общего свойства некоторой совокупности предметов, знание которого позволяет относить отдельные предметы к определенному их классу независимо от того, связаны эти предметы между собой или нет. Процесс анализа позволяет открыть генетически исходное отношение целостной системы как ее всеобщее основание, или сущность.

3. Эмпирические знания, опирающиеся на наблюдение, отражают в представлениях внешние свойства предметов. Теоретические знания, возникающие на основе мысленного преобразования предметов, отражают их внутренние отношения и связи и тем самым «выходят» за пределы представлений.

4. Формально общее свойство выделяется как рядоположенное с особенными и единичными свойствами предметов. В теоретических знаниях фиксируется связь реально существующего всеобщего отношения целостной системы с ее различными проявлениями, связь общего с единичным.

5. Процесс конкретизации эмпирических знаний состоит в подборе иллюстраций, примеров, входящих в соответствующий класс предметов. Конкретизация теоретических знаний состоит в выведении и объяснении особенных и единичных проявлений целостной системы из ее всеобщего основания.

6. Необходимым средством фиксации эмпирических знаний являются слова-термины. Теоретические знания

прежде всего выражаются в способах умственной деятельности, а затем уже с помощью различных символических средств, в частности с помощью средств естественного и искусственного языка.

При рассмотрении особенностей теоретических абстракций, обобщений и понятий как средств и способов теоретического мышления мы опирались на те их характеристики, которые наиболее отчетливо проступают в научном познании с присущим ему восхождением от абстрактного к конкретному. Но научное познание является лишь одной из развитых форм общественного сознания людей, к которому принадлежат еще искусство, нравственность, право, а в них также функционирует мышление (в настоящее время, как известно, принято говорить о художественном и моральном мышлении).

Все формы общественного сознания являются высшим продуктом «организованного мышления», соотносимого с понятием теории, интерпретируемым в широком смысле²⁸. Организованное мышление призвано «обеспечивать» отдельных людей исторически сформировавшимися всеобщими средствами понимания сущности самых различных сфер действительности. Овладев этими средствами, отдельный человек может свои случайные впечатления о единичных явлениях окружающего мира привести в единую систему проверяемых суждений, обоснованных пониманием сущности той или иной сферы действительности (будь это сфера искусства, науки, нравственности или права).

Организованное мышление имеет, на наш взгляд, логику теоретического мышления, которая обнаруживается во всех формах общественного сознания. С точки зрения требований этой логики наука при всей ее специфике имеет коренную общность, например, с моралью. «Выступая в известном смысле как вещи разнорядковые, — писал О. Г. Дробницкий, — наука и мораль взаимно «проницают» друг друга»²⁹. Поэтому можно сказать, что «*нравственность — это тоже знание*»³⁰.

Теоретическое, или разумное, мышление имеет ряд характерных черт, которые, будучи едиными по содержанию, по-разному обнаруживаются на материале, относящемся к различным формам общественного сознания *. Так, этому мышлению присущ анализ как спе-

* Отметим, что термин «теоретическое мышление», применяемый обычно при характеристике научного познания, непривычно использовать при рассмотрении других форм общественного сознания;

соб обнаружения генетически исходной основы некоторого целого. Далее, для него характерна рефлексия, благодаря которой человек рассматривает основания своих собственных мыслительных действий и тем самым опосредствует одно из них другими, раскрывая при этом их внутренние взаимоотношения. Наконец, теоретическое мышление осуществляется в основном в плане умственных действий (план мыслительного эксперимента).

До сих пор мы рассматривали логические особенности теоретического и эмпирического мышления, знание которых имеет большое значение и для психологических исследований. Это хорошо понимал С. Л. Рубинштейн, который проводил четкое различие между эмпирическим и теоретическим мышлением и обслуживающими эти типы мышления абстракциями и обобщениями³¹. С. Л. Рубинштейн был одним из первых, кто дал психологическую характеристику теоретического решения задачи: «Решить задачу теоретически значит решить ее не только для данного частного случая, но и для всех однородных случаев»³². На наш взгляд, эта психологическая характеристика соответствует логическому пониманию теоретического мышления. Одна из важных проблем современной психологии состоит в том, чтобы, во-первых, не изучать мышление и познание «вообще», а раскрывать закономерности их разных типов, во-вторых, специально исследовать предметно-деятельностную основу генезиса мышления и познания теоретического типа, логические особенности которого были рассмотрены выше.

Исторические обстоятельства сложились так, что содержание и «технология» обучения и воспитания основной массы детей долгое время были направлены на формирование у них по преимуществу рассудочно-эмпирического мышления. Рассмотрим психолого-педагогическую интерпретацию особенностей этого типа мышления, а также покажем, как ориентация педагогики и психологии на такое мышление в реальном учебно-воспитательном процессе отражалась на генезисе и формировании детского мышления. При дальнейшем рассмотрении внутренней связи обучения и воспитания

поэтому вместо этого термина можно было бы ввести такие термины, как «разумное мышление», «рефлексирующее мышление» или «постигающее мышление».

детей с их умственным развитием мы сосредоточим внимание на таких мыслительных операциях, как абстрагирование и обобщение, поскольку особенности именно этих двух операций определяют существенные характеристики различных типов мышления.

Применительно к процессам традиционного и общепринятого обучения детей процесс обобщения состоит в том, что они посредством сравнения выделяют некоторые повторяющиеся свойства группы предметов. Для психолого-педагогических работ типично следующее положение: «...производится обобщение, т. е. сходные качества во всех предметах того же вида или класса признаются общими»³³. Такое обобщение характеризуется как основной путь образования понятий у школьников*. Общее как нечто повторяющееся, устойчивое является определенным инвариантом разнообразных свойств предметов данного рода, т. е. является существенным. Во многих психологических работах термины «общее» и «существенное» употребляются в одном и том же смысле: «Для выделения существенных признаков необходимо усмотреть их как признаки, общие одному ряду предметов и не свойственные другому»³⁴.

Обобщение рассматривается в неразрывной связи с абстрагированием. Выделение некоторого существенного качества как общего предполагает его отчленение от других качеств. Это позволяет человеку превращать общее качество в самостоятельный и особый предмет последующих действий (общее качество обозначается каким-либо словом). Знание общего, будучи результатом сравнения и фиксирования его в слове, всегда есть нечто абстрактное, отвлеченное. Движение от восприятия к понятию — это переход от конкретного, чувственного к абстрактному, мыслимому. Какую же функцию выполняет понятийное обобщение, возникающее в этом переходе?

Выход в область указанного обобщения позволяет детям осуществлять такое действие, как систематизация (или классификация), имеющее большое значение в их познавательной деятельности. Одна из центральных

* В психологии известно обобщение, связанное с восприятием, переживанием, действием и т. д. При рассмотрении некоторых психолого-дидактических вопросов обучения речь будет идти об обобщении, связанном с образованием понятий у школьников, поэтому вполне правомерно употребление такого выражения, как «образование понятийного обобщения».

задач обучения как раз и состоит в том, чтобы дать детям знание классификационных схем, отражающих соотношение понятий в той или иной области (учащиеся классифицируют, например, животных и растения, части слова и предложения, плоские и объемные фигуры и т. д.). Одним из основных способов классификации является установление родовидовых отношений, выделение в понятиях родового и видового различия. Создание иерархии обобщений подчинено задаче опознания единичных предметов или явлений как принадлежащих к определенному роду и виду, как занимающих по своим свойствам определенное место в классификации.

Представления психологов и педагогов о характере образования понятийного обобщения у детей составляют важную часть того фундамента, на котором строятся содержание и методы обучения. Сам способ развертывания содержания основных школьных дисциплин (их программ) исторически складывался с учетом этих представлений. «Программа обучения в школе обычно учитывает указанные закономерности развития обобщения у школьников. Учащихся постепенно подводят к обобщениям через наблюдение и изучение чувственно-воспринимаемого, наглядно данного, конкретного материала»³⁵. Следует отметить, что указанный подход психологов и педагогов к абстрагированию, обобщению и формированию понятий у школьников *соответствует формально-логическому истолкованию* этих мыслительных операций. Совпадение наблюдается здесь, во-первых, в понимании общего лишь как одинакового и сходного в группе предметов, во-вторых, в истолковании существенного лишь как отличительного признака класса предметов, в-третьих, в описании переходов от восприятия к представлению и затем к понятию.

Выяснение этого обстоятельства имеет принципиальное значение. Дело в том, что в психологии и педагогике принято говорить об обобщении и понятии как таковых. На самом же деле, когда речь идет о том пути образования понятийного обобщения, который мы описали выше, говорить можно лишь о формально-логическом его истолковании. Как показывает специальный анализ, мышление, осуществляющееся с помощью абстракций и обобщений формально-логического характера, приводит к образованию лишь так называемых эмпирических понятий. Способ образования таких понятий, писал Б. М. Кедров, «предполагает возможность

оперирования непосредственно ощутимыми признаками изучаемых предметов. Он сугубо эмпиричен. На этой логической основе построены, как правило, многочисленные определители в различных естественных науках, например, определители высших растений, водорослей, насекомых, рыб, птиц, минералов, горных пород и т. д. и т. п. ...Подобные определители играют важную роль в естествознании»³⁶.

В формально-логическую схему укладывается образование как житейских, так и эмпирических понятий в науке и других сферах общественного сознания. Специфики собственно теоретических понятий формально-логические абстракции и обобщения не выражают. Вместе с тем известно, что одна из важных проблем теории познания состоит в определении именно своеобразия и качественных особенностей теоретических понятий в отличие от житейских и эмпирических. В эмпирическом понятийном обобщении не выделяются именно существенные особенности самого предмета, внутренняя связь его сторон. Оно не обеспечивает в познании разведения явлений и сущности. Таким образом, традиционная формальная логика, педагогическая психология и дидактика описывают лишь эмпирическое мышление, решающее задачи классификации предметов по их внешним признакам и задачи их опознания. Область мыслительных процессов ограничена здесь: 1) сравнением конкретно-чувственных данных с целью выделения формально общих признаков и составления классификации, 2) опознанием конкретно-чувственных объектов с целью их включения в тот или иной класс.

Теорию этих мыслительных процессов и ее гносеологические установки (узкий односторонний сенсуализм) наиболее отчетливо сформулировал Дж. Локк. Эту теорию обычно называют *эмпирической теорией мышления*. Односторонность локковского сенсуализма состоит не в том, что чувственные данные полагаются источником всех рациональных форм познания. Это азбука всякого материализма, который с этой точки зрения всегда «сенсуалистичен». Классический, локковский сенсуализм как особое теоретико-познавательное направление (мы говорим о сенсуализме материалистическом, признающем объективность действительности) состоит в том, что он устанавливает полную идентичность «элементов» содержания мысли (понятия) внешним, непосредственно воспринимаемым об-

щим признакам предметов, получаемым путем сравнения. Эти признаки могут быть и воспринимаемы, и представляемы, и мыслимы, но именно они, и только они. Это и означает сведение содержания понятия к чувственным данным. Это и означает описание процесса образования понятия как изменения лишь формы фиксации и выражения общих признаков предмета. Это и означает односторонний сенсуализм в истолковании природы понятия, за пределы которого, естественно, и не выходит эмпирическая теория мышления.

В XVIII—XIX вв. эта теория стала содержанием школьных пособий по формальной логике и оказала существенное влияние на психологию и диалектику*. А. Н. Леонтьев писал следующее: «На протяжении почти всего XIX в. научно-психологические представления о мышлении развивались под влиянием формальной логики и на основе субъективно-эмпирической ассоциативной психологии. Психологический анализ мышления сводился главным образом к выделению отдельных мыслительных процессов: абстракции и обобщения, сравнения и классификации. Описывались также разные виды суждений и умозаключений, причем описания эти прямо заимствовались из формальной логики. В формально-логическом духе освещался и вопрос о природе понятий»³⁷.

Влияние эмпирической теории мышления на психологию и дидактику сохранилось, на наш взгляд, до сих пор. Для этого есть свои объективные причины. До самого последнего времени основные заботы педагогов и психологов большинства экономически развитых стран были связаны с начальным обучением, призванным формировать у школьников знания преимущественно эмпирического и утилитарного характера. В процессе обучения за пределами начальной школы вставляли, конечно, сложные вопросы развития у школьников собственно теоретического мышления. Но они зачастую решались стихийно, без сколько-нибудь выверенного

* «В популярных изложениях процесса абстракции, особенно в школьных учебниках логики, мы встречаемся, как правило, с теорией абстракции, уходящей своими корнями в эмпирическую теорию познания. Такая теория абстракции выражается обычно при помощи простой схемы... Построенная таким образом простая схема абстракции связывается обычно с именем Джона Локка» (*Тондль Л. О познавательной роли абстракции // Мировоззренческие и методологические проблемы научной абстракции. М., 1960. С. 130*).

логико-психологического представления о его законах и способах их педагогической «утилизации». Поэтому основной теорией мыслительных процессов оставалась теория эмпирического мышления со всеми ее предпосылками и следствиями.

Схема образования эмпирических понятий проясняет смысл известного психолого-педагогического требования двигаться в обучении от частного к общему. Согласно этой схеме, общее является результатом сравнения единичных предметов, результатом их обобщения в понятие о классе предметов. Оно выступает как результат движения от чувственно-конкретного к мысленному абстракту, выраженному в слове. В русле этой схемы особую интерпретацию получают термины «эмпирическое» и «теоретическое». Первое — чувственно-конкретное, второе — абстрактно-общее, вербальное.

Чем выше уровень обобщения, т. е. чем больший круг разнообразных предметов входит в данный класс, тем абстрактнее и «теоретичнее» мышление. Умение мыслить абстрактно при этом трактуется как показатель высокого уровня развития мышления. Однако при этом упускается из виду тот момент, что каждый предмет берется здесь односторонне, с точки зрения лишь *его сходства* с другими предметами, без раскрытия условий существования целостного предмета в его специфике. В свое время еще Гегель показал, что такое абстрактное мышление чаще всего в жизни и встречается. Люди по преимуществу мыслят *именно абстрактно*, выделяя отдельные стороны предмета, в том или ином отношении сходные с чем-либо другим, и эти отдельные моменты приписываются предмету в целом, без выявления внутренней связи его сторон и особенностей.

С позиций эмпирической теории мышления неизбежным является сближение теоретического знания со словесным знанием. «Теоретическое знание» характеризуется минимумом наглядно-образных опор при максимуме словесных построений. Но школьная практика, да и повседневная жизнь показывают, что оперирование абстрактно-теоретическими знаниями при минимуме или полном отсутствии наглядных опор весьма затруднено. Поэтому человеку приходится все время обращаться к таким опорам. Подведение предметов под такое знание укрепляет его, поскольку насыщает и конкретизирует различными частными случаями и примерами (критерием владения абстрактным понятийным зна-

нием служит умение ребенка привести соответствующие примеры и иллюстрации).

В установившейся системе обучения оказывается затушеванным различие между несущественными, лишь формально одинаковыми, и содержательно общими свойствами изучаемых школьниками предметов. Отождествление внешних опознавательных признаков с содержанием понятия приводит к тому, что его реальные предметные источники остаются нераскрытыми. В результате школьники зачастую не получают подлинных средств, например грамматического и математического подхода к соответствующим сторонам действительности, что в свою очередь затрудняет усвоение ими понятий той или иной учебной дисциплины. Применительно к математике на это обстоятельство специально указал А. Колмогоров: «...на разных ступенях обучения с разной степенью смелости неизменно проявляется одна и та же тенденция: возможно скорее разделаться с *введением* чисел и дальше уже говорить только о числах и соотношениях между ними...

Дело, однако, не в отдельных дефектах, а в том, что отрыв в школьном преподавании математических понятий от их происхождения приводит к полной беспринципности и логической дефектности курса»³⁸.

Определенной «логической дефектностью» страдает и курс школьной грамматики, в котором также наблюдается тенденция к игнорированию собственно грамматических предпосылок понятий³⁹. Отрыв преподавания понятий от их происхождения закономерно происходит из эмпирической теории обобщения, согласно которой содержание понятий тождественно тому, что первоначально дано в восприятии. В ней рассматривается лишь изменение субъективной формы этого содержания — переход от его непосредственного восприятия к «подразумеваю» в словесных описаниях. Проблема происхождения содержания понятий в этой теории отсутствует.

Применительно к методике преподавания начальной математики это оборачивается, например, тем, что учитель предлагает детям для осуществления различных операций совокупности уже выделенных единиц, представленных в виде «числовых фигур». Как и из каких нечисловых предпосылок они возникли, как оформилось и исторически сложилось *содержание понятия* о числе — все это остается за кулисами. Ребенок начинает

знакомиться сразу с итогами, результатами этого процесса, имевшего место в истории познания (в лучшем случае ему затем эту историю расскажут). Если же учитель в процессе преподавания будет развернуто *вводить* понятие числа, а дети соответственно будут уяснять его происхождение, то тем самым они выявят предметные предпосылки этого понятия, не совпадающие с теми свойствами, которые непосредственно выступают в нем как в продукте некоторого *исторического процесса*. В конечном счете именно от этого процесса и отрывается преподавание понятий в школе.

Предшествующий анализ позволяет сделать вывод о том, что школьное обучение (во всяком случае начальное) культивирует у детей по преимуществу эмпирическое мышление (оно иногда называется конкретно-наглядным). Так, в одном исследовании мышления младших школьников был сделан следующий вывод: «Познавательный опыт младшего школьника ограничен в своем объеме и носит конкретный характер, т. е. в нем главным образом отражены свойства и отношения, лежащие на поверхности явлений действительности. Школьники этого возраста осознают явления действительности через конкретно-наглядную призму своего опыта»⁴⁰.

Характер мышления младших школьников нельзя рассматривать без учета особенностей мышления детей дошкольного возраста. Наглядно-образное мышление имеют, как известно, уже дети 5—6 лет. Старшие дошкольники оперируют в своих рассуждениях конкретными представлениями, которые возникают у них в процессе игры и в повседневной жизненной практике. У дошкольников появляются зачатки словесно-речевого мышления (они уже строят простейшие формы рассуждений и обнаруживают понимание элементарных причинно-следственных зависимостей).

Следовательно, начальное обучение «подхватывает» и использует ту форму мышления, которая возникла еще у детей-дошкольников. Если же речь идет о развитии детского мышления в процессе начального обучения, то при этом чаще всего имеется в виду повышение у детей уровня их произвольного и целенаправленного восприятия-наблюдения. При этом некоторые исследователи обнаружили, что начальное обучение не влияет сколько-нибудь существенно на умственное развитие детей. Так, Л. В. Занков писал: «Наши наблюдения и специальные обследования... свидетель-

ствуют о том, что достижение хорошего качества знаний и навыков в начальных классах не сопровождается существенными успехами в развитии учащихся»⁴¹. Слабое влияние начального обучения на умственное развитие детей связано прежде всего с тем, что дети овладевали учебным материалом по преимуществу посредством эмпирического абстрагирования и обобщения, которые не могли служить должной основой для качественных сдвигов в развитии мышления младших школьников *.

Характеризуя схему развития мышления от дошкольников до младших школьников, Д. Б. Эльконин писал: «В действительности эта схема отражает лишь вполне определенный и конкретный путь умственного развития детей, протекающего в конкретно-исторических формах той *системы обучения* (в широком смысле этого слова), внутри которой — во всяком случае на начальных этапах — главенствующее место занимают эмпирические сведения и слабо представлены способы усвоения знаний, опосредствованные подлинными понятиями как элементами теории предмета»⁴².

Введение в нашей стране полного среднего образования существенно изменило значение начальной школы в развитии детей. Если раньше для многих из них начальное обучение было не только первой, но и последней ступенью образования, то теперь каждый ребенок продолжает учиться в школе еще несколько лет. Для нормального пребывания в средней школе все дети должны иметь потребность в учении, уметь учиться, а вместе с тем обладать некоторыми средствами разумно-теоретического мышления. Потребность и умение учиться, а также основы именно такого мышления нужно формировать у детей в процессе их учебной деятельности, начиная с младшего школьного возраста. С первых дней ребенок в школе усваивает в процессе учебной деятельности содержание наиболее развитых («высоких») форм общественного сознания — научных понятий, художественных образов, нравственных ценностей, правовых норм. В процессе их полноценного усвоения у него формируются основы теоретического мышления как высшего уровня человеческого познания.

* Некоторые элементы теоретического мышления, все же возникающие у младших школьников в процессе их учебной деятельности, сравнительно долго не могли быть выявлены у них из-за неразработанности в науке требуемых для этого экспериментальных методов.

Наше утверждение о внутренней связи учебной деятельности с теоретическим мышлением вытекает из рассмотрения способов изложения содержания «высоких» форм общественного сознания как предмета усвоения индивидом. Рассмотрим этот вопрос на примере научных знаний. Согласно современным философским представлениям, человек, усваивающий это содержание, уже не имеет дела с непосредственно окружающей его действительностью, поскольку сам «объект познания опосредован наукой как общественным образованием, ее историей и опытом... в нем выделены определенные стороны, которые даются индивиду, вступающему в науку, уже в виде *обобщенного, абстрактного содержания* его мысли»⁴³.

Способ изложения научных знаний как результатов научного исследования отличается от способа самого исследования. «Исследование, — писал К. Маркс, — должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. Лишь после того как эта работа закончена, может быть надлежащим образом изображено действительное движение. Раз это удалось и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами *априорная конструкция*»⁴⁴. Изложение научных знаний осуществляется, как известно, способом восхождения от абстрактного к конкретному, в котором используются содержательные абстракции, обобщения и теоретические понятия.

Если исследование начинается с рассмотрения чувственно-конкретного многообразия частных видов движения и идет к выявлению их всеобщей внутренней основы, то изложение результатов исследования, имея то же объективное содержание, начинает разворачиваться с этой уже найденной всеобщей основы в направлении мысленного воспроизведения ее частных проявлений, сохраняя при этом их внутреннее единство (конкретность). Учебная деятельность школьников строится в соответствии со способом изложения научных знаний, со способом восхождения от абстрактного к конкретному. Мышление школьников в процессе учебной деятельности имеет нечто общее с мышлением ученых, излагающих результаты своих исследований посредством содержательных абстракций, обобщений и теоретических понятий, функционирующих в

процессе восхождения от абстрактного к конкретному*.

Можно предположить, что знания, характерные для других «высоких» форм общественного сознания, получают свое целостное воспроизведение подобным же способом, и поэтому художественному, моральному и правовому мышлению присущи операции, родственные и теоретическому мышлению. И все же мышление школьников не тождественно мышлению ученых, деятелей искусства, теоретиков морали и права. Школьники не создают понятий, художественных образов, ценностей и норм, а *присваивают* их. Но в процессе такого присвоения они выполняют познавательные мыслительные действия, *адекватные* тем, посредством которых люди исторически вырабатывали эти духовные продукты⁴⁵. Результатом такого присвоения является *воспроизведение* школьниками не только определенных теоретических знаний, но и исторически сформировавшихся соответствующих умственных способностей.

Мыслительные операции теоретического и эмпирического мышления возникли в далекие времена в определенных предметно-практических ситуациях. Истоки теоретического мышления, как указывалось выше, связаны с идеализацией экспериментальной стороны материального производства, с предметно-чувственным экспериментом, осуществляемым преобразующим действием. Это действие (а затем его производные в виде различных мыслительных операций) открывало связи и взаимопревращения предметов, их опосредствования, в конечном счете их всеобщность. Теоретическое мышление как раз и ориентировано на непосредственное и всеобщее бытие.

Происхождение рассудочно-эмпирического мышления связано с применением людьми некоторых общих правил в повторяющихся сходных ситуациях. «На известной, весьма ранней ступени развития общества, — отмечал Ф. Энгельс, — возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена продуктов...»⁴⁶ Эти повторяющиеся акты люди первоначально выделяют в своей практике, а затем обозначают родовым наимено-

* «...Между мышлением школьника и ученого существует нечто общее, укладывающееся в известные, прочно установившиеся гносеологические и психологические категории» (Копнин П. В. Логические основы науки. Киев, 1968. С. 14).

ванием. «...Это словесное наименование,— писал К. Маркс, — лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт...»⁴⁷ Родовое словесное наименование и соотносимое с ним общее представление выделяют некоторый класс повторяющихся предметов и ситуаций, к которым применимы определенные правила их распознавания и использования. Представление фиксирует в этих предметах и ситуациях их внешнюю, непосредственную сторону, на которую ориентировано рассудочно-эмпирическое мышление.

Историческое происхождение мыслительных операций сокращенно воспроизводится в процессе их индивидуального присвоения. При этом дети в том или ином виде первоначально осуществляют такие действия, которые адекватны предметно-чувственному эксперименту, открывающему нечто всеобщее в объективной действительности. Эти предметные действия служат основой для формирования у детей словесно-дискурсивных мыслительных операций теоретического характера. В умственном развитии детей наблюдается также сокращенное воспроизведение ими исторического опыта построения классификаций в целях использования при ориентации на них определенных правил (при этом дети первоначально осваивают этот опыт на предметах, а затем могут использовать его в умственном плане).

Адекватность (но не тождественность) индивидуальных предметных действий и дискурсивных мыслительных операций теоретического типа их историческим «образцам», воспроизводимым в процессе умственного развития детей, обеспечивается содержанием учебной деятельности школьников. Эта деятельность разворачивается в реальном учебно-воспитательном процессе в соответствии с основными требованиями восхождения мысли от абстрактного к конкретному. Применительно к учебной деятельности такое восхождение кратко можно охарактеризовать следующим образом.

Приступая к овладению каким-либо учебным предметом, школьники под руководством и с помощью учителя анализируют учебный материал, выделяют в нем некоторое общее отношение, обнаруживая вместе с тем, что оно проявляется и во многих других отношениях. Фиксация детьми в какой-либо знаковой форме общего исходного отношения дает им *содержательную абстракцию* изучаемого предмета. Продолжая анализ

учебного материала, школьники раскрывают закономерную связь выделенного исходного отношения с его различными проявлениями и тем самым строят содержательное обобщение изучаемого предмета. Затем они используют содержательные абстракцию и обобщение для *выведения* (опять с помощью учителя) других, более частных абстракций и для объединения их в целостном (конкретном) учебном предмете.

Когда школьники начинают использовать исходные абстракцию и обобщение как средство вывода и объединения других абстракций, то они превращают эти исходные мыслительные операции в такую понятийную форму, которая фиксирует некоторую «клеточку» учебного предмета. Эта «клеточка» служит для них в последующем общим принципом ориентации в многообразном фактическом учебном материале, который в понятийной форме они должны усвоить путем развернутого восхождения от абстрактного к конкретному*.

Учебная деятельность, связанная с таким восхождением, осуществляется школьниками в процессе последовательного выполнения нескольких учебных действий, среди которых наиболее существенное значение имеют три начальных действия. Первое действие — преобразование предметно представленных условий учебной задачи с целью обнаружения в них генетически исходного и всеобщего отношения целого класса частных практических задач. Второе действие — моделирование в предметной, графической и буквенной форме выделенного всеобщего отношения. Третье действие — преобразование моделей с целью изучения свойств всеобщего отношения в «чистом виде». В процессе выполнения этих действий школьники реализуют те содержательные абстракции, обобщения и выводение, кото-

* «Генетически всеобщее отношение выполняет роль субстанциональной основы при разворачивании всего программного материала, так как на всем протяжении обучения за ним сохраняется значение объяснительного принципа, смысловое содержание которого по мере последующего изучения все более обогащается и конкретизируется... Преимущества усвоения содержательных абстракций не могут быть обнаружены вне движения от абстрактного к конкретному, вне специальной организации содержания изучаемой дисциплины на основе данного принципа» (*Шими́на А. Н.* Логико-гносеологические основы процесса формирования понятий в обучении. М., 1981. С. 62—63).

рые характерны для восхождения мысли от абстрактного к конкретному.

Необходимо отметить, что первое учебное действие реально *преобразует* предметные условия учебной задачи. Кроме того, как показали исследования, первоначально оно может реализовать свои подлинные возможности только тогда, когда выполняется детьми коллективно при распределении между ними отдельных его операций. Таким образом, подлинные источники теоретического мышления школьников заключены в выполнении ими *коллективных предметно-преобразующих действий*, воспроизводящих в сокращенном виде адекватные им исторически сложившиеся действия ранее живших людей. И лишь в последующем эти действия приобретают индивидуальную форму словесно-дискурсивных мыслительных операций.

Анализ онтогенеза познания у различных групп людей показывает, что часть из них в своем умственном развитии достигает достаточно высокого уровня рас-судочно-эмпирического мышления, позволяющего решать многие сложные жизненные задачи. Вместе с тем каждый человек в той или иной степени имеет и обнаруживает на том или ином уровне потенции разумно-теоретического мышления. Другая часть людей обладает развитым разумно-теоретическим мышлением, позволяющим хорошо ориентироваться в «высоких» формах общественного сознания. Совершенствование образования — необходимое условие подъема каждого индивида на высший уровень человеческого познания.

Глава 9.

**Соотношение индивидуального
и социального в процессе
формирования и распространения
нового знания**

Проблемы рождения нового знания, быстрого овладения им в процессе массового обучения, использования его на практике применительно к конкретным обстоятельствам без преувеличения стали одной из важнейших тем современной теории познания и методологии. Это связано не только с тем, что в центре внимания диалектической гносеологии находится изменяющееся, развивающееся знание, но и с тем, что ныне невозможно решать гносеологические вопросы только «в принципе», описывая, как познавательный процесс должен был бы происходить, если устранить специфические особенности конкретных ситуаций, в которых он совершается и которые накладывают отпечаток на «идеальную схему» познавательной процедуры. Поэтому не случайно сегодня гносеологи и методологи обращаются к истории науки, социологии, истории культуры, исследованиям по организации производства и научной деятельности, ибо конкретизация гносеологического анализа означает не что иное, как учет тех контекстов, в которых *реально совершалась* (или совершается, или будет совершаться) познавательная деятельность и использовались достигнутые знания. Нечто подобное происходит и с социологией науки. Теперь она не может быть представлена как описание социальных обстоятельств деятельности ученого, в общем безразличных к гносеологическим механизмам самой деятельности. Социальные условия деятельности ученого стали существенным фактором, определяющим не только цели научного поиска, но и используемые при этом средства, как материальные, так и интеллектуальные, а также саму возможность рождения нового знания и его освоения человечеством, не говоря уже о применении его на практике. Практика современных исследований научного познания идет в том направлении, о котором

писал В. И. Ленин в «Философских тетрадах»: «Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в *диалектической* обработке истории человеческой мысли, науки и техники»¹.

Двигаясь по пути контекстуализации гносеологического анализа, исследователь не должен отказываться от попыток строить теоретические модели познавательного процесса на том основании, что действительность не укладывается полностью ни в какую теоретическую схему. Здесь, как и в любой другой области науки, фиксация существенного расхождения прежней теоретической модели с реальностью означает обнаружение очередного «слоя» существенных характеристик объекта, подлежащего реконструкции средствами теоретического мышления: гносеологические «модели» познавательного процесса становятся все более тонкими, разветвленными и в этом смысле более конкретными, но никогда не опускаются до эмпирического описания. Впрочем, в строгом смысле слова это вообще невозможно, поскольку, как указывал Ф. Энгельс, без теоретического мышления «невозможно связать между собой хотя бы два факта природы или уразуметь существующую между ними связь»².

Представляется, что заметная ныне тенденция к «конкретизации» методологических исследований определена еще и тем, что происходит существенная перестройка нормативов научной деятельности (и соответственно всего облика науки). В ходе современной научно-технической революции все более значащими становятся «внешние факторы» развития науки — политические, военные, экономические установки в работе ученых зачастую превалируют над тем, что называется «имманентной логикой научных проблем», и это сказывается на организационных формах науки, способах подготовки кадров, распределении приоритетов и т. п. Действие этих факторов столь очевидно, что удовлетворявшая ранее модель науки как формы самодвижения разума по пути к истине становится совершенно недостаточной. Поэтому можно сказать, что наблюдаемый ныне «сдвиг проблем» в гносеологии и методологии есть результат не только углубления знаний о познании, но и в не меньшей мере быстрых и глубоких изменений самой науки как формы познания мира.

Фактически в этом направлении вынуждена идти — в силу требований логики развития самой науки и ее

практического использования — и современная зарубежная методологическая мысль. Однако такой путь «конкретизации» методологии сплошь да рядом оказывается для зарубежных методологов и путем отказа от общих, принципиальных исследований в гносеологии, оборачивается негативным отношением к содержанию «традиционной» гносеологии, прежде всего к ее понятию объективной истины, критикой гносеологии, понятой как теория отражения.

Слабости абстрактно-всеобщего представления о рождении нового знания как «индуктивного обобщения фактов», очевидные при сопоставлении с действительной историей открытий, интерпретируются некоторыми зарубежными методологами как аргумент в пользу вывода об отсутствии общих законов познавательной деятельности и соответственно о несостоятельности любой монистической теории такой деятельности. Подобную аберрацию в методологическом сознании иногда претерпевает и бесспорный сам по себе материал, демонстрирующий слабости абстрактно-дедуктивистской трактовки «индивидуализации» научных законов в их применении к конкретным случаям. В итоге критический заряд таких течений, как «историческое направление» или «методологический анархизм», оказывается значительно сильнее позитивных, конструктивных возможностей, которые они могли бы наметить.

Однако, основываясь на том же в принципе «материале», как и эти «критические» и «плюралистские» концепции, гносеолог может двигаться отнюдь не только по пути релятивизма в гносеологической теории. Этот материал открывает контуры достаточно определенного и даже «жесткого» предмета — структуры научной деятельности, ее организации и ее объекта.

Мы ограничимся рассмотрением лишь одного его аспекта — диалектики *личного* и *социального* в научной деятельности, понимаемой как информационный процесс. При этом мы предлагаем «схему» процесса формирования научного знания, вводя достаточно сильные идеализации. Так, мы анализируем деятельность адресатов научного сообщения, содержащего новые знания, только в аспекте освоения ими этого знания. Конечно, это только вырожденный случай, поскольку усилия по освоению нового становятся импульсом творческой активности, превращающей самих адресатов в источник нового знания, а систему «отправитель —

адресат» — в единый «комбинат» по производству знания, работающий чуть ли не в непрерывном режиме.

Мы не говорим об intersубъективных предпосылках «личной» фазы нового знания, что, конечно, делает весьма относительным противопоставление личного социализированному даже в самый момент рождения новой идеи. Оставлен вне поля зрения и вопрос о ценностных установках познавательной деятельности (каковые, на наш взгляд, в очень большой степени формируют «порождающие структуры» научного познания, представляя собой нечто вроде генетического кода науки, определяющего выбор целей, познавательные средства, даже форму научной публикации, не говоря уже о структуре научных учреждений и программах подготовки кадров). Наша задача более скромна: зафиксировать этот важный объект гносеологического анализа и представить одну из его «сторон» как характерную тенденцию.

В наших дальнейших рассуждениях мы будем исходить как из аксиомы из того тезиса, что научное знание *социально* в том узком смысле, что оно существует как совместное, intersубъективное достояние коллектива ученых, научного сообщества и в принципе может стать достоянием любого человека, освоившего язык и приемы работы членов такого сообщества. Эта характеристика научного знания в конечном счете определена его практически-производственными корнями, или (что то же самое) тем обстоятельством, что человек в самой сущности своей есть «практическое» существо, способное жить «по-человечески» только при совместной, коллективной деятельности себе подобных. Именно в такой деятельности возникает необходимость информационных связей как средства координации этой деятельности, а также как средства передачи навыков успешной деятельности другим членам коллектива и от поколения к поколению.

Коллективной деятельностью, предполагающей знание свойств объекта, характеристик орудия, приемов и порядка действия, является техника. Она есть не что иное, как *социально значимое бытие такого знания*. Знание становится техникой, коль скоро оно воплощается в орудиях и приемах деятельности, способных быть «тиражируемыми», воспроизводиться другими людьми. При этом значительная часть знания, без которого техника была бы невозможна, становится неявным:

осваивая технику работы стекольщика, вовсе не обязательно знать, почему алмаз режет стекло и почему не следует слишком сильно нажимать на инструмент при резке. Хотя ответы на такого рода вопросы желательны, освоить технику можно, не задаваясь подобными «почему» и ограничившись одними «как». В силу максимальной «алгоритмичности» техники она обладает тенденцией выливаться в форму, наиболее удобную и простую для освоения другими, для социализации. Собственно, эту форму техника приобретает в немалой степени именно потому, что *предназначена для передачи другим*. Это ясно видно во всех случаях, когда имеет место массовое обучение профессии. Но даже тогда, когда техника изощрена до предела (вроде техники микрогравюры или техники живописи рококо), она остается техникой лишь при том условии, что может быть освоена и повторена другими, хотя бы в принципе.

Важно, что знание, воплощенное в технике, не может быть ни «непонятным», ни «неверно истолкованным» или понятным и истолкованным на свой манер. Здесь все оно «на виду». Любая техническая ошибка за пределами допустимой погрешности немедленно сказывается на результате, скажем в техническом отказе машины, неработоспособности изделия. Это значит, что социализация знания в форме техники достаточно жестко контролируется реальным, практическим эффектом.

Техническое знание, таким образом, можно расценивать как образец знания, предназначенного для передачи другим, для социализации (которая оказывается и *унификацией*). В идеале любое знание, предназначенное для передачи другим, имеет интенцию стать intersубъективным и тенденцию *упрощаться до техники* уже в силу того, что эта форма минимизирует возможные искажения в процессе передачи информации. Вероятно, в силу этой причины на ранних стадиях человеческой истории знания приобретали форму традиций, заветов, заповедей, дополненных разными запретами, которым нужно было только слепо следовать.

Подобное явление прослеживается не только в глубокой древности. Работа второго и последующих поколений в рамках научной школы нередко чревата той же тенденцией. Некогда выработанные и предметно обусловленные приемы исследовательской работы становятся для многих «естественными» и потому теряют

интимную связь с условиями, в которых формировались. Так, в математической, теоретической физике (это, пожалуй, ныне общепризнанно) многие научаются «считать», не понимая предметной обусловленности (смысла) и соответственно предметной ограниченности усвоенных мыслительных и экспериментальных приемов. В итоге научная школа «стареет», на глазах ее адептов появляются шоры догматизированного метода, найденного великими предшественниками, исторически оправданного, а затем превращенного в технику. Теперь этот метод уже сам формирует свой предмет по принципу «то, что в сеть не попало,— не рыба». Но опять-таки это качество особенно явно выступает при обучении инженерным профессиям. Инженеру, по необходимости использующему те или иные формулы, некогда базированные на понимании физических или химических процессов, это знание теперь «на практике не нужно» (т. е. *действительно* не нужно в стандартизированной расчетной деятельности). И оно, естественно, испаряется и из его головы, и очень часто из учебных программ технических вузов.

Имея в виду структуру и особенности технического знания как образца знания, наиболее легко поддающегося трансляции, мы, вероятно, сможем лучше понять некоторые важные моменты преобразований научного знания, которые происходят в процессе его социализации и которые при других подходах либо не фиксируются вообще, либо предстают как данность.

Тот факт, что многие формулировки научных законов, характерные эксперименты и наблюдаемые эффекты нередко носят имена первооткрывателей, свидетельствует о том, что личное знание есть неременная фаза в развитии науки. Именно *фаза в развитии*, а не «вклад в сокровищницу»! То, что теперь стало общепринятым, это вовсе не просто протиражированное знание первооткрывателей, а освоение этого знания научным сообществом нельзя трактовать, к примеру, как результат привычки. В истории науки множество примеров трудного, зачастую трагического пути, который проходит первооткрыватель новой истины. И хотя эта история содержит целый спектр примеров социализации знания, начиная от широкого признания научной общественностью после первой же публикации или даже устного сообщения и кончая посмертным признанием заслуг ученого, в то время как при жизни его объявляли

сумасшедшим, эти примеры говорят о наличии периода социализации нового знания.

Сначала мы в самой общей форме коснемся *условий*, которые *способствуют* освоению нового знания независимо от его содержания и формы, т. е. в отвлечении от тех гносеологических преобразований, которые испытывает знание в ходе социализации. Об этих преобразованиях речь пойдет ниже.

Трудно оспаривать всерьез значение организационных и социопсихологических моментов в социализации новой научной идеи. Если в роли первооткрывателя выступает ученый, не увенчанный научными степенями и не обремененный высокими должностями, то признание (и даже публикация) его открытия в общем случае осуществляется с большим трудом, чем тогда, когда открытие сделано маститым ученым или представителем его школы. Отсюда «феномен ссылок» на знаменитых предшественников, придирчивое рецензирование работ новичка признанными специалистами, поиск формальных, но именитых соавторов и даже преуменьшение значения собственного открытия. В то же время нередко публикации о «псевдооткрытиях», если они предложены известными научному миру людьми (например, открытие Н-лучей французским физиком Блондло, мнимый синтез живого вещества О. Лепешинской, псевдодialeктическая теория происхождения видов растений Т. Лысенко и пр.). Эти примеры иллюстрируют особый момент того же обстоятельства — влияния *авторитета школы* или *научного направления*, к которому принадлежит (или, напротив, не принадлежит) автор.

В наши дни появился любопытный феномен — исследователь-одиночка «под крылышком» мощной организации, занимающейся совершенно другой проблематикой. Так, скажем, можно заниматься логикой в структуре института прикладной эстетики или биоинформацией в институте механики. Приведем и вполне реальный исторический факт: формирование в нашей стране науковедения и системных исследований проходило в рамках Института истории естествознания и техники АН СССР. Пожалуй, к этому же разряду можно отнести и исследовательскую работу в вузах, которую ведут преподаватели.

Теперь рассмотрим *гносеологический механизм* социализации знания, абстрагируясь от обрисованных

выше факторов. Мы уже отметили, что в ходе социализации знание претерпевает ряд изменений. Пожалуй, наиболее яркие примеры этого представляет научное экспериментирование, во всяком случае примеры эти вполне наглядны. Здесь буквально бросается в глаза разница между исследовательским экспериментом, который осуществляет впервые первооткрыватель некоего эффекта, и его социализированной, «школьной» формой — демонстрационным экспериментом того же эффекта. И это вполне понятно: во-первых, демонстрационный эксперимент освобожден от множества деталей, которые были неизбежны при рождении открытия (хотя бы в результате того, что первооткрыватель не всегда знает, что совершенно необходимо в наборе компонентов, породивших данный эффект, а что случайно и даже замутняет общую картину). Демонстрационный эксперимент отработан множеством повторений, он есть «скелет», воплощенная «прозрачная» схема исследовательского эксперимента, где все случайное либо устранено, либо зафиксировано как случайное, а эффект демонстрируется с максимальной контрастностью.

Во-вторых, первооткрыватель обычно не имеет в своем распоряжении отлаженного производства нужного ему оборудования и использует то, что есть под рукой, или изготавливает такое оборудование кустарным способом. В результате пионеры опытной науки нередко являются настоящими «чародеями эксперимента», например Лебедев, поставивший тончайшие эксперименты по давлению света, или Кавендиш с его многочисленными экспериментами. Воспроизвести то, что делали первооткрыватели, имея в своем распоряжении их материал, более чем затруднительно. И тем не менее на стандартизованном оборудовании современного физического кабинета эксперименты такого рода воспроизводит школьник.

Однако при видимой очевидности преобразования «экспериментального» знания в процессе социализации тонкий гносеологический механизм этого процесса остается в тени. Дело в том, что для трансформации исследовательского эксперимента первооткрывателя в демонстрационный нужно прежде всего понять его смысл. А это значит построить его идеальную теоретическую схему. Но это в свою очередь значит, что, пробуя понять механику трансформации «эксперимен-

тального» знания в процессе его социализации, мы наталкиваемся на проблему создания и трансляции его теоретических схем! Конечно, в принципе воспроизвести некий эффект можно и не понимая его смысла, путем внешнего подражания. Это, как мы уже говорили, вырожденная форма социализации знания как техники. Иногда, кстати, такая форма оказывается не только наиболее эффективным, но, пожалуй, единственным способом социализации личного знания. Поучительный пример приводит М. Полани в книге «Личностное знание» — обучение студентов-медиков ставить диагноз по неспецифическим признакам³. Однако более типичный (в условиях массового обучения, распространения научной литературы как главного средства обмена информацией и затруднительности регулярных личных контактов между учеными) случай — это трансляция знания в его словесно-знаковой форме.

С какими же факторами сталкиваемся мы в этом случае?

Видимо, минимальное условие социализации здесь — наличие общего языка у первооткрывателя и его адресатов. Именно с помощью средств этого языка (терминов, схем, символов) создается конструкция, достаточно корректно воплощающая в себе достигнутое первооткрывателем знание, коль скоро оно предназначено для социализации. Эта конструкция есть *образ-посредник* в процессе социализации. Материал его, повторяем, находится в «надличном» языковом поле, общем для отправителя сообщения и его адресатов.

Понятно, что основную (и очень непростую) работу по социализации своего знания (а именно конструирование образа-посредника) осуществляет первооткрыватель. С кем же он спорит, кого убеждает, зачем ищет более весомые аргументы, когда работает за своим письменным столом (или за конторкой, подобно Эйнштейну)? Он «играет за противника», которого нужно убедить, которому нужно доказать истину, которого необходимо сразить неопровержимыми аргументами. И все это надо осуществить с помощью тех интеллектуальных средств, которыми располагает оппонент. В таком внутреннем диалоге автор пытается выразить свою идею в общепринятых формах, пока не удовлетворится полученным результатом. И все же как часто социальный эффект такой работы оказывается недостаточным... Ведь, как гласит шуточный «закон Чизхолма»,

«любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит».

В действительности трудности такого рода возникают тогда, когда стандартных информационных средств, находящихся в распоряжении первооткрывателя (или научного сообщества в целом), в принципе недостаточно для создания более или менее удовлетворительного образа-посредника, адекватно выражающего основные характеристики нового знания. Рассмотрим этот момент на примере использования математических конструкций и терминов в качестве стандартного языка научного сообщества.

Начнем с того, что сама по себе математика (или как минимум та ее часть, которая применяется для выражения знаний физика) имперсональна, так сказать, «по построению»: она оперирует объектами, которые конструируются и разворачиваются в соответствии с унифицированными правилами, известными всем профессионалам. Поэтому объекты математики обладают *стандартными параметрами*, это принципиально важно, поскольку обеспечивает надежную интерсубъективность математических формулировок. Коль скоро члены научного сообщества сведущи в математике, личное знание, получившее облик математической структуры, практически сразу становится понятным научному сообществу.

Поскольку абсолютная пригнанность математических форм к научному открытию, связанному с экспериментом или наблюдением, не столь уж часта (во всяком случае, для «новорожденной» идеи) даже в наиболее математизированной из естественных наук — физике, то возможностей для его превратного толкования, непонимания и неприятия именно вследствие этого оказывается достаточно. Для примера вспомним историю борьбы вокруг максвелловской электродинамики, которую долго не принимали на Европейском континенте как вследствие непривычности ее базовых положений, так и в результате того, что в своих первых работах при изложении этих идей в математической форме Максвелл грешил против канонов математической строгости.

С этим связано стремление искать (а если их нет у математиков, то и создавать) математические структуры, позволяющие максимально корректно выражать нематематическое содержание (например, поиск «удоб-

ных» групп многомерного конфигурационного пространства для «стандартной» теории элементарных частиц). А если это вначале все же не удастся? Тогда автору приходится довольствоваться недостаточно корректным «языком» и создавать образы-посредники довольно неудовлетворительные, надеясь, что адресаты *догадаются* об интимном содержании научного сообщения. Здесь уже речь идет не столько о *репродукции* личного знания в процессе социализации, сколько о его наведенной *генерации* их собственными силами. Особенно интересна роль *научных дискуссий*, которые обычно возникают после заслушивания сообщения об открытии: в ходе этих дискуссий не только «сталкиваются мнения», но и *рождается взаимопонимание*.

В качестве информационных средств трансляции нового знания научному сообществу используются (даже в физике) не только математические образы и формулировки. Очень часто в этой роли выступают образные модели (в принципе, как это ясно всем, совершенно неадекватные объекту): вспомним пружинные весы и заслонки в дискуссии Бора — Эйнштейна по вопросам квантовой механики или максвелловского «демона» в статистической термодинамике. Используются также элементы старых теоретических моделей как своего рода «строительные леса» или «путеводитель» для нового знания (так пользовался классической теорией излучения Н. Бор, формулируя квантовомеханическую концепцию). При этом, разумеется, *использование* таких моделей оказывается сродни искусству, которому легче всего научиться, наблюдая работу самого автора или участвуя в ней вместе с ним; такой была роль копенгагенской школы физиков в самом начале становления квантовой теории.

Наконец, в целях социализации нового знания ученые черпают информационные средства из арсенала других наук и нередко из самых широких (и зачастую неожиданных) областей культуры, в том числе и гуманитарной, не говоря уже об информационных резервах обычного языка. Именно благодаря пластичности он оказывается незаменимым там, где формализованный, строгий язык науки не годится для выражения нового знания. Обратим в этой связи внимание хотя бы на то, в каком терминологическом обличье появляются первые сообщения о новом открытии в физике: часто это термины, только обозначающие проблемную область

посредством поверхностной аналогии общеизвестному явлению: «цветность», «очарование», «странность» в микрофизике последних десятилетий. То же самое можно обнаружить и в области теоретических моделей («струна» для взаимодействия кварков, «зашнуровка» в теории элементарных частиц).

Сначала это скорее аналогии или даже метафоры. Затем, в последующей совместной работе научного сообщества, они либо приобретают достаточно точный операциональный смысл, либо исчезают, либо продолжают существовать в популяризаторской литературе и в учебниках как иллюстративные средства: эйнштейновские «наблюдатели», падающие в лифтах и путешествующие в субсветовых ракетах, пружинные весы для микрообъектов и гейзенберговский «микроскоп» для иллюстрации соотношения неопределенностей, пресловутый «кот в закрытом ящике», функцию состояния которого следует вычислить, говоря о квантовых эффектах, и т. п. Наконец, это и использование привычных образов в «пиквикском смысле» — следы такого прошлого нетрудно обнаружить в терминах «сила», «напряжение», «сопротивление» в современной теории электричества.

Проблема определения терминов, почти постоянно острая в развивающейся науке, есть результат потребности кодифицировать обновляемый научный словарь, задача, постоянно решаемая и постоянно возникающая вновь, — это также симптом диалектического процесса социализации нового знания.

В той мере, в какой индивид включен в процесс производства знания в форме науки, он предстает и как «частичный» социальный субъект науки, культуры, производства. Поскольку индивид с помощью собственных познавательных средств получает новое знание, т. е. некоторые сведения об объекте, не имеющие еще общепонятной, *рациональной* формы, мы имеем основания трактовать его деятельность как индивидуальную, личностную компоненту познавательной деятельности социального субъекта, а полученные им результаты как личное знание. Эта компонента в значительной мере обеспечивает и прирост, и эффективное использование знания *.

* Мы говорим «в значительной мере», поскольку со счетов нельзя сбросить и факт прироста социализированного знания рациональным путем, когда проблемы вполне определены уже наличным составом знаний и могут быть разрешены его средствами, примером может

Социальная компонента знания обеспечивает его интерсубъективное существование в качестве науки и интерсубъективное использование в качестве техники. В развивающейся науке непременно присутствуют оба этих момента. Поскольку они выполняют в науке разные функции, нет ничего странного в том, что ученому, в принципе осуществляющему обе эти функции, предъявляются прямо-таки взаимоисключающие требования: оригинальность мысли и общепонятность, ясность результата; способность создавать «безумные идеи» (Н. Бор) и безукоризненно рационально представлять их; смело порывать с традицией, не поддаваясь догматизму, и сохранять преемственность с прошлыми достижениями науки, хотя бы в форме принципа соответствия в физике.

Научное знание успешно развивается лишь в той мере, в какой ученый удовлетворяет обоим этим требованиям. При этом сам он предстает как «единство противоположностей» — индивидуального и социального, личного и имперсонального, единичного и общего. Поэтому-то рациональное и интуитивное представляют не две принципиально различные области знания и формы познания, а два этапа единого познавательного цикла и два момента единого познавательного процесса. Их противоположность диалектична, т. е. функциональна и относительна. Лишь в идеалистических философских конструкциях, абсолютизирующих разные моменты «спирали» познания, эти моменты разбухают до рационализма или интуитивизма. Относительная граница переводимости личного знания в социальное подвижна, поскольку и средства его трансляции, и формы его социального бытия постоянно обогащаются в практике общения людей, обеспечиваются ростом общего информационного поля, области культуры.

быть, скажем, поиск новой теоремы в системе геометрии Евклида. Значительная часть прироста знаний в развитых науках обеспечивается как раз таким источником. Однако, поскольку такое знание «скрыто» в уже созданных теоретических конструкциях, его нужно только «проявить». Поэтому «новизна» его несколько относительна, и не случайно как раз эта часть интеллектуальной работы легче всего поддается алгоритмизированному моделированию с помощью ЭВМ.

Глава 10. Место познания в системе различных способов духовного освоения мира

Проблема места и границ познания далеко выходит за рамки академического интереса и смыкается с острыми социальными коллизиями современной цивилизации. Эта проблема определяется глобальными масштабами социальных и научно-технических потрясений XX в., когда особенно серьезно встал вопрос о технологических и гуманистических границах использования познавательных результатов, о подлинности и ценности человеческого искания истины.

В этих условиях ценностным принципом познавательной деятельности становится знание, способное воплощаться в человеческих судьбах в соответствии с идеалами гуманности, нравственности и мудрости. Функциональным пределам использования познавательных результатов противостоит, однако, характерная для эпохи НТР тенденция универсализации познавательной активности как деятельности, оцениваемой на истину и ложь, среди других ценностных ориентаций человека. Речь идет не только о сциентизме (с его идеей минимизации человеческого начала в рационально-теоретической картине мира), но и о некотором идолe неопросветительства, когда в ущерб другим формам освоения мира и нормам их оценок (на добро и зло, правду и неправду, справедливость и несправедливость, эффективность и оптимальность и т. д.) оценка на истину и ложь догматизируется в качестве центрального звена ценностной шкалы эпохи. Вопрос стоит, таким образом, не о ценности знания, которая действительно возрастает в ходе научно-технического прогресса, а о связанном с этим прогрессом нормативном перераспределении и ограничении возможных оценок человеческой деятельности.

Знание определяется способом рефлексии над познавательным результатом соответственно историческим нормам и правилам принятия утверждений в том или ином сообществе¹. Но специфическую форму рефлексии истины, связанную с конституированием знания, нельзя абсолютизировать, поскольку она не исчерпывает всех форм оценки познавательного результата. Генети-

чески, например, значительную роль в истории освоения мира играла наряду со знанием (как теоретической формой познания и осознания истины) мудрость, или софийность (как «жизнь в истине», несводимая только к теоретической рефлексии). Мудрость в качестве духовно-практического феномена выступала как своего рода опытность, дополняемая этической духовностью, прорицанием глубин бытия, видение которых открывает высшие нормы и правила праведной жизни. Мудрость включает и духовную, связанную со знанием компоненту, которая подчинена задаче вхождения в мир высших жизненных ценностей. С духовной стороны это, скорее, не познание, но вид сознания, ориентированный на понимание существенных основ явлений.

Широко распространенной, а в архаические периоды человеческой истории даже универсальной была и такая форма освоения действительности, как миф, принципом которой выступали поддержание и реконструкция этического равновесия мира, обусловленные идиомой обычая, ритуала и обряда. Миф — это не столько познание, сколько переживание творимой истории мира, в которой человек является соучастником высших сил, творческим началом борьбы добра со злом. Вот почему уже Гегель называл миф «педагогикой» человеческого рода.

В дальнейшем, правда, этическое сознание выделяется в качестве самостоятельного способа освоения человеческой действительности. Но и в автономном существовании этот вид осознания действительности не исчерпывается теоретическим познанием и истинностными оценками, а предполагает ценностную регуляцию человеческого поведения.

Особую роль в освоении мира играет языковое сознание. Будучи первой моделирующей системой, первым способом репрезентации реальности в духовном мире, оно вместе с тем выступает как форма опредмечивания человеческой психики с ее рациональными и эмоциональными реакциями на мир. К фактам языкового сознания относятся и специфические приемы смыслообразования, характерные для различных групп языков. Таким фактом являются, например, наблюдаемые в индоевропейских языках случаи обозначения процессов через имена существительные, что ведет к представлению события в виде вещи, когда, скажем, «молния» грамматически выражается как предмет.

Моделирование в языковом сознании связано с вторичными внутриязыковыми отображениями семантических значений и их образов, а также знаков, что предполагает метафоризацию, символизацию, отношения именования, обозначения и выражения, которые не укладываются в истинностные оценки. Оценки в языковом сознании тяготеют к задачам коммуникации и императивов действия.

Существенное место в системе человеческого освоения мира занимает искусство. Хотя оно опирается на познавательную деятельность и само выступает средством познания мира, но эвристическая деятельность не является для него основной. Искусство синтезирует миропонимание и мироощущение, познание и переживание мира. Оно может актуализировать те явления жизни, которые существуют лишь потенциально, и тем самым выступает как особый вид деятельности, расширяющий границы человеческого мира, опредмечивающий человеческие сущностные силы. Искусство, таким образом, оптимизирует человеческий фактор в мире и служит средством его творческого развития по меркам красоты, идеала и других нормативных критериев.

Различные формы духовно-практического освоения мира (в том числе формы этического и языкового сознания, искусство, феномен мудрости и др.), а также само познание получают свое обобщенное выражение в мировоззренческом отношении человека к действительности. Разумеется, в донаучном и научном мировоззрении эти формы обобщаются по-разному. Но и научная форма мировоззренческого сознания типологически сохраняет в преобразованном виде связь «образа мысли» с «образом действия» и в этом смысле не исчерпывается одним знанием.

Мировоззрение очерчивается сферой взаимодействия разума, чувств и воли. Оно определяется как «сплав» знания с убеждениями, этическими и политическими регулятивами поведения, идеологическими ориентирами деятельности, нормами и идеалами социальной активности человека. В этом плане мировоззрение не тождественно (в духе просветительской доктрины) одному лишь познанию с его истинностными оценками.

Познание, таким образом, не подменяет других, в том числе духовных, видов освоения мира, не исключает многообразия нормативных оценок деятельности, но конституирует одну из координат оценочного отноше-

ния — истинностные значения. Поэтому отождествление понятий «познание» и «освоение» мира чревато неопросветительским сведением всех форм духовного производства, общественного сознания и мировоззрения лишь к одной из ориентаций человеческой деятельности — ориентации на истинностный результат, очищенный от всех видов человеческой субъективности.

В действительности же понятие «освоение» мира значительно шире понятия «познание». Человек, по К. Марксу, овладевает действительностью в трех основных формах: духовно-теоретического, духовно-практического (или практически-духовного) и практического освоения². В этом ракурсе тема настоящей главы и конкретизируется через проблему соотношения познания с духовно-практическим освоением мира (поскольку речь идет о соотношении познавательной деятельности с другими формами духовной активности). Иначе говоря, представляется целесообразным исследовать под углом зрения соотношения с познанием тот тип деятельности, конкретными формами реализации которого выступают искусство, мифология, религия и другие связанные с ними исторические и логические разновидности опредмечивания сущностных сил человека (типа мудрости и т. д.).

Важной особенностью духовно-практического освоения мира является то, что оно выступает как духовная деятельность, непосредственно связанная с практическим действием. Примером могут служить категории этики, содержание которых характеризуется их способностью выступать рецептами правильного поведения. Еще более очевидно эта практически-действенная интенция выражается через миф, который выступает как смысловой план обрядовой жизни, как метафора реального действия, ориентированного на сохранение социального и природного миропорядка.

Формы духовно-практического освоения мира не просто «вписаны» в контексты практических действий, но могут принимать и формы этих действий. Типичным примером служат язык жестов (кинетическая речь) и танец, который при всей его моторно-пластической воплощенности выступает и выступал (особенно в архаические времена) существенным фактором смыслообразования. А. Ф. Лосев отмечал даже «танцевальные структуры» ряда философских текстов античности и в качестве иллюстрации ссылался на эксперимент, кото-

рый проделали две аспирантки МГУ при изучении сложнейшего текста Платона — «Парменид». Пытаясь истолковать его смысл, они посредством танцевальных движений изобразили те 8 логических позиций, в которых Платон характеризует диалектику «одного» и «иного». В результате оказалось, что «восемь логических позиций «Парменида» в условиях ясного понимания их действительно являются сюжетом для самого настоящего танца»³.

В силу такой действенной направленности духовно-практическое освоение мира имеет преимущественную тенденцию движения от субъекта к объекту, от идеальных установок к их реализации. Если в познании процесс образования знания определяется информационными свойствами объекта (т. е. движением от объекта к субъекту, и лишь задачи целеполагания нового знания и практического использования полученного обращают движение от объекта к субъекту в движение от субъекта к объекту), то духовно-практическое освоение мира не характеризуется таким обращением в силу доминирования в нем опредмечивания субъективной активности. В процессе освоения мира, подчеркивал К. Маркс, «человек действительно извлекает из себя все свои *родовые силы* (что опять-таки возможно лишь посредством совокупной деятельности человечества, лишь как результат истории) и относится к ним как к предметам...»⁴

Поэтому если познание выступает как процесс извлечения информации из объектов, то духовно-практическое освоение мира характеризуется извлечением сущностных сил человека и их опредмечиванием в виде очеловеченной действительности. Здесь на первом плане оказывается не отражение мира, как в познавательном процессе, а духовное производство, которое включает отражение, но функционирует как более интегральное (в сравнении с отражательной деятельностью) явление, направленное на очеловечивание объектов.

Соответственно в духовно-практическом освоении мира преодолевается гносеологический контраст субъекта и объекта. Субъект выступает как «оправдание» объекта, а в определение объекта входит «вся человеческая практика»⁵. Тем самым духовно-практическое освоение мира дает как бы взгляд «изнутри» системы «субъект-объект», в которой объект так же активен, как и субъект, поскольку на практике опредмечивает его

сущностные силы. В искусстве, например, это часто выражается в том, что природа как бы аккомпанирует настроению человека или раскрывает, как в сцене грозы и бури в «Короле Лире», душевное состояние героя.

На уровне духовно-практического освоения мира в силу сближения феноменов природы и культуры субъект, по выражению Гегеля, имеет дело с особым видом «живых объектов», которые способны выступать персонажами сюжетов человеческого действия, выражать особенности человеческого мира. Духовно-практическое освоение мира переводит объекты в культурные феномены и в этом отношении превращает их в «голоса», знаки человеческой деятельности. В результате становится возможным «резонанс» сознания в вещах, «встреча» слова и вещи, когда, по выражению М. М. Бахтина, мир предстает как события, чреватые потенциальным словом⁶.

С этой особенностью духовного воспроизводства объектов связана и другая черта духовно-практического освоения мира — вещный символизм, когда объект одновременно выступает и как вещь, и как некое отличное от нее иносказание, символ определенных смыслов. Такой символизм отличается от знаковости языка, где символами выступают «вторые сигналы», слова, ибо в духовно-практическом освоении мира сами вещи оказываются знаками. В результате этого в системе вещного символизма имеет место не просто знаковое обозначение тех либо иных явлений (в силу чего они приобретают определенное значение), но и прямое замещение вещь-знаком идеальных значений. «Значение здесь совпадает с самим бытием, оно переходит в предмет, составляет с ним единство»⁷. Иначе говоря, то, что свойственно мышлению — знаковость, символизм, ассоциативность, — в духовно-практическом освоении мира может приписываться самим вещам. Отсюда эмблематичность и аллегоризм в этом типе освоения мира.

Характерным примером указанного символизма является религиозно-христианское представление мира как «книги», где каждая вещь воплощает «слово божье» или «логос», а их совокупность выступает предметным выражением «речи божьей». Воплощением вещного символизма была и идеологическая концепция Византии, согласно которой это государство рассматривалось как символ Римской империи, а последняя — как рубеж человеческой истории, Константинополь — как символ

всего мира, а мир — как аллегория времени, время — как подвижный образ вечности, а вечность — как икона «Царства Христова», император — как держатель символа власти этого царства, его «живой знак» и т. д. «Из таких реальных «аллегорий» и «катахрез» складывалась жизнь, государственность и культура огромной эпохи»⁸.

В силу вещного символизма в системе духовно-практического освоения мира наблюдается биполярность денотатов (обозначений) знаковых средств относительно образа и понятия. Эта сопричастность понятия образу и наоборот делает привычным переход их друг в друга. В более широком смысле такая взаимодополнительность образа и понятия обуславливает метафорическое концептирование, характерное для символического мира мифа, алхимии, средневековой готики, византийского ритуала, культуры барокко, японской художественной традиции.

Способность объектов выступать в системе духовно-практического освоения мира и как вещь, и как знак, и как представление другой вещи делает возможным превращение этих объектов в социальные факты человеческой коммуникации. Не случайно, как показал Леви-Строс, тотемическая система архаических обществ, как и сама структура родства и правила брака (обмен женщинами), имеет семиотический, коммуникативный характер. Эта коммуникативность существенна для понимания природы духовно-практического освоения мира. В данном типе освоения мира, когда объекты превращаются в «живые вещи», в «персонажи» человеческой деятельности, заметное место по сравнению с чисто теоретическим познанием занимает проблема индивидуального неповторимого. Субъект не может свой индивидуальный опыт сделать всеобщим. Но он может превратить его в предмет всеобщей общности, т. е. в процесс общения, сделать сведения о нем достоянием широкого круга лиц. В этом смысле коммуникация и выступает в духовно-практическом освоении мира способом придания индивидуальному всеобщей значимости, эвристическим средством решения тех задач, которые в теоретическом познании решаются через введение универсальных представлений, родовую типизацию его объектов.

Последнее обстоятельство нисколько не умаляет роли универсального в духовно-практическом освоении мира. Оно лишь меняет сравнительно с теоретическим

познанием его функционирование. Индивидуальное вообще не исключает всеобщего, поскольку может, подобно Лейбницевой монаде, воплощать всеобщее, олицетворять его, хотя и через уникальные уподобления (ипостаси). Вот почему в системах мифологии и других аналогичных формах синтез может преобладать над анализом, а синкретические формы всеобщего приобретать существенное значение.

В духовно-практическом освоении мира духовные процессы не столько протекают по классической схеме теоретического познания, восходящего от единичного к особенному и всеобщему, сколько направляются от нерасчлененно целого к его аналитическому расчленению и к воссозданию в последующем в виде диалектически обогащенного всеобщего. Об этом, в частности, свидетельствует отражение особенностей развития мировоззренческого сознания в истории философии, отправным пунктом которой явилось синкретически целостное мировосприятие. Такой синкретизм целого выступает исходным пунктом в разворачивании и мифологического, и эстетического сознания, если иметь в виду, что осознание единичного не менее, а иногда и более сложно, нежели оперирование генерализованными образами.

Это вполне согласуется с тем обстоятельством, что в системах вещного символизма объекты получают «текстовую» форму функционирования, или так называемую платоновскую структуру. Здесь имеется в виду характерное для мировоззрения, этики, искусства и других форм ценностного сознания рассмотрение вещей в их соответствии определенным идеям и смыслам⁹. В силу подобного символического тождества вещей и идей, аналогии формы и смысла в систему духовно-практического освоения мира непосредственно включается структура понимания и интуиции.

Наличие в духовно-практическом освоении мира таких форм, как чувственное воплощение истины, как схемы понимания и интуиции, как способы функционирования всеобщего, интеллектуальных схем коммуникации, специфической символизации и особых видов взаимодействия субъекта и объекта, свидетельствует о том, что этот тип освоения действительности определенным образом увязан с познавательным процессом, хотя и не сводится к нему. Вот почему разграничение познания и духовно-практического освоения мира при-

водит к выделению теории познания в узком смысле, и, наоборот, анализ общих принципов функционирования знания в обеих формах освоения мира дает теорию познания в широком смысле. Рассмотрим первый вариант анализа.

Специфицированное относительно других духовных и духовно-практических форм рассмотрение теории познания в узком смысле дает представление о познавательном процессе как о духовной деятельности, результаты которой оцениваются на истину и ложь, а также на вероятностные значения, соответствующие различным степеням совпадения знания с действительностью. При таком рассмотрении познание оказывается отличным не только от духовно-практической деятельности, но и от связанных с ним форм собственно духовных процессов. Здесь прежде всего имеются в виду интерпретация и понимание, которые в качестве процедур теоретической деятельности дают результаты, оцениваемые не на истину или ложь, но на осмысленность и неосмысленность, на семантическую и фактуальную содержательность. В этом ракурсе интерпретаций и вариантов понимания у абстрактной системы может быть много, в то время как установление истины связано с исключением всех вариантов, отличающихся от результата, фиксированного экспериментом или логическим доказательством.

Понимание всегда выступает как представление смысла определенных систем. Но такие системы, как звезды, атомы, кварки или гены, сами по себе не имеют смысла. Их понимание связано с приобщением объектов к смыслам человеческой деятельности. В этом отношении задачей понимания является не столько раскрытие «мысли о мире», оцениваемое на истину или ложь, сколько демонстрация «мысли в мире»¹⁰, когда сознание начинает резонировать в вещах, а вещи выступают как вещание, раскрывая свой смысловой потенциал, очерченный социокультурным опытом.

Это связано с тем, что человек причастен одновременно к трем основным сферам бытия. К ним относятся: 1) объективный мир, или предметность природы и общества; 2) субъективный мир, или идеальность сознания; 3) мир духовной и материальной культуры как реализация сущностных сил человека в единстве предметно-материального и предметно-идеального. Причем отображение первого мира во втором характеризует

познание и знание; отображение третьего мира во втором — процесс понимания.

Коррелятом знания является объективная реальность, в том числе предметность культуры и человека. Коррелятом информации понимания выступают культурные характеристики объекта. Последнее означает освоение этого объекта в системе определенного образа жизнедеятельности, определенных средств бытия человека. Понимание отличается от познания (в узком смысле) не только специфическим культурно-историческим обращением объекта. Здесь изменяется и характер субъекта, ноо понимание раскрывается через коллективную, «диалогическую» структуру. В процессе понимания субъект берется не как простая совокупность общественных отношений, а как их олицетворенная совокупность, когда решается не только задача отражения объекта (проблема истины), но и вопросы отображения одним сознанием другого сознания, а также осознания отражения отражения (например, осознание текста через его отражение в других контекстах).

В равной мере интерпретация не сводится к познавательному отношению, она определяется через ряд отличных от него функций. Интерпретация может быть формой существования некоторых объектов, например предметных воплощений эстетических или этических отношений. Музыкальное произведение, например, в предметном аспекте выступает как набор нотных знаков. Но живая музыка — это всегда интерпретация этой знаковой системы теми или иными исполнителями.

Интерпретация выступает как процедура, обратная абстракции, как логическое моделирование, как способ отображения одной системы знания в другой, более конкретной (например, неевклидовой геометрии в евклидовой). Вот почему если условно представить познание «вертикалью» духовной деятельности, т. е. как отношение отражения и бытия, решение проблемы адекватности знания действительности, то интерпретация предстанет «горизонталью» этой деятельности, отношением одной системы к другой внутри самого знания, одного теоретического уровня знания к другому (в том числе эмпирическому). Что касается понимания, то оно воплотит третью координату — «глубину», реализуемую как отношение вписывания знания в социокультурный контекст познания, его ассимиляцию в системе культуры.

Познание как овладение объективной истиной не просто использует процедуры абстрагирования и идеализации (общие для всей теоретической деятельности), но с необходимостью постулирует особый логический мир абстракций, осуществляющийся по схемам рационального механизма. Выход в такой логический универсум вызывает силы внечеловеческой, машинно-алгоритмической природы. Здесь человеческое познание как бы отчуждается от очеловеченной реальности и попадает в символическую надреальность идеализирующих абстракций. Не случайно именно эта особенность вполне реалистического, но узко ориентированного познания была гипертрофирована Платоном и Гегелем в учении о царстве абсолютного духа и вечных идей.

В символическом мире абстракций человек действительно как бы жертвует своей земной конкретностью, чтобы стать универсальным существом, т. е. приобрести логические свойства, которые объединяют его со всякой мыслящей системой: будь то машинно-кибернетический комплекс или возможная рациональность внеземного, галактического субъекта. Ведь способность формулировать в абстрактном мышлении универсалии, как отмечает М. К. Мамардашвили, связана не просто с человеком, но с возможным человеком. Различные возможности нашей логики «даны в пространстве мысли, переводящем человека в космическое измерение, которое прорезает всякое различие и протяжение культур и связывает человеческое существо с возможностями Вселенной...»¹¹

Это отвлечение от человека за счет формирования логического универсума может привести к деформации познавательной деятельности, когда познание предстает как утрата чувственной достоверности человеческого мира. Вот почему К. Маркс формулировал в качестве методологического основоположения «требование возвращения предметного мира человеку...»¹². Чтобы реализовать эту задачу в гносеологии, необходимо расширить теорию познания до истолкования ее в категориях духовного производства, что требует обращения к универсалиям «труд» и «дух».

Критически перерабатывая гегелевское понимание этих категорий, К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» указывал, что дух выступает как некий идеальный заряд или потенциал труда. При этом он оценивал дух как отрицательную, а труд — как

положительную, конструктивно-продуктивную деятельность. Смысл такого подхода заключается в том, что дух квалифицируется как вторичное явление, которое обнаруживается лишь при завершении процесса, как результат репродукции или реконструкции идеальных предпосылок человеческой активности. Иначе говоря, эффект предшествования духовно-творческих начал деятельности ее материальному воплощению может быть фиксирован лишь в конце этой деятельности.

Дух, таким образом, проявляется ретроспективно (т. е. отрицательно), но эта ретроспекция соответствует прогрессивному ходу человеческой истории. Дух — это итог поступательного развития всемирной истории, продукт, который возникает в процессе воспроизводства этого исторического развития в самосознании эпохи. Поэтому, чем более высокое достижение духа фиксируется, тем более глубокая ретроспекция в глубь исторического опыта людей, всемирной истории требуется.

Существенное различие между духом и трудом заключается, с точки зрения К. Маркса, в том, что труд омертвляется, овеществляется в продукте, в то время как дух живет лишь постоянным прехождением за границы любой предметной фиксации его активности. Дух предполагает постоянный выход за границы своих результатов и постоянное возвращение к ним в обогащенном виде.

Диалектика труда и духа характеризует познание как духовное производство, в системе которого освоение мира трансформируется в *присвоение* и *усвоение* его результатов на духовном уровне. Особенность этой трансформации заключается в том, что отражение действительности здесь дополняется новой задачей — осмыслением вовлеченных в отражательный акт объектов, а это предполагает приобщение их (теоретическое или практическое) к смыслам человеческой деятельности. Тем самым познавательный процесс естественно сближается с другими формами освоения мира, и прежде всего с духовно-практической. В итоге сам ход познавательного процесса обуславливает его рефлексию в виде теории познания в широком смысле. В этом плане познавательная деятельность включает в себя и понимание, и интерпретацию, и духовные характеристики всякого человеческого мироотношения, а также формы познания и формы сознания, познавательные результаты как в виде знания, так

и в виде мнения и веры. Иначе говоря, в широком плане теория познания по своему предметному полю не уступает области гегелевской «феноменологии духа».

На это обстоятельство обратил внимание В. И. Шинкарук, который показал, что у Гегеля две теории познания: 1) совпадающая с логикой и диалектикой и 2) феноменология духа¹³. Если первая из них реализует методологический аспект гносеологии, то вторая может быть охарактеризована в современной формулировке как ее мировоззренческий аспект. Последний предполагает расширенный анализ познания как духовного производства, как способа освоения мира и присвоения его результатов, как сферы смыслообразования и формы реализации сущностных сил человека в их теоретической и духовно-практической ориентации. В последнем случае познание оказывается вписанным в социокультурный контекст цивилизации, в систему культуры как средства человеческого саморазвития.

В рамках данной системы существенное место занимает выработка предпонимания, интуитивного видения формирующихся в познании проблем, а затем (после их рационализации в познании и практического обоснования) культурной ассимиляции полученных результатов. Не случайно крупнейшие идеи современной науки имеют прообразы или аналогии в истории культуры. Достаточно вспомнить генезис атомизма, догадки о сохранении материи и движения, о множестве астрономических миров, подготовку эволюционных представлений и вероятностного стиля описания объектов (эпикуровские «отклонения атомов» и «прорыв рока» у Этьена Тампье), чтобы убедиться, что их корни прорастают в тысячелетнюю традицию. Наличие такого культурного предвосхищения является показателем фундаментальности этих идей, ибо только крупные семантические сдвиги в естествознании ассоциируют многовековой опыт человечества.

Глава 11. **Неявное знание как феномен сознания и познания**

Одна из особенностей современного научного и философского познания состоит в существенном усилении интереса к основаниям и предпосылкам знания. Это проявляется, в частности, в возрастании роли саморефлексии науки, в стремлении философов осмыслить диалектику рефлексивного и нерефлексивного в научном знании и деятельности. Результатом такого процесса стало обнаружение новых или почти не фиксируемых ранее компонентов знания и познания, а также усложнение представлений о структуре и функциях как специально-научного, так и философского знания. Предметом особого внимания все чаще становятся те компоненты, которые не представлены в познании и знании в явном виде, существуют как подтекст, скрытые основания и предпосылки знания, образующие нерефлексируемый до поры до времени слой в структуре объективированного знания.

При таком подходе научное знание и все процедуры его получения, проверки и обоснования обретают новое измерение, глубину, объемность, поскольку вводится по существу параметр, фиксирующий присутствие самого субъекта (индивида или социума) в знании и познавательной деятельности. Анализ неявной компоненты научно-познавательной деятельности, различных форм ее присутствия и функционирования в знании позволяет выявить и изучить скрытые, неосознаваемые способы введения в науку различного рода ценностных ориентаций субъекта, определить их когнитивную значимость. Выясняется, что сама возможность возникновения и существования неявных компонентов в научном знании есть объективный и необходимый момент познания. Он тесно связан с социальной природой сознания субъекта, а также с его социальным бытием: включенностью в экономические и другие общественные отношения, профессиональные и иные коммуникации, культурно-исторические условия в целом.

Именно такой подход к знанию как к феномену, определяемому не только объектом, но и социально

детерминированным сознанием субъекта, осуществил К. Маркс, открывший фундаментальную зависимость содержания знания от фиксируемых в сознании в целом превращенных форм социальной действительности. Он выявил скрытые, глубинные предпосылки и компоненты экономического знания и реализовал никем до него не применявшуюся систему приемов и методов философско-методологического анализа научного знания в структуре социального сознания в целом в связи с теми объективными превращениями, которые претерпевает общественное сознание в классовом обществе. За внешней, т. е. зафиксированной в тексте, формой экономического знания К. Маркс увидел глубинные слои, сложную структуру предпосылок, содержащую скрытые, неявные компоненты различного происхождения и природы.

По существу именно К. Маркс впервые сделал предметом специального изучения неявный слой социального (экономического) знания, вскрыл фундаментальную значимость имплицитных предпосылок для понимания как содержания знания, так и социальных причин, порождающих определенные когнитивные следствия — истинное или, напротив, иллюзорное, превратное отражение действительности. «Капитал», «Теории прибавочной стоимости» дают богатейший материал для понимания «механизмов» возникновения и функционирования скрытых оснований и следствий, предпосылок, выводов и других подобных форм в научном знании и познавательной деятельности.

В частности, К. Маркс обнаружил как некоторый объективный факт скрытую от обыденного сознания подмену одного объекта другим, неявную процедуру, в результате которой вещь обретает неосознаваемый исследователем чувственно-сверхчувственный, или общественный, характер, подобно тому как «продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом»¹. Это нашло многообразное проявление в научном знании, в частности в том, что категории политэкономии неявно содержали в себе превращенную, а не действительную форму экономических отношений капитализма. Отсюда следует, что эти категории отражают лишь объективную видимость, но не саму сущность экономической действительности, причем такое

положение дел остается скрытым от самих экономистов.

Важнейшим достоинством Марковского философско-методологического анализа экономических работ стал тот факт, что К. Маркс исходил из укорененности специально-научного знания в общей структуре социального сознания, из зависимости содержания знания не только от объекта, но и от сознания личности и общественного сознания в целом. Только рассмотрение знания в контексте социального сознания дает возможность обнаружить и выявить тот неявный «пласт» и компоненты научного знания, которые не фиксируются при традиционном логико-методологическом подходе, предполагающем движение лишь в самом слое знания, без выхода за его пределы.

Таким образом, К. Маркс не только поставил проблему существования неявных компонентов в специально-научном знании, но и показал их социально-историческую обусловленность, разнообразную природу, объективные и субъективные причины возникновения, а также способы их рефлексии и содержательного объяснения, «преодоления» в развитом знании. Но что особенно важно, он блестяще реализовал эти философско-методологические требования в своих, прежде всего экономических, работах. Представляется, что одной из заслуг К. Маркса в понимании природы и специфики научного познания и является четкое осознание обусловленности этого знания (прямо или опосредованно) философско-мировоззренческими, социокультурными предпосылками, необходимости формулировать их в явном виде.

Очевидная фундаментальность проблемы неявного знания и растущая ее актуальность требуют выявления гносеологического статуса, структуры и методологических функций этого компонента познавательной деятельности и знания. Рассмотрим один из возможных подходов к решению этой задачи.

Природа, формы и функции неявного знания. Обращение уже к Марковскому анализу неявных компонентов научного знания показало, что источники и причины их происхождения различны. Дальнейшее изучение феномена, получившего сегодня в литературе название «скрытое измерение знания», или «неявное знание», дает возможность выявить различные формы этого знания и соответственно различное их происхождение

и функции в познавательном процессе. Прежде всего следует отметить, что неявное знание представляет собой весьма специфический способ существования сознания. Это связано с тем, что, с одной стороны, неявное — это компоненты реального знания, составляющие его необходимую часть, с другой — форма их существования отлична от обычной, поскольку они представлены опосредованно как подразумеваемый подтекст, как невербализованное содержание, как контекст, идущий от самого субъекта, его коммуникаций, профессиональных и социокультурных параметров и т. д.

В современной философской литературе достаточно широкое распространение получила концепция неявного знания М. Полани. Определяющим для его подхода является понимание этого знания как индивидуального опыта данной личности, модификации ее существования, как ее «личностного коэффициента»². Такое знание приобретается только в практических действиях и в значительной мере представляет собой жизненно-практический опыт, а также знание о своем теле, его пространственной и временной ориентации, двигательных возможностях, выступающее своего рода «парадигмой неявного знания», поскольку «во всех наших делах с миром вокруг нас мы используем наше тело как инструмент»³.

Разрабатывая собственную концепцию знания в противовес Ч. Моррису, Б. Скиннеру, У. Куайну, стремившимся исключить любую ссылку на неявную структуру знания, Полани в качестве опорных смыслозадающих (sense-giving) и смыслочитывающих (sense-reading) элементов рассматривает именно неявное знание субъекта о схеме и положении его тела. Эти опорные элементы присутствуют и варьируют в любой интеллектуальной деятельности. В связи с этим Полани говорит о «триаде неявного знания»: личность *A* может сделать слово *B* обозначением объекта *C*, т. е. осуществить вспомогательную неявную операцию — интеграцию слова и его референта. Способ, которым мы «обеспечиваем значением» наши собственные высказывания, и способ приписывания значения высказываниям других являются актами неявного знания.

В системе коммуникаций триады усложняются. Так, путешественник, описывающий в письме свои впечатления, осуществляет по сути дела «триаду триад».

Во-первых, воспринимая окружающую действительность, он осуществляет смыслосчитывающую операцию; затем полученный результат излагает в письме — смыслозадающая операция; наконец, чтение письма — это тоже смыслосчитывающая операция, хотя осуществляется она уже другим человеком — адресатом⁴. Таким образом, процедура явного изложения высказывания в логико-вербальной форме сопровождается серией неявных операций, неявным знанием в целом.

Полани по существу выходит здесь сразу на три проблемы. Первая — это проблема зависимости семантики слова, высказывания от интерпретационной (интеграционной, по Полани) деятельности субъекта, семантическая функция личного неявного знания, в котором коренятся все другие виды знания, в том числе, как считает Полани, дискурсивное (например, математическое). Вторая проблема — это неявное знание как особая компонента и способ существования сознания. По существу речь идет о самосознании как неявном знании субъекта о себе самом. Отметим, что этот аспект неявного знания, оставшийся в тени у Полани, исследует В. А. Лекторский. Он напоминает, что, по данным современной психологии, «объективная амодальная схема мира, лежащая в основе всех типов и видов восприятия, предполагает также включенную в нее схему тела субъекта». Именно это знание, а также «знание различия между объективными изменениями в реальном мире и сменой субъективных состояний сознания, знание связи той или иной перспективы опыта с объективным положением тела субъекта — все эти разнообразные виды знания включены в «спрессованном» виде в элементарный акт самосознания, тот акт, который, действительно, предполагается любым познавательным процессом. Без самосознания субъект не в состоянии определить объективного положения дел в мире»⁵.

Третья проблема — язык и неявное знание. Полани не соглашается с точкой зрения о том, что знание лингвистических правил и их применение в речи есть бессознательно применяемое, неосознаваемое знание. Он называет знание языка вспомогательным, а его применение — неявной интеграцией и видит в такой постановке вопроса существенное отличие. Язык, когда субъект владеет им как родным, становится неявным вспомогательным знанием, находящимся в фокусе соз-

пания и необходимо дополняющим то неявное знание, которое существует как самосознание субъекта.

Однако указанные аспекты неявного знания не исчерпывают его специфики, поскольку необходимо выяснить, как возможно знание, если оно не вербализовано и не находится в фокусе сознания. Полани исходит из того, что неявное знание, неотделимое от личности, субъекта, производное от его опыта, принципиально не может иметь логико-вербальную форму. В противном случае оно утрачивает свою сущность, переходит в нечто другое. Тот факт, что мы обладаем невербализованным знанием, по его мнению, общеизвестен, как и то, что мы должны нечто знать прежде, чем выразить это в словах.

Эта проблема достаточно широко обсуждается в литературе, однако столь однозначное и категоричное ее решение не является, как утверждает Полани, «общим местом». Спектр точек зрения предельно широк: от «экстралингвистического знания» (К. Хукер) до полного отрицания возможности невербализованного знания (П. Фейерабенд) *. Однако все более убедительным представляется, так сказать, динамический подход к пониманию этой проблемы, опирающийся на признание движения от невербализованных к вербализованным формам мысли, а также различение собственно когнитивного и языкового способов отражения.

На реальное несовпадение языкового и когнитивного отражения указывает, в частности П. Я. Гальперин, полагающий, что каждый из этих видов сознания имеет свои объекты и «каналы» отражения, а также свои критерии правильности. Познавательные образы являются отражением вещей; «каналами познания» образов служат органы чувств и логическое мышление, а критерием истинности — практика. В свою очередь языковые значения обслуживают организацию совместной деятельности; «каналами понимания» речи служат не столько органы чувств и мышление, сколько сопереживание слушателем речевого сообщения; критерием правильности речи является соответствие его поведения цели речевого сообщения⁶.

Представляется, что путем такого различения способов существования сознания при признании их тес-

* Критика этих позиций осуществлена, в частности, Д. И. Дубровским в статье «Информационный подход к проблеме «сознание и мозг»» (см.: Вопросы философии. 1976. № 11. С. 41—54).

ного взаимодействия и единства подчеркиваются различные акценты и аспекты отражательной функции и сформировавшиеся для них относительно самостоятельные формы отражения. «Зазор», существующий между когнитивным и языковым отражением, позволяет понять, почему в реальном познании и функционировании языка возможно некоторое довербальное предметное отражение действительности, следующим своим шагом требующее найти адекватные логико-вербальные формы. Этот «следующий шаг» как преодоление, снятие различия когнитивного и языкового отражения в реальном мыслительном процессе по существу не вытекает из концепции П. Я. Гальперина. Подчеркивая коммуникативную функцию языка, он оставляет в тени другую, не менее важную — мыслеформирующую функцию, согласно которой когнитивное отражение в его зрелых, развитых формах может реализоваться только на основе языка. Однако в форме «непосредственно воспринимаемых данных», а также в сфере самосознания когнитивное отражение может существовать до поры как невербализованное знание.

Эта ситуация специально рассмотрена Д. И. Дубровским, отрицающим принципиальную невербализуемость, но признающим наличие в каждый данный момент невербализованного знания, которое в последующий момент может быть вербализовано. Известно, что всякая деятельность сознания — это в той или иной степени деятельность общения, т. е. передача выраженной в языке мысли. Но если общение с другими уже включает в себя наряду со словесными и невербализованные формы коммуникации, то «логично допустить, что общение с самим собой, характерное для процесса мышления, также использует разнообразные средства невербальной коммуникации. ...Это невербализованные, но тем не менее осознаваемые состояния, хотя их рефлексивность выражена гораздо слабее, чем на уровне внутренней речи»⁷.

Таким образом, неявное знание может быть понято, в частности, как некоторая до поры до времени невербализованная и дорефлексивная форма сознания и самосознания субъекта, как важная предпосылка и условие общения с собой, познания и понимания. Однако полагать, что всякое невербализованное знание есть неявное, было бы ошибкой, поскольку знание может быть объективировано и неязыковыми сред-

ствами, например в деятельности, жестах и мимике, средствами живописи, танца, музыки и т. д.

Сложность понимания природы неявного знания объясняется в значительной мере тем, что, существуя неявно, оно вместе с тем существует в сфере сознания. Однако, будучи вспомогательным, оно не находится, по Полани, в фокусе сознания. Так, когда мы пишем письмо, мы полностью сознаем, что употребляем перо и бумагу, но специально не фиксируем на этом внимания, опираясь на определенные навыки как на вспомогательное жизненно-практическое знание. Его применение и функционирование часто не вызывает дополнительных усилий, поэтому мы просто можем его не замечать, хотя оно не становится от этого бессознательным. Характеризуя такую форму неявного знания, как самосознание, В. А. Лекторский отмечает, что «самосознанию не презентирован его объект (не следует смешивать самосознание с рефлексией). Когда я воспринимаю какую-то группу объектов, я вместе с тем сознаю отличие своего сознания от этих объектов, сознаю пространственно-временное положение своего тела и т. д. Однако все эти факты сознания находятся не в его «фокусе», а как бы на «заднем плане», на его «периферии»... Мое тело, мое сознание, мой познавательный процесс в этом случае не входят в круг объектов опыта, предметов знания»⁸.

Сознавая плодотворность индивидуально-личностного и гносеологического подходов, необходимость их существенного уточнения и дальнейшей разработки, отметим, что этим не исчерпывается феномен неявного знания, имеющий и не менее значимое логико-методологическое содержание. По сути дела и сам Полани, в противовес позитивизму выявивший смыслообразующую функцию глубоко личностного неявного знания, и Т. Кун, исследовавший способ видения ученого, вышли на собственно методологические проблемы, особенно при анализе роли имплицитных предпосылок знания в решении научных проблем.

Иные формы неявного знания могут быть выявлены при обращении к коллективному субъекту и соответственно к интерсубъективному, объективированному знанию, т. е. в случае, если само неявное знание рассматривается как логико-методологическая проблема. Субъект им обладает уже как знанием, признанным и принятым в данном научном сообществе, направле-

нии, школе и т. п. Однако это знание возможно лишь как следствие (и условие) всеобщего труда и коммуникаций субъекта научной деятельности. Следует подчеркнуть, что К. Маркс при анализе экономических учений рассматривал именно такого рода неявное знание в форме имплицитных предпосылок, «скрытых оснований» объективированного научного знания.

Способы введения и формы существования неявных предпосылок в научном знании. Можно ожидать, что существуют специальные «формы бытия» и вхождения имплицитных элементов в объективированное знание. Однако анализ с этой точки зрения собственно логических, а также гносеологических методов и приемов, общенаучных и специальных научных методов приводит к несколько иному выводу: любой способ рассуждения, познания, оперирования со знанием (от интуитивно-содержательного до формализованного, логически строгого) — это еще и способ введения (или бытия) неявного знания. Поэтому проблема должна быть переформулирована следующим образом: как зависят формы неявного знания, способы его введения от этапов, методов и форм научно-познавательной деятельности.

Прежде всего можно говорить об «узаконенных» логических методах введения имплицитных элементов в содержание науки. По-видимому, наиболее предпочтительный способ введения предпосылок в знание — это дедуктивный вывод, поскольку предпосылки в этом случае даны эксплицитно, имеют статус логических посылок и знание следует из них с логической необходимостью. Но дедуктивное следование может быть интерпретировано и как экспликация в выводе неявного знания, содержащегося в посылках. В литературе этот момент обсуждался как проблема новизны знания, содержащегося в дедуктивном выводе.

Следует подчеркнуть, что новое знание дедукция может дать в случае продуктивного движения в научном поиске в отличие от репродукции знания в прикладных исследованиях или с дидактическими целями. В этих случаях чаще всего имеют дело с *энтимемой* (умозаключением, в котором опущена большая или малая посылка); она, по-видимому, может рассматриваться в качестве логической формы введения неявных предпосылок в знание. Отсутствие одной из посылок в энтимеме — это способ функционирования и воспроизводства уже известного знания, поэтому оно и

может существовать в неявной форме, не создавая до поры до времени противоречий и парадоксов. Однако такая ситуация может порождать иллюзии «беспредпосылочности» научного знания или служить поводом для ошибочной интерпретации самих предпосылок*.

Еще большими возможностями введения неявных предпосылок в научное знание обладают индуктивные методы (индукция, аналогия, экстраполяция). В этих методах следование имеет вероятностный характер, предположение о его правомерности, правдоподобию основано на неполной информации и, главное, зависит от различного рода неявных предпосылок, в том числе мировоззренческого характера. Эти моменты существенно усиливаются во «внелогических» познавательных процедурах сравнения, выбора, предпочтения гипотез, методов, оценки и решения проблем, способов доказательства, обоснования и т. п. В каждой из них представлены интуитивные, неэксплицированные, невербализованные и не всегда осознаваемые элементы как интеллектуальный и ценностный фон субъекта научной деятельности.

Наряду с указанными способами можно выявить наиболее распространенную процедуру, способ введения неявных элементов (в том числе и предпосылок) в научное знание — это перевод явного, актуально выраженного знания в неявное, в подтекст, т. е. использование приема умолчания о знании само собой разумеющимся, очевидном. Очевидность — это характеристика не познавательного образа, знания, но принятия (непринятия) его истинности субъектом. Истинность знания очевидна для субъекта в том случае, если ее обоснование, доказательство не требуют экспериментальных операций и специальных логических рассуждений, «ухватываются» субъектом непосредственно чувствами, или умозрением, или, наконец, многократным подтверждением и проверкой этого знания прежде. Известно, что Р. Декарт рассматривал очевидность как важнейший признак знания, поскольку считал истинным только то, что воспринимается ясно, от-

* См., например, критику Е. П. Никитиным позиции У. Дрея и М. Скривна, утверждавших, что объяснение объекта может выполняться вообще без использования законов науки. В действительности же речь идет об энтимеме, где закон выступает в качестве опущенной большой посылки (см.: *Никитин Е. П.* Объяснение — функция науки. М., 1970. С. 23—25).

четливо, самоочевидно (первое правило его метода). Состояние умственной самоочевидности было для него исходным и конечным моментом движения познания. Однако Декарт по существу не задавался вопросом «очевидно для кого?», полностью отвлекаясь от исторического и коммуникативного характера получения и передачи знания.

Но еще Аристотель очевидность знания исследовал в ее методологическом (и в известной мере методическом) значении, при этом «очевидно для кого?» рассматривалось им специально. Исследователи обратили на это внимание в связи с проблемами становления аксиоматического метода и возникшей дискуссией о роли Аристотеля в истории аксиоматики. Во «Второй аналитике» (I, 76в, 25—35) он в общей форме утверждал, что в зависимости от того, какой статус имеет высказывание, оно должно присутствовать в знании либо обязательно в явной форме как постулат, поскольку он может стать предметом спора и причиной непонимания, либо в неявной как аксиомы — самоочевидные, необходимые истины, либо как предположения, истинность которых не доказана, но не вызывает споров у исследователей (учителя и его учеников), принадлежащих к одной школе.

Аристотель указывал также на другие формы связи очевидного и неявного в знании. По его мнению, всякая доказывающая наука имеет дело с тремя сторонами: «то, относительно чего доказывается; то, что доказывается, и то, на основании чего доказывают» («Вторая аналитика» I, 76в, 20—25). Первые две формулируются явно, так как они имеют специфику в разных науках, в то время как «то, на основании чего доказывают», т. е. средства вывода, являются по существу общими, едиными для всех или группы наук; они очевидны, а потому явно не формулируются, но существуют как неявные предпосылки того или иного характера.

Следуя этим идеям Аристотеля, можно выделить следующие общие всем современным наукам группы высказываний, которые, как правило, не формулируются явно в научных текстах «нормальной» науки:

- логические и лингвистические правила и нормы;
- общепринятые, устоявшиеся конвенции, в том числе относительно языка науки;

— общеизвестные фундаментальные законы и принципы;

— более сложные содержательно-нормативные группы высказываний: философско-мировоззренческие, которые не выражены эксплицитно либо как очевидные, либо вообще не осознанные исследователем; парадигмальные нормы и представления; научные картины мира, стиль мышления, суждения здравого смысла и т. п.

Во всех этих случаях очевидность есть не чувственная достоверность, а скорее умозрительная, интеллектуальная убедительность на основе определенного «способа видения» или усвоенных мировоззренческих и методологических регулятивов, языковых и логических норм и правил. Такого рода очевидность имеет ясно выраженное социокультурное и коммуникативное происхождение: очевидно не всякому субъекту, но лишь принадлежащему к определенному социуму, усвоившему определенный стиль мышления, систему мировоззрения, парадигму. В этом случае очевидное может уйти в подтекст, стать имплицитной составляющей только в силу того, что по принципиальным механизмам своего осуществления познавательная «деятельность всегда носит социально-опосредованный характер, т. е. всегда содержит потенцию коммуникация»⁹.

Только при условии, что функционируют четко налаженные формальные и не формальные коммуникации и знание очевидно как для автора, так и для некоторого научного сообщества, оно может принимать скрытые формы, не утрачивая своих функций предпосылок и оснований, реализуя их неявным образом. Социальная (коммуникативная) опосредованность научной деятельности, явная или неявная диалогичность научных текстов, их концептуальная «нагруженность» и контекстуальная многоплановость закономерно ставят вопрос о механизмах перевода господствующих в культуре и собственно в знании стереотипов, общепринятых истин на положение невербализуемого в данном тексте знания. Задача их выявления и объяснения вновь встанет на повестку дня при пересмотре оснований, смене парадигмы, стиля мышления, что предполагает, таким образом, обязательный учет взаимосвязи явных и неявных компонентов знания.

Способы выявления имплицитных предпосылок на-

учного знания. Очевидно, что требуется специальный логико-методологический аппарат, отражающий диалектику имплицитного и эксплицитного как в содержательных, так и в формальных аспектах. Предложенная Г. А. Брутяном трансформационная логика ставит именно такие задачи. Она изучает имплицитные (контекстные и подтекстные) формы и структуры мысли, а также трансформационные правила, с помощью которых из эксплицитных форм и структур мысли посредством интерпретации подтекста и учета контекста выводятся (порождаются) имплицитные формы мысли и структуры. Эти формы охватывают различные срезы мысли, и только их совместный учет может воспроизвести реальную картину форм мысли¹⁰.

Разработанные Г. А. Брутяном трансформационные правила отражают различные способы выявления имплицитных компонентов на основе осуществления различных логических операций с эксплицитными формами и структурами. Очевидно, что этих правил значительно больше, чем указано, многие из них употребляются неосознанно либо имеют, как, например, экспликация, иные функциональные характеристики и могут быть переосмыслены с точки зрения концепции трансформационной логики.

Обращение логиков к этой проблематике позволяет прояснить логический и гносеологический статус имплицитных форм и структур. Этому способствует, в частности, трактовка данных форм как пресуппозиций, или предположений, из которых неявно исходят субъекты коммуникации. В этом случае анализ знания осуществляется с учетом его диалогической природы, а также реалий речевой деятельности субъекта. Иными словами, учитывается тот факт, что любая коммуникация предполагает некоторое общее знание у субъектов общения, т. е. определенный общий, явно не формулируемый контекст. Этот контекст может быть интерпретирован как некоторая идентифицируемая субъектами сумма эмпирических и теоретических знаний, на фоне которых обретают смысл неявные формы высказываний и становится возможным сам акт коммуникации¹¹. Особый смысл обретает эта проблема в неформализованном знании.

Реальная трудность для любого исследователя гуманитарного текста заключается в том, чтобы понять, какие идентифицируемые знания присутствуют в кон-

тексте и подтексте, выявить эти знания из каждой эксплицитной формы и структуры мысли. Эти процедуры составляют логико-гносеологическую основу комментариев к текстам, предлагаемым специалистами. Классическим примером не только собственно содержательной, но и логически четко структурированной интерпретации скрытых форм и структур мыслей являются комментарии А. Ф. Лосева к диалогу Платона «Федон». Анализируя известные четыре доказательства бессмертия души по Сократу, А. Ф. Лосев отмечает, что они получают свою силу только благодаря нескольким энтимемам, которые не формулируются в диалоге явно. В комментарии эти энтимемы выявлены и рассмотрены в качестве необходимых пресуппозиций. Кроме недоказанных энтимем, по мнению А. Ф. Лосева, Платон вводит еще три недоказанные мифологемы, не имеющие логического характера, покоящиеся на вере. Это познание нашей душой общих сущностей еще до нашего рождения, т. е. в потустороннем мире; познание идей после смерти тела; из познания душой вечных идей Платон выводит вечность самой души. А. Ф. Лосев считает, что необходимо сделать еще по крайней мере три логически вытекающих из платоновского учения вывода, которые сам Платон в этом диалоге не делает, и предлагает эти выводы, «извлекаая» их из эксплицитных форм и структур «Федона»¹².

Очевидно, что А. Ф. Лосев исходит из важнейших логико-методологических принципов выявления неявных элементов знания текста, из того, что реальную картину развертывания мысли может дать только единство эксплицитных и имплицитных форм и структур, что имплицитные формы могут быть выявлены либо с помощью логического вывода, либо путем идентификации контекста как совокупности всех пресуппозиций — общих исходных знаний участников коммуникации.

Выявление скрытого содержания этих общих исходных знаний не имеет характера логического следования, опирается на догадки и гипотезы, требует прямых и косвенных доказательств правомерности формулируемых пресуппозиций. Представляется, что интересный опыт (мало пока используемый методологами) дают сегодня гуманитарные исследования, направленные, по выражению А. Я. Гуревича, на реконструкцию «духовного универсума людей иных эпох и культур», особенно

те работы, в которых ученые стремятся выявить неявные (неосознаваемые и невербализованные) мыслительные структуры, ментальность эпохи в целом. Известное исследование этого автора по категориям средневековой культуры, методологические идеи которого горячо восприняты философами, прямо «направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек...»¹³.

Историки и культурологи широко применяют сегодня объективный метод косвенных свидетельств о тех или иных ментальностях. В существующих текстах, посвященных каким-либо хозяйственным, производственным или торговым проблемам, они стремятся вскрыть различные аспекты миропонимания, стиля мышления, самосознания¹⁴. Изучать *восприятие* гуманистической культуры, например, в Италии XVI в. можно, обратившись к трактату Ваноччо Бирингуччо, посвященному ремеслам, связанным с огнем, — «De la pirotechnia». Д. Э. Харитонович обнаруживает у автора трактата, не гуманиста в прямом смысле слова, ту же «диалогичность» мышления гуманистов, «спор, в процессе которого выясняется, что ни одна из сторон не владеет всей истиной, но только ее частью». Автором трактата «воспринят был именно стиль мышления, стиль культуры, причем не напрямую, не в результате пристального чтения гуманистических сочинений, а через культурную атмосферу общества»¹⁵. Можно предположить, что гуманистический стиль мышления был присущ широким слоям горожан, культуре Возрождения в целом независимо от того, что он не был четко продуманной и глубоко осознанной позицией, — таков вывод Д. Э. Харитоновича.

Другой пример, интересный с точки зрения методов выявления скрытой ментальности, — анализ Л. М. Баткиным текстов гуманиста Б. Кастильоне, в частности трактата «Грация», в котором исследователь усматривает отличную формулировку «проблемы личности, хотя автору еще ничего о «личности» неизвестно. Она возникает именно в контексте рассуждений о «грации» — на пересечении понятий «разнообразия» и «совершенства», из парадоксального совмещения нормы и казуса в «совершенном индивиде»»¹⁶. Таким образом, изучение текста, не имеющего прямого отношения к формированию понятия «личность», позволило выявить неявно

существующие в культуре Возрождения представления, из которых вырастает это понятие.

Вместе с тем в приведенных примерах, как представляется, проявляется еще одна особенность выявления имплицитного содержания культурно-исторического текста. Она состоит в том, что исследователь, принадлежащий другой культуре, может выявить новые имплицитные смыслы, объективно существовавшие, но недоступные людям данной культуры. Этот феномен может быть объяснен, в частности, тем, что «мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины»¹⁷. Очевидно, что вопросы, которые Л. М. Баткин поставил Кастильоне, не могли возникнуть в культуре Возрождения, где само становление личности еще только совершалось. Но в том-то и состоит ценность и правомерность таких вопросов, идущих из другой культуры и эпохи, что объективно ответ на них действительно присутствует в трактатах Кастильоне и Бирингуччо. Здесь мы встречаемся с особенностями объективного существования неявного знания в художественных творениях прошлого. Так, М. М. Бахтин объясняет возникновение «великого Шекспира» в наше время выявлением того, что «действительно было и есть в его произведениях, но что ни сам он, ни его современники не могли осознанно воспринять и оценить в контексте культуры своей эпохи»¹⁸.

Эти особенности текстов объективны, они не порождаются произвольно читателями-интерпретаторами, но осознанно или неосознанно закладываются самими авторами и затем по-разному отзываются в той или иной культуре. Одна из особенностей обусловлена существованием текста на рубеже «двух сознаний», а по сути всегда встреча двух текстов — готового и создаваемого, реагирующего текста; второе сознание невозможно элиминировать или нейтрализовать, хотя оно, разумеется, изменяется с каждым конкретным участником диалога. Другая особенность связана с диалектикой данного и созданного в тексте. В творческом тексте в конечном счете формируется и предмет, и процесс, и сам автор, его мировоззрение и средства выражения. Но всегда остается возможность изучать во вновь созданном уже существующее; через чужое отражение можно прийти к отраженному объекту и системе ценностей, характе-

ризирующих менталитет культуры, в которой творит свой текст автор¹⁹.

Особо следует отметить такой аспект текста, который М. М. Бахтин характеризует как предположение «вышнего *нададресата*... абсолютно справедливо ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в далеком историческом времени... В разные эпохи и при разном миропонимании этот нададресат и его идеально верное ответное понимание принимают разные конкретные идеологические выражения (бог, абсолютная истина, суд беспристрастной человеческой совести, народ, суд истории, наука и т. п.)»²⁰. Итак, каждый текст не отдает себя только на волю наличным или близким адресатам — понимание этой особенности текстов является важнейшим условием воспроизведения его неявных компонентов. «Нададресат», «незримый третий» — это персонификация социокультурного контекста (явная или неявная), обращенность к иным историческим временам и культурам, выход за пределы существующего знания и понимания, интуитивное предположение автора о возможности увидеть в тексте то, что не осознавалось современниками, людьми одной культуры. Таким образом, объективные свойства текста обеспечивают его реальное существование и трансляцию в культуре, причем не только в его прямой функции как носителя информации, но и как феномена культуры, ее гуманистических параметров, существующих, как правило, в имплицитных формах и выступающих предпосылками разнообразных реконструкций и интерпретаций²¹.

При рассмотрении проблемы выявления имплицитных форм и структур знания по эксплицитным текстам мы исходили по существу из неявной предпосылки: в процессе научной коммуникации предпосылки автора текста правильно идентифицируются исследователем. Проблема существенно усложняется, если этого нет. Во-первых, происходит нарушение коммуникации, а соответственно утрата возможности адекватной интерпретации эксплицитных форм и структур. Так, могут возникнуть своего рода разрывы в контексте (подтексте), так называемые межкультурные (или межкультурные) лакуны. Они могут отражать несовпадения национальных особенностей, способов деятельности, например, в решении мыслительных задач, в поведенческой сфере, при этнографических различиях.

Лакуны возможны и в рамках одной культуры в связи с изменениями психологического, экономического и политического характера в ходе ее развития. В художественных текстах лакуны могут быть созданы намеренно, как особенности авторской поэтики, как нарушения логики здравого смысла, введение архаизмов и т. д., т. е. сознательное рассогласование социокультурного фона коммуникации, используемое в качестве художественного приема²².

Наличие таких лакун, их различные формы обычно учитываются профессиональным исследователем, а могут стать и главным предметом анализа. Так, многие годы изучается проблема восприятия и понимания культуры Востока представителями другой, западной культуры. При этом отмечается, что «неспособность отрешиться от привычных мерок, неумение (или невозможность) проникнуть в основы чуждой культуры и философской мысли не позволяли порой даже выдающимся умам оценить их по достоинству. Об этом свидетельствуют, в частности, отзывы Гегеля о философии древнекитайских памятников, которые тот читал, естественно, в переводе... О высказываниях Конфуция он пишет коротко и решительно: «Для его славы было бы лучше, если бы они не были переведены»»²³.

Особый интерес исследователи проявляют к специфике японского мышления и мировоззрения, подчеркивая богатство многозначного контекста, образной и смысловой насыщенности, чему способствует и сам язык, в котором иероглифы выполняют по сути роль сложных моделей-образцов (паттернов), предполагающих целостный охват смыслов.

Следует отметить, что японские логики, лингвисты, культурологи серьезно изучают эти проблемы, стремясь не только понять различия традиционных восточных и западных мировосприятий, но и подготовить новое поколение к более эффективному диалогу мировоззрений. Эту мысль обосновывает, в частности, М. С. Федоришин, анализирующий сделанный им перевод эссе Кимура Сёдзабуро ««Люди зрения» и «люди голоса»», помещенного в хрестоматии по японскому языку для средней школы. В отличие от европейца, «человека голоса», японец считает, что глаза говорят в такой же мере, как и язык; реакция чувств происходит по «взаимным взглядам»; чувственное соощущение образует коллектив японского типа. Этим объясняется особая роль молча-

ния; «невыразимость в слове», с которой сталкивается человек «вербальной» западной культуры, существенно компенсируется у «людей зрения» реакцией чувств «по взаимным взглядам»²⁴.

Итак, возможное рассогласование в понимании контекста и подтекста ставит исследователей перед проблемой: как выявить и эксплицировать действительные предпосылки автора исследуемого текста и не приписать ему свои, современные, принадлежащие данной культуре, социуму либо просто иному научному сообществу представления и регулятивные принципы. В связи с этим встает вопрос о роли личностного неявного знания, индивидуального интеллектуального и эмоционального «фона», существующего как бы на периферии познавательного процесса, но выявляющего в полной мере свою значимость для рефлексии и интерпретации. Иными словами, обнаруживается зависимость как самого познания, так и истолкования имплицитных компонентов объективированного знания от личностного неявного знания субъекта — интерпретатора, что требует поиска адекватных логико-методологических средств фиксации этой стороны познания.

Таким образом, наряду с известными противоположными параметрами абсолютного и относительного, определенного и неопределенного, интуитивного и дискурсивного знание обладает и такими полярными характеристиками, фиксирующими форму его существования, как имплицитность и эксплицитность. Диалектика явного и неявного в знании и познавательной деятельности имеет фундаментальный характер, обладая всеобщностью и необходимостью. Она позволяет оптимизировать знание, фиксирует его непосредственную отнесенность к субъекту и его коммуникациям, является основой интерпретативной и рефлексивной деятельности субъекта в самом знании.

Глава 12. Проблемы гносеологии искусства

Интерес к философскому обобщению опыта художественно-эстетического освоения действительности обусловлен не только характерной для современной теории познания тенденцией к универсализации и полноте исследовательской деятельности, но и значительными познавательными результатами этого опыта. Присущие ему глубокое осмысление социально-культурных условий жизни с этических и эстетических позиций, освещение человеческих судеб в пересечении с насущными общественными проблемами, а также выработанные в обстановке острой борьбы мировоззрений, политических убеждений и идеологических установок идеи, вносящие существенный вклад в прогрессивное развитие, могут рассматриваться как вид знания, который связан с отысканием истины.

В культурологических и искусствоведческих исследованиях отмечается, что прогресс искусства во многом обусловлен развитием его познавательной стороны, расширением его предметной сферы, тематики. В современных условиях искусство выступает как один из видов деятельности субъекта, направленной на освоение сложнейших жизненных процессов. Результаты этой деятельности приобретают в свою очередь общезначимый смысл. Они играют существенную роль в формировании философского мировоззрения, нравственных, эстетических и других жизненно важных принципов современного человека, способствуют решению проблем общественного развития с прогрессивных позиций и тем самым оказывают влияние на гуманистическую ориентацию познавательной деятельности.

Такое положение делает необходимым более активное освоение теоретико-познавательной проблематики, связанной с функционированием искусства как одной из сфер культуры в общественной жизни. Это важно также и для выявления специфики современной теории познания, использующей опыт различных видов познавательной деятельности в связи с социально-культурными и историческими изменениями.

В научной литературе сложились богатые традиции исследования искусства в соотношении с познавательной деятельностью. Ему отводится значительное место в системе социально-культурных способов осмысления действительности как одной из духовно-практических форм и как широкой сферы познания, связанной с жизненным опытом. Искусство рассматривается как *особый вид отражения действительности*, а также как *форма общественного сознания*, основным содержанием которой является отражение эстетического отношения человека к миру.

Надо отметить, что эстетический подход и связанная с ним своеобразная форма эстетического отражения нередко служат основанием для резкого размежевания и даже противопоставления научного и художественного познания и абсолютизации «специфичности» последнего, под которой подчас подразумевается недостоверность его результатов, поскольку последние объективно не доказуемы. Такая позиция представляется в принципе неверной и тем более неприемлемой для теории познания, так как для нее важна не только гносеологическая специфика различных форм познания, но прежде всего выявление некоторых общих принципиальных оснований. Исторический опыт свидетельствует о том, что научное и художественное познание являются взаимодействующими и взаимообусловленными компонентами культуры, равно функционально значимыми для общественной жизни и для человека. Взаимосвязаны они и в познавательной деятельности *.

Методологический подход, направленный на выявление принципов их взаимодействия, исследование одной формы общественного сознания в соотношении с другими, рассмотрение их в широком историческом социокультурном контексте, представляется более целесообразным для их гносеологической характеристики ¹. Не

* «...В действительности не существует двух родов познания — художественного и научного, коренным образом отличающихся друг от друга. Познание едино, протекает по общим законам, которые вскрываются материалистической гносеологией. И эстетика, изучающая художественное творчество, поскольку последнее включает в себя познание, должна быть прикладной гносеологией. Причем художественное творчество, как и научное, включает в себя все моменты, составляющие процесс познания. Поэтому категории, выработанные гносеологией, играют роль и в понимании художественного творчества» (Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 263).

случайно в ряде работ искусство рассматривается как целостная и многоуровневая система познавательной деятельности, изучение которой требует комплексного подхода².

У научного и художественного познания общая гносеологическая основа: они имеют социальный характер, рассматривают человека как включенного в социальную жизнь, опираются на исходные знания о мире, данные человеку в чувственном познании — ощущениях, восприятиях, представлениях. Известно, что в решении проблем общественного и научного развития — преемственности знания, предвидения, научных открытий — огромную роль играют социально-культурные традиции в целом. В искусстве общий характер осмысления действительности и способ художественного воплощения, с одной стороны, усвоение содержания и его значения — с другой, также подчиняются этой закономерности.

Прежде всего следует отметить общую зависимость творческого потенциала личности от социально-исторических условий процесса в целом, который в конечном счете и определяет духовный склад отдельного субъекта. В процессе творчества уже самым выбором темы художник связывает произведение с определенной общественной средой, характеризующейся особым типом мировоззрения и специальными задачами для личности — действующего лица. Тем самым художник ставит себя в положение исследующего и познающего эту среду, превращая свой метод в специальный инструмент познания. Претворяясь в художественное произведение, весь материал подвергается трансформации: художник корректирует его, обогащает своим опытом, развивает с учетом всей человеческой жизни и практики. Субъект восприятия в свою очередь пропускает этот опыт через себя, испытывая на правдивость и достоверность, а в таких видах искусства, где образ создается посредством знака и звука, он активно участвует в формировании зрительного образа на основе своего индивидуального видения, опыта и практики. Эта сложная связь находит отражение в характерном для искусства соотношении: «субъект (восприятие художника) — объект (отражение объективной реальности)» и «объект (предмет художественного творчества) — субъект (субъект восприятия)».

Рассмотрение этого соотношения на конкретном ма-

териале проливает свет не только на культурно-историческую природу субъективности, но и на сложную структуру познания средствами искусства, результаты которого могут выступать как знание, а также как «переживание», убеждение. Субъективные по своему характеру, нашедшие преломление в личностном опыте художника, последние имеют духовное содержание, несущее общезначимый, общекультурный смысл. Этим объясняется особая роль личности в искусстве (и в этом его отличие от научных теорий и результатов других сфер деятельности, названных по имени их создателей). Художественное видение и осмысление мира сугубо индивидуально и потому даже при наличии всего многообразия современного, в том числе научного, знания ничем не заменимо. В искусстве действует и особая закономерность: чем ярче личность художника, тем более действенно его творчество, хотя, разумеется, здесь играют роль и общекультурные предпосылки, и мировоззрение художника в целом.

Не менее специфичен и процесс восприятия произведения искусства, зависящий как от природных данных человека, прежде всего способности воображения, так и от целого ряда других условий: помимо общей образованности от степени эстетической восприимчивости, развитости эстетического вкуса, понимания специфического языка искусства и др. В этой связи и встает одна из важнейших гносеологических проблем, касающаяся соотношения познания и искусства: каким образом субъективное (единичное, особенное) приобретает характер объективного (общезначимого)? Выяснение этой проблемы дает возможность осветить некоторые важные для теории познания принципы формирования и развития идеальной сферы человеческой деятельности, субъект-объектных связей, а также некоторых других коренных свойств познавательного процесса.

Особенности психологии творчества достаточно подробно освещены в специальной литературе, а также в многочисленных высказываниях писателей и художников, которые содержат немало ценных наблюдений относительно того, каким образом осуществляются в искусстве мыслительные акты, отличные по структуре от познавательной деятельности и касающиеся гносеологической специфики художественного отражения в целом, более широкого, чем познание. Прежде всего это относится к *конструктивной деятельности художника*,

формирующей образ новой реальности: новых героев, новый предметно-событийный мир, имеющий особые пространственно-временные характеристики и другие особенности.

Созданный в результате такой деятельности целостный эстетический мир является продуктом *идеального моделирования*, представляющим собой *диалектическое единство условности и конкретности*. Условный по ситуации, конкретный по проблематике и жизненному материалу, этот мир структурирован таким образом, что при всей жизненной достоверности и убедительности и даже при наличии реальных прототипов оказывается несводимым к той объективной действительности, на основе познания которой он сконструирован, вследствие чего правда жизни не может ни заменить, ни подменить его художественной правды *.

Художественное творчество немыслимо без обращения к интуиции и воображению, фантазии и мечте (последние могут выступать даже в качестве основы произведения искусства). Весьма различны и методы художественного воспроизведения действительности; богаты и многообразны изобразительные средства в различных видах искусств; и все эти стороны художественного процесса, хотя и в разной степени, гносеологически содержательны, прежде всего потому, что выступают в качестве идеальных действий и операций, главной задачей которых является трансформация действительности и формирование определенных идеальных объектов.

Отметим, что при этом обнаруживается не только оригинальность художественного осмысления действительности, но и его *опосредованность* (помимо указанных выше социально-культурных содержательных опосредствований познания) такими прежде всего идеальными, общественно выработанными формами познавательной деятельности, как язык, категории логики, обобщение, абстрагирование, идеализация, моделирование и другие средства исследования, в том числе научного. Художественному творчеству присущи и другие общие для гуманитарного познания гносеологические приемы: индивидуализация, метафоризация, аналогия,

* В этом смысле термин «художественная модель» действительности справедливо толкуется как более широкий и общий, чем понятие художественного познания (см.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970).

истолкование (у литературоведов существует термин «роман-интерпретация») и др.

Эти особенности подтверждают справедливость критики узкогносеологического подхода к искусству и сведения его к средству познания *, но не исключают, на наш взгляд, специальных исследований, в частности гносеологического, осуществляемого с позиции собственно теории познания. Ограничивая свою задачу, остановимся прежде всего на *проблеме своеобразия художественного образа* как способа идеальной репрезентации объекта и особенностях его отношения к действительности, а также на некоторых существенных субъект-объектных связях, представляющих собой сложное единство субъективного (восприятия художника) и объективного (отражения объективной реальности), хотя их выявленность не может быть полной без специального исследования.

Художественный образ — основной «объект» искусства — может быть рассмотрен как познавательный образ со всеми присущими ему характеристиками и вместе с тем это «всеобщая категория художественного творчества, специфический для него способ и форма освоения жизни, «язык» искусства» ³ и форма выражения. Классическое определение искусства как «мышления в образах» восходит к гегелевской эстетике, в которой впервые было разработано положение об искусстве как особой форме познания реальности и как духовно-практической деятельности. В отличие от научного, понятийного мышления Гегель рассматривал поэтическое представление как образное, поскольку оно «являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность...» ⁴. В этом определении схвачены такие важные философские черты художественного образа, как его идеальность и конкретность. В дальнейшем исследование этой категории получило развитие в эстетических системах В. Г. Белинского, в работах советских ученых, однако до сих пор многие вопросы, особенно касающиеся структуры образа и его гносеологического статуса, остаются дискуссионными.

* «Такая концепция ведет к целому ряду теоретических несообразностей, например к попыткам выделить особый предмет искусства, познание которого недоступно науке (как будто наука не является универсальной формой познания!), отождествить художественный образ со знанием особого рода и т. д.» (Андреев А. Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. М., 1981. С. 12).

Причина этого кроется в специфической природе искусства, которое не просто познает действительность, но и воссоздает ее, исходя из присущих ей или потенциальных эстетических возможностей и соотнося изображаемое с непреходящими, вечными жизненными ценностями. Благодаря этому личное (отдельное) приобретает *надличный* характер, вбирает в себя некоторые идеальные возможности и становится носителем определенных художественных ценностей, которые получают статус всеобщего (объективного).

По этой же причине художественный образ как «предмет» искусства многозначен. Помимо определенного, конкретного значения он обладает «неявной» содержательностью, которая стимулирует воображение и мысль воспринимающего, вовлекая его в сотворчество (игру), но вместе с тем довольно строго очерчивает границы допустимого. В этом отношении многие исследователи склонны рассматривать художественный образ как родственный по природе знаку, т. е. «предмету», значащему больше, чем он есть на самом деле, но все-таки имеющему вполне определенный смысл.

Для исследования гносеологии искусства важное значение имеет характерный для него способ обобщения, раскрываемый через понятия «тип», «типическое», «типизация», связанные прежде всего с методом реализма XIX—XX вв. Тип — это тоже познавательный образ, но находящийся в более сложном соотношении с индивидуальным и всеобщим, чем обычный образ. В нем индивидуальное не противоречит всеобщему, это лишь разные формы одного содержания (в рассматриваемом контексте — социального). В типе выражена конкретная социальная сущность, при этом она не абстрагирована от индивидуального, а переплетена в нем с другими жизненно важными чертами, что приводит к созданию живого человеческого характера.

В связи с сегодняшними дискуссиями о типическом и индивидуальном следует отметить, что их противопоставление во многом идет от упрощенного понимания типического как усредненного, широко распространенного. Но это понятие многозначно, его нужно рассматривать в динамике. Как в социальной жизни, так и в искусстве оно может означать и наиболее вероятное, образцовое для данной системы связей явление. История искусства свидетельствует о том, что типическими могут быть редкие яркие индивидуальности, появление кото-

рых было закономерным для определенного общества (образ Рахметова у Н. Г. Чернышевского, Базарова у И. С. Тургенева, М. Кретьена у О. де Бальзака и др.).

Процесс типизации — создание типических индивидуальностей — наиболее полно раскрывает познавательные возможности искусства. В типических характерах, т. е. человеческих образах, воссоздается вся многосторонность жизни; они дают представление об общечеловеческих духовных ценностях. По степени обоснованности таких образов судят об их жизненной достоверности, наличии в художественном произведении истинного, правдивого (а может быть, и проблематичного или неявного) знания. Таковыми являются лучшие образы мирового искусства, которые вышли за рамки своего времени и оказались действенными на все времена.

Художественный образ является средоточием духовных измерений — *идей*, способ существования которых в искусстве также имеет свои особенности: они выступают в художественной форме, становятся образным представлением, которое реализуется в структуре произведения в целом. Художник стремится донести идею всеми возможными изобразительными средствами, сообразуясь со своим воображением и разного рода эстетическими представлениями. Поэтому обычно по отношению к искусству употребляется понятие художественно-эстетической идеи. С понятийным, рациональным мышлением ее сближает то, что она связана с логической структурой и довольно четко концептуализует все произведение. Есть немало свидетельств того, что идея лежит в самой основе художественного процесса и играет мобилизующую роль на всех этапах работы. Многие художники утверждают, что сначала рождается идея произведения и с ней связан первоначальный выбор темы. Она служит исходной посылкой и в композиционном построении. Так, Гегель, Белинский подчеркивали роль «единой, общей идеи»⁵ в создании «сосредоточенного единства»⁶ смысла и художественной формы, благодаря которому произведение искусства предстает как «особый, замкнутый в самом себе мир»⁷.

С помощью различных художественных средств соединяются в единое целое и социальная наблюдательность, и проникновение в глубь человеческого характера, и осмысление эпохального явления, составляющие идейное содержание как совокупность художественных

идей. Такое положение само по себе имеет вполне определенный познавательный смысл. Особое значение оно приобретает в связи с тем, что в художественном произведении идея может выступать не только как результат познания художником реальной действительности, но и как его идеал.

Идеал, возникающий из потребности в ценностных ориентирах общественного и личного характера, требует соотношения с перспективой, причем с реальной, жизненной. Художник изыскивает такие ориентиры, исходя из общественных тенденций и возможностей, потенциально содержащихся в настоящем. Он осваивает их прежде всего эстетически, поэтому в искусстве речь идет об эстетическом идеале. Гносеологический аспект этого идеала состоит в том, что в художественном произведении он выступает как диалектическое единство истины, добра и красоты. Познавательный смысл эстетического идеала связан с углубленным миропониманием и утверждением истины. Его содержание прямо зависит от постижения диалектики жизни, ее движущих сил и противоречий, от способности видеть жизнь не только в отдельных ее проявлениях, но и в общих социальных закономерностях и, что особенно важно для искусства, от понимания тех сложных человеческих качеств, которые формируются данным историческим временем и одновременно сами формируют его.

Выработанный таким образом эстетический идеал многообразен: он может выражать прогрессивную общественную тенденцию (что сближает искусство с наукой), общечеловеческие нравственные ценности, способствовать утверждению прекрасного (романтизм) или отрицанию негативных общественных явлений (критический реализм, современная проза с сильным публицистическим элементом), а может в отличие от науки иметь и нерационализированный смысл (поиск средств достижения гармонии). Включенный в общественное бытие, он приобретает общекультурный характер, становится достоянием общества.

Искусство, разумеется, нельзя рассматривать только как производство идей и идеалов. Это живое и целостное воссоздание мира. Раскрыть познавательный смысл, заключающийся в художественности, можно, лишь обратившись к той обширной и многогранной проблематике, которая освоена искусством. В сущности она

необъятна. Еще в гегелевской эстетике искусство рассматривалось как целостное явление, художественно отображающее самые, казалось бы, недоступные области жизни и человеческого духа. На этой способности и основывается духовно-практическая функция искусства, осуществляя которую оно утверждает определенный тип мировоззрения и дает ориентацию в мире. Используя специфический арсенал художественных средств для соединения своего знания и миропонимания (т. е. философской концепции) с эмпирическим материалом, искусство создает определенную картину мира. Каждому художнику в той или иной степени присущ определенный «способ философствования», не говоря уже о существовании так называемых философских жанров. Философское содержание эпох изменяется, по-разному преломляясь в различных формах общественного сознания, что нашло яркое воплощение в синкретичной по характеру литературе Просвещения, вобравшей и научное знание, в интеллектуальной прозе XIX—XX вв. как средоточии взаимодействия философской и художественной мысли (романтизм и философия Ф. В. Шеллинга, творчество И.-В. Гёте, Л. Толстого, Т. Манна, М. Горького), в философичной поэзии (Ф. Гёльдерлин, Р. М. Рильке, А. Блок), а также в других видах искусства.

Способность к масштабным философским обобщениям, идейно-художественная принципиальность литературы и искусства делают их активными участниками формирования интеллектуального и философского уровня общества не в последнюю очередь и потому, что философское осмысление исторического опыта передается как личностное посредством художественного образа (иногда это образ автора). Такая связь в свою очередь активизирует восприятие, объект-субъектные отношения: рефлектирующая личность не просто познает правду истории, но ищет и переживает ее в попытках найти ответ на вопрос, каким образом сложилось существующее положение вещей. Может быть, поэтому во все времена реальная история была более привлекательной, чем гипотезы о будущем.

В марксистской гносеологии искусства возникновение и развитие искусства, его сущность и действительность рассматриваются во взаимосвязи с функционированием целостной социальной системы, детерминированной экономическим базисом⁸. Это относится прежде всего

к эпическим полотнам, отображающим процесс изменения общественного бытия в целом. Наивысшие художественные достижения в этом плане связаны с *реалистическим методом*, который оказался наиболее близким к научным методам познания. Аналитический подход к действительности, сочетающийся с глубоким обобщением; опора на развивающиеся общественные науки, особенно на политэкономия; усвоение естественнонаучных представлений о мире — все это значительно расширяло горизонты художественного мышления и формировало его методологию как исследовательскую.

Широкий охват действительности, глубокое проникновение как в социальные коллизии, так и в психологию человека и, главное, *критицизм*, характерный для этого метода, связывали его с важнейшей функцией философского знания — критическим исследованием социальных структур и мировоззренческих проблем. Не случайно критический реализм XIX в. — творчество О. де Бальзака, блестящей школы английских реалистов — по глубине социального анализа был поставлен классиками марксизма выше современного ему научного знания⁹. С таких же позиций оценивал В. И. Ленин творчество Л. Н. Толстого.

Глубина анализа понимается здесь диалектически, как «такое отражение действительности, которое охватывает жизненные противоречия во всех основных аспектах, в их динамике. Чем сильнее сведенное воедино напряжение между этими конкретными противоречиями, тем глубже произведение искусства»; лучшие образы мирового искусства — у Данте и Шекспира, Рембрандта и Бетховена и др. — подтверждают эту закономерность¹⁰. Реалистическое искусство XIX—XX вв. тяготело к многоплановым исследованиям, большим эпическим полотнам — картинам жизни, социальным романам-хроникам и т. п. Идеино-философский уровень этих художественных форм позволяет рассматривать их как отражение мировоззрения эпохи и диалектики общественного развития. Важнейшие виды общественных противоречий, в том числе антагонистические противоречия, классовая борьба и революции, выступают в них как отражение противоречий буржуазной эпохи, что свидетельствует об их объективном истинном содержании.

В художественном освоении действительности проблемы общего и отдельного, противоречий имеют

свои особенности; всеобщее проявляется как реальное только через особенное и единичное; эпоха — в лицах, историческое — прежде всего *через человека*. Это положение отразилось и в эстетических теориях. Еще в античных учениях утверждалось, что главным предметом искусства является человек. Раскрывая смысл теории подражания Аристотеля, Н. Г. Чернышевский, в частности, отмечал, что «и Платон и Аристотель считают истинным содержанием искусства, и в особенности поэзии, вовсе не природу, а *человеческую жизнь*»¹¹.

Тема человека в искусстве раскрывается прежде всего в *личностном* аспекте. Начало этому было положено еще романтизмом, раскрывшим посредством иронии, гротеска, контраста драматизм несоответствия между богатством внутренней жизни человека, его духовными притязаниями и убожеством социальной действительности того времени. Романтизм как «посредник между мечтой и действительностью» поставил вопросы о нравственной свободе и социальной справедливости, возвысил роль духовного и душевного начал в человеческой жизни. Эти важнейшие для искусства вопросы находят неоднозначные художественные решения, достоверность которых зависит прежде всего от глубины и многосторонности исследования основных этапов человеческой жизни, но в не меньшей степени и от богатства воображения художника, тесно связанного с его эмоциональным опытом и памятью. Так, особенно большую роль оно играет в воспроизведении периода формирования личности, который многие писатели (как и психологи) считают важнейшим и достойным самого пристального внимания. Не случайно в число лучших страниц мировой художественной культуры входят многочисленные истории «детства» и «воспитания чувств», возвращение «в те дни, когда... были новы все впечатления бытия»¹². «Семейные романы», жизни замечательных людей и «простые истории» ценны раскрытием далеко не простого становления личности, определяющих черт ее развития. Предметом художественного исследования становятся здесь не только поведенческие факторы и психологическая изменчивость характеров (которые можно описать и посредством иных познавательных средств), но и такие сложные процессы духовного порядка, как самопознание и нравственное совершенствование личности, ее отношение к истине, свободе, справедливости.

Искусство представляет человека сложным и противоречивым. Дух противоречия, писал по этому поводу Э. По, философы оставляют без внимания. Но он принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческого — к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют саму природу человека¹³. Художник раскрывает диалектику человеческих характеров, когда «зло — в добре, добро — во зле» (У. Шекспир), и драматизм, присущий человеческой жизни. Искусство обладает уникальной способностью передавать интенсивность и одухотворенность чувственных переживаний, сокровенные душевные движения, поэтическое вдохновение в самом чистом его выражении. Казалось бы, «все это старо бесконечно» (Г. Гейне), но мир человеческих чувств всегда нов и неповторим. Не случайно лирика с присущей ей концентрированностью переживаний и ощущений обладает большой силой художественного воздействия. В ней мысль и форма — слово, ритм, звучание — слиты воедино. Благодаря точности и образности выражения даже нравоучительные сентенции в стихотворной форме более афористичны и легче воспринимаются.

Морализирование не является целью искусства, однако нередко художественный образ несет и педагогическую идею, жизненную этику, оказывающую воспитательное воздействие. Художник выполняет гуманитарную задачу, «исправляет» мир не с помощью уроков морали, а совсем по-иному — тем, что закрепляет в слове, в образе, в мысли свою жизнь, а через нее и жизнь вообще, осмысляет ее, придает ей форму и помогает духу, то есть тому, что Гёте назвал «жизнью жизни», постигнуть сущность явлений»¹⁴. Педагогическая идея служит самопознанию, самоосуществлению и вместе с тем является переходом, «мостом» от личного, внутреннего мира к социальному.

Определяя качественные особенности социального бытия как человекообразующего фактора, художник пытается ответить на вопрос, насколько общественные связи соответствуют жизни, достойной человека. В этом случае он предстает как рефлектирующая личность, исследующая жизнь человека (нередко это также пристальный самоанализ) в условиях его столкновения с «естественным миропорядком». Весьма характерно, в частности для литературы, такое построение, когда герой, «утрачивая иллюзии» в этом столкновении, про-

ходит «тяжкий путь познания», прежде чем в итоге (и то далеко не всегда) обретает сознание правды, и ему становится «ясен конечный вывод мудрости земной» (И.-В. Гёте). Такой подход помогает понять диалектику человеческих отношений, характер зависимости человека от общественной среды, обосновать практическую невозможность прямолинейного, непрерывного по восходящей процесса его развития и его «право» на заблуждения и ошибки.

Единство общего и индивидуального в человеке — это единство противоположностей, которое в искусстве выступает наглядно и раскрывается, как правило, на примере сложных характеров в условиях противоречивых ситуаций. В этом большое преимущество искусства перед другими подходами к изучению человека — социологическим, психологическим и др. Художественный образ вбирает живой, часто автобиографический опыт художника, несет отпечаток его индивидуальных пристрастий, самовыражения; он глубоко прочувствован. Иными словами, он имеет субъективную окраску, что создает возможность раскрытия человеческого характера через сочетание объективных и субъективных моментов и тем самым более глубокого его постижения.

Нравственные искания, мучительные парадоксы и откровения, высказанные таким великим писателем, как Л. Толстой, оказались неоценимыми для раскрытия диалектики общего и индивидуального, «диалектики души» самого человека. Тончайшее искусство психологического анализа сложных образов людей с обостренным чувством справедливости позволило Ф. Достоевскому осветить и темную сторону жизни, на которую не падают лучи солнца, ту истину, которой, по словам Т. Манна, нельзя пренебрегать, если дорога вся истина о человеке¹⁵. Связанные с конкретными человеческими судьбами, эти образы несут идеи о смысле жизни и социальной справедливости, которые обладают не меньшей, а подчас и большей достоверностью, чем иные теоретические положения.

У А. Чехова маленький рассказ охватывает всю полноту жизни, а грустная правда выступает «в веселом обличье». Специфические для искусства приемы гротеска, сатиры, иронии усиливают выразительность образа, а подтекст несет идейную нагрузку, выражает авторское отношение к отображаемому и тем самым расширяет сферу воздействия художественного произ-

ведения. Такое искусство исследует универсальные ситуации, выявляет общечеловеческое и раскрывает его как единство и борьбу противоположных начал, как выстраданную правду. Вот почему именно от него ожидают ответа на вечные вопросы жизни.

Многие выдающиеся художники слова высоко ставили «познание гуманитарное, углубление в человеческую жизнь», считая, что оно «носит более зрелый, более взрослый характер», чем сравнительно молодое естественнонаучное знание, и видели, по словам Гёте, «истинное познание человечества — в познании человека»; при этом заметим, что отдаваемое человеку предпочтение объясняется тем, что

В вечном к истине (курсив наш. — И. Ф.) стремленье
Он прекрасен и велик¹⁶.

Поиски истины и способов ее выражения пронизывают всю историю искусства, делают его динамичным, неожиданным, поражающим вечной новизной. Художественная мысль, образ, слово существенно расширяют познание человека и мира, однако вопрос о правомерности употребления понятия истинности по отношению к искусству остается дискуссионным. Понятие истины редко используется при анализе собственно художественного творчества. В области искусства наиболее употребительны такие понятия, как правда факта, правда эпохи, правдивость отображения действительности, наконец, художественная правда. Они имеют разное смысловое содержание. Однако в данном контексте важно то, что они в принципе не тождественны понятию истинности, но определенным образом с ним соотносятся.

Художественная действительность концептуальна, и положенный в ее основу фактический материал прежде всего не должен противоречить авторской концепции. Задача художника состоит в том, чтобы подать его не как тенденциозно подобранный, а как художественно оправданный (необходимый, подчас единственно возможный) для осуществления поставленной цели. Произведение искусства прежде всего должно служить созданию художественной правды, т. е. выявлению действия определенных характеров в определенных обстоятельствах, раскрытию конфликта, закономерностей жизни и т. д. С этой точки зрения, как принято считать, в каждом художественном произведении заключена «своя

художественная правда». Каковы же критерии ее оценки?

До недавнего времени в нашей критике нередко утверждалось, что задачей искусства является отражение «правды жизни» и воспроизведение ее в художественных образах. Но такой правды в готовом виде как чего-то объективного не существует. О несостоятельности данного подхода, который сейчас преодолевается, свидетельствует целый ряд нереалистических направлений в искусстве, которые не ставят подобной задачи, но утверждают свою художественную правду — романтизм, экспрессионизм, символизм и др. (к примеру, образ Дон Кихота называют символической вершиной человечности).

Наиболее приемлемым, на наш взгляд, может быть определение художественной правды, связанное с идейным содержанием. Художественное творчество — это акт воображения, и оно не обходится без вымысла, фантазии, преувеличения, использования «странных» характеров, нестандартных ситуаций и т. д., которые могут противоречить действительности и быть попросту нереальными. Но поскольку для художника важно не «зеркально-мертвенно» запечатлеть реальность, а осмыслить и правдиво отобразить ее в соответствии со своими убеждениями, верой, идеями, постольку он подчиняет художественный вымысел поставленной задаче, и поэтому, насколько ему это удастся, судят, погрешил он против художественной правды или нет. Мера адекватности предложенной концепции объективным связям и прогрессивной общественной практике, а также соответствия ее высоким нравственным и эстетическим идеалам и может служить критерием истинности в искусстве, позволяющим отделить подлинное знание от субъективного, ошибочного истолкования.

Определить эту меру помогают и приложимые не только к искусству, но именно для него самоценные критерии *красоты, гармонии и мерности* — представление о прекрасном, соотносящееся с истиной. Являясь одним из способов художественного обобщения, оно имеет разные, исторически конкретные формы соотношения с жизнью, но неизменно выражает, по словам Гегеля, всеобщую и абсолютную потребность человека в самоосуществлении, из которой по сути и вырастает искусство. Познание выступает здесь как стимул к движению, развитию духовности человека, постижению

красоты и гуманности истинного бытия; содержит догадки о гармоничной сущности мира в целом.

Этим целям отвечает специфическая для искусства способность выразить «все то, чего не скажешь словом» (А. Блок), воплотить богатство мира в *красках, звуках и пластике*. Посредством особых художественных средств, ассоциативности и метафоричности мышления создается *условный предметно-событийный мир*, «вторая реальность» со своей организацией пространства и времени, где одной фактической достоверности недостаточно: «говорят» лишь те вещи, в которые вложены мысли и душа художника, его способность «мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе» (Н. Гоголь), где каждый из предметов отражает конкретное и в то же время становится *символом-обобщением*, приобретает некое философское *иносказание*. В живописи портрет становится символом эпохи; через деталь передается свойство предмета («живые вещи» Клоделя, «голландцев» П. Сезанна).

Уходящий корнями в трудовые процессы, тесно связанный с фольклором и музыкой танец выступает как поэтическое обобщение народной жизни. Ему присуща особая грация, понимаемая как «выражение в движениях и линиях нравственной красоты, которая непосредственно не проявляется»¹⁷. Феномен сценического искусства является ярким примером такой общепознавательной ситуации, когда новое в познании связано с воображением, фантазией, импровизацией и оригинальной интерпретацией. Так, в искусстве балета, сочетающем театральное искусство, музыку, пантомиму и др., яркий хореографический вымысел, своеобразный язык и поэтическая символика позволяют не только создать пластический эквивалент музыке и литературе, но и предложить нетрадиционное хореографическое решение самых различных тем (хореографически «пересозданы» образы У. Шекспира, А. С. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского и др.).

Новая художественная условность по-новому раскрывает авторскую идею. А поскольку она не словесна, постольку с помощью воображения изыскиваются возможности многопланового *метафорического* представления, которое расширило бы поле смысловых ассоциаций. Тем самым трансформирующая сценография, отличающаяся новизной выразительных средств, может служить своеобразным способом развития уже имеющегося

знания, выявляет новую содержательную определенность не только музыкально-пластических образов, но и тех жизненных явлений, которые в них воплощены.

Все эти особенности искусства дают основание говорить о возможности *выражения истины в чувственной или чувственно-образной форме*, но предполагающей органическую включенность в нее многих рациональных актов, неотделимых от процесса художественного творчества. В этом состоит отличие реалистического образа от модернистского понимания *предмета искусства как символа или знака* без опоры на действительность, который приобретает характер либо свободной фантазии в виде произвольно составленной композиции, а часто и беспредметной конструкции, либо закодированного изображения, интерпретация которого превращается в «расколдовывание» субъективных намерений художника. Подобрать ключ к такому произведению позволяет подчас только его название. Это относится даже к самым знаменитым созданиям нереалистического искусства («Герника» П. Пикассо, некоторые произведения на религиозные темы, серия фантасмагорических офортов «Капричос» Ф. Гойи и др.).

Познавательный смысл нереалистического искусства не может быть сформулирован однозначно: безобразность неизбежно сопряжена с произвольностью истолкования. Это не означает, что такое искусство нужно игнорировать. Как весьма характерное социальное явление XX в., оно дает богатый материал для самых различных исследований, в том числе языка современного искусства, выработанного нередко и для того, чтобы заявить о негативных социальных явлениях. К примеру, нереалистическая условность, «потусторонний взгляд» Ф. Кафки дали поразительный эффект в передаче чувства страха человека перед невидимой силой «государственности». Динамику отношения искусства к жизни выразил русский авангардизм (В. Хлебников, П. Филонов, К. Малевич, отчасти В. Маяковский и др.), построивший оригинальные субъект-объектные модели: новые соотношения слова и предмета, художественного образа и действительности. Многие нереалистические направления искусства были социально активны, имели своей целью разрушение стереотипов мышления.

В рамках реалистического произведения условно-метафорические средства служат углубленному исследованию сложных общественных процессов современности

(Г. Маркес, а также советские писатели Ч. Айтматов, В. Астафьев, А. Платонов, В. Распутин и др.). Все зависит от социальной позиции, нравственного выбора, отношения к общечеловеческим ценностям. Иначе говоря, уровень постижения той или иной эпохи, которая является предметом искусства, непосредственно связан с мировоззренческим подходом к осмыслению действительности.

Разумеется, нет необходимости подводить под познавательные категории те виды искусства, которые не претендуют на отражение, познание и образность, строятся по иным принципам, на основе воображения, импровизации, а подчас только на интуиции и творческих актах на уровне подсознания. Однако, по мнению специалистов, общезначимый (хотя и не всегда понятный) смысл есть и в них: это попытки решить неразрешимые вопросы, отталкивание от копирования действительности, от спекуляций на духовных ценностях. Значит, такую точку зрения следует учитывать, исходя из того, что даже в лучших своих образцах такое искусство представляет собой прежде всего эстетическую реальность, и поэтому целесообразнее рассматривать его не в гносеологических, а в эстетических категориях.

Процесс обновления и изменения происходит в искусстве непрерывно. Движение времени, историческое развитие общества вызывают необходимость в новом видении мира, новых формах правдивого изображения жизни, соответствующих общественному опыту эпохи. Искусство является не только одной из форм связи времен. Оно осуществляет *опережающее исследование*, обогащает сознание открытием нового. Современные идеи и их движение улавливаются искусством из общекультурного контекста, но, выступая в превращенной форме, они могут приобретать содержание, которого в объективной действительности не существует. Это связано со способностью творческого субъекта к *предвидению*, социальному прогнозированию, к созданию вероятностных представлений. В искусстве объектом предвидения оказываются человеческие потребности, интересы, взаимоотношения, средства их гуманизации и гармонизации, которые раскрываются также через художественный образ — образ-предвосхищение, катализатор общественных процессов. Такой ракурс художественного видения гносеологически близок прогностической функции социальной теории.

В наше время очевидна связь искусства с идеологией и политикой, поэтому вполне актуальны сейчас дискуссии о политизации искусства, в частности о правомерности утверждения о том, что «писатель, который сегодня пасует в делах человеческих убеждений, перед политически поставленным вопросом о человеке... не создаст ничего жизнеспособного...»¹⁸. Такую постановку вопроса можно считать развитием одной из ярких традиций художественного опыта XX в. — стремления перестроить мир, способствовать утверждению нового миропонимания и гармонии человеческих отношений.

Характерной чертой современного искусства является широкое осмысление злободневных кризисных ситуаций, международных политических коллизий, глобальных экологических и других проблем, обращение к раскрытию общечеловеческих ценностей. Это вполне соответствует исторической динамике времени и насущным общественным потребностям, на которые отвечает искусство, активно взаимодействуя с другими способами осмысления мира, в частности с научным познанием. Раскрытие сущности противоречий и открытие нового как проявление диалектики развития природы и общества — отличительные черты научного и художественного опыта XX века — века социальных, культурных и научно-технических революций.

В заключение отметим, что новое в искусстве — не всегда новое в жизни; не всегда оно и познание, а тем более знание, но это всегда по-новому увиденная жизнь. В искусстве происходит подчас интуитивное художественное освоение если не самых новых явлений, то их предпосылок, некоторых зарождающихся глубинных движений, представляющих общественный интерес, что способствует познанию жизни, открывает перспективы. Поэтому художественное осмысление действительности самоценно и ничем не заменимо.

Исторический процесс развития знания, идущий в направлении ассимиляции результатов в культуре, делает необходимым освоение богатейшего опыта искусства. Отражая общественное самосознание, оно в то же время формирует его.

Глава 13. Единство и многообразие типов знания

Мир знания богат и разнообразен. Однако когда говорят или пишут о знании, то, как правило, подразумевают под ним знание научное. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, поскольку наука в наши дни занимает особое место в жизни людей. Она превращается в своеобразный эпицентр культуры, оказывает всевозрастающее влияние на восприятие человеком окружающего мира.

Научное знание являлось одним из основных объектов анализа в классических гносеологических концепциях XVII—XVIII вв. Наряду с рефлексией над ним эти концепции выполняли важную культурную и идеологическую функцию по оправданию и утверждению преимуществ научно-теоретического знания перед различными видами донаучного и вненаучного знания, доминировавшими в ту эпоху. Лишь к концу XVIII в. наука нового типа, идущая от Галилея и Ньютона, окончательно завоевала прочное место в европейской культуре и перестала нуждаться в постоянной идейной защите. Одновременно это привело к возникновению первых (просветительских) форм сциентизма, в частности к невысокой оценке до- и вненаучных видов познания, к представлению о том, что они должны вытесняться прогрессивным развитием науки.

В наше время односторонне-сциентистские установки уже отходят в прошлое. Мало кто считает, что наука может исчерпать и заменить собой все духовное обеспечение человеческой жизнедеятельности. Не говоря уже о художественном и нравственно-ценностном освоении мира, познавательное отношение к действительности в целом шире и разнообразнее научного познания. Более того, последнее не является самодостаточным, по источникам и ориентирам оно связано с бытием человека, с целостностью духовной культуры.

Это хорошо видно в исторической перспективе. Научно-теоретическое мышление — довольно поздний продукт истории и культуры. Существовали высокораз-

витые цивилизации, которым эта форма мысли была неизвестна, да и сейчас существуют общества, где она не играет сколько-нибудь значительной роли. Однако это совсем не означает, что в донаучные эпохи у человека не было никакого знания о мире, о себе и других людях. Напротив, как нередко отмечают исследователи древнего общества, объяснение явлений и процессов окружающего мира не вызывало у древних людей особых затруднений. Среди донаучных представлений о природе, животных, о способах лечения и т. п. есть немало таких, которые заслуживают самого пристального внимания. Сохранившиеся памятники культуры, найденные археологами орудия труда свидетельствуют о немалых технических навыках и знаниях людей в те времена, когда о науке не было и речи.

Генезису научно-теоретического знания предшествовала огромная по длительности эпоха постепенного накопления опыта, наблюдений, производственных навыков, общих представлений о мире, получаемых в процессе трудовой деятельности. Отличительной чертой данного этапа было то, что и по содержанию, и по форме накапливаемое знание имело неспециализированный характер. «Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»¹. Наиболее значимые элементы этого знания освящались авторитетом, превращались в хранимый и передаваемый из поколения в поколение запас рецептов деятельности.

Генезис науки и других форм специализированной духовной деятельности существенно преобразовал картину человеческого знания и способы его производства. Вместе с тем наука не может вытеснить или заменить собой все те формы «живого знания», которые порождаются и существуют не потому, что человек целенаправленно познает мир, а потому, что он живет и активно действует в нем. Помимо этого научное знание не замещает и не вытесняет до конца обширную сферу вненаучного знания, включающую в себя многообразную, с трудом поддающуюся какой-либо типологизации мозаику специализированных видов знания, отличных от науки. Сопровождая науку на всем протяжении ее развития, эти формы знания вступали с ней в различные, порой весьма неожиданные для сциентистски ориентированного сознания взаимоотношения.

1. О культурно-историческом подходе к изучению различных типов знания

При столкновении с многообразием знания сразу возникают два вопроса. Можно ли найти какое-либо основание или существенную черту, придающую ему определенное единство? Каковы наиболее подходящие средства для сравнения и анализа различных типов знания и их взаимоотношений?

Оба вопроса связаны друг с другом, и на них можно дать в сущности один ответ. По-видимому, трудно найти иное основание, объединяющее донаучный, вненаучный и научный типы знания, чем то, что все они — проявления общей познавательной культуры человека. И соответственно их понимание, описание, сравнение возможны в рамках культурно-исторического подхода в гносеологии, изучающего различные типы знания как социально-культурные подсистемы, включенные в общую систему человеческой культуры.

Может показаться, что тезис о человеческом характере знания является банальным и мало что дает для его понимания. Мы обычно очень легко, не задумываясь, добавляем к слову «знание» эпитет «человеческое» (а какое же иначе?). Между тем эта привычная связка скрывает целый ряд непростых и интересных проблем. Отметим прежде всего, что знание имеет как бы два «облика». С одной стороны, оно есть отражение объективного мира — знание о вещах и явлениях, не зависящих от человека, от его познавательных способностей, мировоззрения, культуры и т. п. (и в знании редко встречаются ссылки на подобные факторы). Но с другой стороны, познание есть деятельность, протекающая в социальной среде, в мире человека, организуемая, как и всякая человеческая деятельность, по социально-культурным законам, соразмерная с познавательными способностями человека, с возможностями его действия в мире, направляемая его целями и идеалами. И знание как результат этой деятельности есть продукт столь же социальный, как и продукт любой другой общественной деятельности человека. Эта сторона знания остается еще мало исследованной в гносеологическом плане. Авторы большинства работ, посвященных анализу знания, рассматривают его структуру и развитие безотносительно к человеку и специфически человеческим условиям его производства. Такая абстракция порой оправдана

и необходима, но полный образ знания может быть получен лишь в единстве указанных сторон.

В гносеологии марксизма заложены глубокие основы целостного и последовательного учения о человеческой природе познания. Их формирование тесно связано с критической оценкой предшествующей гносеологической традиции, прежде всего традиции немецкой классической философии. Кант, Фихте, Гегель, Фейербах создали весьма содержательные концепции соотношения культурно-исторических и логико-гносеологических аспектов познания, достоинства и недостатки которых были учтены в марксистской теории. Отметим некоторые черты этих концепций.

Задачу гносеологии или критики разума Кант видел в раскрытии трансцендентальных условий познания, структура которых несводима к познавательным навыкам и способностям эмпирического субъекта, являющимся предметом изучения «антропологии». При этом Кант был неплохо знаком с той областью знания, которую ныне называют сравнительной культурологией и которая уже в те времена привлекала внимание европейцев (благодаря многочисленным путешествиям и географическим открытиям) к значительным различиям в мировоззрении, культуре, морали, мыслительных навыках разных народов. Естественно, возникал (в том числе и перед Кантом) вопрос о многообразии, изменчивости форм человеческого опыта и знания. Однако Кант выводил данный вопрос за сферу гносеологии, полагая, что антропологическое изучение и обобщение этого многообразия не могут быть тем средством, с помощью которого выявляется единая, инвариантная структура рационального опыта, в существовании которой он был убежден.

Эта единая трансцендентальная структура раскрывается иным путем — через критическую рефлексия над общезначимыми результатами рационального мышления, воплощенными в системах логики, математики и современного Канту ньютоновского естествознания. Таким образом, отделяя собственно гносеологию от культурно-исторического анализа знания, Кант жестко противопоставлял научное знание всем другим формам и типам знания — мифу, религии, языку, истории и т. п. Более того, последние для него не являлись знанием в собственном смысле слова, а даваемая ими картина мира не имела общезначимого и объективного значения.

В отличие от Канта, использовавшего гносеологический принцип трансцендентализма для разграничения научного, донаучного и вненаучного знания, Гегель применил его для раскрытия внутренней связи и единства исторического процесса универсализации человеческого сознания. При этом он трактовал сферу знания гораздо шире, чем его предшественники, включая Канта. По существу «Феноменология духа» Гегеля — это замечательный пример культурно-исторического изучения знания, где различные типы сознания и знания (обыденное, мифологическое, религиозное, эстетическое, научное, философское) предстают как формы единой, органически развивающейся духовной культуры. Не абсолютизируя противоположности истинного и ложного, научного и вненаучного, эмпирико-психологического и гносеологического уровней анализа знания и проводя изучение познавательной деятельности в контексте истории европейского общества и культуры, Гегель открывал путь к созданию программ культурно-исторического исследования знания, актуальность которых в полной мере стала осознаваться в наши дни.

Но и гегелевский подход содержал ряд принципиальных недостатков. Наделяя всеобщие формы сознания и знания статусом особой сущности — объективного духа, Гегель видел в последнем подлинный субъект познания, а на долю «конечных» существ оставалось лишь выполнение велений этого субъекта. Подчеркивая данное обстоятельство, К. Маркс писал: «...Гегель не рассматривает всеобщее как действительную сущность действительно конечного, т. е. существующего, определенного; другими словами: действительное существо он не считает *подлинным субъектом* бесконечного»². Таким образом, учение Гегеля может быть названо диалектикой человеческих типов знания лишь условно, поскольку по своей сути оно является гносеологией и онтологией надчеловеческого абсолютного духа. Между тем действительное взаимодействие, переходы и развитие типов знания происходят, конечно, не в мистической сфере духа, а в мире человека, в сфере реальных проявлений познания, общения и практики конкретных, «конечных» субъектов.

Изучая эту реально раскрывающуюся в истории картину человеческого познания, культурно-исторический анализ знания выполняет пропедевтические функции в теории познания, являясь ее своего рода описательным

уровнем. Конечно, описательность здесь несколько условный термин, указывающий на то, что подобный анализ должен проводиться менее спекулятивно, чем в гегелевские времена. Нынешняя «феноменология духа» (пусть даже с известной потерей систематичности) может создаваться прежде всего на основе гносеологического осмысления данных специальных наук о познании и культуре: истории науки, социологии знания, когнитивной психологии, культурологии*.

Пропедевтическое значение описания различных типов знания состоит в том, что оно дает материал и основу для выполнения кардинальной задачи гносеологии — анализа условий, норм, критериев истинности и обоснованности знания. Обсуждая этот вопрос в «Философских тетрадах», В. И. Ленин отмечал, что необходимо «не только описание *форм* мышления и не только *естественноисторическое описание явлений* мышления... но и *соответствие с истинной*... *Не психология, не феноменология духа, а логика = вопрос об истине*»³. Однако выделение логического аспекта в качестве основного не означает, что им исчерпывается все содержание учения о познании. Важно и описание явлений и форм знания. Как целостное учение теория познания должна включать также историческую культурологию знания, т. е. историю философии, отдельных наук, языка и т. п.⁴ В сущности и проблема истины не сводится в марксизме лишь к узкологическому анализу готового знания и способам его эмпирической проверки. Она с необходимостью включает выявление реального исторического процесса развития и универсализации форм человеческого знания, — процесса, позволяющего человеку преодолевать первоначальный антропо- и социоморфный характер его познавательного опыта и вычленять объективные характеристики действительности.

Каковы же принципы и средства культурно-исторического подхода к изучению форм человеческого знания? Фундаментальное положение марксизма о социально-культурной природе и детерминации различных форм сознания и знания, уже рассмотренное в предшествующих главах, является методологической основой типологизации человеческого знания. Многообразие

* Подробнее о роли этих дисциплин для гносеологии см. в главе 1 настоящего тома.

типов знания — это не столько следствие различных, данных от природы познавательных способностей человека, сколько результат многообразия форм жизнедеятельности людей и способов их отношения к миру. При этом важно подчеркнуть, что всякое общественно значимое знание имеет социальный характер, является продуктом коллективной деятельности людей, использующих исторически выработанные способы, нормы и эталоны производства знания.

Анализ знания как социально-культурного феномена предполагает также учет таких видов опыта и знания (например, практического знания, идеологии), для которых познавательная функция не является центральной. Характерная для классической гносеологии оценка этих типов знания преимущественно по их познавательной значимости должна существенно видоизмениться и дополниться их пониманием «изнутри», в их собственной, не сводимой к чистому познанию функции. Это предполагает, в частности, в качестве необходимой ступени возможно более тщательное гносеологическое описание различных типов человеческого знания и опыта. Как ни парадоксально, но наиболее привычные и часто используемые нами донаучные и вненаучные виды знания поняты поверхностно и описаны куда более абстрактно, чем высокоспециализированные проявления научного знания.

Наряду с общими требованиями можно назвать ряд конкретных средств анализа социально-культурного континуума человеческого знания. Так, очень плодотворным при изучении знания в системе культуры является понятие познавательной, или интеллектуальной, традиции. Старое представление о культуре как прежде всего традиции неожиданно получило сильную поддержку в науковедческих исследованиях последних лет. Традиция рассматривается многими учеными⁵ как основная единица описания познавательной деятельности, а исследование истории возникновения и развития, упадка и диалога научных и вненаучных интеллектуальных традиций — как весьма перспективный путь к построению целостной картины человеческого знания.

Описание и изучение научных и вненаучных интеллектуальных традиций, а также донаучных форм знания позволяет сделать важное заключение: человеческое познание может иметь широкий спектр источников

знания и ориентироваться на многообразие исторически конкретных социально-культурных образов знания. Это обстоятельство игнорировалось в классической гносеологии, признававшей, как правило, в качестве достоверных источников знания лишь чувственный опыт или идеи разума, а в качестве образов знания — лишь образы математики или какой-либо эмпирической науки. Между тем не только вненаучное, но и общепризнанное научное знание никогда не опирается на единственный источник знания, но использует целый спектр таковых.

Приведем такой пример. Когда Кеплер пытался найти законы, объясняющие видимое движение планет, он использовал в качестве источника эмпирические наблюдения Тихо Браге, но не ограничивался только ими. «...Когда его физика оказывается бессильной, на помощь ей приходит метафизика; когда механическая модель оказывается неспособной служить инструментом объяснения, выручает математическая модель, а теологическая аксиома в свою очередь берется в качестве связующего звена. Классическую картину мира, которая была расколота на две области: небесную и земную,— Кеплер пытается объединить при помощи представления об универсальной физической силе; но, когда эта проблема не поддается физическому анализу, он с готовностью возвращается к конструкциям объединяющего образа, а именно Солнца, находящегося в центре мира и управляющего им, и объединяющего принципа — всеобъемлющей математической гармонии»⁶.

Ныне подобный стиль научного мышления, соединяющий механико-математические модели, мистику неоплатонизма и т. п., кажется неприемлемым, однако он признавался вполне допустимым в рамках социально-культурного образа знания, существовавшего в начале XVII в. История познания показывает, что наблюдение и эксперимент, априорные идеи разума, традиционные представления и метафизические принципы, чувство гармонии и красоты, логический вывод и интеллектуальная интуиция, суждения здравого смысла и метафоры, переносящие знание из одной традиции в другую,— эти и другие источники знания в различных комбинациях в то или иное время, в тех или иных познавательных традициях считались вполне приемлемыми и значимыми, а получаемое с их помощью знание рассматривалось как обоснованное и достоверное.

Разумеется, всегда существовало определенное предпочтение каких-либо источников, то есть одни считались более достоверными, другие вообще не принимались во внимание. Критерии подобных предпочтений служат одним из важнейших элементов социально-культурных образов знания, принимаемых в определенную эпоху как в научных традициях, так и в различных вне- и околонучных интеллектуальных сообществах.

Понятие «образ знания», включающее помимо этого эталоны теоретических построений, нормы и идеалы исследования, типичные интерпретации, вписывающие знание в общую картину мира эпохи, разрабатывается рядом исследователей знания в его отношении к культуре и обществу⁷. Методологическая значимость данного понятия для нашего исследования состоит в фиксации того важного обстоятельства, что разные виды научного знания — математическое и гуманитарное, естественнонаучное и техническое, — а также отдельные дисциплины и исследовательские традиции внутри их предполагают существенно различающиеся образы знания. Достаточно определенные и специфические образы знания характерны не только для науки, но и для некоторых вненаучных форм производства знания. Помимо научных существуют и иные интеллектуальные сообщества, нормы и стандарты деятельности которых организуются вокруг познавательных целей — производства и применения знания. Следует согласиться с доводом социологов науки Б. Хольцера и Дж. Маркса о том, что «научное сообщество не является единственным эпистемическим * сообществом. Любой специализированный тип знания, развитие которого требует установления автономного социального пространства, будет стремиться к структуре эпистемического сообщества»⁸.

2. Донаучные и вненаучные типы знания и их отношение к науке

Исходя из высказанных методологических соображений попытаемся дать общее представление о различных типах и формах человеческого знания и их взаимосвязях. Общее потому, что конкретные и развернутые гносеологические образы донаучного и вненаучного зна-

ния, о которых здесь по преимуществу пойдет речь, еще недостаточно разработаны в нашей литературе.

Обыденный опыт и обыденное знание. Любая социально-культурная система жизнедеятельности людей необходимо включает в себя в качестве важнейшего функционального элемента обыденное (практическое) сознание. Поэтому ключ к пониманию этого сознания лежит в его социальном анализе⁹. Вместе с тем обыденное сознание является также познавательной системой, поскольку включает в себя знание о природе, истории, обществе, окружающих людях. Каковы же гносеологические особенности этого типа знания?

Пожалуй, никакой другой вид опыта и знания не наделался столькими отрицательными характеристиками на протяжении более чем двухтысячелетней истории гносеологии, как повседневный опыт людей. Относимый, как правило, к сфере «мнения» обыденный, чувственно-практический опыт описывался философами, за редкими исключениями, в самых уничижительных выражениях и объявлялся недостойным быть предметом философского анализа. Своеобразного апогея эта позиция достигла в гегелевской феноменологии знания, где утверждалось, что если на первый взгляд повседневный, чувственно-конкретный опыт предстает как «изобилие реальности», то по сути он есть «бессвязное скопление», «сфера дискретных единичностей, чуждых всеобщему», он «иррационален», «эфемерность» есть закон этого мира и т. п. Можно сказать, что Гегель отрицал не только способ осознания и объединения вещей, свойственный этому виду опыта, но и саму реальность, как она предстает в нем.

Как отмечал еще Фейербах, в понимании Гегеля обыденный, чувственно-практический опыт *«есть нечто вульгарное, самоочевидное, бессмысленное, само собою понятное»*¹⁰. А между тем, продолжал Фейербах, этот опыт для человека — весьма существенная среда, подобная воздуху, неизбежная, навязчивая и самая близкая к нам. Но, как часто бывает, «ближайшее для человека оказывается для него наиболее отдаленным. Именно потому, что ближайшее ему не кажется таинственным... оно для него *никогда* предметом не оказывается»¹¹. И философия, которая претендует на подлинно критическое значение, должна, по мнению Фейербаха, реабилитировать эту форму опыта: «Философ должен включить в *состав самой философии* ту сторону челове-

ческого существа, которая *не* философствует, которая, скорее, стоит *в оппозиции* к философии, к абстрактному мышлению...»¹²

Аналогия с воздухом как со всепроникающей и одновременно незаметной для нас средой, как с постоянно наличным условием любой специализированной деятельности и мышления, на наш взгляд, точнее отражает особенности повседневного опыта человека, чем приведенные выше гегелевские характеристики. Но дело, разумеется, не в подборе более точных образов и метафор, а в раскрытии гносеологической структуры повседневного опыта и тех функций, которые он выполняет в жизни людей.

Отличительной чертой данного вида опыта является его неспециализированный характер: повседневный опыт и знание приобретаются всеми нормальными людьми, чего нельзя сказать о специализированном знании. Если сравнить повседневное знание, например, с физическим, то можно увидеть большую разницу между ними. Физик может ясно и артикулированно представить свое знание, тогда как обыденное знание используется людьми практически неосознанно и при применении обычно не требует предварительной артикуляции. Принципиально отличны эти виды знания и по способам освоения. Каждый человек овладевает основным запасом обыденного знания без особых усилий. Это знание осваивается произвольно в процессе жизни человека в обществе и его взаимодействия с другими людьми.

Важно также подчеркнуть, что это освоение в отличие от обучения специализированному знанию не предполагает какого-либо предварительного знания о мире, то есть не является овладением средств для обозначения, переинтерпретации объектов, уже каким-либо иным образом освоенных человеком. Впервые мир предстает в сознании человека в обыденном опыте, и именно последний становится основой для освоения более организованных и специализированных форм знания. В определенном смысле это напоминает обучение второму (иностранному) языку, которое, как известно, происходит на базе знания родного языка¹³.

Обыденный опыт включает в себя три основные когнитивные * системы: чувственный (перцептивный)

* От лат *cognitio* — знание, познание.

опыт, естественный язык и обширный запас знания, который обычно обозначается понятием «здравый смысл». Нетрудно видеть, что сказанное выше применимо ко всем этим феноменам. Мало кому из родителей приходит в голову планомерно обучать своих детей видению мира, родному языку и житейской мудрости. А если это и случается, то приводит к минимальным, а нередко и отрицательным результатам. Все эти виды непосредственного, практического знания, формируемые в целостном процессе человеческой жизнедеятельности и духовно обеспечивающие этот процесс.

В повседневном знании чувственный, языковой и рациональный опыт тесно переплетены и подтверждают друг друга. Это придает обыденному знанию качества сплава необычайной прочности, самодостаточности и малодоступности для критики и пересмотра. А между тем, даже не углубляясь в специальное рассмотрение указанных когнитивных систем, можно установить важный в гносеологическом отношении факт: более высокие и специализированные уровни познавательной деятельности не отменяют и принципиально не могут отменить функционирование обычных перцептивных структур, естественного языка и свою зависимость от неявных концептуальных конструкций здравого смысла.

Разумеется, это не означает, что, например, специализированное научное наблюдение ничем не отличается от обычного донаучного восприятия вещей. Основной принцип последнего, состоящий в том, что нормальный человек в условиях хорошего освещения и подходящей перспективы воспринимает истинное положение вещей, постоянно ставится под сомнение практикой научного наблюдения. Так, учет условий наблюдения (совокупность различных движений Земли, наличие атмосферы и т. п.), несовершенного устройства человеческого глаза, а также использование сложных инструментов наблюдения (телескоп, микроскоп и т. п.) приводят к корректровке отдельных фрагментов воспринимаемого мира, введению специфических перцептивных допущений и гипотез. Однако возможности подобных изменений далеко не беспредельны. Как показывают многочисленные опыты по формированию восприятия в сложных и проблематичных перцептивных ситуациях, а такие нередко бывают и в науке, это формирование «представляет собой скорее ряд специфических адаптаций, надстраивающихся над исходными формами восприя-

тия, чем коренную перестройку перцептивной системы»¹⁴.

По всей видимости, структура «живого созерцания» не столько отвергается более высокими уровнями познавательной деятельности, в частности научным наблюдением, сколько включается в них, оказываясь в значительной степени скрытой и функционирующей в неявном виде. «Фундаментальные перцептивные категории, — утверждают специалисты по теории сознания, — пространство, время, движение, форма, цвет, распределение яркостей и т. п. — служат ему (субъекту познания. — В. Ф.) практическими ориентирами, фундаментом его практической деятельности и редко становятся предметом рефлексии. Человек как бы перемещается в мир значений и концептов, рефлектирует по поводу верхних слоев построенного им мира, сознательно оперируя предметными образами, знаками, словами, символами, смыслами и т. п., хотя совершенно не подлежит сомнению, что фундаментальные перцептивно-динамические категории, вещественно-смысловые образования, ранее освоенные им, он продолжает использовать в скрытой форме»¹⁵.

Более гибким и поддающимся большей специализации инструментом мысли является язык. Множество специализированных языков и терминосистем, существующих в современной культуре и ставящих под сомнение единство речи и взаимопонимание людей, казалось бы, делают реальной задачу построения языка, свободного от ценностных, прагматических, эмоциональных компонентов обычных естественных языков и обращенного непосредственно к сущностям, предполагаемым теоретическим мышлением, а не к явлениям мира человека. Однако, как известно из истории философии, все попытки такого рода потерпели крах. К тому же сами ученые всегда предпочитали пользоваться традиционно складывающимся языком своих дисциплин, строящимся на основе естественного языка, сохраняющим его основные грамматические конструкции и обеспечивающим достаточно универсальную коммуникацию в научных сообществах.

Это отмечали даже те ученые, которые в наибольшей степени способствовали отделению понятий науки от обычного языка. Так, Луи де Бройль писал, что «наши картины и представления мы образуем, черпая вдохновение из нашего повседневного опыта. Из него мы

извлекаем определенные понятия, а затем уже, исходя из них, придумываем путем упрощения и абстрагирования некоторые простые картины, некоторые, по-видимому, ясные понятия, которые, наконец, пытаемся использовать для объяснения явлений»¹⁶. «Понятия классической физики, — отмечал В. Гейзенберг, — являются хорошо обработанными понятиями нашей повседневной жизни и образуют важнейшую составную часть языка, являющегося предпосылкой всего естествознания»¹⁷.

Таким образом, при формировании научного языка обнаруживается сознательное, а чаще неявное использование семантических, грамматических, метафорических ресурсов естественного языка, являющегося в отличие от специализированных единственной полной и одновременно открытой системой, позволяющей так или иначе идентифицировать и обозначать любые объекты, попадающие в сферу человеческого опыта.

Здравый смысл представляет собой множество принимаемых людьми убеждений и принципов, правил понимания и оценки, рецептов действий в определенных ситуациях, прошедших длительное и довольно серьезное испытание в многовековой практической деятельности людей. По механизмам существования и передачи знания здравый смысл является универсальной традицией людей, которая сохраняется и продолжается чередой поколений. Составляющие его системы мнений, точек зрения, правил копируются, передаются от человека человеку, от взрослых детям, а достоверность их содержания обычно обосновывается отсылками к опыту, авторитету, общедоступным данным специализированных видов знания.

Опирающийся на самые разнообразные и разнородные источники знания здравый смысл не формирует четкой, систематизированной области знания. Его конструкции нередко противоречивы, трудносовместимы друг с другом и в большинстве случаев не формулируются явным образом. Вместе с тем расплывчатость этих конструкций, дополняемая богатством и гибкостью естественного языка, придает здравому смыслу универсальность, недоступную другим видам знания. Обыденное знание «может использоваться во всех ситуациях человеческой деятельности, на всех уровнях науки и в особенности искусства»¹⁸.

В серьезной корректировке нуждается взгляд на здравый смысл как на нечто безнадежно рутинное, огра-

ниченное ходячими суждениями, связанными с узкой сферой быта людей. Человек и в донаучном опыте сталкивается с коренными проблемами бытия, что находит отражение в «философемах» реальной жизни — эмоционально и нравственно насыщенных представлениях людей о долге и надежде, сомнении и вере, цели и смысле жизни и т. п. Философия как специализированный тип мышления трансформирует эти представления, выявляя мировоззренческие ориентиры и идеалы, подспудно тревожащие людей и не всегда осознаваемые ими в адекватной форме.

Таким образом, **здоровый смысл** не есть нечто неизменное и застывшее. **Содержание** здорового смысла лишь на первый взгляд кажется непосредственно данным, а в действительности оно является продуктом длительного исторического развития, включающим значительные рациональные опосредствования и усваивающим элементы специализированных видов знания, в частности научных теорий, глубоко вошедших в культуру той или иной эпохи. Как отмечал П. Дюгем, «арсенал здорового смысла, это не клад какой-нибудь, зарытый в землю, куда ни одна монета не может быть более прибавлена. Нет, это — капитал весьма многолюдного и чрезвычайно деятельного общества, характерный для всего человечества. Из века в век этот капитал преобразовывается и возрастает. В эти преобразования, в этот рост капитала, теоретическая наука вносит свою значительную лепту... Этим она обогащает наследие общепринятых истин, принадлежавшее всему человечеству или, по крайней мере, той части его, которая достигла известной ступени духовной культуры»¹⁹.

Понятия и представления дарвинизма, генетики, теории относительности, психоанализа, многих других научных и философских учений вошли в здоровый смысл и закрепились в естественном языке, заметно влияя на повседневное мировоззрение людей. Но важно подчеркнуть, что, входя в обыденный опыт, эти понятия и представления не остаются неизменными, они превращаются в конструкции здорового смысла, во многом лишаясь того содержания и значения, которое они первоначально имели в теоретических системах.

Существенной особенностью донаучного опыта как культурной системы является его бесписьменный характер. С возникновением специализированных видов духовной культуры письменность была монополизиро-

вана интеллектуальной элитой — философами, богословами, учеными, поэтами, историками. Это оттеснение обычной живой культуры от способов письменной фиксации создает, конечно, огромные трудности при изучении ее прошлых состояний и порождает значительные искажения вследствие реконструкции духовной культуры в основном по ее элитарным проявлениям²⁰. Но для самого здравого смысла письменность не играет заметной роли, поскольку он осваивается и передается в устной традиции и в совместной практической деятельности людей.

В обыденном опыте, как и в научных теориях, содержится знание о природе, обществе, человеке. Например, в нем имеется огромное количество «аксиом» типа: «если бросить в воду сухое дерево, оно поплывет», «камень выдержит, если на него сесть», «от трения предмет нагревается» и т. п. Подобные истины настолько очевидны, что их не приходится формулировать явным образом. Выдержавшие массу практических проверок и пережившие не одну теорию гидростатики, теплоты, механики, эти знания всегда под рукой у любого человека, поскольку без них невозможна практическая жизнедеятельность и элементарная ориентация в мире. Есть основания и для утверждения о том, что обыденное знание содержит достаточно связанные системы положений, образующие «теории» или, точнее сказать, «прототеории» о различных областях действительности²¹. Так, психологические исследования показывают, что у большинства людей, не являющихся специалистами в области физики, в повседневной жизни «формируется некая последовательная интуитивная теория движения, противоречащая основным законам ньютоновской механики... Теория эта удивительно схожа с доньютоновской теорией импетуса, или «приобретенной силы»»²².

Поскольку комплекс специализированных научных средств применим лишь к достаточно узкой области объектов, любой ученый постоянно нуждается в использовании неспециализированного обыденного опыта. Возьмем самую простую и типичную ситуацию. Ученый А пытается дать теоретическое объяснение экспериментальных результатов, полученных ученым Б. Нетрудно понять, что при этом он предполагает как нечто само собой разумеющееся реальное существование этого другого ученого, его аппаратуры и т. д. В принципе эти

обстоятельства, да и экспериментальная ситуация в целом могли бы быть исследованы с помощью специально-научных средств психологии, физиологии, механики. То, что это никогда не делается, совсем не означает, что здесь нет никаких проблем, просто данная ситуация принимается как заслуживающая доверия именно в ее донаучном, повседневном понимании.

Помимо внешнего обрамления неспециализированные и неидеализированные понятия обыденного опыта используются и в собственно научных построениях. В фактуальных научных дисциплинах проверка теоретических законов, объяснений и предсказаний невозможна без соотнесения теоретических конструктов с окружающими человека вещами и ситуациями, часть из которых описывается на естественном языке. Существование этого нижнего уровня научного знания, включающего неспециализированные повседневные понятия, совершенно очевидно в науках, использующих лишь небольшой набор теоретических законов и положений (в истории, социологии, географии, геологии), в таксономических * дисциплинах (ботанике, зоологии). Однако и в высокотеретизированных науках описание экспериментальных ситуаций опирается на повседневные понятия.

В гносеологическом плане анализ обыденного опыта важен постольку, поскольку этот опыт является одним из основных каналов связи научного мышления с культурой в целом. Ученый пользуется естественным языком, живет в повседневном мире, где формируются базисные структуры понимания и воображения людей. Поэтому повседневное знание неизбежно входит в его мышление, часто совершенно незаметно для него самого.

Вненаучное знание. Критерии научности. В донаучном обыденном опыте заключены возможности становления более организованных типов знания, прежде жего знания научного. Но, как отмечалось, научное знание не единственный вид специализированного знания. Наряду, а нередко и в тесных взаимодействиях с ним в истории культуры существовали и продолжают существовать вненаучные виды знания: алхимия, теология, натурфилософия и т. д. Научное знание возникло

* От греч. *táxis* — расположение, строй, порядок и *nómos* — закон. Основная задача таких дисциплин состоит в классификации и систематизации изучаемых явлений.

не только в лоне донаучного опыта, но и под непосредственным влиянием более древних вненаучных видов знания *. Так, зарождение научных традиций античной Греции происходило в интеллектуальных сообществах, члены которых не рассматривали научное познание как самоцель. Первое из таких сообществ — пифагорейское — было религиозно-нравственным союзом, сосредоточенным на вопросах очищения души с целью ее спасения от круговорота рождений и смертей. Занятия же математикой, музыкой, астрономией, философской космологией, практиковавшиеся в этом союзе, рассматривались как одно из важнейших средств подобного очищения души²³. Лишь позднее в аристотелевской школе складывается прототип собственно научного сообщества, ведущего систематические исследования в различных областях знания, координирующего деятельность своих членов, подготавливающего научную смену, систематизирующего и критикующего работы представителей иных школ и традиций и концентрирующегося не вокруг некоего сакрального ядра, а вокруг определенных философских принципов и методологических средств исследования.

Изучая вненаучные виды знания в рамках культурно-исторического подхода, не следует с самого начала придавать слову «вненаучные» только отрицательное значение. Важно понять эти виды знания как качественно иные, чем знание научное, отличающиеся от него источниками, способами производства, обоснования, передачи и т. п. Отличия эти составляют гносеологическую проблему критериев научности, с той или иной интенсивностью обсуждавшуюся в философии с возникновением первых форм рефлексии над знанием.

* Наука постепенно выделялась из вненаучных форм мышления путем их рациональной критики и пересмотра. Проследившая эволюцию центральной для античной научной мысли идеи космоса от Гомера до Платона, И. Д. Рожанский так оценивает истоки первой философско-теоретической модели космоса Анаксимандра: «Созданная им грандиозная картина мироздания — это не результат обобщения данных опыта и наблюдения: путь Анаксимандра был прямо противоположным. Обладая не столько аналитическим, сколько конструктивно-синтетическим умом, Анаксимандр построил первую законченную модель космоса, сплавив воедино многие разнородные элементы, в числе которых были и древние космогонические легенды, и идеи, почерпнутые в странах Востока, и традиционные народные представления» (*Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности: Ранняя греческая наука «о природе»*. М., 1979. С. 158).

При трактовке каких-либо феноменов знания как вненаучных всегда существует опасность переноса современных критериев научности на историю познания, что приводит к объявлению вненаучными таких построений (например, аристотелевской механики, теории теплорода), которые вполне удовлетворяли нормам научности соответствующей эпохи. Нужно учитывать, что многие реалии науки, ставшие само собой разумеющимися, возникли не так давно. К вненаучному следует относить такое знание, которое не соответствует нормам научности в целом, и прежде всего нормам своего времени. При историческом подходе к вопросу разграничения науки и не-науки становится ясно, что вненаучность знания не может определяться каким-либо одним универсальным критерием научности, безуспешным поиском которого занимались позитивисты 20—30-х годов. Хотя критерии научности существуют и применяются в интеллектуальных сообществах, их эффективность состоит не столько в универсальности и логической точности (как правило, они применяются неявно), сколько в соответствии фундаментальным предпосылкам и образам знания, принятым в определенное время.

Вненаучные формы знания и их отличие от научного знания исторически своеобразны. Поэтому, высказав общие соображения, рассмотрим некоторые их особенности на достаточно показательных примерах.

Одним из наиболее ярких феноменов вненаучного знания является средневековая алхимия. Уже сам факт тысячелетнего существования алхимической традиции не позволяет рассматривать ее как простое заблуждение. Эта традиция — органичное явление средневековой культуры. «Алхимия в свое время была необходима»²⁴, — отмечал Ф. Энгельс. Ее вненаучность определялась не самим по себе поиском способов трансмутации веществ, например превращения неблагородных металлов в золото и серебро. Идея трансмутации в целом вполне укладывалась в средневековое мировоззрение, допускавшее куда более сверхъестественные преобразования. Однако алхимия нарушала фундаментальную предпосылку средневекового мышления — принципиальное отделение теоретического умозрения и практического действия. Природа трактовалась схоластами как видимое, символическое выражение трансцендентного замысла, сверхприродного начала, а ее познание — как созерцание и истолкование тех знаков, которые

оставил в ней ее творец. Поэтому предмет науки считался качественно, онтологически иным по сравнению с предметом практики, технического искусства. Алхимики же добивались их синтеза, выступали посредниками между «средневековым ремеслом и средневековым теологическим умозрением»²⁵.

Синтез двух крайних полюсов средневековой культуры, уравнивающий творца-бога и творца-человека, естественное как оболочку сверхъестественного и искусственное, созданное человеком, выглядел варварским и запретным, с точки зрения ученых-схоластов*. Тем не менее элементы синтеза присутствовали в средневековой культуре, а социально-психологическое искушение осуществить его было столь велико, что, несмотря на преследования, алхимией занимались тысячи людей.

Характерной чертой, ярко проявившейся в алхимии, но в той или иной степени присутствующей во всех вненаучных традициях, является наличие в них сакрального эзотерического ядра. Упуская это из виду и оценивая алхимию, астрологию и подобные им феномены лишь по их успехам и неудачам**, мы не можем рассчитывать на адекватное объяснение таких познавательных систем²⁶. Из противоречивых требований — эзотеризма (закрытости), с одной стороны, и необходимости освоения и передачи традиции — с другой, вытекает ряд специфических особенностей и самих вненаучных познавательных сообществ: отсутствие институционализированных форм обучения, сакрализация отношений учитель — ученик, замкнутость сообщества, связанная с «посвященностью» в традицию, ее защитой от непосвященных и неприятием критики с их стороны. Указанные характеристики принципиально отличаются от принятых в научных сообществах идеалов общедоступности знания, равенства перед истиной, необходимости рациональной критики и т. п.

* Подобного взгляда придерживались Авиценна, Фома Аквинский и другие представители схоластики.

** Хотя неудачи и заблуждения здесь явно превалируют над достижениями, нельзя считать, что алхимики ничего не добились. Они открыли и исследовали целый ряд веществ, реакций и процессов (соединения серы, ртути, фосфор, различные растворители, красители и т. д.). Астрологи XVI в., убежденные в том, что небесные тела влияют на земные события, предвосхитили во многих деталях лунную теорию приливов и отливов, тогда как Галилей и Декарт, исходившие из более рациональных взглядов, предлагали ошибочные объяснения этих явлений.

Следует иметь в виду, что в ранние периоды развития науки нелегко было отличить научные и вненаучные типы интеллектуальной деятельности. Современные историографические исследования, в частности посвященные научной революции XVI—XVII вв.²⁷, показывают, что в то время наука интенсивно использовала вненаучные источники знания, и вплоть до XVII в. в Италии, Англии и других странах сообщества астрономов и астрологов, химиков и алхимиков тесно соприкасались, а иногда и пересекались друг с другом.

Несколько иные особенности вненаучного знания характерны для натурфилософии начала XIX в. Прежде всего она формировалась на фоне устойчивых и разработанных научных программ и теорий — ньютоновской механики и физики. К тому же Кант, критически оценивший условия и предпосылки научности познания, поставил под сомнение возможность умозрительного учения о природе, характерного для натурфилософии. И все же именно последователи Канта — Шеллинг и Гегель — выдвинули самые значительные натурфилософские системы. В каком смысле мы можем говорить о вненаучности этих построений? Во-первых, сами их авторы отчетливо сознавали альтернативность их систем теориям науки. Во-вторых, отрицательной вскоре стала оценка этих учений сообществом ученых*. Наконец, натурфилософские построения действительно нарушали ряд фундаментальных предпосылок классической науки и выходили за принятые в ней образы знания. Сами Шеллинг и Гегель претендовали на то, что выдвигаемые ими учения являются не только иной, но и более высокой формой познания природы, преодолевающей конечный, рассудочный характер современного им эмпирического естествознания.

Согласно Шеллингу, натурфилософия есть интеллектуальное созерцание природы (отрицаемое, как известно, Кантом), до которого не может возвыситься эмпири-

* С резкой критикой натурфилософии выступили крупнейшие ученые той эпохи: К. Гаусс, Ю. Либих, А. Гумбольдт, Л. Больцман и многие другие. Г. Гельмгольц писал, что «гегелевская натурфилософия является абсолютно бессмысленной, по крайней мере для естествоиспытателей. Среди многих выдающихся естествоиспытателей того времени не нашлось даже одного-единственного, кто связал бы себя узами дружбы с гегелевской натурфилософией» (цит. по: *Огурцов А. П. «Философия природы» Гегеля и ее место в истории философии науки // Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: В 2 т. Т. 2. М., 1975. С. 616*).

ческая наука. Только с его помощью можно понять природу не как простой, безжизненный механизм, а как органическую целостность, низшую форму развития духа. Познание природы осуществляется «не посредством науки, а посредством своей сущности или магическим способом. Придет время, когда науки постепенно исчезнут, и на место их явится непосредственное знание. Все науки, как таковые, изобретены лишь по недостатку этого знания; напр., весь лабиринт астрономических вычислений существует потому, что человеку не было дано усматривать непосредственно необходимость в небесных движениях, как таковую, или духовно сопереживать реальную жизнь вселенной. Существовали и будут существовать ненуждающиеся в науке люди, в которых смотрит сама природа и которые сами в своем видении сделали природою. Это настоящие ясновидцы, подлинники эмпирики, к которым эмпирики, называющие себя так теперь, относятся, как политиканы, переливающие из пустого в порожнее, к посланным от Бога пророкам» ²⁸.

Идея о том, что через человека, включенного в жизнь природы, проходят ее стихии и что он как совершенное существо может переживать выше и ниже него расположенные в цепи природы уровни ее онтологической организации, конечно, совершенно не укладывалась в тип рациональности, который лежал в основе тогдашней («галилеевско-ньютоновской») науки. Истоки этой идеи нетрудно проследить в догалилеевских представлениях о единстве «микрокосмоса» и «макркосмоса», в традиции средневековой немецкой мистики И. Экхарта и Я. Бёме, еще живой и действенной во времена Гёте, Шеллинга и Гегеля ²⁹.

Таким образом, основные принципы натурфилософского знания — единство объективного и субъективного, физических стихий и чувств человека, рассмотрение природы в ее органической целостности, как сложно расчлененной индивидуальности, антиредукционизм, примат качественного анализа над количественным и т. п. — формировали сложный сплав некоего нового, диалектического образа знания со старыми, доньютоновскими представлениями. Но и здесь вненаучность не означала абсолютной бесплодности. В натурфилософии, как и в некоторых других формах вненаучного знания, содержался ряд ценных для науки эвристических идей, и в целом эти формы давали большой простор вообра-

жению и синтетическим конструкциям. Так, та вера, с которой Х. Эрстед в течение многих лет искал связь между электрическими и магнитными явлениями, несомненно, сформировалась у него под влиянием натур-философии Шеллинга, считавшего эту связь необходимой. Гегелевский принцип единства природных стихий и чувств человека повлиял наряду с учением Гёте о цвете на возникновение в Германии физиологической оптики и физиологической акустики.

В наши дни ввиду высокого социального и идеологического статуса науки во вненаучных видах познания в целях завоевания места в системе общепризнанных научных дисциплин широко используются научные методы. Примером этому может служить изучение парапсихологических феноменов. Хотя многие вообще сомневаются в существовании последних, однако есть люди, полагающие, что под данными феноменами скрывается определенная реальность, заслуживающая изучения. Но даже если это не так, то отсюда еще не следует, что познание в данной области является заведомо ненаучным.

История науки свидетельствует, что может быть вполне научное исследование объектов, которые впоследствии оказывались несуществующими (флогистон, теплород, эфир). Для социокультурного анализа парапсихологических исследований, в частности для их оценки как научных или вненаучных, важна не только реальность фактов телепатии или телекинеза, но и соответствие этих исследований принятым нормам производства и подтверждения знания, существующим формам организации исследовательских сообществ. И именно в этом плане парапсихология заметно отличается от обычной научной деятельности.

Парапсихологам не удалось реализовать в своих исследованиях два принципа, характерных для современной науки, нарушение которых выводит знание за пределы общезначимости и научности³⁰. Во-первых, это принцип воспроизводимости явлений или достоверности лишь таких фактов, которые подтверждаются при повторении условий опыта. Во-вторых, это пространственно-временная представленность предмета как условие возможности его познания. Еще Кант, выделяя в многообразной сфере сознания сферу познания и собственно знания, доказывал, что не может быть законным или осмысленным применение понятий и категорий вне их отнесения к эмпирическим ситуациям, к условиям их

использования в опыте, который для человека возможен не иначе как в формах пространства и времени. «...Все понятия и вместе с ними все основоположения, хотя бы они и были вполне возможны а priori, тем не менее относятся к эмпирическим созерцаниям, т. е. к *данным* для возможного опыта. Без этого (условия) они не имеют никакой объективной значимости и суть лишь игра воображения или рассудка своими представлениями» ³¹.

Критерий объективной значимости принимается и диалектико-материалистической гносеологией («...никакие человеческие измышления и ни для каких целей, выходящие за пределы времени и пространства, *не действительны*» ³²), которая, однако, дает ему несколько иное толкование. В соответствии с трансцендентально-идеалистической позицией Кант отождествлял условия возможности познания с условиями существования предметов этого познания. С материалистической точки зрения условия и критерии объективности, научности познания хотя и отражают условия существования объектов познания, но являются человеческими эталонами и нормами, вобравшими в себя исторический опыт познания. Как таковые, они могут оказаться не вполне соответствующими новой, необычной области познания и потому потребуют уточнения *.

Рассмотренные, а также другие трудности с обоснованием статуса научности парапсихологических исследований вызывают у большинства ученых сомнение в правомерности определения этих исследований как научных. Подобная оппозиция со стороны научного сообщества и стремление парапсихологов завоевать место в рамках институционализированной системы науки породили своеобразную тактику их исследовательского сообщества. Анализируя ее в том виде, как она сложилась в западной культуре, английский социолог знания М. Малкей отмечает ³³, что деятельность и дискуссии парапсихологов протекают не столько в сфере собственно науки (публикации в специальных журналах, выступления на научных конференциях), сколько в более широком околonaучном «форуме», который с точки зрения стандартного понимания научности не может обеспечить парапсихологии статус науки. Речь идет о публи-

* Аналогично тому, как потребовалась замена эталона длины, хранившегося в свое время в специальных условиях в Париже и оказавшегося явно недостаточным в качестве «критерия» для развивающейся науки и техники.

кациях в популярных и полупопулярных журналах, спорах и слухах, поисках фондов и погоне за рекламой, об использовании в качестве прикрытия своей деятельности профессиональных организаций, привлечении приверженцев из числа студентов и т. п. Эти усилия хотя и не приводят к признанию парапсихологии в качестве научной дисциплины, однако способствуют созданию такого социального контекста, в котором утверждения парапсихологов не отвергаются с порога.

3. Гуманитарное и техническое знание

Рассмотренные выше формы донаучного и вненаучного знания можно уподобить некой аморфной материи, в лоне которой возникают и существуют более структурированные «кристаллы» научного знания. Но и последнее не есть нечто единое. Существует множество научных специальностей и дисциплин. Наряду с общими чертами, объединяющими их в один тип знания, они характеризуются значительным разнообразием, проявляющимся во времени существования, в уровне теоретичности и степени зрелости, в используемых методах и источниках знания, в характере связей с практикой и социальной жизнью³⁴. Эта совокупность научных дисциплин делится на три основные группы: естественные, социально-гуманитарные и технические науки. Каково их место в общей структуре человеческого знания, как они связаны с донаучным и вненаучным знанием?

Относительно естественных наук выше уже были высказаны общие соображения, касающиеся этих вопросов. Куда теснее и многообразнее эти связи в социально-гуманитарных науках. Дело в том, что познание в них относится к так называемому рефлексивному типу³⁵. Оно осуществляется в контексте донаучного и вненаучного понимания и знания об изучаемых объектах. Подобная ситуация встречается и в естественных науках на некоторых этапах их развития, но как постоянное определяющее условие рефлексивность характерна прежде всего для дисциплин, изучающих человека и его деятельность, — для психологии и наук социально-гуманитарного цикла. Познание социальной реальности неизбежно предполагает существующее до науки жизненное участие в ней познающего субъекта, порождающее целый спектр форм ее осмысления и понимания (от

повседневного-практического до художественного и этического). В данной ситуации реализация принципа отстраненности от объекта познания (лежащего в основе характерных для классической науки образов объективного наблюдения, описания, объяснения) весьма осложняется³⁶. Это и позволяло таким мыслителям, как В. Дильтей, утверждать, что познание здесь возможно только на основе личностного переживания этой сферы бытия. Поэтому неудивительно, что Дильтей, а за ним и более современные теоретики социально-гуманитарного знания приходят к противопоставлению двух основных типов познания — естествознания и истории, наук о природе и наук о культуре.

Гносеология марксизма отрицает альтернативное разделение этих типов наук. Их единой основой является предметно-практическая деятельность людей, порождаемые ею социально-культурные условия и предпосылки познания, его общий категориальный аппарат (знание не вырабатывает одни категории для внешнего мира, другие — для человека и его сознания). Помимо этого, как отмечалось в предшествующих главах, вовлеченность субъекта познания в социально-практический и культурный процесс сама по себе не является непреодолимым препятствием для объективности и научности познания. Вместе с тем специфика социально-гуманитарного знания, разумеется, есть, и она проявляется не только в отмеченном обстоятельстве. Существуют, подчеркивал В. И. Ленин, две формы *«объективного процесса: природа... и целенаполагающая деятельность человека»*³⁷. Между ними нет рокового дуализма, ибо в конечном счете «цели человека порождены объективным миром и предполагают его»³⁸, но различия есть. Поэтому мир человека, общество, культура в отличие от природного мира не могут быть поняты и познаны без использования специфических для социально-гуманитарного познания понятий и методов анализа целенаполагающей и ценностно-ориентированной деятельности людей.

В XX в. сложилась тесная взаимосвязь естественно-научного и технического знания. В силу их сходства по когнитивным и институциональным параметрам значительные достижения в одной из этих сфер незамедлительно используются в другой. Но следует отметить, что слияние науки с технологией, превращение ее в непосредственную производительную силу, а научных

теорий — в источник технических достижений стали систематически проявляться лишь во второй половине XIX в. До этого в общей системе человеческого знания наука и техника существовали раздельно, что, впрочем, не мешало им спорадически влиять друг на друга. Еще со времен античности техника рассматривалась как вид искусства (греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение), как сфера деятельности ремесленников, техников, инженеров, более низкая по сравнению с деятельностью ученых. Знание, порождаемое и используемое в этой сфере, не отвечало канонам научных теорий, существуя в форме рецептов для практических действий и расчетов, в виде технологических схем и т. п.

В самом общем плане для взаимодействия естественнонаучного и технического знания характерны следующие основные исторические фазы. (1) Достаточно изолированное развитие этих типов знания до XV в. вследствие указанного разведения их по различным сферам человеческой жизнедеятельности. (2) Достижение в творчестве ученых, художников, инженеров Ренессанса и XVII в. институционального единства науки и технологии. Этот процесс сопровождался существенными социальными и мировоззренческими трансформациями: уравниванием статуса теоретического познания и технического изобретения, снятием дилеммы «естественное — искусственное», признанием важнейшей роли эксперимента в познании. В этот период наблюдалось значительное пересечение проблематики данных сфер знания, сближение их методов, причем нередко приоритет в постановке проблем и выработке способов их решения принадлежал технике. (3) Однако с институционализацией нового экспериментального естествознания в конце XVII — начале XVIII в. научное и техническое знания разделились. Последнее вновь стало развиваться как искусство изобретения, мало что получающее от чистой теории. Крупнейшие технические изобретения XVIII—XIX вв., революционизировавшие промышленность, были сделаны людьми, далекими от чистой науки. (4) Лишь в конце XIX в. эти сферы знания сблизились опять, однако уже на основе приоритета науки, все более углубляющегося проникновения ее в технологию. Появились первые прикладные науки — агрохимия, электротехника, аэродинамика и т. п., с практическими достижениями которых уже не могли конкурировать изобретатели «эддисоновского» склада. Начался бурный

процесс сращивания естествознания и техники, продолжающийся до наших дней и составляющий сущность современной научно-технической революции.

Важной для нашего исследования является одна особенность последнего этапа, состоящая в том, что он создает возможности для непосредственного воздействия социальных целей и запросов на рост научного знания. Под их влиянием формируются исследовательские программы и научные специальности, возникновение которых невозможно объяснить лишь познавательными целями. Исследования, вызванные необходимостью решения крупных социальных задач — энергетических, продовольственных, транспортных, информационных и т. п., — занимают значительное и даже преобладающее место в целом ряде естественнонаучных дисциплин. Пересечение социальных и познавательных целей, а также углубляющееся воздействие научно-технического комплекса на окружающую человека среду и мир человека в целом приводят к постановке вопросов о социальной роли и гуманистическом смысле науки.

В последнее время все более осознается связь естествознания и техники с той целостной социально-культурной системой, в рамках которой они существуют и развиваются, с общими целями и ценностями человеческого бытия. В результате выявляется ограниченность классического образа естественнонаучного знания как ценностно и мировоззренчески нейтрального поиска истины. Это знание все интенсивнее вступает в диалог и взаимодействие с социально-гуманитарным сознанием, с этическим отношением человека к миру.

От идеи «универсальной математики» Декарта вплоть до «унифицированной науки» неопозитивистов проходит замысел преобразования всей сферы человеческого знания по образу и подобию лидирующих естественнонаучных дисциплин. Этот замысел так и остался нереализованным, однако его идеологические отзвуки дают о себе знать во многих рассуждениях о соотношении различных наук и их связях с донаучными и вненаучными видами знания. Еще нередко отстаивается образ методологически единой науки, а до-и вненаучное знание оценивается лишь с точки зрения его отклонений от научного.

Однако в настоящее время разнообразие форм знания вряд ли может рассматриваться как порок, который должен быть преодолен. Абсолютистские гносеологичес-

кие каноны, поддерживающие идею унификации знания, обнаружили свою явную несостоятельность. Осознается ценность и незаменимость всех видов человеческого знания (подобно тому, как в соответствии с экологическим идеалом признается ценность всех биологических видов). В этой связи необходимо расширение гносеологической тематики, включение в нее всего многообразия феноменов знания. Разумеется, при этом теория познания не должна отходить и от традиционных проблем, ведь в ее задачи входит не только понимание и описание феноменов познания, но и их объяснение, оценка, проверка их претензий на истинность, объективность и рациональность. Без этого гносеология мало что может сказать о человеческом познании, что ясно отличалось бы от данных истории, психологии и социологии знания.

Глава 14. Языковая картина мира

1. Относительная самостоятельность языковой картины мира и ее компоненты

Диалектику познания истины В. И. Ленин характеризовал как путь *«от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике...»*¹ В процессе познания окружающей действительности, как и самого себя, в сознании человека формируется картина мира. Последняя представляет собой сложный конструкт (образование), состоящий из различных пластов. Можно даже сказать, что сама картина мира состоит из различных «картин мира». В методологической литературе бытует такое, например, понятие, как «физическая картина мира». С таким же успехом мы можем говорить о «математической картине мира» и о ряде других «картин мира». Однако, когда мы говорим в обобщенной форме о картине мира, мы, очевидно, имеем в виду тот познавательный образ, который представляет собой логико-словесный конструкт, отвлекаясь при этом от его конкретного содержания. Почему отражение мира в сознании или обобщающую картину мира мы характеризуем как логико-словесный конструкт? Во-первых, потому, что итог каждого более или менее самостоятельного познавательного акта фиксируется в сознании в виде определенной системы мыслительных операций, которые в снятом виде содержат результаты чувственного познания; во-вторых, потому, что указанная выше фиксация познавательных актов и их результатов происходит посредством определенных языковых средств.

Хотя картина мира в сознании, как логико-словесный конструкт, является нерасчлененной, мы можем этот конструкт условно представить в виде двух самостоятельных образований — логической (концептуальной) и языковой (словесной) моделей действительности. Такой подход дает возможность выявить истинную роль средств языка в образовании картины мира как гносеологической модели действительности, а также реальное

соотношение мысли и языка в формировании указанной модели.

При этом следует специально подчеркнуть, что представление гносеологической картины мира в виде указанных двух самостоятельных моделей является абстракцией, исследовательским приемом. И в каком бы смысле мы ни говорили о самостоятельном значении языковой картины мира, ее самостоятельность имеет *относительный* характер.

Мозаику языковой картины мира составляют те информационные ячейки, которые образуются посредством разнообразных языковых средств, прежде всего посредством слов и словосочетаний, предложений и их комбинаций. Основное информационное ядро слов и словосочетаний, предложений — это их логическое содержание, которое в одних случаях выступает в виде лексико-предметного смысла слов и словосочетаний, в других — суждений и их сочетаний. Поэтому если сопоставить логическую и языковую модели мира, изобразив их в виде эйлеровских кругов, то можно будет констатировать, что они в основном совпадают. Но исключительно важно и то обстоятельство, что за пределами этого совпадения остаются определенные, периферийные участки, которые придают специфический оттенок языковой картине мира, сообщают собственно языковую информацию об окружающем мире. Следовательно, говоря о языковой картине мира, мы должны отличать два вида информации, составляющих эту картину: (а) информацию, носителем которой является язык, но по генезису и содержанию — она логическая (это та часть картины мира, которая полностью покрывается логической моделью) и (б) информацию, которая находится за пределами логической модели и которая по генезису и содержанию является сугубо языковой.

Языковой картине мира присущи специфические особенности данного конкретного языка, поэтому она варьируется от языка к языку. Можно сказать, что в принципе языковых картин мира столько, сколько естественных языков, и языковые картины мира тем существеннее отличаются друг от друга, чем существеннее различие между особенностями и характерами языков. Языковая картина мира является неконцептуальной, и то, что является концептуальным в отображении сознания, представляет собой логическую картину мира,

одинаковую для всех народов, правда по-разному воплощенную в языковых средствах.

Что касается информации (а), то здесь вопрос решается довольно однозначно: это информация, содержащаяся в логических формах и категориях мысли. Об информации этого порядка можно говорить при рассмотрении языковой картины мира лишь постольку, поскольку всякая мысль возникает и существует, фиксируется в сознании и передается другими средствами языка. Эта информация как по логическому содержанию, так и по языковому оформлению традиционно рассматривается философами, логиками и лингвистами при анализе проблемы языка и мышления, равно как и их составных компонентов. Отметим также, что эта проблема достаточно изучена с точки зрения диалектического материализма, и не она представляет непосредственный интерес при раскрытии специфики языковой картины мира.

Чтобы раскрыть характер информации (б), отметим, что, хотя все формы и категории мысли возникают, фиксируются, выражаются и передаются посредством языка, это вовсе не означает, что языковые средства не несут, кроме форм мысли и мыслительных категорий, никакой иной информации. В этом аспекте рассмотрим прежде всего природу информативного содержания слова (и словосочетаний, что одно и то же в контексте проводимого исследования). Под информативным содержанием слова мы подразумеваем его лексико-предметное значение. Оно в основном совпадает с понятием, выраженным данным словом. Общность между лексико-предметным значением слова и понятием, выраженным последним, заключается в их предметной отнесенности. Однако за этой общностью нельзя не видеть определенные различия, которые приобретают весьма существенное значение в контексте рассматриваемой нами проблемы.

Речь идет прежде всего о том, что понятие — логическая категория, между тем как лексико-предметное значение — категория лингвистическая. Эта характеристика вытекает из природы понятия, с одной стороны, и лексико-предметного значения — с другой, и главным образом относится к их отражательной функции. Хотя в реальном процессе познания понятие воплощено в словах (словосочетаниях), по своей познавательной природе, как клеточка процесса отражения, так сказать,

в идеальном состоянии, оно абстрагировано от языковой материи. Идеальный конструкт рассматривается как понятие, когда мы отвлекаемся от языковой материи — от слова или словосочетания, в которых понятие возникает и существует, между тем как лексико-предметное значение слова нацелено на предмет через призму определенного языка; оно находится под постоянным влиянием системы и истории этого языка. Это означает также, что если понятие выступает как *инвариант* значения, т. е. как то постоянное в значении слова или словосочетания, которое не зависит от лексического значения слова, то лексическое значение слова может *варьироваться* от языка к языку в рамках, обусловленных особенностями конкретных языков *.

Каким бы важным компонентом значения слова ни было лексическое значение, оно не покрывает всего объема значения слова. Отметим лишь, что, из каких бы семантических компонентов ни состояло содержание слова, оно не свободно от влияния той формы, в которой оно возникает и существует **.

В лингвистической литературе наряду с лексическим значением слова нередко упоминаются грамматическое, фонетическое, словообразовательное значение. Утверждается также, что грамматическое значение, как и лексическое, всегда соотносится с предметом, несет семантическую информацию². Очевидно также, что грамматическое значение в не меньшей мере, чем лексическое, нацелено на референт (предмет мысли) через призму данного языка.

Видимо, не должно вызывать сомнения наличие национальной специфики в фонетическом и словообразовательном значениях, анализ которых увел бы в сторону от нашей цели. В данном же случае следует подчеркнуть, что национальное своеобразие языков оставляет определенный след не только, пожалуй, и не столь

* В лингвистической литературе отмечается национальное своеобразие лексических значений слов. По утверждению В. А. Звегинцева, «нет таких разноязычных слов с одинаковой направленностью на действительность, лексическое значение которых полностью бы совпадало» (Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962. С. 354; см. также: Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965).

** По замечанию С. Д. Кацнельсона, «в известных пределах содержание слов может быть модифицировано под влиянием формальных факторов и обратного воздействия форм языка на их содержание» (Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 107).

ко на значении, которое несет семантическую информацию, нацелено на определенный референт, сколько на значении, которое выступает носителем экспрессивно-стилистической информации. Более того, если семантическая информация в принципе может быть переведена с одного языка на другой, несмотря на специфический языковой налет этой информации, то экспрессивно-стилистическая информация может быть лишь передана на другом языке, но не может быть, как правило, переведена с одного языка на другой. Однако экспрессивно-стилистический компонент значения в определенном смысле расширяет поле значения, внося в него дополнительную информацию об окружающем мире, полученную благодаря специфическим особенностям данного языка. Очевидно, эта информация варьируется от языка к языку.

Эмоциональное созначение слов не только привлекло внимание многих лингвистов, но и стало важнейшим аргументом при создании той или иной лингвистической теории, например теории американского лингвиста Эдуарда Сепира. «...У большинства слов, — писал он, — как вообще у всех элементов сознания, есть свой побочный чувственный тон, слабый, но отнюдь не менее реальный, а порою даже предательски могущественный отголосок удовольствия или страдания»³. Значение этого «чувственного тона», который он назвал также «психологическим наростом» на теле слова, на его концептуальном зерне, преувеличивалось как Сепиром, так и его последователями.

Имеется определенная связь между «чувственным тоном» слова, психологическим наслоением на концептуальном содержании слова, и тем умственно-психологическим конструктом, который известен под названием «стереотип». Известно, что одним из источников возникновения стереотипа является нарушение соотношения объективного и субъективного факторов и значений слова, точнее — преобладание субъективного над объективным. В данном случае важно то, что в процессе языковой фиксации стереотипного конструкта имеет место дополнительное субъективное наслоение на стереотипную категоризацию окружающего мира. Это наслоение преломляется через данный конкретный язык. В результате в языковой картине мира появляется новый элемент, новый носитель значения. Он должен быть приведен в соответствие с «нормальными ячейками»

значения (разумеется, после соответствующего объяснения). В противном случае он может вести нас по неправильному пути в процессе познавательного освоения действительности.

Среди компонентов языковой картины мира следует отметить также те ячейки информации, которые передаются образной стороной слова. Как отмечает Л. А. Булаховский, «на той и другой языковой почве в составе слова могут быть живы некоторые *дополнительные* представления (моменты разной образности)»⁴. Неважно, что цитируемый выше автор и некоторые другие лингвисты, как, впрочем, и философы, считают, что роль моментов образности в отношении прямого смысла соответствующего слова «практически ничтожная», часто психологическая. Важно в данном случае то, что образность слова является одним из компонентов языковой картины мира, источником некоторой (пусть даже незначительной) дополнительной информации об окружающем мире, а также то, что этот источник варьируется от языка к языку.

Метафорическое значение слова, его образность привела некоторых лингвистов (в частности, В. Гумбольдта и его последователей) к понятию «внутренняя форма языка». Как видно из конкретных лингвистических исследований, в ряде случаев наблюдается общность «внутренних форм» слов для многих языков⁵. Более типична специфичность языковой информации, передаваемой «внутренней формой» каждого языка. Нет, однако, единогласия среди лингвистов по поводу роли и значения «внутренней формы» языка в процессе миропонимания. Некоторые из них склонны рассматривать окружающую действительность через призму «внутренней формы» языка и создавать на этой основе специфические картины мира, коррелятивные к тем языкам, к которым при этом прибегают. Другие сводят роль «внутренней формы» языка к созданию художественного эффекта в речи. Но даже при таком взгляде трудно отрицать роль «внутренней формы» языка как одного из компонентов специфического языкового представления окружающей действительности, какой бы незначительной ни была эта роль в языковой картине мира.

Языковое моделирование действительности осуществляется также за счет переносных значений слов. Некоторые языковеды (например, С. Д. Кацнельсон) полагают, что переносные значения слов не входят в

основной перечень значений. Но это обстоятельство, на наш взгляд, не умаляет их роли в возникновении языковой картины мира. В данном случае следует обратить внимание на то обстоятельство, что переносные значения «допускают значительные колебания по языкам» и что «эти колебания касаются иногда содержания переносных значений»⁶.

В мозаике языковой картины мира находят место также те дополнительные оттенки значения, которые в каждом языке своеобразно выражают синонимия и полисемия слов. Любопытно с точки зрения обсуждаемой проблемы явление энантиосемии, которое оставляет свой смысловой «налет» на концептуальном значении слова: оно совершенно специфично в смысле не только варьирования от языка к языку, но и сравнения тех дополнительных смыслов, источником которых являются факторы языкового порядка. В. И. Ленин обращал внимание на явление энантиосемии в немецком языке. Конспектируя «Науку логики» Гегеля, он писал: «В немецком языке иногда слова имеют «противоположное значение»... (не только „различные“, но и *противоположные*) — „радость для мысли“...»⁷ Эту радость испытывал, в частности, Гегель, отмечавший, что многие из слов немецкого языка «имеют еще ту особенность, что обладают не только различными, но и противоположными значениями, так что нельзя не усмотреть в этом спекулятивный дух этого языка...»⁸. В аспекте рассматриваемого вопроса Гегель был прав в оценке немецкого языка. Не все языки в один и тот же период их исторического развития обладают возможностью формировать сложную систему философской терминологии. А в немецком языке этому способствовало, в частности, явление энантиосемии.

Известный лингвист Л. Блумфильд заметил, что хотя родственные отношения людей кажутся весьма простыми, однако обозначающие их термины в разных языках представляют большую трудность для анализа. На эту мысль его наталкивала «нелогичность» в языках при обозначении родственных отношений. Вот один из примеров. С точки зрения естественной логики вполне понятны языковые выражения родственных отношений, скажем, в русском и французском языках. В русском языке нисходящая линия: отец — дедушка, соответственно мать — бабушка; восходящая линия: сын — внук — правнук, соответственно дочь — внучка — прав-

нучка. Во французском языке особо подчеркивается смысловая сторона этих отношений: внук — *petit fils* (дословно — «маленький сын»), соответственно внучка — *petite-fille* (дословно — «маленькая дочь»), а правнук — *arriere-petit-fils* (дословно — «за маленьким сыном»), соответственно правнучка — *arriere-petite-fille* (дословно — «за маленькой дочерью»).

Совершенно иную картину мы наблюдаем в английском языке. Если вполне логично выражение рассматриваемых отношений по нисходящей линии: *father — grandfather*: отец — большой отец (дедушка), *mother — grandmother*: мать — большая мать (бабушка), то нелогичны языковые выражения этих отношений по восходящей линии. Внук по-английски — *grandson* (дословно — «большой сын»), соответственно внучка — *granddaughter* (дословно — «большая дочь»), а правнук — *great grandson* (дословно — «большой большой сын»), соответственно правнучка — *great granddaughter* (дословно — «большая большая дочь»). Картина прямо противоположна соответствующим выражениям французского языка, хотя оба языка не только из одной — индоевропейской — языковой группы, но и имеют исключительно родственные отношения в этой группе.

Явление, проиллюстрированное на примере английского языка, в лингвистической литературе известно как «нелогичность». Конечно, «языковые нелогичности» не мешают выражать одно и то же отношение, предмет действительности корректно, идентично на разных языках. В то же время нельзя не заметить, что «языковые нелогичности» создают некоторый дополнительный информационный фон для прямого смысла соответствующего понятия, формируют побочное представление, которое варьируется от языка к языку и иной раз направляет мысль на действительность под совершенно неожиданным ракурсом видения.

При описании информативных ячеек языковой картины мира нельзя сбрасывать со счетов катахрезы. Конечно, когда, например, говорящий на русском языке употребляет выражение «красные чернила», то концептуальное содержание этого словосочетания непосредственно связано с представлением о жидкости красного цвета, применяемой для письма. Однако не исключаются и случаи, когда в сознании человека этому словосочетанию помимо основного значения сопутствует ассоциативное сознание, связанное с этимологией слова «чер-

нила» — «чернящая жидкость». Пусть это сознание не всегда и не у всех дает о себе знать, пусть его информативность будет малозаметной, тем не менее даже это ассоциативное сознание может играть какую-то роль в системе ячеек языкового миропонимания. И видимо, значение катахрезы как источника языкового моделирования действительности более значительно при использовании неродного языка.

Различные способы языкового оформления мысли также способствуют возникновению несходных языковых картин мира. Оформление числа 80 в русском, английском и армянском языках происходит однотипно, как восемь и десять (8×10). Между тем во французском и грузинском языках эта же цифра оформляется как четыре и двадцать (4×20). Совершенно ясно, что различные языковые оформления мысли не влияют на ее концептуальное содержание. Но очевидно и то, что понятие рассматриваемого числа в различных языках может иметь различный вербальный (словесный) подтекст, который подсказывает то или иное представление об одном и том же числе *. И если в научном общении мы оперируем понятиями, то в обыденной жизни нередко понятие смешивается с представлением об этом же предмете. В возникновении последнего немаловажную роль играет языковой фактор.

В процессе языкового моделирования окружающего мира определенную роль играют также различные вербальные способы номинации и классификации предметов действительности. Лингвистами накоплен значительный языковой материал, свидетельствующий о том, как нередко совершенно по-разному расчленяют языки

* Конечно, обычно мы не обращаем внимания ни на языковое оформление наших мыслей, ни на внутреннюю форму слова. Мы их всегда имели бы в виду, если бы с языковыми фактами обращались как лингвисты. Но если не всегда, то иногда языковые выражения наших мыслей вызывают у нас те или иные ассоциации, а порою — более чем мимолетные ассоциации. В этом отношении весьма любопытно, как объясняют некоторые американские социологи популярность автомобиля в жизни американцев. Специалист по изучению американского общества Беласко (Мэрилендский университет) считает, что «автомобиль олицетворяет веру американца в собственные силы. «Авто» значит «сам». Автомобиль означает независимость от лошадей и кузнецов, гостиниц и гостиничного персонала, поездов и носильщиков, трамваев и соседей по купе. Свободу от социальных институтов, законов коллектива, взаимных обязательств. Девиз дороги — самообслуживание — бросается в глаза на всем ее протяжении» (Америка. 1983. № 323. С. 19—20).

один и тот же фрагмент, предмет действительности. Это касается и частей тела, и номинации цветовых различий, отрезков суток, шкалы температур, видов дерева, животных, снега и т. д.⁹ Вот одна из иллюстраций к сказанному. В русском языке отрезок времени, именуемый «сутки», делится на утро, полдень, вечер, полночь. В английском языке существует более детальная дифференциация этого же отрезка (*morning, forenoon, noon, afternoon, evening, night*) и в то же время нет обобщающего слова для обозначения суммы этих отрезков времени — суток. При необходимости англичанин пользуется двумя словами — *day* и *night*, которые обозначают два отрезка суток: день и ночь.

Из анализа подобных фактов некоторые лингвисты делают вывод о том, что «переход от одного языка к другому не есть простое, механическое «наклеивание» одних «ярлыков» на место других, т. е. на одни и те же, заранее данные, сами по себе ясно выделенные мысли. Напротив, в очень большом числе случаев приходится сталкиваться не только с различным изображением явно того же самого, но и с такими разными данными для оформления мысли, которые наталкивают на образование не вполне одинаковых мыслей и не только заставляют «подчеркивать» в предметах, явлениях и отношениях их разные стороны, но и приводят к разной классификации, к разной «сортировке» соответствующих элементов действительности»¹⁰. Можно согласиться или не согласиться с этим выводом, имеющим обобщающий теоретико-познавательный характер, однако, по-видимому, не может быть подвергнуто сомнению то, что языковые способы номинации и классификации предметов действительности также являются каналами, приводящими к образованию языковых картин мира или общенно-языковой картины мира.

Можно продолжить обращение к самым различным фактам языковой действительности и фиксировать новые ячейки как компоненты языковой картины мира. Но видимо, как бы мы ни стремились к максимально широкому охвату этих компонентов, их полный набор вряд ли осуществим, если учесть неограниченные возможности языков мира и варьирование указанных ячеек от языка к языку. Ограничимся указанием лишь на одно важное обстоятельство. Ячейки, описанные выше и им подобные, не могут создать картину мира, если нет взаимодействия между ними, так же как слова сами по

себе не образуют речи. Так как «информацию несут не только слова, но и синтаксис и морфология языка»¹¹, в создании языковой картины мира, безусловно, играют роль также грамматические структуры языков с их особенностями. Поэтому нельзя считать однотипными сами компоненты языковой картины мира.

Следует учесть также одно немаловажное обстоятельство: даже самые характерные из этих компонентов непосредственно не всегда дают о себе знать в живом процессе познания и общения. Они составляют, как правило, языковой фон для концептуального освоения действительности. Многие из них в той или иной степени «оживляются», когда приобретают самостоятельное значение в процессе познания, когда изучается, скажем, тот или иной отрезок действительности посредством лингвистического анализа текста или когда мы переходим с одного языка на другой в процессе общения и т. д. Но нельзя пренебрегать и тем обстоятельством, что усвоение родного языка — это процесс, который длится практически всю жизнь, а познание мира неотделимо от его языкового переосмысления.

Анализируя взаимосвязь речи и мозговых механизмов, В. Пенфильд пришел к выводу, что для ребенка «овладение языком — это метод познания жизни, средство получить то, что ребенок хочет, способ удовлетворить неутолимое любопытство». И далее: «По мере того, как ребенок узнает слова, он узнает жизнь...»¹² Ученый пришел к выводу о том, что у человека наряду с памятью пережитого имеется память понятий и память слов. Любопытно и то, что «человек, слушающий говорящего, может следить за его словами, игнорируя понятия, либо он может обращать внимание только на понятия, символами которых являются слова, игнорируя сами слова. Если этот слушатель знает два языка, то он может не заметить даже того, на каком языке к нему обращаются»¹³. Однако С. Д. Кацнельсон констатирует существенную разницу между усвоением слов и усвоением понятий¹⁴.

Итак, мы можем не только говорить об абстрактном мышлении как о высшей ступени познания, но и условно представить последнюю в виде двух картин мира — концептуальной и языковой. При этом, естественно, возникают вопросы об их взаимосвязи и соотносительной познавательной ценности. Чтобы ответить на эти вопросы, следует прежде всего еще раз подчеркнуть *относи-*

тельность самостоятельности этих двух картин. Эта относительность заключается не только в том, что в реальном, живом процессе познания концептуальное и языковое познание выступают как единый феномен. Она проявляется и в том, что основное содержание языковой картины мира уже по объему совпадает с концептуальной картиной мира. В этой части языковая картина мира выступает как носитель той информации, которая моделируется логическим познанием. Собственно языковая информация об окружающей действительности содержится в тех периферийных участках языковой картины мира, которые остаются за ее пределами при сопоставлении или соизмерении языковой и концептуальной картин мира. И когда возникает вопрос о соотносительной ценности этих картин мира, то следует сопоставить не языковую картину мира во всем ее объеме с концептуальной картиной мира, а только языковую информацию о мире с его логической моделью.

Итак, какова познавательная ценность языкового моделирования действительности, словесного подтекста мысли, вербального видения мира, его лингвистической проекции в сознании людей? Эти вопросы в той или иной мере находились в русле исследовательских интересов философов, лингвистов, антропологов в течение многих веков. Разумеется, были разные ответы на эти вопросы. Особый интерес представляет в этой связи концепция лингвистической относительности.

2. Лингвистическая относительность

Концепция лингвистической относительности берет начало в трудах немецкого государственного деятеля и лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта. Для его лингвистических интересов характерно то, что они формировались не только на основе определенных философских позиций (в частности, Платона и Лейбница), но и как философская интерпретация фактов языковой действительности. Выдвинутая Гумбольдтом идея «внутренней формы» языка означала, что в самом языке заложен субъективный взгляд на мир, который контролирует формирование понятий об окружающем мире.

Гумбольдт рассматривал проблему взаимоотношения человеческих языков и духовного развития человеческого рода. Он отстаивал тезис о том, что природа языка обуславливает мыслительную функцию человека, что

мышление людей до известной степени определяется тем языком, на котором человек выражает свои мысли, что в каждом языке заложено определенное мировоззрение. Гумбольдт подчеркивал, что «изучение чужого языка всегда должно бы быть приобретением новой точки мирозерцания...»¹⁵. Согласно его концепции философии языка, восприятие и деятельность людей объясняются представлением об окружающем мире, которое всецело обусловлено языком. Это приводит к выводу о производности деятельности людей от их языка¹⁶.

Хотя идея лингвистической относительности содержалась в работах лингвистов и философов, изданных задолго до появления исследований Гумбольдта, именно им они были сформулированы настолько рельефно, что оказали сильное влияние на некоторых последующих мыслителей. Среди преемников этих идей следует в первую очередь выделить Эдуарда Сепира. Нельзя утверждать, что Сепир, как и Гумбольдт, последовательно развивал идеи лингвистической относительности. В трудах обоих имеется немало положений, которые могут дать повод для различных толкований, в том числе «за» и «против» концепции лингвистической относительности. Но у Сепира тенденция этой концепции была выражена более определенно. Рассматривая некоторые данные индийских языков, он делал вывод о том, что понимание окружающего мира, его толкование зависят от языковых норм данного общества. По его мнению, понимание языковых механизмов необходимо для изучения как исторических проблем, так и проблем человеческого поведения¹⁷.

Сепир высказывал также идею, формулировка которой стала эпиграфом программной статьи Бенджамена Ли Уорфа — американского инженера, лингвиста и антрополога; в его работах концепция лингвистической относительности нашла свое дальнейшее развитие. Вот этот примечательный эпиграф: «Люди живут не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения

и мышления. На самом же деле «реальный мир» в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения»¹⁸.

Под влиянием лекций Э. Сепира, как, впрочем, и трудов французского филолога Антуана д'Оливье, Уорф объясняет некоторые черты языков хопи, ацтеков, нутка и других зависимостью мышления, мировоззрения и поведения людей от принятых форм словоупотребления, от природы и характера того языка, на котором люди выражают свои мысли, переживания, эмоции. При этом язык влияет на различные виды деятельности людей, по концепции Уорфа, не в отдельных или особых случаях, а постоянно, как закономерность в их оценке тех или иных явлений. Более того, влияние языка на мышление, мировоззрение и поведение людей понимается им как лингвистическая *детерминированность* мыслительного мира и деятельности людей. Мир представляется Уорфу как калейдоскопический поток ощущений, как хаос восприятий. Он приводится в некоторый порядок посредством языка, языковых обычаев, посредством структуры языка.

Поскольку языки отличаются структурой и другими специфическими чертами, постольку и в итоге упорядочения потока ощущений люди создают различные миры. «Мы делим на отрезки и осмысливаем непрерывный поток явлений именно так, а не иначе в большой степени благодаря тому, — писал Уорф, — что посредством нашего родного языка мы становимся участниками определенного «соглашения», а не потому, что эти явления классифицируются и осмысливаются всеми одинаково. Языки различаются не только тем, как они строят предложения, но и тем, как они делят окружающий мир на элементы, которые являются материалом для построения предложений»¹⁹. Такой подход к роли языка в моделировании потока ощущений и восприятий приводит Уорфа к выдвижению принципа лингвистической относительности. Последний сформулирован Уорфом в следующих словах: «Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем»²⁰.

В литературе, посвященной взглядам Уорфа по данному вопросу, иногда употребляется термин «теория лингвистической относительности» как синоним термина «принцип лингвистической дополнителности». Однако между ними имеется определенная разница. Выдвигая идею лингвистической относительности, Уорф намеревался досконально ее обосновать на основе анализа фактов языковой действительности, анализа различных языковых культур. Однако преждевременная смерть не позволила ему реализовать свои замыслы. Поэтому часто, и не без основания, выдвинутая им идея именуется как гипотеза. И поскольку Уорф непосредственно развивал идею Сепира, то принцип лингвистической относительности принято называть «гипотезой Сепира — Уорфа».

Следует отметить, что когда Уорф говорит о детерминированности мышления (равно как и мировоззрения и поведения) языком, то он не считает, что каждый отдельно взятый язык по-своему обуславливает мыслительный мир людей, их действия. При существенном сходстве природы, характера языков он объединяет их для сопоставления с теми языками, которые значительно отличаются по грамматической структуре и иным параметрам. Именно поэтому он объединяет ряд языков — английский, немецкий, французский и т. д. — в одну группу под названием «среднеевропейский стандарт» (SAE — Standart Average European) и сравнивает с нею языки хопи, нутка, ацтеков, которые по своей природе существенно отличаются от SAE.

При анализе гипотезы Уорфа следует учитывать, что ее автор не вполне четко применяет некоторые понятия, имеющие ключевое значение в его концепции. Это прежде всего касается таких понятий, как «природа (или характер) языка», «структура языка», «грамматика языка» и т. д. Уорф, например, сам отмечает, что термин «грамматика» в его статьях означает гораздо больше, чем известно нам из учебников или со времен школьных лет²¹.

Необходимо, однако, подчеркнуть, что при всей неопределенности высказываний Уорфа о языке в них достаточно однозначно подразумевается естественный язык. Хотя непосредственный предшественник Уорфа — Сепир в свое время говорил о языке в более широком смысле, как о символической вообще²², пафос работ как Сепира, так и Уорфа направлен прежде всего на

установление предполагаемого факта принципиальной зависимости мышления от естественного языка. Это очень важное обстоятельство. Несмотря на то что определенная общность существенных признаков естественных и искусственных языков позволяет объединить их в общем понятии о языке как знаковой системе, в рассматриваемом случае единственно адекватным является дифференцированный подход. Влияние языка науки на научное мышление несравненно существеннее *, но это обстоятельство еще не свидетельствует в пользу гипотезы Сепира — Уорфа, провозглашающей решающую роль специфики конкретных разговорных языков в детерминации мышления. На неясность некоторых исходных понятий концепции Уорфа обращали внимание как советские, так и зарубежные исследователи лингвистической относительности²³. Тем не менее общая лингвофилософская позиция Уорфа ясна: мышление вообще, а точнее, обыденное мышление людей, их повседневное поведение детерминированы естественным языком.

Доводы, приведенные Уорфом в пользу своей гипотезы, разнохарактерны. Так, Уорф отмечает, что языки SAE делят мир на предметы и действия, ибо предложения в этих языках состоят из двух классов — существительных и глаголов. В таких языках, как хопи, нутка, нет такого строгого деления, поэтому эти языки дают возможность смотреть на окружающий мир как на непрерывно изменяющуюся действительность с бесконечным разнообразием движения, красок, форм. Этот довод повторяется последователями Уорфа. Однако, как бы ни интересны были наблюдения Уорфа при сопоставлении языков, совершенно разных по грамматической структуре, они не подтверждают широко обобщающие выводы Уорфа.

Слабость его позиции в теоретико-познавательном отношении заключается, во-первых, в том, что противопоставляется прерывность и непрерывность в окружающей действительности, в то время как окружающий мир по существу выступает как единство прерывности и не-

* В. А. Смирнов пишет: «Развитие науки приводит и к изменению самого языка исследования. Меняется язык, меняются и допущения, к которым он обязывает. Каждое крупное достижение научной мысли так или иначе связано с усовершенствованием языка науки. Не случайно, что для науки недостаточен обычный разговорный язык» (Логика и методология науки: IV Всесоюзный симпозиум. М., 1967. С. 124).

прерывности, и задача познающего субъекта заключается в воспроизведении адекватной картины мира. Во-вторых, огрубление языками SAE картины мира в сознании, что в самом деле имеет место, далеко не является спецификой этих языков. Любой язык своеобразно огрубляет картину мира в сознании людей. И не только язык как средство выражения мысли, но и сама мысль в ее специфических формах. Как замечал В. И. Ленин, «мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление, — и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и **всякого** понятия»²⁴.

Есть еще одно соображение, имеющее немаловажное значение. Как рассматриваемый аргумент, так и аналогичные доводы, приведенные Уорфом в защиту своей концепции, по существу констатируют весьма значительные различия в языковых средствах отображения действительности, но еще не говорят о том, что они меняют концептуальное содержание воспроизводимой картины окружающего мира. А пока последнее не доказано, гипотеза Уорфа остается на весьма шатких основах, если не больше.

В концепции Уорфа фигурирует понятие, которое играет весьма важную роль в его теоретических построениях. Это «изоморфность структуры языка и структуры окружающей нас действительности». При этом следует сказать, что, как и в других случаях, Уорф неоднозначно употребляет и выражение «структура действительности». Помимо общепринятого его применения он под этим выражением подразумевает также структуру культуры как освоенной человеком действительности.

Уорф полагал, что в отличие от языков SAE структура таких языков, как нутка, изоморфна структуре действительности. Однако это обстоятельство еще не говорит о зависимости мыслительного аппарата, понятийной системы говорящих на языке, изоморфном по структуре действительности, от характера языка. Да и вообще когда речь идет об изоморфности, то в этом плане, пожалуй, можно сравнивать не языки с действительностью, а языки друг с другом. В принципе естественные языки могли бы быть в изоморфном структурном соответствии с действительностью, если бы они были прямым отображением последней.

Между тем связь языка с действительностью опосредована мышлением, мыслительным преобразованием действительности. Языки же при всех их грамматических отличиях изоморфны по логической основе. Как отмечает известный американский лингвист Р. Якобсон, «переключение с одного языкового кода на другой, возможно, и практикуется в действительности именно потому, что языки изоморфны: в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы»²⁵. Поэтому в новейших лингвистических исследованиях утверждается принципиальная возможность перевода с любого языка на любой другой. В результате перевода мы имеем то же понятийное содержание; отличными оказываются сопутствующие компоненты соответствующих языковых картин отображаемой действительности.

Зависимость мышления от языка Уорф пытается обосновать также аргументами семантического характера. Если в языке хопи любой летающий предмет, за исключением птиц, обозначается одним словом, а в языке ацтеков «холод», «лед» и «снег» обозначены одним словом с различными окончаниями, то, согласно концепции лингвистической относительности, каждый язык по-своему дифференцирует поток ощущений, по-своему преобразует окружающую действительность. Между тем имеет место совершенно иная картина, иная зависимость языка и реальной действительности, в которой живет человек. Условия жизни в той или иной форме отражаются в сознании людей и фиксируются в определенных словах и словосочетаниях. Прав Антуан Мейе, утверждающий, что «нельзя понять язык, не имея представления об условиях, в которых живет народность, говорящая на этом языке...»²⁶

Еще менее убедительными нам представляются доводы Уорфа в пользу детерминированности мировоззрения людей природой их языка. Совокупность лингвистических моделей каждого конкретного разговорного языка Уорф называет микрокосмом. Каждый человек понимает окружающую действительность, т. е. макрокосм, оценивает ее посредством этого микрокосма, которым он обладает в силу своих языковых привычек. Человек видит мир через призму языковых моделей, видит макрокосм через призму микрокосма. Достаточно человеку перейти на использование другого языка, и он увидит другой мир, иной макрокосм. По словам Уорфа, «изменение в языке может преобразовать наше понима-

ние Космоса» ²⁷, люди, «употребляющие разные грамматики, должны прийти к разным мировоззрениям» ²⁸. Уорф отдает себе отчет в том, что в мировоззрение входят также и философские взгляды людей, отмечая в то же время, что всякая философия — это особое отвлечение языка ²⁹.

В этом пункте проявляется непоследовательность Уорфа, объясняемая, быть может, его некомпетентностью в области философии. Что касается вопроса по существу, то история философии является самым убедительным опровержением рассматриваемого положения Уорфа. В самом деле, в истории философии на одном и том же языке возникали противоположные философские концепции и, наоборот, на разных языках создавались одинаковые концепции. Поэтому надуманность анализируемого тезиса Уорфа отмечается почти всеми, кто критическим оком смотрит на его гипотезу.

По концепции Уорфа, поведение людей также соотносится различным образом с лингвистически обусловленным микрокосмом, языковые обычаи определяют поведение людей. Для обоснования этого тезиса Уорф в качестве аргумента приводит пример с людьми, реагирующими на название «Склад пустых бензиновых цистерн». По наблюдению Уорфа, люди ведут себя рядом с таким складом неосторожно — курят, бросают окурки и т. д., а между тем пустые бензиновые цистерны содержат взрывчатые испарения и могут оказаться более опасными, чем цистерны с бензином.

Однако этот аргумент Уорфа, а он часто прибегает к нему, не может служить доказательством детерминированности поведения людей их языковыми обычаями. Приведенный пример говорит лишь о том, что неосторожное поведение людей рядом со складом пустых бензиновых цистерн объясняется незнанием последними свойств бензина. Те люди, которые знают об огнеопасном характере пустых бензиновых цистерн, естественно, в своем поведении будут отличаться от людей, не знающих этого, и их реакция на словосочетание «пустые бензиновые цистерны» будет совершенно иной.

По утверждению Уорфа, поведение людей детерминруется не только тем или иным языковым обозначением предметов, но и грамматическими категориями (категориями числа, рода, залога и т. д.). В этой связи нельзя не согласиться с американским философом М. Блэком, утверждающим, что «здесь Уорф, подобно

многим другим, поддался распространенному заблуждению, что функция речи заключается в *воссоздании* реальности. Увы, даже самый лучший рецепт яблочного пирога съесть, конечно, невозможно, но было бы странно считать это недостатком рецепта»³⁰.

Споры вокруг гипотезы Сепира — Уорфа продолжаются. При этом, однако, следует специально подчеркнуть принципиальное отличие тезиса о детерминированности языком мышления, мировоззрения и поведения людей от тезиса о влиянии языка на мыслительную деятельность, поведение, на определенную связь между философией и языком. Кроме того, влияние языка на мышление и поведение людей нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. При прочих равных условиях поведение осуществляется и контролируется мыслью. Речь идет о том, в какой мере язык влияет на мыслительную деятельность и поведение людей. Для ответа на этот вопрос автором этих строк был выдвинут принцип лингвистической дополнительности, который, преодолевая гиперболизацию ряда положений гипотезы Сепира — Уорфа, содержит в снятом виде принцип лингвистической относительности.

3. Лингвистическая дополнительность

Как бы ни было велико значение того или иного знания о каком-либо предмете, исследователь всегда чувствует его неполноту, потребность его дополнить другой информацией об этом же предмете. Еще полтора столетия назад в книге «Принципы философского языка» Я. Линцбах писал, что «если язык геометрических схем является удобным для описания всякого рода конкретных представлений, каковы: лошадь, человек, дом, стол и проч., то язык аналитических формул пригоден для выражения отвлеченных понятий, каковы: прямая, окружность, параллельность, перпендикулярность, скорость и т. д. Оба вида языка, следовательно, не исключают, а дополняют друг друга. То, что не может быть выражено на одном из этих двух языков, может быть выражено на другом, и наоборот»³¹.

Здесь важны два обстоятельства. Во-первых, каждая конкретная наука как специфическая форма языка может воспроизвести определенную сторону предмета. Однако предмет познания является многогранным, и его более полную картину можно воспроизвести в том слу-

чае, если данные одного языка дополнить данными другого языка (других языков). Во-вторых, этот подход должен быть применен при изучении и исследовании всех явлений окружающей действительности, т. е. он имеет общеметодологическое значение. По существу так и понимал Я. Линцбах суть вопроса, указывая, что мы, подобно художнику, каждый раз выбираем особую точку зрения, не забывая, конечно, «что смотреть на все только с одной точки зрения значит увидеть лишь немного из того, что вообще дано нам... Применяя одновременно много изолированных друг от друга языков, мы должны получить возможность постигать предметы полнее и совершеннее, чем при применении только одного единственного языка. Ибо в случае применения многих точек зрения то, что не видно из одной точки зрения, будет видно из другой, и картины, которые, будучи рассматриваемы порознь, являются неполными и загадочными, станут простыми и ясными при параллельном рассмотрении, как это наблюдается, напр., при рассмотрении чертежа, где отдельные плоские проекции дают представление о всех 3 измерениях предмета» ³².

Идея о взаимодополнении различных знаний для воспроизведения относительно полной картины предмета в разной форме высказывалась разными исследователями. Но она была доведена до логического завершения в трудах одного из крупнейших физиков нашего времени — Нильса Бора. Для преодоления трудностей в обосновании квантовой теории датский физик выдвинул идею о том, что пространственная непрерывность распространения света и атомистичность световых эффектов отображают одинаково важные свойства световых явлений и дополняют друг друга в процессе раскрытия природы света. Но затем он расширил сферу приложения идеи дополнительности, отметив, что «дополнительность» употребляют в атомной физике с целью охарактеризовать «связь между данными, которые получены при разных условиях опыта и могут быть наглядно истолкованы лишь на основе взаимно исключающих друг друга представлений» ³³. Бор пришел к более обобщающему выводу, представив идею дополнительности как общеметодологический принцип познания, и в качестве иллюстрации приводил анализ таких феноменов, как различные типы культур, мысль и чувство, инстинкт и разум и т. д. Такой обобщающий подход был признан многими учеными. Макс Борн, например, отмечал, что «принцип

дополнительности представляет собой совершенно новый метод мышления. Открытый Бором, он применим не только в физике. Метод этот приводит к дальнейшему освобождению от традиционных методологических ограничений мышления, обещаая важные результаты»³⁴.

Идея дополнительности в ее методологическом значении по существу является моделированием содержательного принципа всестороннего рассмотрения явлений для познания тех предметов, знания о которых поддаются некоторой формальной обработке. В самом деле, идея всестороннего рассмотрения изучаемых предметов пронизывает всю философию К. Маркса и Ф. Энгельса, как, впрочем, и Гегеля. Эта идея была особенно подчеркнута и сформулирована В. И. Лениным в виде принципа, первого требования диалектической логики. «Чтобы действительно знать предмет, — писал он, — надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления»³⁵. Этот принцип диалектической логики является универсальным по степени применения и содержательным по характеру применения.

Идея дополнительности Бора претерпела определенную эволюцию. Выдвинутая для объяснения природы света, затем явлений атомной физики вообще, она учитывала три особенности предмета в качестве параметров ее применения. Таковыми являются: взаимоисключаемость полученных данных об объекте, их эквивалентность, учет фактора взаимодействия между измерительными приборами и объектом при анализе его природы. Можно показать, что и в таком понимании (назовем его узким пониманием) или с некоторой модификацией идея дополнительности применима при рассмотрении не только явлений квантовой физики. Так, согласно энгельсовской классификации суждений (основанной на диалектико-материалистической переработке гегелевской классификации), суждение «*трение есть источник теплоты*» является единичным, суждение «*всякое механическое движение способно посредством трения превращаться в теплоту*» является особенным, а суждение «*любая форма движения способна и вынуждена при определенных для каждого случая условиях превращаться, прямо или косвенно, в любую другую форму движения*» является всеобщим суждением³⁶.

Таково деление суждений по принципу субордина-

ции, принятому в диалектической логике. Традиционная, формальная логика, основываясь на принципе координации при классификации суждений, как, впрочем, и других форм мысли, названные суждения характеризует как общие суждения по количеству. Каково их взаимоотношение? По этому вопросу Ф. Энгельс писал следующее: «Диалектическая логика, в противоположность старой, чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и без всякой связи поставить рядом друг возле друга формы движения мышления, т. е. различные формы суждений и умозаключений. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношение субординации, а не координации, она развивает более высокие формы из нижестоящих»³⁷.

Очевидно, что в рассматриваемом случае данные диалектической логики и формальной логики являются взаимоисключающими. В то же время каждая из этих классификаций играет познавательную роль в раскрытии природы суждения как одной из логических форм мысли. Именно поэтому эти классификации в определенном смысле можно считать эквивалентными. И лишь третий фактор, характеризующий идею дополненности в узком смысле, — фактор взаимодействия между измерительными приборами и объектом в данном случае проявляется не в чистом виде. Он может быть несколько преобразован, рассмотрен как проявление соответствующей концепции исследователя. В данном случае речь может идти о том, что является мыслительным инструментом классификации суждений — принцип субординации или принцип координации — и как тот или иной принцип соотносится с объектом классификации.

Однако сам Бор, вновь и вновь обращаясь к идее дополненности, отмечал, что когда мы выходим за рамки квантовой физики и рассматриваем иные явления с точки зрения анализируемой идеи, то вовсе не обязательно вышеуказанные параметры. Он, в частности, писал, что когда рассматриваются разные человеческие культуры как дополняющие друг друга, то не может быть и речи о таких абсолютно исключаящих соотношениях, какие имеются между дополнительными данными о поведении атомных объектов³⁸. Он сделал более обобщающее заключение о том, что при сравнении различных культур идею дополненности нельзя упо-

треблять в строгом смысле, в котором она употребляется в атомной физике ³⁹.

Следовательно, можно сказать, что при применении идеи дополнительности не в узком, а в широком, методологическом смысле мы имеем дело с изучаемым объектом, признаки которого можно обобщить, обработать на уровне формального анализа, представить в виде двух подмножеств и для воспроизведения целостной характеристики объекта учесть оба подмножества. Именно в методологическом плане идея дополнительности называется Бором всеобщим принципом исследования. И именно как методологический принцип дополнительности он применим также к фактам языковой действительности.

Исходя из принципа дополнительности и с учетом роли языка в познании можно говорить о специальном *принципе лингвистической дополнительности*. Сущность последнего сводится к следующему. В процессе познания окружающей действительности наше знание не только возникает и формируется, существует и передается посредством языка, но и в определенном смысле и в определенных рамках преломляется через призму языка. Именно в связи с активной ролью языка в познании на знании об окружающем мире остается определенный языковой след, специфический вербальный налет.

Если условно отделить то постоянное в знании, имеющее концептуальный характер и независимое от того, какой конкретный язык использует познающий субъект, то за пределами логического отображения действительности останется специфически языковое знание, которое будет варьироваться от языка к языку. Эти языковые «отклонения» от концептуальной модели мира дают дополнительное видение мира, дополнительное знание о нем. Оно будет отличаться от языка к языку тем больше, чем больше расхождения между языками, их грамматическими структурами и другими особенностями. Знание о предмете, о реальной действительности будет тем более полным, чем более будет учитываться языковой прирост к концептуальной картине мира. Учет знания, создающего языковую картину мира, является объективно сложным и бесконечным процессом. Каждый язык с той или иной степенью своеобразия проецирует мир в сознании. Венгерский полиглот Като Ломб утверждает, и не без основания: «У нас, венгров, есть поговор-

ка: говорящий на десяти языках имеет десять миров»⁴⁰.

Если принцип лингвистической относительности преувеличивает значение специфического языкового знания, роль языка в познании мира, поведении людей, в их миропонимании, то принцип лингвистической дополнителности преодолевает эти крайности. Поэтому можно сказать, что он в снятом виде содержит в себе принцип лингвистической относительности при его определенном переосмыслении. Перефразируя Уорфа, можно утверждать, что сходная языковая картина окружающей действительности возникает в процессе познания только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем. И хотя вербальный мир в основном совпадает с логическим отображением действительности, выступает как воплощение этого отображения, за пределами последнего остаются сугубо языковые участки, носители варьируемых вербальных источников информации, которые непосредственно соотносятся с природой и характером конкретного языка познающего субъекта, носителя информации.

Может возникнуть вполне уместный вопрос: если принцип дополнителности Н. Бора имеет общеметодологическое значение и, следовательно, может быть применен также при объяснении фактов языковой действительности, то есть ли необходимость говорить о специальном принципе лингвистической дополнителности? На наш взгляд, есть, и вызвана она специфичностью принципа лингвистической дополнителности, его отличием от ординарного применения принципа дополнителности в сфере интерпретации языковой действительности и ее отношения к логическому моделированию мира.

Дело в том, что при применении принципа дополнителности мы имеем дело с двумя подмножествами информации, или с двумя моделями знания, которые являются равнозначными в познавательном аспекте и, следовательно, эквивалентными по своей значимости. Поэтому *дополнителность* здесь понимается в смысле взаимодополнения. Иначе обстоит дело, когда речь идет о принципе лингвистической дополнителности. При его применении мы исходим из того, что две модели действительности — концептуальная и языковая — не являются равноценными с точки зрения их роли и значения в воспроизведении картины мира. Множество зна-

ния или информации, основанное на логическом моделировании действительности, является основным источником картины мира. Между тем множество знания, информации, основанное на сугубо языковом источнике, является побочным, дополнительным источником картины мира. Здесь речь идет не о том, что эти множества дополняют друг друга, а о том, что одно из них, а именно множество языкового характера, дополняет основное множество — логическое моделирование действительности. Так как эта *дополнительность* знания имеет сугубо языковой характер, принцип, который показывает соотношение двух моделей и раскрывает механизм указанного дополнения, называется принципом *лингвистической* дополнительной.

Когда мы говорим об этом принципе, то это не означает, что речь идет о применении принципа дополнительной в лингвистике. Проблема возникновения картины мира в сознании людей вовсе не лингвистическая проблема, как это представляют сторонники гипотезы Сепира — Уорфа, а гносеологическая. Применяя принцип *лингвистической* дополнительной, мы подчеркиваем дополнительный характер языкового, лингвистического компонента в формировании картины мира. Поэтому если при применении принципа дополнительной мы имеем дело с двумя подмножествами, сумма которых не всегда исчерпывает рассматриваемую предметную область, то при применении принципа лингвистической дополнительной мы имеем дело с множеством A , представляющим логическую модель, и с его дополнением \bar{A} , представляющим языковую модель, сумма которых охватывает всю предметную область ($A \cup \bar{A} = 1$) в виде картины мира.

Дополнительность сугубо языковой информации следует понимать не только в вышеуказанном смысле, а именно в том, что главное содержание знания складывается из концептуального отражения действительности, а знание, полученное посредством сугубо языковых компонентов, в какой-то мере дополняет это содержание, в основном и целом не меняя его характера и направленности. Дополнительность «языкового знания» объясняется также характером влияния языка на мыслительную деятельность людей, на их поведение, на связь языка с философскими концепциями людей. Выше было уже отмечено, что в отличие от гипотезы Сепира — Уорфа, утверждающей детерминированность мышле-

ния, поведения и мировоззрения людей характером их языка, мы исходим из того, что язык оставляет на указанных факторах определенный след, в определенном смысле влияет на них. В этой связи рассмотрим один из аргументов сторонников концепции лингвистической относительности.

Предположим, имеется бутылка, заполненная наполовину вином. Попросим различных людей высказать суждение о том, что они видят. Очевидно, будет два правильных высказывания: «Бутылка наполовину полна» (1) и «бутылка наполовину пуста» (2). Оба высказывания являются не только правильными с логической точки зрения, т. е. осмысленными, но и истинными. Оба высказывания сформулированы корректно и отражают идентично один и тот же факт. Но в то же время имеется определенная разница между ними, причем довольно ощутимая. Эта разница — в языковом выражении, оформлении одного и того же логического содержания. Как можно интерпретировать это различие? Приводя данный пример, сторонник гипотезы Сепира — Уорфа А. Раппопорт приходит к заключению, что высказывание (1) принадлежит оптимисту, а высказывание (2) — пессимисту. Отсюда и следует вывод о том, что мышление и поведение детерминируются языком. На самом деле имеется совершенно иное соотношение между высказываниями (1), (2) и мыслью, действием людей. Свое отношение к бутылке, в которой вино занимает пятьдесят процентов объема, оптимист выразит в высказывании (1), а пессимист — в высказывании (2). Язык не определяет отношение людей к наблюдаемому факту, но становится средством выражения соответствующего отношения.

Для иллюстрации роли языка в вышеуказанном процессе прибегнем к анализу аналогичного примера. Предположим, читается публичная лекция в аудитории, где помещается сто человек, однако на лекции присутствует пятьдесят человек. Предположим также, что корреспонденты газет должны информировать об этой лекции. Вполне возможно предположить два различных высказывания в предполагаемых репортажах: (а) «лекция происходила в аудитории, наполовину полной» и (б) «лекция происходила в аудитории, наполовину пустой». Как и в предыдущем случае, оба высказывания, относящиеся к одному и тому же факту, корректно сформулированы, являются осмысленными с логической точки

зрения и истинными фактически. Однако вследствие различия в их языковом оформлении они выражают различные точки зрения репортеров (первый репортер положительно представляет в прессе лекцию, второй — отрицательно) и могут оказать различное влияние на воспринимающих эту информацию. Однако это различие во влиянии может быть только *эмоционального* характера. Ибо достаточно отвлечься от первого впечатления от информации, вдуматься в существо этих высказываний, и нетрудно будет заметить, что оба репортера говорят об одном и том же.

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу, что влияние языка на мышление в основном не выходит за пределы эмоционального воздействия. При этом, однако, возникает вопрос: не умаляем ли мы роль языковых выражений в формировании знаний, относя его функционирование к периферийным, в основном эмоциональным, областям человеческого сознания? Представляется, что это опасение не имеет под собой реальной почвы. При обычном словоупотреблении носитель того или иного языка не фиксирует своего внимания на внутренней вербальной структуре своей речи, не вникает в специфику языковых форм познавательных моделей действительности. Концентрация внимания говорящего на языковой стороне вопроса часто требует специальных усилий и осуществляется путем применения специальных (например, поэтических) средств. Именно поэтому у нас есть достаточные основания считать, что лингвистическое моделирование действительности в процессе познания лишь косвенно влияет на картину мира. Однако было бы ошибкой пренебрегать этим влиянием. Эмоциональное влияние нередко трансформируется в определенные сильно действующие стимулы поведения людей. Но каким бы оно ни было сильным, мы не должны забывать о его характере, об опосредованности влияния языка через эмоции на поведение людей.

Даже при рассмотрении взаимоотношения языка и философии наблюдается определенная связь, конечно, далеко не в понимании лингвистической относительности. Тот или иной язык может способствовать или препятствовать возникновению философских концепций. Если в языке имеется традиция создания отвлеченных, широко обобщающих понятий, то на этом языке легче формируются философские концепции. В этом смысле языки по-разному способствуют также распространению

философских взглядов. Можно указать и на другие проявления связи языка с философией, с мировоззрением, однако ни одно из них не подтверждает мысль Уорфа и его единомышленников о детерминированности философских взглядов и мировоззрения людей характером языка.

Мы не должны пренебрегать *дополнительным* источником информации, имеющим сугубо языковой характер, ибо эта информация нередко вносит своеобразные коррективы в знание, полученное посредством логической модели. При этом следует отметить, что указанные языковые коррективы не только могут в какой-то мере обогащать знание о действительности, но способны в некоторых случаях и исказить его, создавая иллюзии, подобные тем, которые возникают в процессе чувственного восприятия. Однако эти языковые иллюзии не в состоянии существенно воздействовать на реальную картину действительности, ибо они контролируются и корректируются логической моделью.

Применение принципа лингвистической дополнителности при анализе гипотезы Сепира — Уорфа отнюдь не означает, что отпадает необходимость обращения к принципу дополнителности Н. Бора при рассмотрении выводов из этой гипотезы. Это положение требует разъяснения. Вполне в духе концепции лингвистической относительности основоположник школы «общей семиотики» А. Кожибский утверждал, что Аристотель систематизировал модусы речи греческого языка и эта систематизация впоследствии была названа логикой⁴¹. Его последователь — американский семантик С. Хайкава — утверждал, что «человек, говорящий на языке, резко отличающемся по своей структуре от английского языка, таком, как японский, китайский или турецкий, может даже не мыслить теми же мыслями, что и человек, говорящий на английском языке»⁴². Доказательство этого положения, безусловно, было бы также одним из подтверждений гипотезы Сепира — Уорфа. Однако сколько-нибудь веских аргументов в пользу сказанного до сих пор приведено не было. В опровержение же этих утверждений можно привести следующие аргументы, подтвержденные практикой логического мышления.

Было проведено различие между эксплицитно и имплицитно выраженными формами мысли (и их структурами). Анализ форм мысли, зафиксированных в различных языках, показывает определенные расхождения

между ними в аспекте логических характеристик эксплицитных форм. Эти наблюдения как будто подтверждают выводы концепции лингвистической относительности. Но если провести дальнейший анализ форм мысли и раскрыть также соответствующие имплицитные формы мысли, то мы придем к иному заключению. Оказывается, что совокупность всех эксплицитных и имплицитных форм мысли является идентичной для всех, независимо от того, на каком языке зафиксированы эксплицитные формы мысли⁴³.

При анализе этой проблемы уместно прибегнуть именно к принципу дополнительности Н. Бора в его методологическом понимании, ибо эксплицитные и имплицитные формы мысли являются эквивалентными, и речь может идти об их взаимодополнении, хотя и сама рассматриваемая проблема теснейшим образом связана с языковой действительностью и имплицитируется из гипотезы Сепира — Уорфа.

Принцип лингвистической дополнительности во многих случаях выступает как более действенный прием исследований определенных явлений, когда он применяется во взаимодействии с принципом дополнительности Н. Бора. Оба названных принципа должны найти свое подобающее место в методологическом и теоретико-познавательном инструментарии диалектического материализма*.

* Более подробно о проблемах, анализируемых в данной главе, см. в книге Г. А. Брутяна «Очерки по анализу философского знания» (Ереван, 1979).

Глава 15. Анализ языка науки и гносеология

Понятие «язык науки» — одно из основных в методологии современного научного познания. Анализ языка науки является исследованием его выразительных возможностей, ограничений, принимаемых ученым вместе с данным языком. Предметом изучения, таким образом, становится вклад языка в картину мира, создаваемую с его помощью.

И постановка вопроса, и само понятие «язык», требуемое для этого, восходят к языкознанию конца XIX — начала XX в. С обычной, интуитивной точки зрения язык представляет собой такую совокупность средств выражения, закрепления, формулирования мысли, которая безразлична к ее содержанию. Эти средства образуют «всего лишь язык», идет ли речь о русском или английском языке, о том или ином стиле или способе выражения. Лингвистика выработала представление о языке как об определенной структуре, а не просто о наборе выражений, которые надо запомнить и научиться употреблять. Имея в виду структуру, уже можно говорить о роли языка в постижении мира. Дискуссии на эту тему ведутся в языкознании больше столетия.

Однако в методологию науки понятие «язык науки» пришло не из лингвистики, а из логики. Не скоро было осознано и родство проблем, связанных с анализом языка науки, с аналогичными проблемами философии языка, быть может наиболее остро поставленными американскими лингвистами Э. Сепиром и Б. Уорфом. В логике после Г. Фреге стало само собой разумеющимся, что (интерпретированные) исчисления представляют собой язык определенного рода, вполне сравнимый по некоторым параметрам с «естественными» языками.

Разумеется, такое понятие является результатом абстрагирования от различных смыслов, в которых может употребляться слово «язык». Само по себе это не является препятствием для использования такой абстракции. Важно, чтобы характеристика, приемлемая для какого-либо конкретного словоупотребления и неприемлемая

для другого, не воспринималась как существенная черта языка вообще.

Прежде чем обсуждать подобные характеристики и общие определения языка, уместно сказать о традиции, к которой они восходят. Общему подходу к логике, математике и т. д. как к языку определенного рода предшествовало метафорическое представление о математике как о языке науки. К числу наиболее ранних формулировок такого представления относится известное выражение Галилея о том, что книга природы написана на языке математики. Подобные представления в условиях своего времени отнюдь не были столь безобидными художественными образами, как это может сейчас показаться. Дело в том, что Библия закрепляла архаичные представления о слове как о внутренней сущности мира, его законосообразности, подобной, согласно религиозным воззрениям, законоустановлениям и императивам, функционирующим в обществе.

«Божественное слово» ассоциировалось с седьмым днем творения и соответственно с одной из координат мира, а именно верхней, небесной координатой. По библейским представлениям, «божественное слово» было записано на небесах, и апокалипсические пророчества гласили, что конец мира будет выглядеть как «сворачивание небес», на которых закон мироустройства записан. Мог возникнуть кощунственный вопрос: на каком именно языке бог записал на небесах свои законы? Хотя теология знала понятие сакрального (священного) языка, тем не менее явно, конечно, такой вопрос не обсуждался. Представление о языке математики было в данном случае расширением понятия «язык», как будто бы напрашивавшимся в данном контексте, но не менее кощунственным.

Европейская наука проделала путь от метафоры Г. Галилея до мечты Г. В. Лейбница об «универсальной характеристике» — языке науки, подобном математике и настолько универсальном, что он заменял бы споры вычислениями. Надежды на создание такого языка были столь живучими, что развитие алгебры кватернионов во второй половине XIX в. воспринималось на родине ее, в Великобритании, как реализация программы Лейбница¹. Новый этап в развитии логики, связанный с именами Буля и Фреге, многими воспринимался как осуществление Лейбницева идеала. Представлялось, что созданный в результате переработки математики «искус-

ственный» формализованный язык будет самым надежным средством для чтения «книги природы», во всяком случае для уяснения смысла того, что в этой книге прочтала наука.

Если Г. Фреге и Б. Рассел представляли свой труд по созданию логического языка как обнажение логической структуры, общей и математике, и естественным языкам, то результаты К. Гёделя и А. Тарского породили новый взгляд на соотношение этих языков. Чтобы не возникали логические противоречия, язык не должен быть замкнутым, т. е. не должен содержать в себе средств доказательства собственной непротиворечивости. Поскольку четкое различие языковых и метаязыковых средств свойственно только формализованному языку, естественный язык рассматривался создателями логической семантики как ущербный, недостойный доверия науки². Правда, как заметил Й. Бар-Хиллел, оказывалось парадоксальным то обстоятельство, что рассуждения, дискредитирующие естественный язык, строились средствами того же естественного языка. Учитывая это обстоятельство, Тарский несколько смягчил оценки: естественный язык был бы противоречивым, если бы логическая структура была в нем четко выраженной.

Не касаясь здесь дискуссий в зарубежной логико-философской литературе по вопросам сравнительной оценки «искусственных» (формализованных) и естественных языков, отметим, что их сравнение в рамках логической семантики может вызвать сомнение. В самом деле, можно ли утверждать, что естественный язык содержит (или не содержит) средства доказательства чего бы то ни было? Относятся ли логические структуры к естественному языку? Овладение незнакомым языком гарантирует лишь возможность общаться, но не возможность отличать истину от лжи, поэтому напрашивается вывод, что в самой постановке вопроса («Является ли естественный язык замкнутым?») кроется какая-то путаница. Поскольку же язык науки рассматривается обычно как что-то среднее между искусственным (лого-математическим) и естественным, эта путаница может оказаться особенно опасной при характеристике языка науки.

Что же такое язык с точки зрения логики? Любое определение языка включает характеристику используемых в нем знаков (алфавита) и правил сочетания знаков, позволяющих отбирать среди всех возможных

знакосочетаний те и только те, которые в некотором смысле принадлежат языку. Такая общая идея, казалось бы, подходит для характеристики любых языков в наиразличнейших смыслах этого слова. Принимаемые в логике и лингвистике характеристики языковых систем, однако, не ограничиваются столь бесспорными чертами. Обобщая существующие определения языковых систем, Е. Д. Смирнова группирует их следующим образом: язык может пониматься как множество правильно построенных выражений, состоящих из элементов алфавита; как множество (неинтерпретированных или интерпретированных) правильно построенных выражений вместе с процедурами преобразования одних выражений в другие³. Обязательным условием является требование эффективности, т. е. наличия процедур, позволяющих распознавать выражения, принадлежащие данному языку, и отличать их от выражений, данному языку не принадлежащих.

Наиболее естественно считать общим определением языка его характеристику как множества интерпретированных выражений, построенных из заданного алфавита по определенным правилам; присоединение к такой характеристике правил преобразования означало бы рассмотрение языка вместе с логикой⁴. Но на пути к такому определению существует ряд препятствий. Прежде всего не удастся обнаружить такую процедуру, которая применительно к естественным языкам была бы эффективным средством распознавания его правильно построенных выражений. Пользуясь ставшим знаменитым примером Н. Хомского, можно сказать, что такая процедура должна была бы забраковать выражение «бесцветные зеленые идеи яростно спят» как неправильное с языковой точки зрения. Однако не удастся найти лингвистических соображений, которые позволили бы исключать подобные фразы, тем более что нет уверенности в том, что когда-либо не найдется контекст, в котором подобная фраза окажется вполне уместной. Вместе с тем совершенно ясно, что естественные языки эффективны: каждый говорящий на данном языке без труда решает на практике задачу, теоретическая формулировка которой порождает столько проблем.

Итак, естественный язык замкнут, но позволяет рассуждать непротиворечивым образом; эффективен, но не позволяет сформулировать процедуру разрешения. Эта парадоксальная ситуация, очевидно, отражает не труд-

ности дефиниции, а реальные сложности, связанные с попытками отделения собственно лингвистического от нелингвистического.

Обращение к семантическим соображениям в логике выглядит иначе, чем в лингвистике. Конечно, необходимость принимать во внимание семантику воспринималась исследователями 30-х годов как крушение ранних идеалов обоснования науки — абсолютно надежными казались лишь такие способы анализа языка науки, которые позволяли бы апеллировать исключительно к внешнему виду знаковосочетаний и их преобразований, т. е. к синтаксическим соображениям. Однако обращение к семантике не нарушало требований однозначности оценки языковых выражений в логике. Современная логическая семантика строится строго формально, «синтаксически», и логика не смущает такой способ построения формализованного языка, когда система дедуктивной логики явно зависит от принимаемой семантики.

Лингвистические исследования, стимулировавшиеся потребностями вычислительной техники, с шестидесятых годов также все чаще апеллируют к семантике. Чисто теоретические исследования приводят к заключению, что решение ряда собственно лингвистических задач невозможно без учета определенной нелингвистической информации, определенных знаний о мире. Это до некоторой степени обескураживающий результат, поскольку неясно, возможно ли знание языка, независимое от контекста его использования. А такая зависимость языковых явлений означает их существенную неоднозначность.

В области кибернетических применений логики и лингвистики наиболее эффективными оказались как раз те исследовательские программы, в которых учитывалась погруженность интеллектуальной деятельности в некоторый контекст. В рамках конкретной концептуальной схемы («фрейм») машина успешнее решает сложные «интеллектуальные» задачи. В 70-х годах значительных успехов добилась группа исследователей Стэнфордского университета (Р. Шенк, К. Ризбек и др.), программа которой пересматривала многие устоявшиеся логико-лингвистические представления, и прежде всего представление о том, что решение интеллектуальных задач происходит в языковой форме. Здесь существенно подчеркнуть следующие выводы: «В своих первых исследованиях мы были не особенно озабочены проблема-

ми человеческого интеллекта (как-то: намерения, дедукция, умозаключения и т. д.), однако язык очень трудно отделить от них. Изучение языка в действительности не может быть оторвано от ситуаций, в которых он используется. Нет такой грани, где кончается язык и начинается память, намерения или убеждения. Следовательно, мы оказались вовлеченными в попытки моделирования почти всех аспектов интеллектуальной деятельности, которые связаны с языком. Другими словами, мы пытаемся заставить машину разговаривать, и единственный способ сделать это — заставить ее также немножко мыслить»⁵. Давно стало привычным утверждение, что невозможно мыслить, не зная языка. Развитие науки вносит в него кое-какие коррективы, не отменяя его целиком. В то же время мы должны привыкнуть к тому, что невозможно знать язык, не умея мыслить. Вероятно, «чисто лингвистической информации» просто не существует, она является плодом абстракции.

В итоге можно утверждать следующее: понятие «язык» употребляется в существенно различном смысле, когда говорят о формализованном языке (логики и математики), естественном языке, языке науки. Построение формализованных языков имеет целью явно сформулировать процедуры дедуктивного вывода. Естественный язык складывался прежде всего как орудие коммуникации и средств вывода (следования, доказательства) не содержит. Язык науки — это прежде всего ее понятийный аппарат. Перенесение на естественный язык (и, возможно, на язык науки) таких понятий, как «эффективная процедура», вероятно, незаконно: то, что в формализованном языке достигается в конечное число шагов благодаря эффективной разрешающей процедуре, в рассуждениях, ведущихся на основе естественного языка, достигается на основе некоторых смысловых принципов, неязыковой информации, «знаний о мире». Само соединение коммуникации и рассуждений, естественного языка и логики, не следует представлять в качестве некоего внешнего «слепливания» правил дедукции с правилами построения правильных выражений данного естественного языка. Загадочный эквивалент «эффективной процедуре» в естественных языках — результат их непосредственной связи с контекстом рассуждения.

Принимая это во внимание, попытаемся представить, каким условиям должно было бы удовлетворять общее

определение понятия «язык», подходящее также для языка науки.

Наличие «алфавита» и правил соединения знаков в знакосочетаниях (быть может, и не обеспечивающих эффективность процедур распознавания лингвистических явлений), конечно, является обязательным условием характеристики языка. При этом нужно иметь в виду следующее обстоятельство. Мы говорим и о языке животных, и о различных видах человеческих языков, иногда удовлетворяясь одной характеристикой: наличием материальных, знаковых средств — носителей некоторых сообщений, команд и т. п. В конце 60-х годов исследования в области зоосемиотики дали важный результат, позволяющий связать ее с эволюционной биологией: оказалось, что число сигналов у каждого вида позвоночных ограничено величиной, находящейся между 10 и 50. Число сигналов в различных системах звуковой сигнализации обезьян (от 20 до 40) соответствует среднему числу фонем в естественных языках. По-видимому, это связано с объемом оперативной памяти, мало изменяющейся в процессе эволюции центральной нервной системы. «Развитие шло не по пути увеличения числа первоначальных сигналов, а в направлении их превращения из неразложимых на части знаков-сообщений в элементы, из которых складываются единицы высших уровней (у обезьян в системе звуковой сигнализации отсутствующих)»⁶. Иерархичность, связанная с разложением знаков-сообщений на элементы, из которых могут быть построены сколь угодно сложные сообщения, является специфической чертой человеческих языков, и там, где алфавит и правила построения отсутствуют, можно говорить о переносном значении слова «язык».

Второе обстоятельство, связанное с отмеченным выше, заключается в относительной независимости смысла языкового выражения от контекста использования. Звуковой сигнал, смысл которого полностью зависел бы от контекста, как раз и является неразложимым на элементы сообщением; смысл сообщения, передаваемого иерархически организованной системой элементарных знаков, должен быть в весьма существенной степени независим от условий, в которых оно воспринимается, и определяться знаковыми составляющими.

Наконец, третье обстоятельство (или, лучше сказать, наблюдение) заключается в том, что в человеческом обществе всегда наличествовало множество языковых сис-

тем. Древнейшими взаимодействующими системами были звуковой язык и язык жестов, которые, согласно некоторым гипотезам, были на ранних этапах антропогенеза более важным средством коммуникации, чем звуковой язык. Вероятно, взаимодействие знаковых систем, основанных на звуковом и зрительном восприятии сигналов, основано на взаимном дополнении функций левого и правого полушарий головного мозга: правое полушарие управляет прежде всего восприятием пространственных отношений, зрительным восприятием, левое — более абстрактными отношениями и речевой деятельностью.

Если исходить не из дефиниций, а из описания исторической реальности, то можно говорить о следующих основных фактах, касающихся статуса языка (языков) в человеческом обществе. Изначально функции языка в широком смысле слова, охватывающем системы коммуникации и в животном мире, не связаны прямо с интеллектуальной деятельностью (или ее зачатками у животных). Остается открытым также вопрос, кодируются ли у человека смысловые единицы в единицах языковых. Языки (этнические языки, диалекты, говоры и т. п.) функционируют прежде всего как средства коммуникации между сообществами и поколениями. Однако процесс духовного производства, производства явлений культуры неизбежно связан с опредмечиванием некоторых смысловых отношений в системах знаков, их координированием, расшифровкой и перекодированием. Эти системы знаков не имеют уже всех функций, которые вызвали к жизни этнические языки, и приобретают новые функции. В этом смысле они весьма условно могут быть названы языками. Однако поскольку такие знаковые системы, во-первых, служат также средством межличностного общения, во-вторых, организованы иерархически, по типу языков, свойственных лишь *Homo sapiens*, то вполне законно называть их «языкообразными системами», «квазиязыками» или просто «языками». Речь идет не о терминологии, а о тенденции явлений культуры организовываться по тому же образцу, что и система общения — этнический (естественный) язык.

Если говорить об определениях, то трудности начинаются с определения элементов алфавита каждого из таких языков. При построении формализованных языков эта проблема решается просто: два и более конкретных написания некоторого элемента, допустим бук-

вы, объявляются «представителями» некоей абстрактной буквы на основании абстракции отождествления (графического тождества). Здесь речь идет о тождественности даже не знаков письменного языка, а отпечатков типографской буквы. Работы в области распознавания образа машиной показывают, сколько трудностей надо преодолеть, чтобы научить машину отождествлять знаки, отождествляемые человеком без всякого труда.

Можно было бы объявить элементами языка не сами по себе конкретные написания и произнесения знаков («знаки-события»), а их абстрактных представителей, эталоны, позволяющие отождествлять и различать «знаки-события». Так, в частности, понимал языковые знаки де Соссюр. Однако это закрывало бы возможность опираться при описании языков на предметный, материальный мир, в котором реализуются смысловые отношения, ибо эталон сам по себе является феноменом психики. Остается отождествить элементы языка с *классами* материальных явлений — знаков, так что каждый элемент может рассматриваться в качестве представителя класса. Элементы в данном случае объединяются в класс на основании внешнего подобия, но это — подобие *для человека*, и, лишь сильно упрощая дело, можно абстрагироваться от последнего обстоятельства и говорить об «абстрактных» и «конкретных» знаках (буквах и т. п.), отождествляемых на основании их графической неразличимости.

Если в качестве элементов алфавита рассматривать реальные материальные знаки, то повторное произнесение одного и того же слова придется считать перекодированием — ведь звучания в каждом конкретном случае различны! Но, отказываясь от таких крайностей, мы должны ответить на вопрос: а что, если действительно имеет место перекодирование, например, как в письменной передаче устного текста? Не следует ли считать письменный язык новым языком по сравнению с устным? Это следовало бы из некоторых определений языка, удобных для формализованных языков, но противоречило бы не только обычному словоупотреблению, но и фактам: в том исходном смысле, в котором мы понимаем слово «язык» применительно к этническим языкам, создание письменности не есть создание нового языка. Естественнее поэтому предположить, что свойством любого языка является неограниченная возможность его перекодирования, что можно рассматривать как след-

ствие условности знака, его несвязанности со смысловым содержанием ничем, кроме социально закрепленных связей.

В таком случае основой языка являются не знаковые, а скорее некие смысловые единицы (так что даже о фонемах можно говорить, что разные знаковые их представления, например в устной речи и на письме, имеют один смысл). Не лучше ли было бы теперь отказаться от трудноуловимой сущности «смысл» и заменить ее чем-то более ясным, например «сообщение», а дальше уточнять понятие на теоретико-информационной основе? Как бы ни были широки возможности использования понятия «сообщение», неверно было бы сводить многообразие осмысления мира, многоликость смысловых нагрузок к сообщениям. Язык музыки — а в свете сказанного, бесспорно, можно говорить о таком языке — было бы непростительной вульгаризацией сводить к средствам передачи неких сообщений. О сообщениях правомерно говорить тогда, когда соответствующий язык создается для передачи и хранения *знаний*.

О каких же смысловых единицах тогда приходится говорить, если даже отождествление и различение элементов алфавита, допускающих всевозможные варианты и перекодирования, производится с учетом каких-то смысловых отношений? Что заставляет нас считать выражения «столом» и «стола» вариантами одного слова, а «перешел» и «переел» — разными словами? Запоминаем ли мы языковую форму услышанного предложения или только смысл его, в какой форме он кодируется в памяти? Эти вопросы связаны с отождествлением и различением знаковых последовательностей в различных языках и тем самым с проблемой эффективной процедуры распознавания (хотя к ней и не сводятся).

Общую картину можно представить следующим образом ⁷.

Предположим, что владение данным языком позволяет при восприятии некоторого смысла, выраженного в знаковой последовательности, сформулировать совокупность некоторых ожиданий (пока не уточняя этого понятия). Следующая знаковая последовательность как-то влияет на эти ожидания, быть может ограничивая их количество, быть может делая одни из них более вероятными; она может также порождать новые ожидания. Знаковая последовательность принадлежит данному языку, если она порождает в нем ожидания либо влияет

на уже существующие. Поскольку не предполагается, что ожидания кодированы в знаках данного языка (в системах упомянутого типа предполагается даже обратное), для произвольной совокупности знаков вне контекста бессмысленно спрашивать, принадлежит ли она данному языку. В контексте этот вопрос всегда разрешим. Если возможности перекодирования в рамках языка ограничены и если предполагается, что смысловые единицы закодированы средствами данного языка, эффективная процедура распознавания может быть сформулирована и для произвольной совокупности знаков. Вопрос о процедуре распознавания сводится, таким образом, к тому, как закодированы единицы смысла и в какой степени язык допускает возможность перекодирования языковых выражений. Наверное, наибольшее различие в этом отношении между языком науки и поэтическим языком.

Рассмотрим такой частный случай, когда языки создаются для передачи *сообщений* о некотором положении дел, т. е. для аккумуляции знаний. Ожиданиями в таком случае будут описания некоторого возможного положения дел, или гипотезы. Если знаковые последовательности (выражения данного языка) влияют на вероятность некоторых гипотез, то мы назовем их аргументами («за» или «против») относительно данных гипотез.

В какой форме кодируются ожидания реально, так сказать, в человеческой голове? В программах для искусственного интеллекта предполагается, что способ кодирования принципиально отличен от обычных языковых выражений, так как должно быть допустимо известное многообразие языковых формулировок ответа, иногда при пренебрежении тонкостями грамматики. Можно в связи с этим вспомнить старые исследования по психологии творческого мышления. Изучение ответов крупных ученых показало, что кодирование смысловых отношений у каждого из них сугубо индивидуально (Эйнштейн, например, говорил, что мыслит музыкальными и кинетическими образами). Вопрос, очевидно, не в том, как надо кодировать смысловые единицы, а в том, с какой точностью различимы и отождествимы языковые выражения, соответствующие ожиданиям в данном языке. Уже констатация того факта, что ожиданию может соответствовать множество языковых выражений, означает, что кодироваться это множество может любым выражением, эквивалентным для данного индивида дан-

ному множеству. Для машины код, конечно, должен быть определен.

Точность, с которой отождествляются и различаются языковые выражения в рамках данного языка, зависит от задач, решаемых средствами этого языка. Все системы, призванные воспринимать некоторые сообщения и получать «прирост знаний», решают в принципе, по-видимому, однотипные задачи — оценивают ожидания гипотезы на основе аргументов. В обыденной жизни и материально-практической деятельности решение интеллектуальных задач составляет одно из звеньев практики, за которым тут же следует обращение к опыту. В науке складывается такая форма решения практико-эмпирических задач, когда они, возникая в опыте, сводятся к иному классу задач — задачам теоретическим, решаемым на особом виде объектов таким образом, что решение это заменяет практические операции и легко переносимо обратно в опытную сферу. Таковы, например, задачи счета, умножения и т. д. в арифметике, задачи, решаемые на картах и схемах, которые можно отнести к одним из самых ранних теоретических построений: измеряя или прокладывая маршрут на карте, мы заменяем этими операциями практические действия, требующие больших усилий.

Следует подчеркнуть, что теоретические решения никогда не являются результатом операций над *знаками*: мы никогда не умножаем, не вычитаем и т. д. *цифр*, а всегда производим абстрактные действия над абстрактными объектами — *числами*; эти абстрактные объекты каждый раз кодируются знаками, отождествляемыми на основании графического равенства (тождества). В идеале в науке, таким образом, не должно быть перекодирования одних и тех же смысловых единиц, а следовательно, должна существовать эквивалентность «знак — смысл» («два разных знака — два разных смысла»). Это дает возможность фиксировать преобразования информации в виде преобразований над знаками, совершаемых по некоторым правилам. В идеале, следовательно, преобразование информации уподобляется перекодированию, представляется в виде перифраза.

Если последовательно проводить семантическую точку зрения при сопоставлении языка науки и естественного языка, то приходится признать, что сопоставляем мы не что иное, как определенные *системы знаний*: знания донаучные, или уровень здравого смысла, и знания

научные, организованные в теории. Господствовавшее до конца 50-х годов в формальной лингвистике стремление построить лингвистику без семантики сменилось явным принятием принципа старой лексикографии, согласно которому «сущность, называемая (лексическим) значением слова, — это не научное, а «наивное» (по Л. В. Щербе — «обывательское») понятие о соответствующей вещи...»⁸. По-видимому, неудачно само выражение «естественный язык», ибо во всех случаях речь идет об анализе языковой формы явлений не «натуры», а культуры.

Что касается различения языка науки и формализованных языков логико-математического типа, то полезно прежде всего принять во внимание, что эти языки сами являются научными теориями, описывающими некоторые реальные рассуждения, доказательства, логические исследования. Это, казалось бы, очевидное обстоятельство не всегда принимается во внимание в методологии науки. Существенные изменения методологической ситуации в науке после середины 60-х годов требуют его учета.

Революция в естествознании и кризис оснований математики на рубеже XIX и XX столетий поставили перед методологией науки две тесно связанные проблемы: 1) анализ степени достоверности, обоснованности, истинности основных положений фундаментальных наук; 2) анализ смысла терминов и утверждений теорий высокой степени абстрактности. Для выполнения обеих задач был широко использован аппарат формальной логики, получившей новую жизнь на основе идей и методов математики. Идеология, господствовавшая в формальной позитивистской методологии науки в 30 — 50-х годах, отчетливо выражена в следующих словах Р. Карнапа: «Философию следует заменить логикой науки, то есть логическим анализом понятий и утверждений отдельных наук, поскольку логика науки является не чем иным, как логической составляющей языка науки»⁹.

Остановимся на тех логико-методологических установках, которые связаны были с общей методологической обстановкой 30 — 50-х годов и ограниченностью инструментария анализа языка науки.

Никем не доказано, что на логическом языке выражимы и разрешимы все обсуждавшиеся в философии науки XX века проблемы. Стремление рассматривать в

методологии науки только такие проблемы, которые выразимы на языке логики, основано на недоверии к иным их формулировкам. В середине 30-х годов такое отношение к логике можно было уже считать анахронизмом. Следует, однако, принять во внимание, что реализация программы логицизма еще давала положительные результаты: продолжалась работа по выражению математических понятий на языке «чистой логики» и по обоснованию всей существующей математики на основе аксиом и правил вывода (аксиоматические теории множеств). Более того, если логицизм Фреге — Рассела, провозглашая логику единственным надежным языком, запрещал говорить о логике, то в период логической семантики, начатый работами Тарского и Карнапа, можно было говорить о логике, сохраняя логицистские установки, — надо было только строго различать метаязыковой и языковой уровни разговора. Логическая семантика открывала новые возможности для исследования методологических проблем науки средствами логики. Иными словами, само по себе вторжение логических методов в методологию науки оказалось перспективным, в частности для делового обсуждения проблем, являвшихся предметом спора между формализмом и интуиционизмом.

Существенные изменения общего подхода к анализу языка науки продиктованы новой методологической ситуацией, сложившейся в середине 60-х годов. Здесь следует прежде всего отметить доказательство П. Коэном в 1963 г. независимости континуум-гипотезы. В общем это как будто не вносило совершенно новых представлений в общую работу по основаниям математики. Уже теоремы Гёделя и Тарского показали, что обоснование нельзя понимать как выведение математики из некоей основы, как построение общей дедуктивной теории, в которой найдут место основные, базисные положения математики. Все усилия в этой области были направлены на установление совместности отдельных аксиом, и результаты Коэна были вполне в этом плане: Гёдель в свое время показал, что континуум-гипотеза совместна с аксиомами теории множеств, Коэн показал что и отрицание континуум-гипотезы совместно с ними. Однако если раньше каждый раз обнаруживалось, что с формализацией «наивных» истоков аксиоматических теорий множеств как будто все в порядке, то теперь возник вопрос: а какова же ситуация «на самом деле»? Все-таки суще-

ствовала надежда, что, хотя и нельзя найти такой логической вышки, которая позволила бы с высоты, извне посмотреть единым взором на картину оснований математики, эта картина все же существует. Теперь зависимость мира математических сущностей от принимаемых предпосылок описания стала очевидной.

Результаты Коэна имели и иные, совсем неожиданные последствия. Использование примененного им метода в работах по алгебраической топологии привело к сближению исследований в основаниях математики с математической теорией категорий; возникло совершенно новое, не логическое и не теоретико-множественное, а теоретико-категорное обоснование математики. Логика потеряла монополию на обоснование математики. Оказалось, что ее использование уместно лишь для вполне определенных целей. Отказ от логического пуризма, использование достаточно сильных средств в семантике позволили получить хорошее обоснование различных логических систем (работы Хинтиikka, Крипке, Монтегю и др.). Сегодня существует множество логических теорий, на основе которых может быть осуществлен анализ языка науки, однако для их семантического обоснования явно применяются математические средства (теория множеств, алгебра, топология), так что говорить о логическом фундаменте математики трудно даже там, где для решения математических проблем используется логический язык.

Что же такое логика, логическое следование? Иными словами, в чем различие между следованием в силу содержательных соображений, основанных на знании фактов, и следованием на основе законов логики? Традиционный ответ на этот вопрос основывался на технике логической реконструкции языка науки: первоначально строились «чисто логические» языки, затем они расширялись таким образом, что можно было получить математику, затем предполагалось расширить их так, чтобы охватить и эмпирические науки. Проблема, таким образом, сводилась к определению границ между «чистыми» и «прикладными» логическими исчислениями. Теперь вопрос о границах собственно логического приобрел новую остроту в связи с тем, что оказалось неясным, в какой степени свободным от математических допущений является даже классический первопорядковый язык. Несомненно вместе с тем, что многочисленные логические теории являются логическими по крайней мере в том

смысле, что они формализуют рассуждения специфического рода. Временные логики, например, формализуют рассуждения, для которых существенны параметры времени, каузальные логики — соответственно рассуждения с параметрами причинности и т. д.

Отношение к логическим языкам как к «всего лишь» формализациям, теоретическим реконструкциям реальных рассуждений позволяет пересмотреть некоторые логицистские по своей природе установки относительно эмпирических наук. С логицистской точки зрения о дедукции и доказательстве вообще можно говорить лишь постольку, поскольку рассуждение сводимо к некоторой его реконструкции в логическом языке. Иными словами, в эмпирических науках доказательствами оперируют лишь в той мере, в какой пользуются языком математики, или доказательной является лишь математическая часть эмпирических теорий. Что касается данных опыта (наблюдения и эксперимента), то соответствующие предложения либо являются интерпретацией теории, либо имеют (в качестве элементов теории) вероятностный и гипотетический статус. Такая установка противоречит интуиции исследователя, привыкшего относиться к фактам не как к иллюстрациям теоретических выкладок, а как к аргументам и доказательствам. Менее явно, но не менее существенно она противоречит практике естествознания и в том, что касается смысла утверждений и терминов теории.

В эмпирических теориях выделяются два языка: язык теории и язык наблюдения. Первый содержит как дедуктивную, или логико-математическую, часть, так и вероятностные по истинностному статусу теоретические утверждения, являющиеся результатом перевода некоторых наблюдений с языка наблюдения на язык теории. Смысл теоретических терминов и высказываний определяется путем интерпретации на данных наблюдения. Логическая реконструкция языка наблюдения порождала серьезные трудности: так, даже для простых случаев введения теоретических терминов на базе наблюдения («диспозиционные предикаты») классический аппарат первопорядкового языка оказывался, по-видимому, слишком грубым инструментом, к тому же язык наблюдения в качестве теории измерения должен был содержать математику и фрагменты естественного языка, т. е. оказывался очень сложным. Проблема перевода с языка наблюдения на язык теории оказывалась

эквивалентной проблеме перевода для естественных языков.

В то же время интересовавший «логических эмпиристов» результат как будто бы был получен на заре развития формальной методологии науки, когда Ф. Рамсей доказал, что если предположить наличие у теоретических терминов хороших соответствий в «языке наблюдения», то эти термины можно исключить и соответствующие утверждения теории можно выразить в терминах языка наблюдения. Вопрос, казалось бы, сводился только к сравнительной сложности обоих языков и практической целесообразности исключения теоретических терминов. Исследование механизма взаимосвязи теоретического и эмпирического средствами логики оказывалось уже малоинтересной детализацией. Результаты Рамсея были истолкованы как свидетельство того, что теория всего лишь систематизирует и упрощает данные наблюдения и эксперимента, а следовательно, вопрос о реальности атомов, электронов, позитронов и т. д. не более чем лингвистический вопрос.

Но результаты Рамсея могут быть истолкованы и иначе. Спорным является не пресловутый вопрос о сводимости теоретических предложений к предложениям языка наблюдения. Такая сводимость, вообще говоря, означает лишь то, что основные теоретические термины хорошо определены операционально, а без этого теория не может быть хорошим инструментом практики. Однако сводимость теории к эмпирии в этом смысле отнюдь не означает, что смысл, содержание теоретических утверждений исчерпывается указанием на соответствующие наблюдения.

Если логические языки — это теории, не тождественные реальному процессу рассуждения, формализующие его с разных сторон и с разной степенью точности, то можно сформулировать и интуитивное представление о выводе, подлежащее формализации. С точки зрения интуиции рассуждения и доказательство есть перебор гипотез с целью исключения всех, кроме одной. Если при этом аргументы берутся из наличных знаний или получаются из них путем вывода, такое рассуждение можно считать дедуктивным. В эмпирических науках нередко известно, какой аргумент нужен, но получить его можно только путем эксперимента или наблюдения, а не из наличного знания. Структура вывода при этом не меняется, но эмпирия становится источником дока-

зательства. Если речь идет только об оценке вероятности соответствующих гипотез, знание имеет вероятностный характер. Иное дело, что при переходе к новой теории истинностная оценка доказанных ранее положений может изменяться; но она изменяется вместе со смыслом этих положений, зависящим от теоретического контекста.

С этой точки зрения можно уточнить выражения «не иметь смысла для данной теории», «иметь один и тот же смысл для данной теории». Обычно принимается, что операциональное определение теоретических понятий должно опираться на описание процедур измерения. Но как описать независимо от теории, например, измерение времени? Что общего между такими инструментами измерения времени, как песочные часы, обычные пружинные часы, электронные часы? Простой вопрос: «В чем разница между метрами и килограммами?» — не решается ссылками на линейки и гири. Очевидно, что теоретические соображения определяют способы измерения, а выбор единиц измерения и соответствующих инструментов не влияет на теоретические результаты. Можно говорить в данном случае о возможностях перекодирования, не влияющего на теоретические результаты.

Но тогда проблема «язык теории — язык наблюдения» ставится в несколько иной плоскости и ином контексте, в контексте различения вариантных и инвариантных величин. Для геометрии неважно, в каком месте доски и под каким углом к ее краю рисовали мы чертеж, по которому проводили доказательство; но именно это и следует из того обстоятельства, что Евклидова геометрия изучает свойства фигур, инвариантные относительно поворотов на угол и перемещений на плоскости. Конкретные координаты фигуры оказываются данными, позволяющими перекодирование и не имеющими геометрического смысла; геометрия формулирует такие правила перекодирования, которые сохраняют интересующие ее свойства.

Утверждение, что некоторые выражения, например конкретные координаты фигуры, не имеют смысла для теории, не означает вовсе, что они не имеют смысла вообще: не умея определить координаты, мы не сумеем ничего измерить. Отделяя вариантное от инвариантного, мы совершаем нечто большее, чем отделение языка теории от языка наблюдения: мы отделяем то, что кодируется и

перекодируется, от того, как оно кодируется и перекодируется. Иначе говоря, теория задает способы классификации явлений действительности. Анализ языка науки делает явными эти способы классификации. Гносеологический же, философский, вопрос состоит в том, являются ли способы классификации чем-то большим, чем конвенциональное определение.

Практика науки показывает, что выбор средств классификации и определений свободен и условен, но последствия за выбор ученый несет перед истиной: если избранная классификация не имеет ничего общего с явлениями, она окажется неэффективной на практике. Принятая система классификации мира и определяет, какие выражения имеют для теории один и тот же смысл, какие — разный. Если выражения влияют на вероятность теоретических гипотез в точности одинаковым образом, они имеют для теории один и тот же смысл. Так, на различные гипотезы относительно движения тела в данной системе одинаково влияют утверждения о том, что система покоится и что система движется равномерно и прямолинейно; эти различные с точки зрения обыденного сознания утверждения имеют для классической механики один и тот же теоретический смысл.

Если в эмпирических науках два различных с точки зрения опыта, эксперимента, наблюдения языковых выражения имеют для теории один и тот же смысл тогда и только тогда, когда они одинаково влияют на любую теоретическую гипотезу, то в их логических формализованных реконструкциях один и тот же смысл имеют логически эквивалентные предложения. Формулировка этого принципа в классическом первопорядковом языке может рассматриваться как предельный случай, соответствующий идеалу формализации.

Реально существующие научные теории в различной степени неполны, зависят от эмпирических аргументов, близки к идеалу формализованного языка. В общем случае необходимо различать теорию как совокупность текстов (или один текст), построенную средствами некоторого языка (аналогия лингвистическому «речь»), и сами теоретические средства (аналогия лингвистическому «язык»). В предельном случае формализованного языка с эффективной процедурой распознавания языковых выражений задание «языка» эквивалентно заданию всего (бесконечного) множества языковых выражений (текста, речи), и от различия между «языком

теории» и «теорией как языком» можно абстрагироваться.

Крушение логицистских иллюзий, невыполнимость программы полной формализации научного знания отнюдь не означает дискредитации логики в современных условиях. Напротив, совершенствование формальных методов анализа интеллектуальной деятельности приносит не только все более практически полезные для машинного моделирования, но и теоретически интересные для анализа языка науки результаты. Исследуются смысловые структуры систем знаний, как дотеоретических, так и теоретических, некоторые стандарты построения картины мира (структуры «фреймов», парадигмы науки и т. п.). Логические теории вопросов ориентируются на все более широкую типологию вопросно-ответных отношений, вытекающую из отмеченных стандартов объяснения. Логические теории все более разнообразным способом учитывают специфику контекстов рассуждения.

Расширение возможностей логического анализа языка науки не только не снимает с повестки дня философскую оценку его результатов, но и делает ее все более необходимой. Сами по себе итоги логического анализа получали на протяжении последних десятилетий различнейшую философскую оценку и философское истолкование. Вместе с тем практика развития науки вновь и вновь выдвигала вопрос: что стоит в объективной действительности за теми или иными научными абстракциями?

Обращаясь к классическим сравнениям, можно говорить о книге природы, которую человечеству надлежит читать и понимать. С тем уточнением, что книги, конечно, пишут только люди. Анализ К. Марксом полезности как объективного свойства вещей и как продукта исторического развития общества является образцом для понимания метафоры о «книге природы», сопровождающей всю письменную историю человечества. Как полезность вещи зависит исключительно от ее природных свойств, а не от чьих-либо желаний, так и «информационная полезность» природных явлений объективна, независима от воли и желания исследователя. Но раскрытие полезных свойств вещи — дело исторического развития человека; равным образом культурно-историческая практика делает объективные процессы и явления «сообщениями», «информацией», природу —

«раскрытой книгой человеческих сущностных сил». Для «чтения» этой «книги» создаются понятия все более высокой степени абстрактности, следовательно, все более односторонние и лишь в совокупности дающие мысленно-конкретное. Анализ языка науки и является в конечном итоге анализом тех ограничений, которые накладываются на теоретическое мышление принятием данных абстракций, и, следовательно, философским самосознанием науки.

Глава 16. Формализованные языки: их познавательные возможности и внутренняя ограниченность

Языки, построенные на основе четко сформулированных синтаксических и семантических правил, все шире используются в различных отраслях современного научного познания. Использование языков с точно заданной структурой послужило мощным стимулом развития формальной логики и дало новые средства для исследования проблем оснований математики. Техника построения и исследования формализованных языков все шире используется в лингвистике для моделирования определенных аспектов разговорных естественных языков. С построением и применением новых формализованных языков тесно связано развитие современной вычислительной техники (языки программирования, языки информационных систем, на которых формулируется и хранится информация). Значительную роль играют формализованные языки также в методологии и философии науки *. В процессе их разработки были установлены не только их значительные познавательные возможности, но и точные границы применимости.

Вместе с тем с самого начала необходимо отметить, что в современной литературе высказываются разные мнения по вопросу о познавательных возможностях формализованных языков и метода формализации, лежащего в основе их построения. Одни авторы настойчиво подчеркивают значительные теоретико-познавательные достоинства формализованных языков науки: это логические позитивисты и в меньшей мере те из современных философов и методологов, которые делают акцент на выявлении присущих собственно научной системе знания движущих сил и механизмов его роста. Другие, напротив, полагают, что познавательная ценность формализации и методов, которые она предполагает, весьма сомнительна, поскольку они ориентированы преимущ-

* Развернутая характеристика расширяющейся сферы применимости формализованных языков в современной науке дана в работе Е. Д. Смирновой «Формализованные языки и проблемы логической семантики» (М., 1982. С. 3—18).

щественно на анализ «готового», сформировавшегося знания, его структуры и языковой формы, отвлекаются от процессов его развития. Эту скептическую позицию разделяют многие из сторонников «исторического» и социально-психологического направлений в западной философии науки, лингвистической философии, а также философской герменевтике. В советской литературе подобная позиция высказывается в некоторых публикациях по диалектической логике.

В 50 — 60-е годы полемика по этому вопросу развертывалась в основном между логическими позитивистами и сторонниками лингвистической философии и концентрировалась преимущественно на проблеме взаимоотношения искусственных и естественных языков. Философы, разделявшие логико-позитивистскую программу обоснования науки, основную задачу методологии и логики науки видели в уточнении фундаментальных понятий и принципов теории на путях логической реконструкции языка науки с помощью аксиоматизации и формализации; тем самым логико-математической точности и средствам ее достижения отводилась исключительно важная роль в формировании и развитии научных теорий. Напротив, сторонники лингвистической философии, сопоставляя свойства формализованных и естественных языков, подчеркивали качественное своеобразие последних. Акцент делался на огромном многообразии функций и способов использования как языка в целом, так и отдельных его элементов, значение которых зависит от конкретного контекста, а также от многих других факторов, обусловленных включенностью языка в систему коммуникационных связей между людьми.

Наиболее общим итогом этой полемики явилось преодоление крайностей точек зрения: с одной стороны, были весьма отчетливо показаны существенные различия между естественными и формализованными языками, с другой — столь же отчетливо было осознано, что они не могут служить достаточным основанием для вывода о принципиальной невозможности с помощью формальных средств отобразить многомерность и изменчивость понятий, выражаемых средствами естественных языков. Дело в том, что сами формальные системы не остаются неизменными; они развиваются и совершенствуются, порождая более мощные по своим выразительным и дедуктивным возможностям формальные системы.

Тезис о том, что языки формальной логики могут моделировать определенные свойства естественного языка с целью более глубокого исследования логических особенностей последнего, стал конструктивной рабочей гипотезой многих серьезных научных разработок, примером которых могут служить работы в области так называемой генеративной семантики¹. Показателен и опыт аксиоматизации и формализации теорий эмпирических наук — некоторых отраслей физического и биологического знания, лингвистики и т. д.; заслуживает внимания и растущий интерес к теории так называемых нечетких множеств².

Иные аргументы против познавательной ценности формальных методов были выдвинуты в ходе интенсивно развернувшейся с начала 60-х годов и продолжающейся поныне критики неопозитивистской концепции логики науки. Постпозитивистское движение 60-х и 70-х годов оправданно направило свою критику на узкий эмпиризм в понимании основ научного познания и на позитивистский антиисторизм, покоившийся на вере в универсальность, вневременность и общезначимость формальных требований к структуре науки. Кроме того, эта программа игнорировала «контекст открытия», в котором происходит становление теории, и рассматривала лишь «контекст обоснования», в котором сформированная теория подвергается проверке и оценке.

В рамках постпозитивизма акцент был сделан не столько на исследовании структуры научного познания, сколько на анализе его развития. Не отрицая полезности использования в некоторых случаях формальных методов, представители «исторического направления» подчеркивали, что основания научной теории образуют специфические для каждого конкретно-исторического стиля мышления локальные содержательные допущения, а не универсальные формальные принципы. Смысл и ценность формализации при этом сводится к представлению в иной форме (более удобной в некоторых отношениях) уже имеющегося познавательного содержания. Поэтому все, что может дать формализация, ограничивается систематизацией познавательного содержания, которое выражается содержательной теорией — сокращением числа положений теории, принимаемых за исходные, вычленением и уточнением логической структуры теории и т. д.³

Если иметь в виду общую оценку этих постпозити-

вистских установок, то здесь уместно заметить, что в настоящее время влияние постпозитивизма начинает ослабевать. Причина этого в том, что в русле данного направления хотя и удалось более четко по сравнению с неопозитивизмом объяснить некоторые стороны науки и ее исторического развития, но философско-методологические замыслы постпозитивизма не переросли в глубокую теорию науки; не были найдены методы анализа, соответствующие реальной практике научного познания. Не последнюю роль в обозначившемся кризисе постпозитивизма сыграло присущее некоторым его представителям пренебрежение стандартами научной рациональности, в том числе требованиями и нормами точности и строгости. В результате нарастает скептицизм относительно того, что может дать история науки, противопоставляемая логико-методологическому анализу, все громче заявляет о себе критика релятивистских концепций — современная «английская школа», представители «научного реализма» и др.

Закономерен поэтому вновь возникший интерес к концепциям, в которых акцент делается на внутринаучных измерениях развития науки, — структуралистской концепции, новым вариантам лингвистической философии и языка науки, концепции М. Бунге и так называемой точной, или «математической», философии, различным подходам, связанным с разработкой искусственного интеллекта, и т. д.⁴ Представители названных направлений, выражая в целом отрицательное отношение к неопозитивистской концепции с ее акцентом на роль точных методов логического анализа, видят основные причины неудач логических позитивистов не в том, что они использовали точные средства современной логики и математики, а в абсолютизации этих средств, в их неадекватном применении.

Наиболее полно установки реализовались в структуралистском подходе к анализу научных теорий. Он базируется на предложенном в середине 50-х годов Дж. Маккинси, А. Сугаром, П. Суппесом и Э. Адамсом методе аксиоматизации физических теорий, главная особенность которого заключается в том, что в основу аксиоматизированной физической теории кладется теоретико-множественное определение специфического для данной теории предиката⁵. Такое определение задает некоторую теоретико-множественную структуру, характерную для каждой научной теории. Сама же теория

состоит из определенной теоретико-множественной структуры (или некоторого множества таких структур) и множества ее возможных приложений для описания соответствующей предметной области. Базируясь на упомянутых работах П. Суппеса, Э. Адамса и других, Дж. Снид и В. Штегмюллер в 70-е годы разработали новый подход к анализу научных теорий — не только их структуры, но и динамики, — который первоначально выступал под разными наименованиями и в конечном счете получил название структуралистского⁶.

С интересующей нас точки зрения примечательная сторона структуралистского подхода состоит в стремлении к разумному сочетанию строгости и точности с неполной определимостью значений теоретических понятий, отсутствием их жесткой фиксации. В новейших направлениях философии науки на Западе заметно, таким образом, стремление взять в единстве и методы логико-методологического анализа науки, и требования историчности в ее исследовании, и понимание науки как определенного элемента культуры. Но теоретические результаты, достигнутые на этом пути, пока еще незначительны. Они касаются в основном более гибкого представления о логических взаимосвязях между научными теориями (редукция одной теории к другой, обобщение теорий и т. д.), между математическими структурами, эмпирическими и теоретическими обобщениями.

Неудовлетворительны, на наш взгляд, и те следствия из кратко очерченной общеметодологической позиции постпозитивистов, которые непосредственно касаются вопроса о познавательных возможностях формализованных языков и формальных методов исследования; упрощенные представления о познавательном статусе точности и строгости в научном познании, особенно формализации. Их смысл и ценность порой сводятся ими к представлению в иной форме (более удобной с точки зрения целей логического анализа) уже имеющегося познавательного содержания. Поэтому все, что может дать формализация, ограничивается систематизацией того познавательного содержания, которое выражается научной теорией, подвергаемой формализации.

Как ни странно, сами неопозитивисты немало способствовали распространению подобных представлений о формализации. Всячески превознося метод формализации, они своей интерпретацией его гносеологической природы фактически обесценивают его, поскольку игно-

рируют роль формальных методов в движении науки (особенно эмпирической) к новым результатам. В формализации они видят лишь чисто дедуктивные, систематизирующие функции, резко обособляя их от конструктивных функций, от вклада в прирост научного знания.

На самом же деле реальное развитие науки осуществляется иначе: в нем как бы сопрягаются полярности — теория и опыт, обосновательные и расширительные процедуры и метод, форма и содержание. Чтобы понять это, необходимо перечисленные элементы рассматривать не как независимые, а как взаимозависимые и взаимообусловленные. Именно эта соотнесенность, сближение и есть суть научного исследования, так или иначе пронизывающая его методы. Это справедливо и в отношении формализации.

Формализация сочетает стремление к завершенности, замкнутости, реализуемое представлением теории в логически связанном виде, со стремлением к открытости, к расширению и обогащению. Это двойное требование, сочетающее движение в противоположных направлениях, представляет собой безусловное противоречие. И это противоречие снимается посредством процедур обобщения и расширения, построения целой иерархии формализмов, различающихся по своим выразительным и дедуктивным возможностям⁷. Поэтому формализация не только дает точный язык, обладающий значительными достоинствами в плане систематизации познавательного содержания и уточнения логической структуры научных теорий, но и является весьма ценным орудием мышления, позволяющим получать новые результаты.

История математики, логики, лингвистики и ряда других наук свидетельствует о том, что многие формальные объяснения послужили исходным пунктом в движении познания к новым результатам, открыли возможность для формулирования и постановки новых проблем, нередко подсказывали направления поисков их решения и т. д. Так, уточнение понятия «алгоритм» позволило доказать невозможность алгоритмического решения некоторых классов задач, легло в основу теории автоматов, способствовало утверждению нового, конструктивного направления в математике. Точно так же в ходе попыток решения проблемы автоматического перевода возникла новая научная дисциплина — математическая лингвистика, был внесен важный вклад в совершенствование информационной службы и в развитие теории эвристи-

ческого программирования, что в свою очередь позволило уточнить многие понятия классической лингвистики⁸.

В более общем плане можно утверждать, что познавательные возможности формализации, особенно на современном этапе развития научного знания, определяются растущим взаимопроникновением формализации и математизации. общепризнано, что математизация в ее наиболее последовательных и глубоких формах — это нечто большее, чем простая квантификация и символизация; в сущности математизация — не что иное, как формальная структурализация, предполагающая далеко идущее уточнение языка научной теории. Поэтому о математизации в полном и современном смысле этого слова можно говорить только в том случае, если достигнута стадия формализации. Подлинная математизация, отмечает В. М. Глушков, происходит тогда, когда количественные методы используются вместе с соответствующим дедуктивным аппаратом (исчислением)⁹. В расширении возможностей применения формальных методов исследования существенно важную роль играют компьютеры, позволяющие автоматизировать дедуктивные построения, увеличить производительность интеллектуального труда.

Эвристические возможности, открываемые реконструкцией языка научной теории в полностью или частично формализованный язык, обусловлены тем, что формализованные теории — это качественно своеобразный тип концептуальных построений; они представляют собой исчисления, которые благодаря самой структуре и характеру исчислений открывают возможности для получения новых, порой совсем неожиданных следствий путем «чистых вычислений». К тому же формальное представление теории не ограничивается формулировкой исчисления, а предполагает изучение свойств этого исчисления и в итоге получение нетривиальных результатов¹⁰.

Формализованное знание есть результат сложнейшего творческого процесса. Отталкиваясь от определенного уровня развития содержательно построенной научной теории, формализация преобразует ее, выявляет некоторые ее особенности, которые не были зафиксированы на содержательно-интуитивном уровне. Именно потому, что формализованная теория не является простым «переводом» содержательно построенной научной теории на искусственный, формализованный язык, а предпола-

гает, как правило, довольно длительную и сложную работу мышления, «обратное движение» от формализованной теории к содержательной нередко дает «прибавку», прирост знания по сравнению с исходной теорией, подвергшейся формализации.

Такое движение заставляет искать содержательные аналоги тем или иным компонентам формализованной теории, первоначально вводимым по чисто формальным соображениям (простоты, симметричности и т. д.), и привлекает тем самым внимание исследователей к таким особенностям теории (и предмета, с ее помощью исследуемого), которые в содержательно построенной теории не были представлены в явном виде. Известно немало примеров возникновения научных теорий, исходным импульсом к формированию которых послужили чисто формальные соображения и преобразования; наиболее известными примерами такого рода являются неевклидова геометрия и теория групп.

Ю. Л. Ершов приводит следующие примеры, подтверждающие получение с помощью формализации теории нетривиальных следствий, о которых даже не подозревали на уровне содержательно-интуитивной формулировки теории в естественном языке. Так, формулировка аксиомы выбора первоначально не вызывала каких-либо сомнений. И только ее использование (в совокупности с другими аксиомами) в формальной системе, претендующей на аксиоматизацию и формализацию теории множеств, показало, что она ведет к ряду парадоксальных следствий, что и поставило под сомнение возможность ее использования. Аналогичные примеры известны и за пределами математики. Даже первые попытки аксиоматизации теории поля, выделения тех или иных утверждений о качестве ее аксиом приводили к получению очень большого числа следствий, пригодных для объяснения экспериментальных данных. Из области собственно философских исследований можно назвать интерполяционную теорему Крейга, полученную чисто формально, но нашедшую далеко идущие применения в области исследований оснований научного знания¹¹.

В данном случае мы сталкиваемся еще с одним очень важным примером диалектического «оборачивания метода». Процесс формализации знания в целом можно представить как ступень диалектического развития. Построение все более богатых и точных теорий включает выделение (в том числе с помощью формализации) со-

держания и формы в «чистом виде», исследование их в относительной независимости друг от друга, а затем их синтез (с помощью интерпретации формальных построений), который дает теорию, обладающую качественно новыми чертами и особенностями и, что самое главное, открывающую новые возможности для роста научного знания.

Однако, подчеркивая роль формальных методов в развитии знания, нужно учитывать, что все наиболее значительные достижения, сколько-нибудь существенно связанные с формализацией, относятся к дедуктивным наукам: вне сферы математики и логики познавательные достоинства формализации не столь очевидны. Более того, существует точка зрения, согласно которой формальные методы исследования вообще не имеют познавательной ценности вне сферы логики и математики. Сведение сферы применимости формальных методов к языкам логики и математики, на наш взгляд, неправомерно: оно вступает в противоречие и с сегодняшней практикой научного познания. Даже тот незначительный опыт формализации языков эмпирических теорий (физических, биологических, лингвистических и т. д.), который имеется в настоящее время, позволяет надеяться, что использование формальных методов будет небесполезным и для этих теорий, хотя достигнутые в данном направлении результаты пока не могут быть сопоставлены по их значению и ценности с соответствующими результатами, полученными в области математики и логики.

Под влиянием успешного использования методов формализации в математике, логике, лингвистике и некоторых других науках несостоятельность метафизического противопоставления формальных и неформальных компонентов в процессе движения науки к новым результатам становится все более очевидной. Современное научное знание, особенно на наиболее абстрактных и высокотeorетических «этажах», развивается благодаря взаимодействию формальных и неформальных методов и средств. Несмотря на то что те механизмы и процедуры, которые ведут к открытию нового в науке, не могут быть формально точно и исчерпывающе описаны, в процессах формирования нового знания формальные компоненты выполняют определенные функции, поскольку процесс получения такого знания связан не только с актом самого открытия, выдвижением новой

гипотезы, предположения, но и с обоснованием выдвигаемых предположений и гипотез. Определенные стороны процедур последнего рода могут быть описаны с помощью формализованных языков.

В результате последовательной формализации научная теория, ранее воспринимавшаяся как некое единое, нерасчлененное целое, обнаружила сложную и вместе с тем ясную архитектуру. Четкое расчленение формального и содержательного компонентов теории, «раздвоение единого» явилось одним из фундаментальных шагов в понимании природы научного знания. С помощью формализации из исходного содержательного «концептуального раствора» удастся «выделить в осадок», поддающийся объективированию, логический остов теории, а развертывание теории свести к манипулированию этими объектами (в соответствии с некоторой совокупностью правил, принимающих во внимание только и исключительно вид и порядок символов). Тем самым происходит абстрагирование от того познавательного содержания, которое выражается научной теорией, подвергшейся формализации. Но что имеется в виду, когда говорится об абстрагировании от содержания? Эту гносеологическую проблему, требующую специального исследования, мы рассмотрим ниже, сделав предварительно лишь два замечания.

Во-первых, человеческое знание, в какую бы сложную и объективированную форму оно ни было облечено, остается *знанием* лишь до тех пор, пока существует способность расшифровывать его с точки зрения имеющейся в сознании интерпретативной матрицы. Это необходимый элемент содержательности знания. И именно он выносится за скобки в результате последовательной формализации. Во-вторых, человеческое знание является всегда знанием «о чем-то», находящемся вовне, и становится таковым лишь в *соотнесении* с реальностью. Но особенность объективированного знания заключается в том, что оно само есть некоторая реальность, некоторое «тело» знания. Абстрагирование от содержания, следовательно, проявляется в данном случае во временном отсутствии референциальных связей теории.

Но как далеко можно пойти по пути такого резкого обособления «объективного» и «субъективного», расщепления знания на его «форму» и «содержание»? Можно ли полно и исчерпывающе отобразить с помощью формализации познавательное содержание научной тео-

рии? Как осуществляется взаимосвязь формализованных теорий с реальностью и связаны ли они с нею вообще? Каково взаимоотношение формального и содержательного в процессах формализации и последующего развития научных теорий?

Уже беглый взгляд на структуру формализованной теории показывает, что некоторые ее компоненты, например правила вывода, должны не только быть четко фиксированными, но и некоторым образом входить в сферу субъективного. Ведь необходимо *понимать*, как эти правила действуют. Вообще выяснилось, что поскольку формальная система есть некоторое объективированное «тело» (в определенном смысле подобное физической системе), то для изучения этой системы нужен язык (в обычном смысле слова), с помощью которого можно было бы говорить о ней, описывать ее свойства. Но тем самым восстанавливается в правах и семантика. Таким образом, метод формализации начинается с четкого разграничения формального и содержательного аспектов теорем, а заканчивается тем, что вовлекает их в тонкую диалектическую взаимосвязь.

Предметная теория должна иметь некоторую надстройку в виде «второго этажа» знания — *метатеорию*. Формализованная теория дополняется определенным содержательным знанием. Вычленение этой новой полярности в структуре теории означало еще один важный шаг в понимании природы знания. Тезис о принципиальной формализуемости знания наталкивается на первое естественное ограничение: формализованная теория может существовать лишь в виде предметной (объектной) теории, дополняемой метатеорией. Субъект (субъективное) не изгоняется из теории вообще, он продолжает входить в нее специфическим образом. Однако благодаря формализации устанавливается четкая граница, в рамках которой гарантируется возможность полной абстракции от субъекта. Но субъективность *ограничена* не только рамками метатеории, а и в некотором смысле в самой метатеории. Дело в том, что содержательность метауровня очень сложно и опосредованно связана с содержательностью той исходной (неформальной) теории, которая подверглась формализации. Именно поэтому средствами метатеории можно исследовать предметную теорию как на синтаксическом, так и на семантическом уровне. Семантика вводится в метатеорию как особая часть и лишь на определенном этапе

исследования формальными методами исходной содержательной теории.

В чем суть этого этапа? Формальная система представляет собой лишь определенную проекцию содержательной теории. Как ни интересна сама по себе эта проекция, она не содержит некоторых характеристик знания, без которых оно не может считаться человеческим знанием. Только тогда, когда осуществлена *интерпретация* формальной системы, можно говорить о сопоставлении исходной теории и ее метатеоретического отображения в виде интерпретированной формальной системы. Четкое различие формальной системы и ее интерпретации в гносеологическом плане позволяет обнаружить третью полярность в структуре научного знания, что имеет безусловный общетеоретический интерес, позволяет прояснить многие важные особенности взаимосвязи формализованных теорий с действительностью.

Формализованные теории обычно предназначаются для формализации научных теорий, построенных с помощью обычных, содержательно-интуитивных средств. Чтобы формализация интуитивно заданной теории имела познавательный смысл, должно иметься определенное соответствие между формализованной и исходной содержательной теориями, в частности класс выводимых в той или иной формализованной теории формул должен совпадать с классом содержательно-истинных утверждений теории, подвергшейся формализации. Если это условие выполняется, — а оно необходимо, ибо только при его выполнении ту или иную формальную систему можно квалифицировать как формальную модель содержательной теории, — то формализованная теория представляет как бы своеобразную надстройку над содержательно построенной теорией. Ценность этой «надстройки» в значительной степени определяется той степенью полноты, с которой в ней могут быть формально репродуцированы утверждения содержательной теории.

Из сказанного видно, какую большую роль в понимании сущности формализации, оценке ее познавательных возможностей, характера взаимоотношений формализованных теорий с внеязыковой реальностью играет понятие содержательной истинности. Наиболее примечательная черта процедуры уточнения смысла этого понятия по отношению к формализованным теориям состоит в самом характере взаимосвязей между исходной (подле-

жащей уточнению применительно к тому или иному контексту) гносеологической категорией и понятиями, получающимися в результате уточнения с помощью формально-логических средств рассматриваемой общегносеологической категории. Эти взаимосвязи определяются требованием материальной адекватности логических экспликаций, в соответствии с которым формально-правильное определение рассматривается в качестве материально-адекватного, если и только если все выражения какого-либо языка, оцениваемые на основе предложенного определения как обладающие некоторым свойством, обладали бы таковым и с обычной, содержательно-интуитивной точки зрения.

Например, мы могли бы назвать экспликацию понятия истины формальными средствами материально-адекватной — она называется семантической, поскольку осуществляется в рамках раздела современной логической теории, называемого семантикой, — если и только если все признаваемые (на основе принятого определения) в качестве семантически истинных выражения некоторого языка были бы таковыми и с точки зрения обычного, содержательного понимания истины, и, напротив, чтобы исключалась возможность ситуации, при которой семантически истинное предложение оказалось бы ложным в свете обычных содержательных представлений.

Особенно существенно то, что отправной содержательно-методологической основой при разработке исходных теоретических абстракций готической семантики послужило такое понимание истины, согласно которому истина состоит в соответствии высказывания действительному положению дел (так называемое классическое определение истины, восходящее еще к Аристотелю). Разумеется, понимание семантической истинности как соответствия реальности должно быть реализовано в формально-правильной форме, т. е. форме, гарантирующей непротиворечивое употребление понятия истинности в формализованных теориях¹².

К ответу на вопрос, что отображает формальная система, можно подойти и с другой стороны, учитывая при этом, что одна и та же формальная система может иметь несколько интерпретаций. Ей могут удовлетворять изоморфные интерпретации, представляющие свойства и отношения между предметами самой разной природы. Отсюда можно сделать вывод, что формальная теория

описывает то, что обще всем ее изоморфным интерпретациям, т. е. отношения между объектами содержательной теории, взятые в их «чистом», независимом от конкретного содержания виде¹³.

С учетом этих обстоятельств можно утверждать, что, хотя на первый взгляд в рамках формализованной теории субъект имеет дело только со знаковой формой, в которой выражены результаты его познавательной деятельности, в действительности здесь осуществляется познавательное движение, ориентированное на воспроизведение свойств некоторого фрагмента внеязыковой реальности. Движение в знаково-символической форме, изучение исчисления как такового, безотносительно к содержанию, которое оно выражает, есть относительный момент в формировании и функционировании формализованных теорий. Относительность формального компонента в общем содержательном движении познания еще более отчетливо обнаруживается при рассмотрении вопроса о взаимоотношении формализованных и естественных языков, формального и содержательного в процессе формализации. С учетом накопленного опыта формализации можно в следующем виде представить решение этой проблемы.

Очевидно, что формальное представление научной теории возможно лишь после того, как произведен достаточно полный и тщательный анализ понятий содержательной научной теории. Такое представление, следовательно, предполагает огромную предварительную работу мышления, совершаемую на предшествующих формализации этапах развития научной теории. Когда все понятия содержательно построенной научной теории будут проанализированы и уточнены, появляется возможность (при предположении, что исследователь имеет в своем распоряжении всю совокупность логических средств, используемых при переходе от исходных положений к остальным доказуемым ее утверждениям) чисто формального рассмотрения, при котором значение исходных понятий теории представлено отношениями понятий друг к другу, задаваемыми аксиомами теории и соответствующими логическими аксиомами.

Столь же очевидно, далее, что для построения той или иной формальной системы необходимо воспользоваться частью, хотя и весьма ограниченной, естественного разговорного языка. Поскольку метаязык представляет собой более или менее обширный фрагмент

обычного, разговорного языка, в нем используются обычные содержательно-интуитивные рассуждения, опирающиеся на значение и смысл высказываний. Отсюда следует, что формальное предполагает содержательно-интуитивное также и в качестве средства построения и средства исследования своих собственных дедуктивных и выразительных возможностей.

Но какова роль этого содержательного контекста, неформальных средств, используемых при построении формальной системы и анализе ее свойств, в развертывании и развитии теории *после* того, как она формализована? Нельзя ли различение языка и метаязыка, теории и метатеории понимать лишь как технический, вспомогательный прием, полезный до тех пор, пока не осуществлена формализация теории? Как известно, именно такой взгляд на место и роль содержательно-интуитивных компонентов в процессе формализации теории пытался обосновать на первоначальном этапе своего развития логический позитивизм. Наиболее полно эта позиция была изложена Р. Карнапом в работе «Логический синтаксис языка». В ней отмечается, что на протяжении столетий в содержании науки логики выделялись, с одной стороны, собственно формальные, строго и точно формулируемые проблемы, образующие в совокупности то, что впоследствии стало называться логическим синтаксисом, с другой — пояснительный контекст, в котором с помощью слов естественного языка объединяется смысл и значение выражений — то, что впоследствии стало называться логико-семантической и прагматической проблематикой. Карнап же пытался показать, что формальный метод, если его проводить достаточно полно, «охватывает все логические проблемы, в том числе так называемые проблемы содержания или смысла»¹⁴.

Попытка свести все проблемы логики, и в первую очередь семантики, к синтаксическим проблемам, металогику — к синтаксису и тем самым изгнать из логики все неточное, содержательно-интуитивное оказалась несостоятельной. Конец необоснованным надеждам Карнапа и его последователей положила уже упоминавшаяся работа А. Тарского «Понятие истины в формализованных языках», в которой была доказана принципиальная невозможность сведения логики к логическому синтаксису.

В свете результатов, полученных Тарским, стало

очевидным, что представление о содержательных моментах логической теории как вспомогательных, технических компонентах, необходимых до определенной стадии развития научной теории, не имеет оснований. В частности, выяснилось, что различие между языком-объектом и метаязыком, с одной стороны, и предметной теорией и метатеорией — с другой, впервые появляющееся в процессе формализации теории, имеет принципиальное значение, оно не может быть устранено и после того, как формализация осуществлена.

Как показал Тарский, найти равнозначные синтаксические эквиваленты для метатеоретических понятий, в том числе для логико-семантических, таких, как истинность, аналитичность и т. д., можно только для тех формализованных теорий, по отношению к которым имеется существенно более богатая метатеория. Этот на первый взгляд достаточно узкоспециальный и технический вывод имеет важное теоретико-познавательное значение, подчеркивая принципиальную невозможность в конечном счете обойтись без того или иного фрагмента естественного языка, тех или иных неточных, неформальных средств при анализе свойств и возможностей формальных систем. Принципиальная несводимость метатеории к объектной теории, метаязыка к языку-объекту указывает на то, что неформализованное научное знание (с соответствующими ему методами формирования и изучения) как бы ограничивает формализованное знание с двух противоположных направлений — «снизу» и «сверху».

Ограниченность «снизу» состоит в том, что при самой последовательной формализации всегда остается некий интуитивный, содержательный остаток. Даже тогда, когда средства метаязыка, с помощью которого исследуются свойства формальной системы, ограничены исключительно синтаксическими понятиями и методами, остаются некоторые неформальные моменты: умение отождествлять и различать символы, понимание тех операций с ними, которые формулируются синтаксическими правилами образования и преобразования, и т. д. Отождествление и различение символов формальной системы возможны только посредством обращения к некоторым «очевидностям», которые не может формализовать никакая самая последовательная формализация. Это означает, что формальной точности можно достигнуть лишь в рамках изолированной, замкнутой

научной теории, в условиях отвлечения — причем отвлечения временного, на каком-то этапе исследования — от той нестрогости понятий и значений, которые лежат в основе введения в теорию исходных, явно не определяемых понятий, а также последующего развертывания теории и исследования ее свойств.

Под ограниченностью «сверху» понимается обычно обстоятельство, уже отмеченное выше, — методы, используемые при формализации, не исчерпывают всех логических средств теории. Анализ этого рода ограниченности формальных методов исследования тесно связан с анализом их места, роли и познавательной ценности в совокупном арсенале приемов и методов современной науки. Самая точная, самая строгая теория не точна в том смысле, что формализация, уточнения, произведенные с ее помощью, служат решению определенных задач, осуществляются лишь в каких-то границах. В связи с тем что в процессе формализации, уточнения отвлекаются от многого из того, что при прогрессе науки и обогащении знаний о мире может стать весьма существенным, приходится вновь изменять, уточнять предложенные формализации. Это означает, что всякая строгость, точность, формализация всегда относительны.

Хотя формулировка научных утверждений невозможна без выработки достаточно точных (жестких) понятий, прийти к этим утверждениям нельзя без использования достаточно нечетких, размытых понятий. Особенно отчетливо потребность в таких понятиях выступает при анализе биологических и социальных явлений; их роль заметна и на примере самой математики, где, казалось бы, все построено на точных и жестких понятиях. Если рассматривать математику не как застывшую систему доказанных или по меньшей мере четко сформулированных теорем, в ней обнаруживается широкое поле размытых понятий.

Получение научного результата включает не только теоретическое или экспериментальное доказательство, но и весь путь к его правильной формулировке. Этот путь включает поиски содержательных формулировок, их различные уточнения (экспликации) и опровержения. Нащупать точную формулировку просто невозможно, если не опираться на предысторию вопроса, на содержательный анализ предмета, возможный только с помощью содержательно-интуитивных, неточных понятий. В связи с этим ясно, почему с таким энтузиаз-

мом была встречена идея Л. Заде о построении теории «размытых» множеств с помощью меры, характеризующей степень принадлежности элемента данному множеству.

Важно подчеркнуть еще один момент: научно-теоретическая деятельность отнюдь не сводится к «подгонке» научных теорий к некоторым абсолютным, вечным стандартам точности. Она включает в качестве важнейшей компоненты совершенствование (а в периоды бурного интенсивного развития и преобразование) самого логико-категориального аппарата науки, что свидетельствует об историзме логической культуры мышления, в том числе и стандартов точности и строгости. Характерным примером является эволюция аксиоматического метода. Общие закономерности здесь таковы, что усложнение взаимоотношений между теоретическим и эмпирическим уровнями познания, уменьшение роли наглядности в интерпретации получаемых в ходе научного исследования данных ведут к интенсивной разработке методов математизации и формализации научного знания, к появлению принципиально новых форм логико-математического моделирования исследовательской деятельности.

Новое познавательное содержание требует для своего осмысления, обоснования и выражения новых форм уточнения и систематизации знания, которые в свою очередь становятся важным фактором дальнейшего прогресса науки. Чем больше распространяется формализация, даже самая глубокая, на все области науки, тем очевиднее становится парадоксальное обстоятельство: повышение объективности и точности научного знания не может быть достигнуто только благодаря использованию формальных методов исследования. Более того, сам господствующий ныне эталон научной строгости, при его безусловной полезности, оказывается при ближайшем рассмотрении многих построений современной науки далеко не таким универсальным, как это предполагалось в сравнительно недавнем прошлом. Так, даже при изучении семантики языков математической логики (тончайших языков науки, своего рода эталонов точности и строгости) мы были обязаны в конечном счете привлекать в качестве метаязыка естественный язык. Достаточно хорошо известны и многие другие парадоксы, к которым современная наука приходит в попытках добиться абсолютной строгости своих

построений. Интересно, что как раз фундаментальные понятия наиболее формализованных наук труднее всего поддаются точным определениям в рамках самих этих наук и чаще всего оказываются интуитивными. Традиционный принцип строгости требует максимального уточнения всех используемых в науке понятий. Однако, воплощенный в жизнь достаточно последовательно, он не только не решает всех проблем науки, но и приводит к неразрешимым в рамках этого принципа противоречиям.

Своеобразным и наиболее обширным «полигоном», на котором уже многие десятилетия апробируются различные подходы к проблеме взаимосвязи точного и неточного, содержательно-интуитивного и формального, является проблема взаимоотношения естественного и искусственного (формализованного) языков, проблема формализации естественного языка в целом или его фрагментов. Если попытаться самым кратким образом сформулировать итоги исследований в этом направлении, то следует подчеркнуть следующее.

Опыт развития науки убедительно свидетельствует в пользу того, что в ряде случаев интуитивно-содержательные рассуждения могут быть заменены выводом (из некоторой совокупности утверждений, принятых за исходные) согласно точным формальным правилам. Однако из этого не следует ни того, что подобная замена всегда и везде может быть осуществлена, ни того, что она при всех условиях желательна и может дать реальный познавательный эффект. Вопрос о целесообразности формализации той или иной научной теории (или отдельного ее фрагмента), степени ее формализации крайне сложен и многогранен, и ответ на него должен даваться с учетом очень и очень многих соображений, в том числе и тех реальных ограничений и трудностей (с потерей гибкости, дифференцированности, богатства смысловых оттенков и логических связей и т. д.), которыми, как правило, неизбежно сопровождается формализация любой достаточно богатой и содержательной научной теории.

Известная неопределенность логической структуры естественных языков и связанная с этим неопределенность значений понятий и выражений теорий, построенных средствами таких языков, служит источником не только некоторых их совершенств (с точки зрения логики и методологии наук), но и огромных преимуществ

перед искусственными формализованными языками. Нельзя забывать, что при уточнении понятие теряет вместе с неопределенностью и многогранность, суживаются его объем и сфера применения. Неопределенность слов естественного языка не только препятствует фиксации с их помощью научных понятий, она одновременно обеспечивает возможность (а иногда даже является внутренним источником) их развития и вхождения в различные понятийные системы.

Эффективность искусственных, формализованных языков состоит в их нацеленности на решение конкретных познавательных проблем, в ограниченной сфере приложимости любого из них, тогда как естественные языки имеют универсальный характер с точки зрения как их предметной области, так и допустимых в них типов выражений. «Открытый» характер естественного языка (а следовательно, и многих выражаемых в нем научных понятий), его «включенность» в историю развития общественного субъекта познания, вследствие чего он оказывается исторически сложившимся и исторически развивающимся явлением, обеспечивают естественному языку такие достоинства, которых лишен любой из формализованных языков. В отличие от однозначности и «одномерности» выражений формализованных языков многоаспектность, многомерность естественных языков и выражаемых ими понятий открывает возможность для их исторического развития.

Подчеркнем еще один принципиально важный момент. Обращение философов и лингвистов к «строгому», в частности формально-логическому, исследованию значения было во многом продиктовано стремлением избавиться от умозрительных и метафизических рассуждений, которые свойственны предшествующим концепциям значения и смысла выражений естественного языка. Как выясняется, однако, «избавление» от «метафизики» вряд ли возможно. Так или иначе в рамках «точных» концепций значения происходит расширение области исследований, в том числе и за счет обращения к философским аргументам.

Показательна в этом отношении оценка «точных» концепций значения западногерманским лингвистом и логиком Е. Бахом: «...я убежден, что невозможно адекватно интерпретировать семантику естественных языков, не обращаясь непосредственно к метафизическим и онтологическим вопросам. Мы не можем иметь

дело с выражениями, которые могут быть охарактеризованы лишь с точки зрения структуры, не принимая во внимание логические значения отдельных слов... Что же представляет собой содержание того, о чем мы говорим? Я уверен, что этот вопрос уводит нас за пределы лингвистики. Думаю, что здесь мы имеем дело с фундаментальными категориями нашего восприятия и концепции мира, в котором мы живем, то есть с тем, как мы его понимаем. Ответ на вопрос, соответствуют они миру или нет, в действительности уводит нас за пределы лингвистики, в область психологии и философии»¹⁵. Заметим, что в последнее время возрастающий интерес к философским аспектам концепций значения проявляется и со стороны логиков и философов, стоявших у истоков «поиска определенности» в анализе значения, таких, как Крипке, Монтегю, а также во многих исследованиях по искусственному интеллекту и т. д.

К выводу о внутренней ограниченности формализации и всех других методов, используемых при построении формализованных языков, приводят и результаты исследований по основаниям математики и логики, т. е. сама практика применения формализованных языков в наиболее продвинувшихся в этом отношении отраслях научного познания. Центральная проблема, встающая в этой связи, — это проблема соотношения точности и адекватности в формализованных теориях. Можно ли между доказуемыми предложениями формальной системы и содержательно-истинными предложениями, образующими некоторую предметную область, которую мы хотим формализовать, установить такое соотношение, чтобы объем этих множеств совпадал? Положительный ответ на этот вопрос означал бы, что в конечном счете понятия истинности и доказуемости (применительно к логико-математическому знанию) совпадают и, более того, понятие истинности в принципе излишне в методологии дедуктивных наук (как более аморфное и отягощенное множеством «метафизических спекуляций»).

В выяснении характера взаимосвязи точности и истинности в формализованных теориях исключительно большую роль сыграли результаты, полученные в ходе исследований по основаниям математики, и в первую очередь знаменитые теоремы Гёделя, относящиеся к формалистской программе обоснования математики, сформулированной Д. Гильбертом. Как известно, Гиль-

берт, обращаясь к проблемам обоснования математики, поставил перед собой задачу построить такую формальную систему, класс доказуемых выражений которой совпадал бы по объему с классом содержательно-истинных утверждений математики (из ее аксиом можно было бы вывести всю математику) и которая была бы непротиворечива, полна и разрешима относительно доказуемости. Доказательство непротиворечивости, полноты и других свойств искомой формальной системы должно быть проведено в метатеории, с помощью которой исследуется формальная система. Эту метатеорию Гильберт называл метаматематикой, или теорией доказательства. Так как метаматематика призвана обосновать математику, то в ней следует пользоваться только теми элементарными средствами, относительно которых у математиков и логиков нет основания беспокоиться, что они могут служить причиной антиномий, способных вызвать математическую и логическую дискуссию, и, опираясь на систему этих понятий, поставить названные выше вопросы метатеоретического характера. Такой круг понятий Гильберт увидел в конструктивных классах и конструктивных операциях над классами (так называемый финитизм Гильберта).

Выполнить эту программу ни Гильберту, ни его последователям не удалось. Она оказалась невыполнимой во всех основных пунктах: 1) в попытках построить такую формальную систему, которая охватывала бы всю математику; 2) в стремлении доказать непротиворечивость арифметики (математики), используя только финитные методы, и, наконец, 3) в стремлении решить проблему разрешимости финитными методами. Огромную роль в осознании этого факта сыграли теоремы Гёделя.

Каковы же важнейшие выводы из теорем Гёделя для метаматематического обоснования математики?

Прежде всего теорема Гёделя о неполноте утверждает, что если мы предположим непротиворечивость формальной системы, служащей формализацией арифметики, то она обязательно окажется неполной в том смысле, что непременно найдутся такие арифметические утверждения, которые будут содержательно-истинными, но формально невыводимыми в данной системе. В будущем, конечно, может случиться так, что положения, формально невыводимые в рамках существующих формализаций, могут оказаться формально выводимыми

в более мощной формальной системе. Важно, однако, что и для такой системы, как бы мы ее ни расширяли и ни обогащали, сложится аналогичная ситуация — понятия формальной выводимости и содержательной истинности не будут совпадать.

Таким образом, полностью формализовать, например, содержательную арифметику в такой формальной системе не удастся. Мы не в состоянии достичь того, чтобы каждое предложение содержательной арифметики (или его отрицание) всегда было следствием из явно сформулированных аксиом по явно сформулированным правилам. Из этого следует, что точность и адекватность теорий не совпадают: понятие «истинное высказывание» не равнозначно выводимому (доказуемому) в той или иной формальной системе выражению. Достаточно богатые формальные системы, будучи вполне точными, оказываются недостаточно адекватными, так как в них нельзя получить все содержательно истинные предложения формализуемой теории.

Не менее сильный удар по программе Гильберта нанесла вторая теорема Гёделя, согласно которой доказать непротиворечивость классической математики невозможно теми методами, которыми это надеялись осуществить формалисты (теорема о непротиворечивости). Ведь сердцевина гильбертовской программы заключалась в том, чтобы представить математические теории в виде совокупности доказуемых формул некоторой формальной системы с последующим доказательством ее непротиворечивости с помощью методов, формализуемых в данной системе. Эта теорема Гёделя утверждает, что если формальная система (содержащая, например, арифметику натуральных чисел) непротиворечива, то ее непротиворечивость не может быть установлена методами, формализуемыми в этой системе, т. е. непротиворечивость такой системы не может быть доказана средствами последней. Для доказательства ее непротиворечивости необходимы более мощные средства: требуется привлечение таких способов и типов рассуждений, которые неформализуемы в этой системе. Из этого следует, что точная, формализованная теория не может считаться полностью адекватной, ибо не располагает средствами для доказательства некоторых содержательных истинных предложений.

Факты, открытые Гёделем и его последователями, подкрепили убеждение, согласно которому никакая

самая последовательная формализация не может исчерпать всей области математических истин. Выяснилось, что и в сфере дедуктивных наук понятие доказуемости не полностью адекватно понятию истинности, а вера в формальное доказательство как эффективный инструмент установления истинности всех утверждений таких наук необоснованна: существуют высказывания, сформулированные на языке данной теории, которые являются истинными, но формально недоказуемыми. Иными словами, множество истинных высказываний теории и множество доказуемых ее утверждений не совпадают: для любой достаточно содержательной теории первое всегда шире второго.

Эти результаты не только заставили пересмотреть собственно математическую часть выдвинутой формалистами программы обоснования математики, но и задуматься над природой самого математического знания, характером взаимоотношений математики с реальным миром и другими науками. В результате формальные методы стали трактоваться как необходимый и весьма полезный на своем месте «инструмент», обладающий, однако, имманентными слабостями и имеющий ограниченное применение.

Другую сторону внутренней ограниченности формализации выявили исследования по логической семантике: они продемонстрировали ограниченность формализмов в плане их выразительных возможностей. И здесь опять необходимо сослаться на результат, полученный А. Тарским в работе «Понятие истины в формализованных языках», где было показано, что формально-правильное и материально-адекватное определение семантических понятий может быть дано только для тех формализованных теорий, по отношению к которым имеется существенно более богатый метаязык. Этот результат Тарского перекликается с теоремой Гёделя о неполноте. Последняя утверждает, что если некоторый формализованный язык представляет собой формализацию арифметики, то, каким бы мощным он ни был, его средств недостаточно для доказательства всех содержательно-истинных предложений арифметики. Чтобы доказать такого рода предложения, необходимо иметь более богатый метаязык, и в этом смысле дедуктивные возможности формализмов ограничены.

Из теоремы Тарского об истине следует, что ограничены не только средства вывода наиболее мощных фор-

мальных систем, но и выразительные возможности формализованных теорий. Следовательно, все достаточно богатые формальные системы не только формально неполны (не могут доказать всех содержательно-истинных предложений соответствующей содержательной теории), но и семантически неполны в том смысле, что некоторые из понятий любой достаточно богатой формальной системы неопределимы в ней. В частности, имеются такие мощные научные языки, относительно которых построение определения множества истинных предложений сталкивается с непреодолимыми трудностями.

Таким образом, в свете метатеоретических результатов, полученных в 30-х годах, стало ясно, что окончательная формализация большинства важнейших отраслей математики недостижима; не существует и абсолютной гарантии того, что важнейшие отрасли математического знания полностью свободны от внутренних противоречий.

Упомянутые выше результаты показывают, что метод реконструкции научной теории в полностью или частично формализованном языке не может исчерпать всей области математических истин, поскольку то, что мы понимаем под процессом математического вывода, не совпадает с применением строго фиксированных правил вывода. Методы исследования, лежащие в основе формализации, не могут исчерпать всего арсенала логических средств теории. В построении и разворачивании научных теорий существенную роль играют факторы, не учитываемые развитыми к настоящему времени методами построения и анализа формализованных теорий.

Развитие современного научного знания есть процесс диалектического по характеру взаимодействия содержательных и формальных средств и методов исследования при ведущей роли первых. Анализ формирования и динамики теоретического познания, его сложной, многоступенчатой структуры подтверждает методологическое значение диалектико-материалистической теории развития, существенным элементом которой является взаимодействие содержания и формы и вытекающая отсюда взаимосвязь точного и неточного, формального и интуитивного в формировании и развитии науки.

Глава 17. Истина как гносеологическая проблема

Признание объективной истины, понимание истины как осознанного, независимого от субъекта содержания знания специфическим образом характеризует материалистическую философию и ее гносеологию, трактующую познание как особого рода социальную деятельность людей, посредством которой осуществляется адекватное идеальное воспроизведение объектов, существующих безотносительно к познавательной деятельности людей. Это является одной из необходимых предпосылок существования и развития человечества. В. И. Ленин писал: «Считать наши ощущения образами внешнего мира — признавать объективную истину — стоять на точке зрения материалистической теории познания, — это одно и то же»¹.

Материалистическое признание объективной истины неразрывно связано с теорией отражения, т. е. с гносеологией материализма, которую отвергает идеализм. Именно в этой связи следует уяснить принципиальную противоположность материализма объективному идеализму в постановке проблемы объективной истины. Платон признавал существование сверхприродной, сверхчеловеческой истины как трансцендентной идеи. Вещи с этой точки зрения оказываются искаженными отражениями потустороннего мира идей, иерархия которых увенчивается идеями истины, красоты, блага. Действительное соотношение между идеями (понятиями) и вещами поставлено, таким образом, на голову.

Гегель утверждал, что истина есть соответствие вещи понятию. Понятие же, по Гегелю, не только специфическая форма теоретического (человеческого) мышления, но прежде всего субстанциальная сущность вещей, аутентичное самосознание «абсолютной идеи». Это понимание истины предполагает, следовательно, онтологизацию процесса познания, что вытекает из основоположения панлогизма, согласно которому бытие и познание (мышление) в конечном итоге тождественны. Человеческое познание, правда, рассматривается

как высшая ступень субстанционального процесса развития.

Феноменология Гуссерля — пример новейшей идеалистической мистификации понятия объективной истины. Феноменологически понимаемая истина есть вневременное, внепространственное сущностное бытие, которое свободно от эмпирического по природе своей существования, так как обладает абсолютным значением. Характеристика истины как феномена человеческого познания отвергается Гуссерлем как субъективизм, проистекающий из антропологической и психологической ограниченности человеческого существа. Таким образом, материалистическое понимание объективной истины принципиально отличается от объективно-идеалистического признанием существования независимой от познания реальности и рассмотрением самого познания как человеческой духовной деятельности, посредством которой идеально воспроизводятся (отражаются в сознании) явления действительности.

Проблема объективной истины, указывал В. И. Ленин, предполагает ответ на вопрос: «...может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества?»² В противовес субъективному идеалисту А. Богданову, который интерпретировал марксизм как «отрицание безусловной объективности какой бы то ни было истины», В. И. Ленин подчеркивал, что все материалисты признают объективность истины, т. е. объективность реальности, которую она отражает.

Подчеркивая заслуги домарковского материализма в обосновании принципа объективности истины, не следует упускать из виду метафизическую ограниченность такого обоснования, обусловленную ограниченностью этой исторической формы материализма. Хотя домарковские материалисты и разграничивали объекты познания и их образы, они не смогли, исходя из этого разграничения, разработать понимание истины как процесса приближения субъективного к объективному. Только диалектическая интерпретация этого процесса позволяет понять то существенное обстоятельство, что отражение не обладает свойствами отражаемого, что неполнота, ограниченность истины характеризует процесс познания, но не его объекты. Истина представляет собой специфическое отражение действительности. Само по себе отражение действительности в сознании людей,

конечно, еще не истина. Сознание по природе своей есть отражение объективной реальности, и даже фантастические, например религиозные, образы сознания отражают определенную объективную реальность (в данном случае господство над людьми стихийных сил общественного развития).

Истина не просто отражение действительности, она — отражение-знание. Однако не всякое знание является истиной. К. Маркс, характеризуя триединую формулу вульгарной политической экономии, согласно которой капитал порождает прибыль, земля — ренту, а труд — заработную плату, вскрыл лживость этой формулы, которая отражает внешнее проявление, видимость, но отнюдь не сущность капиталистического производства. В действительности все виды доходов создаются трудом. Однако собственник капитала получает прибыль соответственно его величине, рента земледельца соразмерна количеству и качеству его земли. Таким образом, истина есть не просто знание, так как последнее, если оно состоит лишь в знании видимости, в доверии к ней, оказывается заблуждением. Истина представляет собой такое знание, которое отражает действительную взаимосвязь, опосредованность явления, т. е. опосредованное знание.

Объективность истины — гносеологическая объективность. Образ розы не обладает присущими ей запахом, цветом, формой и т. д. Следовательно, истинное представление о ней должно быть лишь описанием ее свойств, ее характеристикой, суждением, высказыванием. Эту субъективную сторону истины недопустимо игнорировать. Если мы, например, утверждаем, что в нашей Солнечной системе имеется 9 планет, это значит, что планетами мы называем большие астероиды, масса которых сравнима с массой Земли. В ином случае можно насчитать сотни планет. Отсюда, впрочем, не следует, что истина есть свойство суждения, так как истинное суждение о вещи возможно лишь как *отношение* данного суждения к вещи, сопоставление первого со вторым, *сообразование* суждения с предметом суждения. Путем такого сопоставления выясняется, *в какой мере* суждение о предмете согласуется с самим предметом.

Поскольку объективно-реальное как предмет познания не входит в его образ, постольку истина возможна лишь как *приближение* знания к предмету познания. Степень этого приближения далеко не всегда может

быть точно указана. Образ как субъективное вообще не может стать предметом, который он воспроизводит. Следовательно, истина всегда включает в себе момент неопределенности, которая частично относится к содержанию истины, частично к ее границам, т. е. области ее применения.

Некоторые научные положения оказываются ложными, когда они распространяются за пределы их действительной применимости, которая, однако, не может быть, как правило, установлена заранее. Мы не будем здесь специально рассматривать вопрос, каким образом сопоставляется суждение с предметом суждения, истина с фактом, к которому ее относят. Идеалисты обычно утверждают, что высказывания о предметах и сами предметы принципиально несопоставимы, так как субъект познания имеет дело не с предметами, а с представлениями о них. Он, следовательно, может сравнивать лишь свои высказывания со своими представлениями. Предметы познания, согласно этому воззрению, всегда остаются трансцендентными, поскольку находятся вне процесса познания. Эта концепция фиксирует тот факт, что представления, знания не непосредственно сравниваются с предметами, поскольку последние не являются представлениями, знаниями. Познание, и в частности сопоставление представлений с предметами, есть опосредованный процесс, содержание которого составляет не только психическая, но и материальная связь с предметами.

Высшей ступенью познания является такое соединение исследования и практики, при котором практическая деятельность направляется исследованием и воздействует на него. Этот процесс взаимодействия теории и практики выступает также как взаимная проверка, внесение корректив и в теорию, и в практику. В ходе этого процесса знания и предметы постоянно сопоставляются друг с другом, поскольку деятельность человека включает и знания, и предметы. При этом не только знания приводятся в соответствие с предметами, но и предметы изменяются соответственно знаниям. Объективная истина объективируется путем опредмечивания знаний. Она обладает теперь уже не только гносеологической, но и физической объективностью, как и любое иное воплощение целесообразной деятельности людей.

Итак, осмысление познания как специфического отражения объективной действительности приводит

к выводу, который оставался чуждым метафизическому материализму: объективная истина *относительна*. В. И. Ленин следующим образом формулирует диалектическую постановку вопроса об объективной истине: «...могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно или же только приблизительно, относительно?»³ Здесь, как нетрудно заметить, речь идет о субъективной стороне объективной истины. Метафизические материалисты не видели этой стороны проблемы, хотя, конечно, не отрицали, что знания отличаются большей или меньшей полнотой. Однако истина представлялась им неизменным знанием, т. е. знанием, исчерпывающим то предметное содержание, которое в ней заключено.

Материалисты-метафизики рассматривали истину в духе абстрактного тождества: истина есть истина, заблуждение есть заблуждение. Эти противоположности считались всегда исключаящими друг друга, всегда абсолютными. Было бы, конечно, упрощением полагать, что противоположность между истиной и заблуждением не может быть абсолютной. Абсолютное и относительное внутренне связаны друг с другом. Определенные истины могут быть именно абсолютно противоположны определенным заблуждениям. В этом смысле существуют не только абсолютные истины, но и абсолютные заблуждения. В. И. Ленин подчеркивал необходимость конкретного рассмотрения отношений противоположностей: «*Диалектика* есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) *тождественными* *противоположностями*, — при каких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга, — почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую»⁴.

Противоположность между истиной и заблуждением конкретна. Это значит, что истина является таковой до определенного предела, который не задан заранее, но выявляется в ходе познания. Истина открыта новому знанию, которое может и не согласоваться с нею. Эта неопределенность границ истины означает, что в ней может заключаться хотя бы имплицитно нечто неистинное, т. е. заблуждение. Данное положение не следует, однако, универсализировать. Любая универсализация конкретной истины делает ее абстрактной истиной, т. е.

заблуждением. Истина и заблуждение, указывал Ф. Энгельс, «имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области»⁵. За ее пределами противоположность между истиной и заблуждением не абсолютна, а относительна.

Метафизический материализм не разграничивал различные типы истин, соответствующие различным ступеням, уровням познания, исследования. Домарксовские материалисты не сознавали также необходимости типологии истин, учитывающей существующие в самой объективной действительности качественные различия между единичным, особенным, всеобщим. Истина, относящаяся к единичному факту, естественно, может быть более законченной в своей определенности, чем истина, выражающая объективно-всеобщее. Эти проблемы выпадали из поля зрения материалистов-метафизиков. Неудивительно поэтому, что у них не было понятия относительной истины. Не было у них поэтому и разграничения между абсолютной и относительной истиной. Даже констатируя относительность движения, установленную классической механикой, и признавая тем самым относительность скорости движущихся тел, старые материалисты не осознавали необходимости понятия относительной, т. е. обусловленной, истины. Всякая истина представлялась им неизменной, окончательной, абсолютной. Отсутствие понятия относительной истины гносеологически означало абсолютизацию всех установленных науками положений, т. е. догматическое искажение истины. Метафизическая абсолютизация истины получила карикатурное выражение в сочинениях Е. Дюринга, который провозглашал каждое принимаемое им за истину положение вечной, окончательной истиной в последней инстанции.

Ф. Энгельс, критикуя дюрингианское отождествление всякой истины с истиной абсолютной, вовсе не утверждал, что нет окончательных истин в последней инстанции. Ведь такое утверждение как раз и выступало бы в качестве окончательной истины в последней инстанции. Настаивая на относительности знаний, Ф. Энгельс признавал вместе с тем, что некоторые результаты астрономии, механики, физики, химии «представляют собой вечные истины, окончательные истины в последней инстанции...»⁶. Однако развитие этих наук нередко сокрушает или по меньшей мере ставит под вопрос окончательность такого рода истин.

Даже в тех случаях, когда границы определенной истины установлены специальным исследованием, далеко не всегда можно сказать, что налицо окончательная истина в последней инстанции. Было доказано, например, что «закон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолютно ли, окончательно ли верен он в этих пределах?» Ни один физик, подчеркивал Ф. Энгельс, «не станет отрицать возможность того, что в результате дальнейших исследований придется в рамках этих узких границ произвести еще новые ограничения или придется вообще изменить формулировку закона»⁷.

Переходя к другим областям научного знания, Ф. Энгельс констатировал, что в них окончательные истины в последней инстанции встречаются еще реже, чем в математике, механике, физике. Существуют, в частности, и такие области научного познания, которые вследствие специфических особенностей предмета исследования «либо должны оставаться относительными для длинного ряда поколений и могут лишь постепенно достигать частичного завершения, либо даже (как это имеет место в космогонии, геологии и истории человечества) навсегда останутся неполными и незавершенными уже вследствие недостаточности исторического материала...»⁸.

Анализируя историческое развитие познания, Ф. Энгельс выступал против одностороннего, упрощенного измерения этого процесса количеством приобретенных окончательных истин в последней инстанции. Не следует преувеличивать научного значения такого рода истин, которые, как правило, имеют весьма общий характер. Важнейшими достижениями науки являются открытия новых закономерностей, более глубокое познание ранее уже известных вещей, умножение массы знаний, выявление новых областей действительности, само существование которых оставалось неизвестным или же представлялось невозможным, и т. д. Ход познания от явления к сущности, от одной сущности к другой, более глубокой менее всего может быть выражен представлением об окончательной истине в последней инстанции.

Представление об окончательной истине, хотя и фиксирует некоторые действительные результаты познания, в целом, в качестве гносеологического императива, имеет метафизический характер и поэтому, как показал Ф. Энгельс, опровергается развитием наук. Так, физика и химия, которые наряду с математикой пред-

ставлялись царством окончательных истин. существенно изменились по своему характеру вследствие выдающихся открытий, имевших место в этих науках во второй половине XIX в. «Окончательные истины в последней инстанции становятся здесь с течением времени удивительно редкими», — констатировал Ф. Энгельс. Переходя к математике, которая с самого начала считалась областью раз и навсегда установленных абсолютных истин, Энгельс и здесь отмечал ту же тенденцию, которая в целом характеризует научное развитие: «Девственное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказанности всего математического навсегда ушло в прошлое; наступила эра разногласий...»⁹

Обосновывая диалектический принцип относительности знания, Ф. Энгельс критиковал метафизическое понимание истинного знания как совокупности окончательных истин в последней инстанции за игнорирование развития познания, за противопоставление познанию его результатов как якобы независимых от всего последующего развития познания. Поколения, которые будут корректировать наши знания, писал он, несравненно многочисленнее поколений, знания которых мы поправляем. Человечество находится скорее на начальных ступенях развития познания, чем на его завершающих стадиях, которые мыслимы лишь как прекращение существования человечества. Познание бесконечного, а таковым в конечном итоге является многообразие наличных и возможных предметов познания, может совершаться только в виде некоторого бесконечного асимптотического прогресса. Этот прогресс исторически обусловлен и тем самым ограничен в каждую определенную эпоху, так как «мы можем познавать только при данных нашей эпохой условиях и лишь настолько, насколько эти условия позволяют»¹⁰.

Гносеологический историзм не сводится, однако, к признанию необходимой обусловленности (а значит, и ограниченности) научного знания на каждой достигнутой человечеством стадии социального прогресса. Установление пределов относительной истины есть нечто большее, чем констатация ее неполноты. Это также преодоление ее ограниченности, т. е. выход за пределы наличной относительной истины, вычленение заключающейся в ней абсолютной истины, абсолютной лишь в определенных пределах. Ф. Энгельс иллюстрировал диалектическое понимание истины естественнонаучным

примером, показывающим, что научное положение, если оно формулируется с учетом всех условий, определяющих описываемое явление, представляет собой и относительную, и вместе с тем (разумеется, в определенных границах) абсолютную истину. «Мы знаем,— писал он,— что хлор и водород под действием света соединяются при известных условиях температуры и давления в хлористоводородный газ, давая взрыв; а раз мы это знаем, то мы знаем также, что это происходит *всегда* и *повсюду*, где имеются налицо вышеуказанные условия, и совершенно безразлично, произойдет ли это один раз или повторится миллионы раз и на скольких небесных телах»¹¹.

Таким образом, не следует смешивать критику Энгельсом догматической концепции окончательных истин в последней инстанции с отрицанием абсолютной истины, как это иногда имеет место. Марксизм, несомненно, отвергает абсолютную истину в метафизическом смысле слова, ибо он отвергает противопоставление любых результатов познания его последующему развитию. Вместе с тем марксизм обосновывает принципиальную достижимость абсолютной истины как конкретной истины относительно конкретных объектов. Соответственно этому он признает, что развитие познания означает умножение конкретных истин, возрастание объема абсолютных истин и тем самым упрочение объективного, в известных границах, абсолютного знания.

Ф. Энгельс критиковал известного немецкого естествоиспытателя Негели, который утверждал, что научное познание безотносительно к уровню его развития неизбежно оказывается лишь познанием единичного, конечного, преходящего. Всеобщее, бесконечное, непреходящее, по убеждению Негели, всегда остается по ту сторону всякого знания. Это убеждение, как показал Ф. Энгельс, имеет своей предпосылкой метафизическое представление об абсолютных противоположностях. Между тем противоположности, о которых идет речь, составляют нечто единое. Единичное, конечное, преходящее не есть лишь единичное, конечное, преходящее. Точка зрения абстрактного тождества несостоятельна здесь, как и в других случаях. Конкретное тождество включает в себе различие, противоположность, противоречие. Познавая единичное, конечное, преходящее, мы познаем тем самым и всеобщее, бесконечное, непреходящее, хотя, разумеется, лишь в исторически

определенных границах. Именно поэтому познание относительного есть также в какой-то степени познание абсолютного. Ф. Энгельс разъяснял, что «всякое действительное, исчерпывающее познание заключается лишь в том, что мы в мыслях поднимаем единичное из единичности в особенность, а из этой последней во всеобщность; заключается в том, что мы находим и констатируем бесконечное в конечном, вечное — в преходящем»¹².

Разрабатывая диалектическое понимание истины, Ф. Энгельс выступал главным образом против метафизиков традиционного толка, для которых всякая истина, поскольку она является таковой, представлялась в принципе неизменной, свободной от погрешностей, независимой от последующего развития познания, окончательной, абсолютной истиной. Именно в противовес догматикам Ф. Энгельс утверждал, что «диалектическая философия разрушает все представления об окончательной абсолютной истине...»¹³. Он, конечно, имел в виду не те или иные конкретные истины, а антидиалектическое представление о достижимости абсолютного знания. В этой связи он, в частности, указывал, что «истинное значение и революционный характер гегелевской философии» состояли в том, что она «раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия»¹⁴.

Во времена Ф. Энгельса естествоиспытатели, как и философы, были убеждены в том, что познание природы приближается к окончательному завершению. Метафизическому пониманию предмета исследования соответствовала антидиалектическая концепция истины как окончательного завершения познания того или иного предмета, завершения, полностью исключающего любые заблуждения. И если какая-либо истина оказывалась лишь приблизительной, метафизики считали, что в таком случае имело место недостаточно обоснованное утверждение. Мысль о том, что приблизительность является атрибутивным определением истины, казалась несовместимой с понятием истины.

В. И. Ленину в отличие от Ф. Энгельса пришлось вести борьбу в иных условиях, породивших новую историческую форму метафизического мышления, которая отрицала традиционную метафизику. Методологический кризис естествознания. начальная стадия которого ста-

ла предметом глубокого анализа В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм», вызвал к жизни субъективистски-агностическую концепцию истины и познания вообще. Такая концепция не заключала в себе ничего принципиально нового, не высказывавшегося ранее сторонниками идеалистического эмпиризма. Однако историческим парадоксом было возникновение видимости, будто эта сугубо спекулятивная концепция подтверждается конкретным естественнонаучным исследованием.

Механистическое мировоззрение, считавшееся единственно возможной методологией наук о природе, потерпело крушение. Начался пересмотр основных понятий механики в свете выдающихся открытий физики конца XIX — начала XX в. Поскольку механистическое миропонимание в течение ряда столетий было исторической формой материалистической философии, отрицание механицизма метафизически мыслящими естествоиспытателями принимало форму отказа от материализма. Этому в особенности способствовало распространение «физического идеализма», навязывавшего естествознанию субъективистски-агностическую интерпретацию его достижений, якобы исключаящую всякий гносеологический догматизм. Это течение, получившее поддержку некоторых выдающихся естествоиспытателей, составило основу абсолютного релятивизма, согласно которому научные истины, поскольку они относительны, являются в сущности субъективными.

Относительность научного знания, убедительно выявленная новой, неклассической физикой, истолковывалась «физическими идеалистами» как свидетельство того, что объективной истины вообще не существует. Понятие истины было сведено к высказыванию, оправдываемому опытными данными, но ничего не говорящему о вещах самих по себе, если вообще они существуют. На смену догматическим представлениям об окончательных истинах в последней инстанции пришло хотя и противоположное ему, но столь же метафизическое отрицание объективной истины. Если метафизики старого толка признавали только абсолютные истины, то метафизики нового толка допускали существование лишь относительных истин. И те и другие вырывали пропасть между абсолютным и относительным. Но если первые абсолютно противопоставляли друг другу истину

и заблуждение, то вторые, напротив, отрицали наличие данной противоположности.

Эта гносеологическая позиция, получившая наименование релятивизма, является в действительности *абсолютным* релятивизмом, поскольку она абсолютизирует относительность истины. Релятивизм В. И. Ленин считал необходимым элементом диалектико-материалистической гносеологии. в то время как абсолютный релятивизм представляет собой отрицание и диалектики, и материализма. Э. Мах и Р. Авенариус, пропагандировавшие абсолютный релятивизм, возрождали берклианство и юмизм, обосновывая эти, во многом дискредитированные развитием философии учения естественными (во всяком случае по форме) аргументами.

В новых условиях, в которых В. И. Ленин разрабатывал марксистскую теорию истины, стали необходимыми защита и дальнейшее развитие материалистического принципа объективности истины, с одной стороны, и систематическое исследование относительности знания — с другой. В. И. Ленин поставил и решил в этой связи двуединую задачу: во-первых, исследовал гносеологические предпосылки методологического кризиса естествознания и, во-вторых, развил материалистическую диалектику как теорию познания.

Диалектика, писал В. И. Ленин, есть «учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде, учение об относительности человеческого знания, дающего нам отражение вечно развивающейся материи»¹⁵. Гносеология, следовательно, должна быть понята как *теория развития познания*, которое восходит от одного уровня знания к другому, более высокому. Переход от незнания к знанию, от одного знания к другому включает в себе также диалектическое отрицание, снятие, изменение не только формы, но и содержания знания. Однако в этом процессе преодолевается, устраняется лишь определенное незнание, так как познание всегда остается движением от незнания к знанию, причем всякое знание предполагает непознанное, оно ограничено по меньшей мере уровнем своего развития.

Познанное, или «вещь для нас», разъяснял В. И. Ленин, отличается от еще не познанного, от «вещи в себе» (в материалистическом толковании этого понятия), подобно тому как часть отличается от целого¹⁶. В противоположность агностицизму кантианского толка он

подчеркивал, что различие между «вещью для нас», т. е. познанной вещью, и «вещью в себе» — сферой непознанного — есть не онтологическое, а гносеологическое различие, которое характеризует лишь уровни познания, а не структуру самой действительности.

Конечно, то обстоятельство, что познанное представляет собой часть, сторону еще не познанного, указывает на ограниченность, конечность познания, однако эти ограниченность, конечность тоже относительны, т. е. они постоянно преодолеваются прогрессивным развитием познания. Вскрывая гносеологические корни агностицизма, В. И. Ленин писал: «Конечный, преходящий, относительный, условный характер человеческого познания (его категорий, причинности и т. д. и т. д.) Кант принял за *субъективизм*... оторвав познание от объекта»¹⁷. Как видно, В. И. Ленин с одинаковой настойчивостью подчеркивал как относительность познания, так и его объективность.

Диалектико-материалистическое понимание относительности познания, таким образом, с необходимостью вытекает из основного определения диалектики как учения о всестороннем, противоречивом развитии. Именно поэтому В. И. Ленин включал в понятие материалистической диалектики учение об *относительности человеческого знания*. При этом относительность знаний есть *отражение* развивающейся материальной действительности. Это значит, что теория познания диалектического материализма связывает воедино объективность и относительность истины как ее основные определенности.

Выше указывалось, что объективность истины — это гносеологическая объективность, ибо отражение, присущее субъекту познания, отличается от отражаемого, т. е. объективной реальности. Гносеологическая объективность есть субъект-объектное отношение: оно содержит в себе не только объективное, но и субъективное, прежде всего саму познавательную деятельность. Такого рода субъективность не имеет ничего общего с субъективизмом, поскольку означает лишь необходимое условие познания, его относительную независимость от предметов познания. Но есть в этой субъективности и определенный негативный момент, указывающий на связь способности познания и способности заблуждения. Это — две взаимно отрицающие стороны единого процесса. В. И. Ленин характеризовал субъективность по-

знания как выражение его диалектической природы: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не упростив, угрубив, не разделив, не омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвление, — и не только мыслью, но и ощущением, и не только движения, но и всякого понятия.

И в этом *суть* диалектики. *Эту-то суть* и выражает формула: единство, тождество противоположностей»¹⁸.

А. Бергсон, ссылаясь на невозможность теоретического осмысления движения без упрощения этого процесса, сделал иррационалистический вывод: мышление не способно постичь действительность. В. И. Ленин, напротив, показал, что мышление, познание вообще не только упрощает, искажает реальные процессы, но и преодолевает эти искажения, упрощения и связанные с ними неизбежные заблуждения. Таким образом, искажение действительности, неизбежное вследствие опосредованного характера познания, не является непреодолимой ограниченностью науки, как полагал Бергсон.

Итак, гносеологическая объективность должна быть понята как способ познавательного воспроизведения объективной реальности и как результат развития самой способности познания, форм мышления, его категориального аппарата. Эти формы, указывал В. И. Ленин, представляют собой отражение объективных, *самой действительности* присущих отношений. Следовательно, и в субъективных формах мышления находит свое выражение объективная истина. Иными словами, это не только формы мышления: их содержание присуще объективной действительности. Характеризуя процесс познания, В. И. Ленин писал: «От субъективного понятия и субъективной цели к объективной истине»¹⁹.

Диалектическое понимание объективной истины означает признание не только ее относительности, но и того, что объективная истина есть в известной степени также абсолютная истина. С этой точки зрения, как уже указывалось, объективная истина есть единство относительной и абсолютной истин, единство противоположностей, и притом их коррелятивное отношение, которое в познании выражается понятием *конкретной истины*. В. И. Ленин указывал, что «пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания»²⁰. Этот вывод в равной мере относится и к относительной,

и к абсолютной истине, указывая тем самым на конкретный (определятельный, по выражению Н. Г. Чернышевского) характер последней.

Полнота знания, независимо от того, какой предмет имеется в виду, предполагает, что нам известна «вся совокупность многообразных *отношений* этой вещи к другим» ²¹. Это, разумеется, невозможно и, по-видимому, практически не нужно. Осознание бесконечного многообразия действительности, как и неисчерпаемого многообразия связей каждого явления со всеми другими, выступает, однако, в качестве гносеологической необходимости, осмысление которой предотвращает абсолютизацию результатов познания. Если метафизики, абсолютизируя результаты познания, пытались обосновать таким образом его достоверность и мощь, то диалектические материалисты обосновывают могущество познания и достоверность его результатов путем признания прогрессивного развития познания.

В. И. Ленин настаивал на необходимости конкретно определять и тем самым ограничивать задачи каждого исследования, не забывая, конечно, об этих сознательно допускаемых ограничениях и упрощениях, которые должны быть учтены в ходе решения исследовательских задач. Вот один из особенно ярких примеров, взятый из «Материализма и эмпириокритицизма». В. И. Ленин указывал, что общественное бытие в капиталистическом обществе складывается, в частности, из бесчисленного количества изменений, вносимых в производство каждым членом общества. «Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что открыты *законы* этих изменений, показана в главном и в основном *объективная* логика этих изменений и их исторического развития...» ²²

Это указание на методологию экономического учения К. Маркса есть вместе с тем и формулирование гносеологических требований, выполнение которых обеспечивает достижение объективной истины в каждой области исследования, т. е. достижение такого знания, которое включает в себе определенные абсолютные истины без всякой претензии на абсолютное знание.

Таким образом, основная особенность ленинской постановки проблемы истины заключается в том, что эта проблема рассматривается в рамках представления об относительности познания. В. И. Ленин противо-

поставляет диалектико-материалистическое понимание относительности познания субъективистской и агностической его интерпретации. Именно в этой связи ставится вопрос: возможна ли абсолютная истина, если познание складывается из относительных истин? Ответ на этот вопрос заключается в положении об относительной противоположности абсолютной истины и истины относительной. Метафизическая абсолютизация объективной истины отвергается, но благодаря диалектическому пониманию конкретности истины утверждается, обосновывается научное понимание абсолютной истины как гносеологического феномена, действительно характеризующего историю науки.

Глава 18. **Объективная истина и уровни реальности**

Проблема истины принадлежит к числу извечных, никогда не умирающих философских тем. К ней обращались древние мудрецы, мыслители средневековья, крупнейшие представители новой и новейшей философии. Однако и сегодня — в преддверии XXI в. — категория истины продолжает оставаться объектом многосторонних философских изысканий, равно как и острых дискуссий между представителями различных школ и направлений.

Что же определяет в современную эпоху всё возрастающий интерес к проблеме истины вообще, научной истины в особенности? Первостепенную роль здесь сыграл тот факт, что крупнейший в истории естествознания научный переворот начала XX в. имел одну примечательную особенность: он был по существу концептуальной революцией. Речь шла о коренной ломке прежних понятий и принципов и о создании совершенно новых, радикально расходящихся со старыми взглядами физических теорий. Революция с предельной ясностью обнажила фундаментальное с гносеологической точки зрения обстоятельство: относительность любых естественнонаучных представлений, абстракций, теорий. Это шаг за шагом вело к возникновению качественно новой ситуации в методологическом сознании.

Две доминирующие тенденции в эволюции современного стиля мышления — релятивизация и плюрализация — породили потребность заново осмыслить вопрос о целях и предельных основаниях научного познания, о соотношении абсолютного и относительного в нем, о механизмах перехода от частных теорий к более общим. Если любая теория изначально ограничена, если она не может экспериментально подтверждаться с бесконечной точностью, то перед ученым в его исследовательской практике встает задача выявления условий адекватной приложимости теории и ее следствий как существенного момента разработки самой науки. Таким образом, вопрос о мере предметной истинности и грани-

цах применимости понятий и теорий выдвинулся в методологии науки XX в. в качестве новой и порой весьма драматической проблемы.

По-новому осветив феномен относительности знания, научная революция позволила сделать важный шаг в его понимании как в вертикальном, так и в горизонтальном срезях. В первом случае речь идет о соотношении теории и научного опыта. В соответствии с методологическими установками классического естествознания тщательно проведенная опытная проверка теории однозначно определяет ее судьбу: теория считается истинной, если опыт подтвердил ее, и ложной, если опыт ее опроверг. Однако современная научная практика показала, что любая точность проверки теории не может служить гарантией того, что на определенном шаге повышения точности измерения не обнаружится несогласование теории с опытом. Другое, не менее серьезное обстоятельство заключается в том, что на одной и той же эмпирической почве могут вырасти несколько конкурирующих между собой теорий.

«Горизонтальный срез» связан с тем, что научная революция в новом свете поставила проблему структуры и динамики естественнонаучного знания. Так, с одной стороны, фундаментальные научные теории характеризуются концептуальной замкнутостью и логической завершенностью, с другой стороны, существенный прогресс в росте научного знания выражается в появлении ряда генетически связанных и упорядоченных теоретических систем. Переход от одной теории к другой, более широкой, образует в этом случае многоступенчатую структуру, при этом обобщение с изменяющейся первичной семантикой подчиняется известному принципу соответствия. Существование последнего ни в коей мере не отменяет, однако, специфической проблемы сравнимости и соизмеримости тех или иных генетически связанных, но концептуально замкнутых теорий.

Наконец, научная революция вскрыла факт относительности различного рода «надтеоретических» образований — научных парадигм, стилей мышления, картин мира. В эпоху классического естествознания онтология любой частной физической теории легко вписывалась в казавшуюся единственно возможной механистическую картину мира. Обнаружение относительности любой картины мира и множественности частных онтологий, с одной стороны, и принципиальной неуниверсальности

любой естественнонаучной теории — с другой, открыло существенно новую перспективу в понимании рассматриваемой проблемы. Возникла необходимость включить в предметное поле анализа новые данности методологического сознания и рассмотреть, как вписывается та или иная теория в современную картину мира. Почему любая теория отражает реальность лишь частично, «фрагментарно», лишь в том или ином аспекте, «срезе», интеллектуальной перспективе? Какой должна быть структура реальности в ее предельно общих чертах, если она отражается в теориях именно так, как это имеет место в современном научном познании, и если ее отражение с необходимостью выстраивается в определенные гипертeоретические структуры, например в цепь иерархически соподчиненных теорий?

Для диалектико-материалистической теории познания вопрос о структуре реальности при исследовании проблемы истины имеет особое, можно сказать, принципиальное значение, ибо важнейшая гносеологическая посылка научного материализма заключается в том, что «диалектика *в е щ е й* создает диалектику *идей...*»¹. Разумеется, эта посылка не является единственной в рамках марксистской гносеологии, не меньшее значение имеет и положение о том, что человеческое познание нельзя понять вне связи с исторической предметно-практической деятельностью людей, вне его социокультурной, ценностной детерминации и др. И все же первой (хотя и наиболее абстрактной) посылкой остается тезис о том, что структуру знания надо выводить из структуры реальности, а не наоборот. Именно эта сторона понимания проблемы истины и является основным объектом анализа в данной главе.

1. Истина и реальность: культурно-исторический аспект

Принято считать, что формирование классической концепции истины связано с именем Аристотеля. Очевидно, разделение высказываний на истинные и ложные существовало в языке на уровне обыденного сознания задолго до Аристотеля. Разумеется, в разговорной практике людей понятие истины имело весьма ограниченное значение: передаваемые от человека к человеку фактуальные сведения по содержанию могли быть или верными, или ошибочными, или даже преднамеренно иска-

женными. Именно в этом контексте противопоставление истины и лжи использовалось в обыденном сознании для оценки качества передаваемой и получаемой информации.

С возникновением философии (как антипода мифологического и обыденного сознания) понятие истины претерпевает радикальное изменение в результате значительного расширения его первоначального смысла. Во всех древних очагах наибольшей культуротворческой активности (таких, как Греция, Индия, Китай) идея истины начинает сопрягаться с идеями рациональности и познаваемости. В «Чхандогья упанишаде» можно прочесть: «Непознающий не говорит истины, — лишь познающий говорит истину. Но следует стремиться к постижению именно познания»². Наиболее последовательно принцип рациональности развивался в древнегреческой философии.

В новом качестве категория истины становится необходимым моментом формирования и функционирования философского сознания как рациональной формы освоения мира. Подвергая сомнению достоверность культурно-исторических образов мифологического сознания, философия все решительнее критикует наличные формы и продукты духовного производства. Переосмысление обыденного понятия истины в античной философии шло в трех основных направлениях — мировоззренческом, онтогносеологическом и логическом. Рассмотрим коротко каждое из них.

1. Критика предшествующих форм культуры могла получить рациональное обоснование лишь при условии, что старое объявлялось продуктом заблуждения, чем-то неподлинным. Речь шла не об оценке той или иной информации, а о ложности или истинности самих мировоззренческих установок людей, об оценке их модели мира и их образа жизни. Тем самым понятие истины начинает играть новую роль, приобретает статус универсальной мировоззренческой категории. В этом качестве проблема истины прямо связана с правильным выбором жизненного пути и в конечном счете с вопросом о подлинности человеческого бытия. Мировоззренческая нагруженность проблемы истины усилилась в позднеантичную эпоху. В русле христианской традиции следует назвать Филона, рассматривавшего познание истины как путь к богу, а также Августина, убежденного в том, что такое познание является основным содержа-

нием жизни. Стремление к истине и желание жить «по истине» становится важнейшим признаком духовности человека.

2. Значительно расширяется и углубляется понятие истины в гносеологическом плане: истинными или ложными могут быть не только передаваемые сведения, но и показания органов чувств, человеческие представления и понятия, технологические рецепты и т. п. Категория истины начала использоваться для оценки гносеологического статуса чувственной и рациональной ступеней познания, а также для оценки самого знания во всех его формах. Более того, сама цель познания отныне рассматривалась как постижение истины. Философская рефлексия привела к появлению нового, собственно гносеологического измерения проблемы и соответственно нового предметного поля исследования. Что такое истина, каковы ее критерии, как человек достигает истины, какую роль в этом процессе играют чувства, разум, интуиция? Способен ли человек в принципе постичь истину? Эти и многие другие вопросы определили направление развития философской мысли на многие столетия вперед.

Гносеологическая разработка проблемы истины неизбежно охватила и онтологический ее аспект. Мы сталкиваемся здесь с коренной чертой всякого подлинного философствования: какой бы аспект той или иной проблемы ни рассматривал философ — гносеологический, аксиологический, антропологический и др., — анализ приобретает специфически философские черты, когда он поднимается до рефлексии над онтологическими основаниями. Чтобы исчерпывающим образом ответить на вопрос, как в познании достигается истина и возможна ли она вообще, надо ясно понимать, что представляет собой познаваемая реальность, какова природа и структура мира, материален он или идеален в своей основе, господствует в нем хаос или логос, закон, симметрия. Но обсуждение таких предельно общих проблем в этом случае оказывается возможным и продуктивным лишь тогда, когда сама истина получает онтогносеологический смысл. Вследствие такого подхода истина предстает как момент объективного в субъективном, как форма, в которой вещь присутствует в человеческом познании, как «голос самого предмета», его собственный язык, его «объективный разум» (как сказал бы Гегель). В этом контексте познание представляет собой имеющий

космические последствия процесс погружения разума в бытие, это есть встреча субъективного и объективного, переход одного в другое. Иными словами, логика движения философской мысли уже на ранних стадиях развития с необходимостью подводила к анализу онтологического аспекта проблемы истины.

3. Логический аспект проблемы истины впервые начинает разрабатываться у элеатов, затем эта линия продолжается у Демокрита и Платона и находит всестороннее развитие у Аристотеля. Парменид был, по-видимому, первым, кто перенес центр внимания с проблемы толкования природы реальности на проблему логического, дедуктивного пути движения к истине. У Платона интерес к понятию истины первоначально возник в связи с проблемой «правильного наименования вещей», соответствующего их сущности. Позднее он субстанциализировал истину, разработав свою систему объективного идеализма: он сформулировал тезис, согласно которому постижение истины как первопричины всего сущего недоступно чувствам. Душа приходит в соприкосновение с истиной только благодаря логическим механизмам мышления.

Платон противопоставлял свой подход релятивизму. Согласно кратиловскому принципу абсолютной текучести, все чувственно воспринимаемое находится в состоянии постоянного изменения, так что ни о чем нельзя судить определенно. Коль скоро все движется, замечал Платон, то любой ответ — о чем бы ни спрашивалось — будет одинаково правильным, раз он будет означать, что дело обстоит так и не так. Вообще говоря, самым точным было бы выражение «вообще никак», ибо слова «так» и «не так» все же заключают в себе некоторую определенность³.

Интерес к логическому аспекту истины все более усиливался по мере того, как развертывалась борьба против философских концепций, развивавшихся под знаком кратиловского релятивизма и учений софистов. В трудах Аристотеля позиция Кратила, Протагора и софистов подверглась последовательной критике, опирающейся на доводы логического характера. Главный недостаток позиции критикуемых философов он видел в ее внутренней противоречивости: она сама себя отрицала. Аристотель писал: «Если же все одинаково говорят и неправду и правду, то тому, кто так считает, нельзя будет что-нибудь произнести и сказать, ибо он вместе

говорит и да и нет»⁴. Если наши утверждения имеют какой-либо смысл, то они должны быть определенными. Но определенные утверждения можно проверить, т. е. установить их истинность или ложность. Истинным является утверждение, в котором говорится о положении дел, соответствующем тому, что есть в действительности. В логико-методологической программе, которую развивал Аристотель в противовес своим философским противникам, понятие истины (наряду с понятием непротиворечивости) занимает ключевое положение, образуя предельно широкую логическую и категориальную рамку всякой определенности в познании.

Поворот к логической проблематике истины в трудах Стагирита означал вместе с тем известный возврат к дофилософскому смыслу этого понятия. В частности, принималось допущение, что об истинности или ложности можно говорить лишь применительно к классу осмысленных высказываний. Разумеется, формирование учения Аристотеля во многом шло в русле философско-гносеологической проблематики своего времени, но одновременно открывало новый, формально-логический путь исследования проблемы истины. С тех пор в философии соседствуют, то пересекаясь и даже переплетаясь, то вступая в прямую конфронтацию, два существенно разных аспекта и два пути в исследовании истины — гносеологический и логический.

Понимание истины как «адекватности», т. е. как соответствия мысли объективному положению дел, с известными модификациями было воспринято наукой Нового времени. Существенные изменения коснулись, пожалуй, лишь одного пункта: соответствие стало трактоваться в основном как субъективная достоверность знания. Сама же достоверность со времен Галилея, Декарта и Ньютона и до сих пор все чаще связывается с идеей научного метода (логического или экспериментального). В эпоху господства классического естествознания постепенно сложилось представление о модели познавательного процесса, наиболее адекватно выражающей дух и практику науки того времени. Согласно этой модели, научное изучение природы обеспечивает получение достоверных и объективных знаний. «...Человеческий разум, — писал Г. Галилей, — познает некоторые истины столь совершенно и с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа...»⁵

Ученые той эпохи были уверены, что наука способна

формулировать такие утверждения о реальности, которые являются справедливыми независимо от каких бы то ни было условий и в сколь угодно широких пределах. В качестве таких абсолютных истин принимались, например, законы механики и закон всемирного тяготения. Существовало убеждение, что эти законы в силу их универсальности и абсолютной истинности являются и абсолютно точными. Какой, однако, конкретный смысл вкладывался в этот тезис? Ведь экспериментальная подтверждаемость законов всегда была ограничена наличными средствами измерения. Надо полагать, что этот тезис имел в первую очередь не экспериментально-метрическое, а гносеологическое содержание: абсолютная точность законов науки означает полное соответствие их реальности. Отталкиваясь от эксперимента, человек достигает указанной точности в своих знаниях благодаря усилиям разума, с помощью умозрения и логико-математических средств постижения истины.

Названный тезис не выглядел все же как «чисто платонистский» благодаря одному существенному дополнению: хотя метрическая точность, с которой подтверждается любая истинная теория, на каждом этапе развития науки является конечной, тем не менее существует возможность неограниченно повышать эту точность по мере улучшения измерительной техники. Другими словами, гносеологическая точность закона есть предел, к которому метрическая точность приближается в сходящейся последовательности. Таким образом, человек обладает научной истиной, с одной стороны, актуально, в виде открытых разумом законов, с другой — потенциально, благодаря бесконечному приближению к истине в опыте. Этому приближению, однако, придавался скорее технический, чем гносеологический, смысл: ведь мы приближаемся здесь к тому, что, вообще говоря, мы уже имеем.

2. Революция в естествознании: новая гносеологическая ситуация

Радикальные преобразования, которые испытало естествознание в результате научной революции в начале XX в., создали существенно новую ситуацию в понимании рассматриваемой проблемы. Выяснилось, в частности, что значительное повышение точности измерений позволяет обнаружить ограниченность старых теорий,

а также существование ранее неизвестных закономерностей и свойств материи. Две ключевые науки классического естествознания — механика и термодинамика — могли претендовать на полную точность лишь в ограниченной области их применения. Напрашивался новый теоретико-познавательный вывод: всякий закон, устанавливающий связь между физическими величинами, не может больше рассматриваться как выражение некой универсальной истины; он есть лишь обобщение экспериментальных данных.

Но тем самым проблема взаимоотношения истины и экспериментальной точности теории представляла в новом свете. Теперь речь шла о том, чтобы осмыслить связь между относительной истиной и точностью. Отсутствие простой, однозначной связи метрического, логикоматематического и семантического аспектов в структуре физической теории вызвало необходимость в ревизии самих предпосылок старой гносеологической схемы. Вопрос состоял только в том, насколько далеко следует идти по пути такой ревизии. Попытки пересмотра традиционной модели в духе абсолютного релятивизма, конвенционализма или прагматизма общеизвестны. Суть их в конечном счете заключалась в том, чтобы отказаться от понятия объективной истины. Решение проблемы научной истины в условиях новой гносеологической ситуации могло быть получено лишь с позиций диалектико-материалистической методологии.

До современной научной революции в методологическом сознании ученых господствовала установка, согласно которой истинность (или ложность) научной теории есть ее объективное свойство, которое практически обнаруживается в факте эмпирической подтверждаемости (фальсифицируемости) этой теории. Теперь же стало ясно, что в понятие опытной проверки теории должен входить не только качественный аспект («да — нет»), но и количественный («с какой степенью точности»). Другими словами, качественная оценка концептуальных построений посредством опыта (т. е. заключение об их истинности или ложности) неотделима от их метрической оценки (т. е. оценки их точности). Такой вывод означал ревизию классического «символа веры», ибо качественная подтверждаемость теории в отрыве от ее метрической подтверждаемости теряла конкретный гносеологический смысл. Если раньше истинность теории рассматривалась как константа, фак-

тически независимая от ее метрической подтверждаемости, то теперь она оказалась функцией от ее метрической основы: теории стали доверять лишь в пределах той степени точности, с какой выполнены соответствующие проверочные эксперименты.

В момент формирования теории качественная и метрическая стороны, как правило, не различаются. Однако по мере того, как с прогрессом измерительной техники повышается точность средств экспериментального контроля, начинает обнаруживаться самостоятельный характер этих двух сторон. Так, во времена Ньютона закон всемирного тяготения можно было проверить с относительной ошибкой не более чем в 4 %. Но качественная подтверждаемость этого закона не была поколеблена и тогда, когда точность наблюдений была повышена в сто, в тысячу, в десять тысяч раз... Относительная независимость теории от точности верификации часто имеет столь широкий диапазон, что может породить иллюзию их полной независимости друг от друга. В гносеологическом плане это означает, что теорию, прошедшую солидную проверку на опыте, объявляют абсолютно истинной, подтверждаемой с любой наперед заданной точностью. Именно так воспринималась классическая механика вплоть до нашего столетия.

Обнаружение того, что эмпирическая подтверждаемость теории сама по себе еще не означает факта соответствия теории реальности, заставило обратить более пристальное внимание на метрический аспект проблемы. Сам научный опыт уже не мог больше восприниматься в виде «плоскости» соприкосновения теории с реальностью. В результате непрерывного прогресса в повышении точности измерительной техники и других средств опытного контроля над теорией опыт приобрел в познавательном отношении новое свойство: он стал метрически (количественно) организованным; появилось не только экстенсивное, но и интенсивное «пространство опыта». Качественная подтверждаемость есть необходимое, но недостаточное условие для вывода об истинности теории. Необходимо еще рассмотреть вопрос о соотношении истинности и метрической точности.

Возьмем для примера следующую ситуацию. Известно, что для случая, когда скорость тела не превышает 100 км/сек, классическая механика подтверждается с точностью до одной миллионной. Достаточна ли такая точность, чтобы считать механику истинной теорией

в интервале значений $0 \leq v \leq 100$ км/сек? Очевидно, что ответ на этот вопрос зависит от решения более общей проблемы: правомерно ли вообще говорить об истинности теории, если она имеет ограниченную точность подтверждения? В общем случае здесь можно ответить так: правомерно в смысле относительной истины. Отсюда, казалось бы, ясно, что если задан некоторый интервал значений, в рамках которого теория подтверждается с конечной точностью, то такую теорию допустимо считать относительной истиной. Весь вопрос, однако, в том, какую степень совпадения теоретических следствий с данными опыта следует считать однозначным подтверждением теории. Ведь мы можем, вообще говоря, задать столь малую точность подтверждаемости теории, что нельзя будет говорить даже об относительной истинности.

Можно, разумеется, рассуждать так: поскольку понятие истины имеет качественный характер, то нерелевантна уже сама идея искать конкретно выражаемую связь истины и метрической точности. Но ведь для того, чтобы физическая теория считалась истинной, какая-то степень совпадения теоретических следствий и данных измерения все-таки нужна. Здесь мы сталкиваемся с трудностью типа «парадокса кучи»: совпадение теории с экспериментом с точностью в одну миллионную — это истина, в одну тысячную — еще истина, а в одну сотую — ? Именно с такой метрической точностью соответствует реальности механика в интервале значений $0 \leq v \leq 0,1c$. Может быть, наша теория, как говорил П. Дюгем, не истинна и не ложна, а приближительна? Однако такой вывод, устраняющий фундаментальное различие истины и лжи, ведет, как показал В. И. Ленин, к стиранию грани между научной теорией, «приближающейся к объективной истине, и теорией произвольной, фантастической...»⁶.

Возможен и другой — конвенциональный — путь обхода рассматриваемой трудности: теория принимается истинной в фиксированном интервале значений, при этом крайняя точка интервала выбирается условно. Но такой подход целесообразен лишь тогда, когда принимается концептуалистский тезис о существовании изначальной дисгармонии между континуальной структурой реальности, с одной стороны, и дискретной структурой знания — с другой. Анализ структуры научного знания в его соотношении с реальностью показывает,

что концептуалистская версия вовсе не является неизбежной. Более того, если исходить из объективной диалектики прерывного и непрерывного, то можно дать последовательный диалектико-материалистический ответ на поставленный выше вопрос. Рассмотрим подробнее эту сторону дела.

Кажется, что, формулируя закон количественной связи между явлениями в рамках некоторой теории, мы, вообще говоря, не можем рассчитывать на большую его точность, чем точность базисных измерений, поскольку есть вероятность, что следующий шаг в повышении точности измерений не оправдает нашей надежды на подтверждаемость сформулированного закона. Между тем научная практика свидетельствует, что метрическая точность естественнонаучных законов, как правило, на несколько порядков выше точности их исходной индуктивной основы. Поэтому повышение точности эксперимента в определенном интервале значений не приводит к расхождению теоретических построений с опытом. Это наводит на мысль, что каждая теория изначально «обременена» интервалом ее гносеологической точности, причем этот интервал выступает не только как внутренняя характеристика теории, но и как собственная характеристика опыта, наделенного определенной метрической структурой.

Таким образом, формирующаяся теория как бы с самого начала имплицитно содержит в себе некоторый запас прочности, позволяющий ей противостоять натиску эксперимента, все более уточняющего ее основы. Когда же эксперимент ставит предел осмысленному применению теории, ни предположения *ad hoc*, ни консервативные изменения семантики понятийного аппарата или модификация математического формализма по существу не могут спасти положения дел. По-видимому, запас прочности теории, являясь ее гносеологическим свойством, одновременно выражает и некую объективную характеристику структуры мира, той физической реальности, которую описывает эта теория независимо от того, на каком этапе становления она находится.

Известно, что процесс экстраполяции позволяет на некотором шаге обнаружить качественные пределы применимости теории. Но эти границы можно установить и на некоторой ступени повышения точности измерения. В сущности эти два процесса взаимосвязаны:

если точность подтверждаемости теории задана, то можно указать такой интервал значений некоторой входящей в теорию величины, за пределы которого экстраполяция недопустима.

Обратимся для примера к классической механике и потребуем, чтобы теория подтверждалась с точностью до одной миллионной ($\varepsilon = 0,000001$). Если взять теперь в качестве параметра теории скорость v , то можно установить, что теория подтверждается с заданной точностью, если значения v лежат в интервале $0 \leq v \leq \leq 100$ км/сек. В общем случае можно записать: $0 \leq \leq v \leq \alpha$. Свяжем с этим интервалом область подтверждаемости теории. Повышая требование к метрической точности подтверждения теории, получаем другой интервал: $0 \leq v \leq \alpha$, где $\alpha > \alpha'$. Отсюда следует, что область качественной (модельной) подтверждаемости теории сужается. При этом важно, что на каждом конкретном этапе сужения этой области имеется в принципе экспериментально фиксируемая на количественном языке точка ε , *определяемая из уравнений более сильной теории. В общем случае область подтверждаемости теории ограничена как «сверху», так и «снизу» значениями ε'' и ε' .* Сечение этой области по любому из значений интервала $\varepsilon' \leq \varepsilon \leq \varepsilon''$ обеспечивает существование ε -модели рассматриваемой теории. Это значит, что всегда можно подобрать класс таких экспериментальных ситуаций, внутри которых расхождение между теорией и опытом будет ниже обнаруживаемого предела.

Перечислим теперь некоторые важные свойства области подтверждаемости теории:

— границы области подтверждаемости исходной теории могут быть теоретически заданы, лишь исходя из более широкой теории;

— никакое повышение точности проверяющих процедур, пока мы остаемся внутри этой области, не может привести к экспериментальному обнаружению расхождений между предсказаниями теории и опытом;

— подтверждаемость теории является непрерывной (всюду плотной) в любой точке интервала ее гносеологической точности, и, следовательно, теория не может быть фальсифицирована ни в одной из таких точек (моделей).

Указанные свойства раскрывают смысл феномена, который был назван выше «запасом прочности» теории. Не подтверждаемость и фальсифицируемость как та-

ковые, а экспериментально контролируемый запас прочности теории является действительно первым признаком ее научности. Свойство это выражает фундаментальный признак роста теоретического знания: метрическая подтверждаемость научной теории всегда оказывается значительно выше, чем это можно было первоначально ожидать, исходя из точности базисных измерений⁷.

Из сказанного можно заключить, что в понятие области подтверждаемости теории входят два признака — качественная и метрическая подтверждаемость. Любая констатация истинности теории имеет смысл лишь при условии, что фиксирован интервал ее гносеологической точности и запас прочности. Первый фиксируется теоретически, второй — эмпирически.

3. Диалектика абсолютного и относительного в познании

Восходящая к гносеологическим концепциям прошлого модель, согласно которой процесс познания есть бесконечное и непрерывное приближение к истине, верно схватывая историческую направленность познания в общем виде, приводит тем не менее к парадоксальным следствиям, когда пытаются применить ее к конкретным познавательным ситуациям. Если приближение к истине только бесконечно и непрерывно, то, значит, на каждом конкретном этапе дистанция между субъектом и объектом остается бесконечной. А это противоречит реальной практике науки.

Данный парадокс разрешим, если учитывать диалектику прерывного и непрерывного в познании, выражающуюся, в частности, в интервальной природе научной истины. Раскрывая вклад В. И. Ленина в разработку теории истины, С. Б. Крымский пишет: «Он доказал, что непрерывное (асимптотическое) сближение познания с действительностью прерывается определенными уровнями диалектического тождества понятия и реальности, т. е. объективной истиной. Причем каждый из уровней познания как ступенька объективной истины является отражением сущности определенного порядка»⁸.

В связи с этим можно выделить три смысла понятия относительности истины. Во-первых, следует иметь в виду историческую ограниченность человеческой прак-

тики, расплывчатость, приблизительность тех или иных знаний, изменчивость социокультурных и мировоззренческих оснований познания. Это обуславливает необходимость движения от неточного и недостаточно определенного знания к точному и более определенному. Приближение мысли к реальности в силу конечности этого процесса в определенных условиях завершается достижением абсолютной истины в рамках интервала абстракции. Тем самым в итоге выявляется абсолютная сторона относительного: «Всякий раз, когда с определенной степенью точности подтверждается какой-либо закон... можно утверждать, что этот результат в основном является окончательным и никакие последующие теории его не смогут опровергнуть»⁹. Существенным свойством фундаментальных физических теорий является логическая непротиворечивость, концептуальная замкнутость и полнота. Поэтому с семантической и логико-математической точки зрения дальнейшее уточнение концептуального аппарата и исходных уравнений теории не имеет смысла.

Во-вторых, относительный момент абсолютной истины раскрывается в приближении познания к более глубокой и универсальной истине в результате скачкообразного перехода от одного интервала к другому, более широкому (например, переход от классической механики к релятивистской). Отсюда следует, что гносеологическая точность знания как мера адекватности теории интервальна по своему существу: она является хотя и изменяющейся, но тем не менее всякий раз дискретной характеристикой поступательного движения человеческого познания, целостной и непрерывной в рамках интервала и прерывной при переходе к другому интервалу.

В-третьих, истина внутри интервала обнаруживает свою относительность, как только мы *выходим за его границы*, другими словами, относительная сторона абсолютной истины проявляется в ее ограниченной применимости, зависимости от конкретных условий (конкретность истины). На примере истории физики видно, что, в то время как метрическая точность (точность измерений) теории всегда конечна, а логико-математическая бесконечна, гносеологическая точность оказывается абсолютной внутри интервала абстракции и относительной при переходе к обобщающей теории, к другой парадигме или интеллектуальной перспективе.

В этом смысле гносеологическая точность может быть большей или меньшей. Но употребление характеристик такого рода имеет смысл лишь при сравнении теорий, рассматриваемых в двух вложенных один в другой интервалах, образующих иерархическую структуру. При этом процесс уменьшения ошибок измерения в историческом плане хотя и остается непрерывным, процесс постижения истины оказывается скачкообразным.

Если при переходе от одного интервала к другому адекватность теории можно определять с помощью терминов «меньше» и «больше» и если исходить из того, что цепь обобщающих интервалов может быть продолжена, то не означает ли это, что гносеологическая и метрическая точность будут сливаться в бесконечности и что именно с этой бесконечностью следует ассоциировать понятие абсолютной истины? И не говорит ли это о том, что, отказавшись от буквы, мы возвращаемся к духу классики? Структура современных фундаментальных теорий и механизм перехода от частных теорий к общим, как отмечалось, не дают оснований для такого заключения.

Тезис о том, что истина всегда конкретна, как раз и означает в данном случае требование выявлять меру адекватности теории, т. е. фиксировать практические критерии и теоретически выявляемые из исходных допущений предпосылки, так или иначе задающие интервал гносеологической точности теории, внутри которого истинность знаний имеет абсолютный характер и получает безусловное практическое подтверждение. Именно потому, что мы познаем относительное, мы познаем его абсолютно. Частичный и относительный характер всякой истины, однако, выявляется тотчас же, как только мы переходим к более универсальной теории и можем посмотреть на истину не «изнутри», а «извне», находясь в другой познавательной позиции. Но поскольку относительность в природе всегда есть лишь аспект более широкого целого, то такой переход от частного к общему, от «проекции» к «инварианту» в процессе поступательного движения познания оказывается неизбежным. Научная истина, таким образом, диалектична: она выражает «относительность всякого знания и абсолютное содержание в каждом шаге познания вперед»¹⁰.

Глава 19. Проблема истинности в логической семантике

Интенсивное развитие современной логики, ее применение в философии математики, методологии науки, программировании, информатике, вычислительной технике и логическом анализе естественных языков привело к существенному расширению сферы логического, к возникновению порой альтернативных логических систем. В этой связи остро встает проблема обоснования логики, применяемых способов рассуждения.

Характерной чертой развития формальной логики является расширение сферы логического. Аристотель детально разработал теорию силлогистических умозаключений, стоики развивали теорию выводов, основанных на структуре условных, разделительных и других сложных утверждений. Выдвинутая Лейбницем программа применения методов исчисления к логическим проблемам привела к существенному обогащению сферы логического — к построению в XIX в. Г. Фреге и Ч. Пирсом логики предикатов. Последнее позволило исследовать умозаключения, основанные на высказываниях об отношениях, развить теорию квантификации. В XX в. были построены модальные, временные, интенциональные логики. Появились логики, альтернативные классической логике и ее расширениям. Это прежде всего интуиционистская логика, многозначные, релевантная, паранепротиворечивые и другие логические системы. В настоящее время в сферу логических исследований включены интенциональные контексты, нормы, императивы, вопросо-ответные ситуации.

Естественно, расширение сферы логического остро ставит вопрос о природе логического знания, единства логики, ее взаимодействии с другими логическими дисциплинами. Эмпирической или теоретической наукой является логика? Изучает ли и фиксирует ли она присущие человеческому разуму или исторически сложившиеся приемы познания и рассуждения? Чем определены эти способы рассуждения? Люди вполне могут мыслить, нарушая правила логики. Необходимость,

присущая логическим законам, иного порядка, чем та необходимость, которая присуща законам природы, например, как отмечал Г. Фреге, законам гравитации.

В качестве альтернативы выдвигались различного рода конвенционалистские подходы к истолкованию законов и принципов логики. Нормативный характер логических принципов вытекает из соглашений относительно употребления терминов языка, прежде всего логических констант. По существу в этом случае проблема обоснования принимаемых способов рассуждений снимается, ибо их принятие обусловлено чисто прагматическими соображениями; особенно характерен в этом плане известный «принцип терпимости» Р. Карнапа.

Вопрос обоснования логики, логических систем теснейшим образом связан с вопросом о природе логического. Однако логическое знание не есть знание, относящееся к языку. Действительно, формальный характер рассуждения, при котором правильность рассуждения усматривается из формы посылок и заключения, обязывает особо внимательно анализировать языковые средства представления знания. Язык, особенно искусственные языки логики, лишь инструмент, средство точной и эффективной репрезентации логических структур, но не их источник.

Именно абсолютизация разграничения формы мышления, с одной стороны, и его содержания — с другой, приводит либо к пониманию логических форм как изначально данных, неизменных, независимых от содержания познания, либо к истолкованию их как произвольных, варьируемых в соответствии с конвенциями относительно правил языка и опять-таки независимых от содержания познания. Мы полагаем, что основания логики лежат в теории познания и онтологии. Особую роль в обосновании логических структур играет понятие истинности. Такой подход позволяет объяснить многообразие логических систем, усмотреть единство логики и даже наметить пути развития логической науки.

Задача логики — не просто описывать сложившиеся способы рассуждения. Она состоит в том, чтобы обосновать и систематическим образом представить способы рассуждения, гарантирующие при истинности посылок истинность заключения. Можно сказать еще определеннее: задача логики состоит не в том, чтобы описать, как человеком или компьютером из посылок извлекаются следствия (или как ищутся доказательства), а в том,

чтобы обосновать возможные способы рассуждения, методы поиска доказательства и т. д. Логика, как и математика, не является эмпирической наукой. Ни первая, ни вторая не обосновываются ссылкой на то, что так некто рассуждает или вычисляет.

Формальная логика всегда была связана с принципиальными проблемами философского или онтологического характера. С превращением формальной логики в символическую в ней стал применяться сложный технический аппарат исчисления, а также использоваться достаточно богатые математические средства. Однако это не отдалило логику от философии, как может показаться на первый взгляд. Связь формальной логики с философией, особенно с теорией познания, стала более глубокой, многосторонней и основательной.

Одна из важнейших задач логики заключается в описании правильных способов рассуждения. Но какие выводы считать правильными? Те, что соответствуют правилам? Но почему принимаются те, а не иные правила, те, а не другие логические системы? Речь идет об оправданности способов рассуждения. И дело не в ссылке на особенности нашего интеллекта и не в указании на принимаемые правила оперирования знаками. В теории дедуктивных рассуждений обязательным образом требуется: правила вывода должны с необходимостью гарантировать при истинности посылок истинность заключения. «Если наши предпосылки верны, — писал Ф. Энгельс, — и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности...»¹ Можно строить различные системы формального вывода, видоизменяя и варьируя правила вывода. Однако, какова бы ни была структура допускаемых способов рассуждения, в логике к ним предъявляется одно обязательное требование: они должны воспроизводить отношение логического следования. Поэтому понятие истинности является основным понятием логической семантики, необходимым для обоснования принимаемых способов рассуждения.

Суть дела заключается в особом отношении логики к понятию истинности. Если психологию, например при изучении процессов мышления, истинность интересует лишь постольку, поскольку любая наука заинтересована в истинности своих положений, то в логике истинность входит в ее предмет. Способы рассуждения находят свое оправдание и обоснование в принимаемой

концепции истинности. В зависимости от того, каким условиям отвечает принимаемое в семантике понятие истинности, находят оправдание и обоснование те или иные правила логики — собственно говоря, именно различные условия истинности высказываний в классической и конструктивной логиках объясняют различие в истолковании логических констант в них, различие процедур рассуждения, допускаемых в них *.

Ни логика, ни логическая семантика не создают новых концепций истинности. Логическая семантика заимствует учение об истинности из теории познания. Таким образом, обоснование логики, как мы постараемся показать далее, является философским, *теоретико-познавательным обоснованием*. Стремление учесть в логике все более глубокие теоретико-познавательные характеристики истины приводит к появлению новых логических систем.

В философии выдвигались различные концепции истинности: классическая, утилитаристская (прагматическая), теория когеренции и др. В основе семантики классической логики лежит понятие истинности, восходящее еще к Аристотелю **. Оно предполагает основной принцип теории отражения, является его реализацией ***, а в логической семантике получает техническую разработку и уточнение, необходимые для решения стоящих перед логикой задач.

Прежде всего необходимо уточнить, к какого рода объектам относится термин «истинный», какова область определения этого предиката. В теории познания этот термин нередко употребляют по отношению к ощущениям, восприятиям, образам памяти, а также к понятиям. В логике, как правило, областью определения свойства истинности выступают только суждения. На

* «...По крайней мере две из обычных шести логических связей: «и», «или», «если... то», «неверно, что», «при всяком», «существует... такой, что» понимаются в конструктивной математике иначе, чем в классической. Другое понимание логических связей, естественно, требует и другого обращения с ними, других правил действия, одним словом, другой логики» (см.: *Марков А. А.* О логике конструктивной математики // Вестн. МГУ. Сер. Математика. Механика. 1970. № 2. С. 12—13).

** В литературе его обычно называют классическим (аристотелевским) понятием истинности (*Tarski A.* Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. *Studia Philosophica.* 1935. 1).

*** Понятия истинности, лежащие в основе классической и интуиционистской логик, различны; однако в обоих случаях они основываются на основном принципе теории отражения.

наш взгляд, надо по крайней мере четко различать содержание термина «истинно» в зависимости от его применения к ощущениям, восприятиям и понятиям, с одной стороны, к суждениям — с другой. В первом случае «истинно» является синонимом «адекватно». И ощущения, и образы восприятия, памяти и воображения, как и понятия, могут сопоставляться с действительностью, и можно судить об их адекватности или неадекватности. Но сопоставление происходит здесь «извне», образы и понятия не включают в себя этот акт, тогда как суждение само является актом сопоставления, отчетом о его результатах. Термин «истинно», применяемый к суждениям, и термин «истинно» («адекватно»), применяемый к образам и понятиям, различаются и по формальным свойствам: первый является одноместным предикатом, тогда как второй — двухместным.

Иногда оценивают как истинные и ложные также умозакключения; мы будем их характеризовать как допустимые, правильные, если они воспроизводят отношение логического следования. Применимость терминов «истинно» и «ложно» к вопросам, предписаниям, желаниям, нормам в настоящее время широко обсуждается. Нам представляется, что если и можно применять истинностную характеристику к указанным формам мысли, то лишь в смысле, отличном от понятия истины, относящегося к суждениям. Истинностная характеристика вопросов, норм и т. д. отвечает совершенно иным условиям, нежели в случаях применения к обычным суждениям.

Кажется, все согласны с тем, что суждения выражаются посредством повествовательных предложений того или иного языка. Но что представляют собой суждения? Произнося или записывая предложение, выражающее суждение, субъект совершает некоторый акт утверждения (отрицания), отличный от актов повеления, предписания или запроса информации. В логической семантике на определенном уровне рассмотрения мы отвлекаемся от прагматического аспекта, от учета субъекта, совершающего акт суждения (хотя само суждение невозможно без этого аспекта), но не отвлекаемся от самого акта суждения. Значит, мы имеем дело не с суждениями непосредственно, а с интерпретированными предложениями, выражающими суждения. Такого рода предложения называют обычно высказываниями. Свойства «быть истинным» и «быть ложным» относятся

к высказываниям, т. е. интерпретированным предложениям.

Отметим еще одно довольно сильное допущение, принимаемое в стандартных системах логики. Принимается, что каждое отдельно взятое высказывание может оцениваться как истинное или ложное. Однако это допущение отнюдь не столь очевидно, как представляется на первый взгляд, и от него приходится в ряде случаев отказываться или модифицировать его. Дело в том, что часто сопоставляются с действительностью не отдельно взятые высказывания, а целые системы высказываний, научные теории; некоторые высказывания получают интерпретацию лишь в контексте теории, а взятые изолированно, не получают интерпретации. Так, Гильберт подразделял все высказывания математики на реальные и идеальные. Только реальные предложения имеют самостоятельное значение, сопоставимое с действительностью, и могут оцениваться как истинные или ложные; они представляют собой содержательные сообщения о конструктивных объектах, которые могут быть построены в рамках абстракции потенциальной осуществимости. Обычные законы логики и содержательные рассуждения вполне надежны, если их применять к реальным предложениям математики.

Высказывания об идеальных элементах — это высказывания о фикциях. Обоснование они получают в контексте всей теории. Они не рассматриваются как содержательные сообщения математики, не могут оцениваться соответственно как истинные или ложные и являются лишь идеальными образами теории. Естественно, к ним неприменимы обычные законы логики — «надежность заключений» классической логики утрачивается. Содержательные рассуждения с такого рода высказываниями заменяются внешними действиями с ними как с объектами наглядного созерцания согласно принятым правилам. Таким образом, законы и фигуры заключений традиционной логики вовсе не являются универсальными, абсолютными, они прямым образом зависят от «содержания познания» — типов сущностей, допускаемых в теориях.

Вообще говоря, вопрос стоит шире — не только об оценке высказываний в контексте теории. Каковы критерии осмысленного применения предиката «быть истинными» в логике? Любые ли осмысленные сужде-

ния в принципе могут оцениваться как истинные или ложные? Возьмем, например, суждения о несуществующих объектах типа: «Нынешний король Франции лыс» или «Гамлет не черноволос». Если рассматривать их логическую структуру обычным образом, т. е. S есть P и S не суть P , то из двух контрадикторных высказываний оба оказываются ложными (нарушение закона исключенного третьего).

Пока не уточнены и не зафиксированы условия и особенности истинностных характеристик суждений, не выявлено четко, какая философская концепция истины лежит в основе, лишено смысла обсуждение вопроса о действии таких классических законов, как законы непротиворечия и исключенного третьего, бессмысленно решать, могут ли утверждения быть ни истинными, ни ложными или одновременно и истинными, и ложными. Таким образом, следует различать, с одной стороны, вопрос о сфере приложения законов и правил классической логики, с другой — вопрос их обоснования, концепции истинности, лежащей в их основе.

Уточнение классического понимания истинности применительно к языкам с точным образом описанной структурой предложил А. Тарский. С его точки зрения, предикат «быть истинным» должен удовлетворять следующей схеме:

(1) *x — истинное высказывание тогда и только тогда, когда p ,*

где вместо x подставляется любое высказывание, а вместо p — само это высказывание (или его перевод в метаязык). Например: «снег бел» истинно \equiv «снег бел». Или « $5 > 3$ » истинно $\equiv E\ x\ (x \neq 0 \wedge x + 3 = 5)$.

Конечно, схема (1) не является определением понятия «быть истинным высказыванием», но она выявляет общее условие, которому должно удовлетворять любое определение истинности, чтобы быть адекватным понятию истинного высказывания в классическом смысле. Введенное точным образом, по определению, понятие истинности для той или иной теории будет адекватным только в том случае, если для него верны (могут быть доказаны) все случаи подставки в схему (1). Таким образом, схема Тарского не связана с каким-либо новым пониманием истинности (ложности) утверждений, она лишь уточняет обычные условия истинности, сформулированные еще Аристотелем. Схема (1) указывает, что должно иметь место, чтобы данное высказывание

оценивалось как истинное. Схема естественно связана с интерпретацией предложения: только понимая предложение, можно указать условия его истинности.

Но схема (1) — любая подстановка в нее — *не является утверждением истинности какого-либо высказывания*, не дает она и критериев установления того, имеет ли место ситуация, утверждаемая высказыванием, — последнее лежит за рамками логики и семантики. Не логика дает *критерии установления*, бел ли снег и какое число больше, 3 или 5.

Далее, согласно схеме, утверждать истинность некоторого высказывания означает то же, что и утверждать само это высказывание. Каков тогда смысл применения предиката «истинно», не являются ли случаи подстановки в схему просто тавтологиями? Однако легко видеть, что в левой части эквивалентности речь идет о высказывании (дается определенная его оценка), а в правой — не о высказывании, а о положении дел в действительности, описываемом этим высказыванием.

Мы постоянно оцениваем высказывания естественного языка как истинные или ложные, используя опять-таки высказывания этого же языка. («Утверждение, что... не истинно» или «Высказывание такого-то лица истинно» и т. п.) Сами оцениваемые высказывания в свою очередь могут содержать предикаты «истинно», «неистинно» и т. д. — происходит процесс итерации. Естественные языки являются семантически замкнутыми. При достаточно естественных условиях требования схемы (1) могут не реализоваться. Существуют высказывания, которые мы воспринимаем как осмысленные (мы их понимаем), но они не могут оцениваться как истинные или ложные. Встает в целом сложная проблема смысла высказываний, критериев их осмысленности и возможности их истинностных оценок.

Говорят, что язык *семантически замкнут*, если в нем для каждого выражения может быть построено его имя (или описание) и если он включает семантические понятия, относящиеся к выражениям этого же языка, например предикат «истинно», определенный на множестве высказываний этого языка. Если язык семантически замкнут, то нетрудно средствами этого языка построить предложение, утверждающее свою собственную неистинность. Если мы к тому же допустим, что действует обычная классическая логика, то предложение, говорящее о своей собственной неистинности, оказывается од-

новременно истинным и ложным (неистинным). Тем самым получаем известный со времен античности парадокс Лжеца, или парадокс Эпименида. Аналогично можно сформулировать другие семантические парадоксы, связанные с понятиями определмости и обозначения. Каковы же пути устранения семантических парадоксов и причины их возникновения?

Существуют различные пути устранения семантических парадоксов. В разветвленной теории типов Б. Рассела стратификация объектов ведет к стратификации уровней предложений. Нет единого типа предложений, и соответственно нет единого понятия истинности, отнесенного ко всем предложениям. Однако типология объектов и высказываний имеет формальный характер, жесткие формальные ограничения, налагаемые на правила образования системы, устраняют самоприменимость любого рода; в силу этого указанный подход не получил широкого применения.

Известный метод элиминации семантических парадоксов разработал и обосновал А. Тарский. Идея состоит в отказе от семантически замкнутых языков (каковыми, как отмечалось, являются обычные естественные языки). Разграничив *объектный язык* и *метаязык*, мы получаем семантически не замкнутые языки. В этом случае в объектном языке не содержатся и, как показал Тарский, не могут быть определены семантические понятия, относящиеся к выражениям этого языка. Так, в частности, в семантически не замкнутом языке не может быть сформулировано предложение, утверждающее собственную неистинность (предложение Лжеца). Таким образом, подход Тарского устраняет некоторые процедуры самоприменимости, но обычная, *классическая логика сохраняется*. Следует отметить, что разграничение объектного языка (языка «предметной теории») и метаязыка не устраняет любые процедуры самоприменимости, в частности в достаточно богатом объектном языке может быть сформулировано предложение, утверждающее собственную недоказуемость.

Дело не только в устранении семантических парадоксов. Метод, предложенный Тарским, открывает путь построения семантики как точной и строгой науки; семантические понятия (в частности, понятие истинности) вводятся в метаязыке строгим и непротиворечивым образом. Адекватность введенного понятия истинности определяется выполнением условий схемы (1). Сохра-

пятся обычная, классическая логика, действуют законы непротиворечия и исключенного третьего. Подход Тарского послужил базой для важнейших логико-методологических исследований и результатов. Он дал средства исследования точным образом выразительных и дедуктивных возможностей теорий со стандартной формализацией, открыл пути построения семантик такого рода теорий.

Далее, были получены важные результаты, связанные со сравнением дедуктивных теорий по силе, богатству их выразительных возможностей. Так, согласно результату Тарского, метаязык, адекватный для семантических целей, *богаче* объектного языка в том смысле, что содержит *переменные более высокого порядка*; чем объектный язык. Это дает определенные критерии для сравнения языков теорий по богатству. Например, понятие истинности для высказываний первопорядковой арифметики неопределимо в языке этой теории, но оно определимо во второпорядковой арифметике. Далее, если метатеория T' настолько богата, что в ней можно определить понятие истинности для T , и T' настолько сильна, что в ней можно доказать, что все теоремы T истинны (такое понятие истинности называют нормальным), то это означает, что в теории T' доказуема *непротиворечивость* дедуктивной теории T . Так, Дж. Кемени доказал в аксиоматической теории множеств Цермело Z непротиворечивость простой теории типов T , следовательно, Z сильнее T . А это действительно важный результат. Таким образом, рассмотренный путь построения семантики теорий (и введения понятия истинности) — это не только путь устранения семантических парадоксов, но и база для решения важнейших проблем методологии дедуктивных наук.

Дело не просто в «устранении» семантических парадоксов. Парадоксы типа парадокса Лжеца поднимают целый комплекс вопросов принципиального, методологического характера, связанных с пониманием языка и мышления, с анализом познавательных процедур и логики. Они вскрывают глубинные связи концептуального каркаса и его согласованность с логикой. Именно о наличии несогласованности сигнализируют парадоксы, заставляя уточнять и переосмысливать такие базисные понятия, как суждение, предложение, мысль, осмысленность, ложность, истинность, отрицание, следование и т. д. Анализ причин возникновения этих

парадоксов ведет к выявлению допущений относительно истинности и смысла высказываний, критериев корректности теорий. Это в свою очередь позволяет рассмотреть те средства, которые «блокируют» ведущие к противоречиям допущения. Если так подходить к анализу парадоксов, становится ясно, что пути их устранения не детерминированы единственным образом.

Предложение, утверждающее собственную неистинность, приводит к противоречию *при допущении*, что *понятие истинности является всюду определенным*: относительно любого высказывания можно утверждать, что оно истинно или ложно. Предполагается также, что никакое высказывание не может быть одновременно истинным и ложным. Отказ от этих допущений позволяет избежать семантических парадоксов *без подразделений на объектный и метаязык*. Но логические правила в такого рода семантически замкнутых системах не совпадают с правилами классической логики. Одним из первых такой способ преодоления парадоксов предложил в 1938 г. Д. А. Бочвар. Логика для языков с частично определенными функциями была построена С. Клини. В 1975 г. С. Крипке, с одной стороны, и Р. Мартин с П. Вудруффом — с другой, положили начало новому этапу в исследовании семантически замкнутых языков и понятия истинности и ложности высказываний в них.

Понятие истинности, лежащее в основе систем классической логики, соотносит высказывания с положением дел в некотором фиксированном универсуме рассмотрения — универсуме данной теории (предложение *p* схемы (1) и утверждает некоторое положение дел в этом универсуме). Однако на основе этого понятия истинности могут вводиться понятия *релятивного характера*, охватывающие иные возможные интерпретации предложений теории. Так, может быть введено понятие истинности высказывания, релятивизированное относительно *универсума рассмотрения и способов интерпретации исходных нелогических терминов языка теории*. На базе этого понятия в свою очередь вводятся семантические понятия типа: «быть истинным высказыванием в области с *d* объектами», «высказывание, истинное в конечных областях», «высказывание, истинное в любой области» и т. д. Таким путем вводится понятие логической истинности и понятия аналитической

истинности, общезначимости, логического следования.

Пусть D — некоторый универсум рассмотрения, I — функция интерпретации исходных нелогических терминов данного языка L (функция I приписывает индивидуальным константам L объекты из D , а предикатным константам L — свойства и отношения, определенные на области D , общим терминам — множества объектов из D), тогда пару $M = \langle D, I \rangle$ называют *возможной реализацией L* (полумоделью L). Высказывание AL — *истинно*, если и только если оно истинно во всех возможных реализациях языка. Из A *логически следует B* , если и только если во всех тех возможных реализациях, в которых A истинно, B также истинно. Таким образом, введение L -понятий (логической истинности, логического следования) предполагает рассмотрение *различных возможных интерпретаций языка теорий*. Классическое понятие истинности (в данной фиксированной реализации) выступает как частный случай этого обобщенного понятия истинности, релятивизированного относительно возможных реализаций M .

На базе этого обобщенного релятивизированного понятия истинности может быть введено понятие модели дедуктивной теории. Возможная реализация M есть *модель теории T* , если все аксиомы T истинны в M , а правила вывода таковы, что при истинности посылок истинно заключение. Понятно, что возможны различные модели теории, и у нас появляются средства исследовать их точным образом *. В методологии дедуктивных наук появляется возможность характеризовать теории и отношения между ними в зависимости от их моделей. Например, говорят, что теории *категоричны*, если все их модели изоморфны. Или две модели *элементарно эквивалентны*, если все высказывания, истинные в одной, истинны в другой и обратно.

* Так, система аксиом арифметики может быть интерпретирована в пределах геометрии. Обратно, система аксиом геометрии также находит интерпретацию в пределах арифметики. Возможные применения этих двух факторов весьма разнообразны. Геометрические фигуры могут быть, например, приспособлены для наглядного представления различных фактов из области арифметики. В свою очередь можно исследовать геометрические факты при помощи арифметического и геометрического методов (см.: *Тарский А.* Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948. Гл. VI. § 38; *Смирнова Е. Д.* Анализ выразительных возможностей языков и теорий // Логико-методологические исследования. М., 1980).

В соответствии с определением модели теории, если некоторое высказывание *A* доказуемо в конкретной теории *T*, то каждая модель теории удовлетворяет этому высказыванию (*A* истинно в ней). В таком случае каждое доказательство некоторого утверждения конкретной дедуктивной теории, поскольку оно не зависит от специфических свойств данной модели теории, может быть распространено на любые интерпретации аксиом теории. Такое доказательство принадлежит не данной теории, а логике. По словам Тарского, всякое доказательство в области дедуктивной теории содержит потенциально-неограниченное множество аналогичных доказательств. Мы имеем некоторый общий закон методологии дедуктивных наук.

Кроме того, мы получаем важный общий метод доказательства — посредством демонстрации модели — того, что данное утверждение теории не доказуемо в ней: достаточно построить модель теории, в которой это утверждение неистинно (хотя во всех остальных моделях теории оно может быть истинным).

Теорему Тарского, а также теоремы Гёделя и Черча — Россера принято называть теоремами об *ограниченностях формализмов*. Однако это название не совсем адекватно выражает их смысл и значение. Отметим, что теоремы не говорят о какой-то «ущербности» формальных систем. Они действительно характеризуют возможности систем со стандартной формализацией. Но смысл теорем этим не ограничивается: они позволяют выявить важные характеристики таких содержательных понятий, как истинность, доказуемость, логическое следование. Так, упомянутая теорема Тарского о неопределимости понятия истинности в самой системе характеризует именно не «бедность», а «богатство» этого понятия, его специфическое отличие от понятий синтаксиса.

Теорему Гёделя также можно рассматривать как результат, характеризующий понятие истинности. Она выявляет, что *понятие истинности для достаточно богатых систем* (содержащих рекурсивную арифметику) *не является рекурсивно перечислимым*, так как найдется истинная, но не доказуемая формула, в частности формула, утверждающая собственную недоказуемость. Иными словами, теорема говорит о том, что в такого рода богатых системах понятие истинности таково, что его объем не может быть задан эффективным образом (он

даже не является эффективно перечислимым). Отсюда класс истинных высказываний такого рода систем в принципе неаксиоматизируем.

Мы видим, какие важные результаты вытекают из простого, классического понятия истинности как соответствия знания действительности, понятия, модифицированного применительно к специфицированным языкам и стандартным экстенциональным теориям. Этот уровень исследований понятия истинности достаточен для обоснования классической логики. Однако это классическое понятие истинности сталкивается с трудностями при анализе условий истинности высказываний о будущем и прошлом, модальных утверждений о возможном, необходимом, случайном. Чему в настоящем соответствуют утверждения о будущих событиях? Может ли утверждение о завтрашнем событии рассматриваться как истинное сегодня, и если да, то чему оно соответствует? Если действительность понимать в духе атомизма Витгенштейна, как совокупность наличных фактов, ситуаций, решить проблему невозможно. При таком понимании действительности нет иной необходимости, кроме логической.

С позиций диалектического материализма действительность рассматривается не как совокупность наличных ситуаций, а как то, что включает взаимосвязи, содержит в себе тенденции и возможности будущих состояний. Но настоящее содержит и последствия, «следы» прошедших событий, обусловлено предшествующим состоянием. Такой более глубокий подход к пониманию действительности в своеобразной форме реализуется в так называемой *семантике возможных миров*. Сохраняется классическая концепция истинности, но для ее реализации при переходе к модальным и временным контекстам приходится учитывать отношения между возможными состояниями действительности, или, как говорят, между возможными мирами.

Речь идет не об исследовании реальных закономерностей развития, не об иных реальных мирах, отличных от нашего мира, в смысле иных планет, галактик и т. п. Такое рассмотрение лежит за рамками логики. Возможные миры моделируют перебор обстоятельств, альтернативных положений дел, возможных относительно данного состояния или относительно фиксированных условий. Одно дело — реально существующее в мире положение, другое — положение, допустимое в соответ-

ствии с нашим знанием или концептуальным аппаратом, законами логики, принимаемыми гипотезами, нормами и т. д. Особое место занимают положения дел, согласующиеся с нашими установками — желанием, верой, мнением, полаганием, с этическими установками и, наконец, даже с мирами мечты или фантазии. Семантика возможных миров фактически моделирует — где-то схематизируя и огрубляя — определенные аспекты реального процесса познания. Реально люди учитывают более чем один возможный ход развития событий, и если рассматривать понятийный аппарат, который используется при этом, то следует учитывать возможные направления развития событий, отличные от того направления, по которому пошло действительное развитие.

Идея возможного мира не является необходимой при построении стандартной классической логики, при введении понятия истинности для экстенциональных контекстов, однако она нужна при определении понятия логической истинности и логического следования. Выше было введено понятие возможной реализации, т. е. множества индивидов вместе с функцией интерпретации, — это тоже один из способов описания мира, возможного положения дел. При другом подходе возможный мир задается множеством атомарных высказываний или их отрицаний (*описание состояний*). Но и в данном случае нельзя понимать это так, что мир таков, каким он представлен посредством описания состояния; естественно, при этом не охватываются сложные связи и процессы мира. На исчерпывающее описание универсума рассмотрения не претендуют любые описания положений дел, задаваемые посредством любых простых и сложных высказываний (например, *модельные множества Хинтикки*); ограниченные средства выражения языка не позволяют вообще это сделать. Следует подчеркнуть, что есть простые и сложные положения дел (возможные миры), но нет атомарных фактов, из которых составлялся бы мир.

Можно, применив оборачивание метода при построении семантики возможных миров, исходить из множества возможных миров как чего-то данного. Идея эта восходит к лейбницевской концепции возможных миров. Если Кант исходил из логики как чего-то данного, и потому сама идея возможного мира выступала производной, то у Лейбница идея возможного мира яв-

ляется первичной, и логические, необходимые истины определяются как истины во всех возможных мирах.

Для обоснования рассуждений с модальными, временными операторами необходимо не только понятие возможного мира, но каждый возможный мир рассматривается как элемент некоторой совокупности миров, наделенной некоторой структурой. Возможные миры — в отличие от лейбницевской модели — рассматриваются не как равноположные, а как зависимые, связанные определенными отношениями (*отношениями достижимости R*), по-разному характеризуемыми в семантиках в случае разного типа модальных, временных и тому подобных операторов. Например, в случае высказываний с временными операторами вводится отношение достижимости R между возможными мирами, которое содержательно может истолковываться как отношение раньше — позже между мыслимыми состояниями (возможными мирами).

Семантическая характеристика для временных операторов вводится просто. Пусть GA означает «всегда будет, что A ». Тогда к стандартному определению истинности мы добавляем:

$$M \models GA \Leftrightarrow \forall M_1 (RMM \Rightarrow M_1 = A),$$

т. е. в мире M (при приписывании значений переменным φ) формула A истинна, если и только если формула A истинна в любом мире M_1 (при данном приписывании φ), достижимом из мира M . Аналогично вводятся и другие операторы. Заметим, что понятие возможного мира и отношение достижимости между возможными мирами необходимо не только для определения логической истинности, но и для определения истинности в данном мире.

Таким образом, семантика возможных миров позволяет преодолеть известные трудности, которые стояли перед классической теорией истинности при рассмотрении временных и модальных высказываний. Более того, при таком подходе становится прозрачной связь между логическими характеристиками модальных и временных операторов и онтологическими допущениями, которые накладываются на отношение достижимости. При принятии принципа жесткого детерминизма, согласно которому каждое состояние мира детерминирует только

одно, непосредственно за ним следующее (в случае дискретности отношения достижимости), или — в общем случае — при принятии линейности отношения достижимости мы получаем одну логическую систему (К 4.3 — для временной логики, S 4.3 — для модальной), при наделении отношения достижимости другими свойствами — другие. Связь логики с онтологией, в частности структурой временных отношений, налицо.

До сих пор речь шла о теоретико-множественных семантиках, в которых абстрагируются от того, что знание изменяется, что знание есть процесс. В силу этого при обосновании логических систем возникает дилемма: или отказаться от достаточно сильных идеализаций теоретико-множественной семантики, вводя семантики иного типа, или попытаться ввести *дополнительные факторы*, связанные с учетом роста знания, конкретности истины, установок субъекта и т. д., не пересматривая основных идеализаций теоретико-множественного подхода в семантике.

Вопрос о *познании как процессе* в логике встал впервые как вопрос построения адекватной семантики для интуиционистской логики. Еще Гейтинг противопоставил интуиционистскую логику как логику знания классической логике как логике бытия. Уже результат о погружении классической логики в интуиционистскую, полученный А. Н. Колмогоровым, позволяет рассматривать интуиционистскую логику как некоторую надстройку над классической, аналогично модальной или временной логикам. Разработка же семантики для модальных логик позволила построить *теоретико-множественную семантику и для интуиционистской логики*. Сама семантика проста. Исходя из множества моментов времени, на котором заданы структуры временного отношения предпорядка (транзитивного и рефлексивного отношений), истинность высказываний релятивизируется относительно моментов времени.

При этом моменты времени можно рассматривать как состояния знания. Состояния знания, как и объекты исследования, не фиксируются как раз и навсегда данные в этой семантике. С прогрессом познания может расширяться предметная область и запас знаний. И этот подход предполагает сильную идеализацию. Предполагается, что объекты познания могут появляться, но не могут исчезнуть. Аналогично знание растет шаг за

шагом, но уже добытое знание не забывается, оно не может отбрасываться и корректироваться. Логические связки получают новую интерпретацию, отличную от стандартной, в частности отрицание понимается не как неистинность утверждения в данный момент, а как принятие того, что высказывание не будет истинным *ни в один из последующих моментов (возможных миров)*, как бы долго исследование ни продолжалось.

В связи с построением семантики возможных миров для интуиционистской логики нам бы хотелось отметить, что временной фактор носит здесь не объективный характер, как в случае семантики временной логики, а субъективный, относящийся к становлению знания, а не самих объектов. Предметная область «пыхнет», но не за счет появления новых объектов, а за счет того, что расширяется область познаваемого. Таким образом, в этой логике учитывается факт роста и накопления знания. Нам представляется, что подобного рода семантика пригодна не только для интуиционистской логики и математики, но и для семантического анализа эмпирического, экспериментального знания. Во всяком случае это интересное направление исследований.

Помимо теоретико-множественной семантики для интуиционистской логики предпринимаются попытки построить семантику, *свободную от теоретико-множественных предпосылок*. Наиболее известными являются понятие реализуемости С. Клини, ступенчатая семантика А. А. Маркова, семантика, опирающаяся на теорию конструкций.

Изменение и развитие знания может происходить на разных уровнях. Наиболее простой уровень — когда не изменяется ни концептуальная схема с языком и логикой, ни лежащая в основе теория; изменения происходят только на уровне принятия или отбрасывания отдельных утверждений. Одну сторону — рост и накопление знания — мы уже отметили; было показано, что идея роста и накопления знания нашла свою реализацию в логической семантике. Конечно, развитие знания не сводится только к его росту и накоплению. В наличном знании имеются гипотетические и даже ложные моменты. Предложен ряд моделей эволюции знания как отбрасывание не выдержавших проверки гипотез. Наиболее известной, правда гипертрофированной, явля-

ется попперовская концепция фальсификационизма. Эволюция знания, по Попперу, состоит в отбрасывании опровергнутых гипотез.

Можно построить логическую модель этой стороны эволюции знания. Оценка знания релятивизируется относительно каждого момента состояния знания. Как и раньше, предполагается, что временное отношение есть отношение правопорядка. Если в некоторый момент установлено, что утверждение ложно, то эта ситуация с прогрессом познания не изменится; ложное не может стать истинным. На этой основе может быть построена точная семантика. Логика, которую детерминирует эта семантика, — это логика, двойственная интуиционистской.

Мы до сих пор абстрагировались от проблемы *точности знания*. При обычном использовании количественных понятий, величин, они принимают значения из области действительных чисел (или векторных величин, компонентами которых являются действительные числа). Однако это очень сильная идеализация, результаты измерений всегда приближительны и принимают рациональные значения с указанной степенью точности. Идеализация абсолютной точности приводит к тому, что невозможны две различные характеристики одной и той же величины. Например, два утверждения — «длина стола равна 3,2 м» и «длина стола равна 3,3 м» — в этом случае взаимно противоречивы. Если же учитывать, что знание носит аппроксимативный, приближительный характер, то ситуация иная. Если измерения проводились с точностью до 0,2 м, то первое и второе утверждения не противоречат друг другу. Более того, появляется возможность сравнивать утверждения разной степени точности. В логическом плане проблема аппроксимативной истинности разрабатывается Р. Вуйцицким, М. Л. Даллой Кьярой и другими исследователями.

Замена какого-либо утверждения более точным — типичная ситуация в науке. Однако она является лишь некоторым специфическим видом коррекции знания. Но именно только видом. В более общем случае могут приниматься некоторые ложные утверждения, совершаться ошибки в вычислениях и рассуждениях. Классическая интуиционистская и другие системы логики не допускают противоречий. Принятие ложного утверждения, конечно, не разрушает всей системы, однако

принятие противоречия разрушает всю систему, так как из противоречия средствами указанных логик выводимо все, что угодно. Конечно, это слишком идеализированная ситуация. А. Пуанкаре в связи с обнаружением парадоксов теории множеств остроумно заметил, что тем самым не стали разрушаться мосты, которые проектировались инженерами с использованием математического анализа, хотя последний основан на теории множеств. По-видимому, следует допустить возможность противоречивых утверждений, принятие которых не разрушает всей системы. Исследование этой ситуации имеет и большое практическое значение. Поступление противоречивых данных в информационно-поисковую систему — вещь достаточно обычная — не должно разрушать всей системы. Противоречие должно быть локализовано.

В настоящее время интенсивно развиваются логические системы, в которых из противоречия не следует все, что угодно. Во-первых, это релевантные логики. Далее, это специальные, так называемые паранепротиворечивые, логики (системы да Косты, Яськовского, в духе логики Васильева, двойственные интуиционистской логике и т. д.). Формальная логика, обосновывая способы рассуждения, верные при определенных предпосылках, включает в этом плане в сферу своего рассмотрения исследование противоречий, их места в системе знания. Не говоря уже о том, что логические и семантические парадоксы прямо включаются в сферу ее рассмотрения.

Однако вернемся к вопросу о разных уровнях изменения и развития знания. Изменения могут происходить и на уровне принятия новых теорий. Изменения могут происходить на уровне концептуальных схем. Меняется каркас, в рамках которого происходит описание явлений, формулировка теорий. Изменяются категориальная сетка, структура языка, способы рассуждения, допускаемые приемы абстракции и идеализации. Именно такого рода изменения связаны, на наш взгляд, с изменением стиля мышления. Наиболее радикальные изменения в науке сопровождаются сменой языков науки. Дело в том, что выбор той или иной системы семантических категорий коррелятивен принятию определенной системы анализа логической структуры выражений. И такой выбор не может не определяться познавательными задачами.

По существу вопрос об информативности аналитических истин сводится к вопросу о том, несет ли принимаемый язык своей структурой информацию о действительности. Безусловно, аналитическая истинность зависит от структуры и семантических правил языка. Но это не означает, что логически и аналитически истинные высказывания не содержат никакой информации о мире. Если считать, что принятие того или иного языка науки не является теоретико-познавательным вопросом, то тогда, естественно, аналитически истинные утверждения не несут информации о действительности. Если же считать, что принятие того или иного языкового каркаса, той или иной логической структуры языка, является важным философским и теоретико-познавательным вопросом, связанным с проблемой адекватного описания объективной реальности, тогда следует признать, что логически и аналитически истинные высказывания, так же как и синтетические, несут информацию о реальности, отображают ее, хотя способы отображения ими действительности различны. Как видно, для решения вопроса, сообщают ли аналитически истинные высказывания информацию о действительности, следует выйти за пределы рассмотрения отношения высказываний к моделям (возможным реализациям) языка и проанализировать отношение языка к реальности.

Указанная идея особенно рельефно проявляется при построении реляционных и окрестностных семантик. Например, та или иная система временной логики непосредственно зависит от той концепции времени, которая лежит в основе семантики этой логики. Варьируя эти концепции, мы получаем языки с разными правилами поведения временных операторов. Это относится не только к временным логикам, но и ко всем логическим системам, даже к тем, которые — в случае классической логики — и не строятся на базе семантики возможных миров. Таким образом, выявляется связь между структурой языка, приемлемыми способами рассуждения и свойствами объектов (отношения между объектами) рассмотрения.

Своеобразную реализацию в логической семантике находит идея *активности познающего субъекта*. В *теоретико-игровой* семантике взаимодействие между субъектом и познаваемой реальностью моделируется в виде игры (в смысле математической теории игр), и знание рассматривается как выигрыш познающим субъек-

ектом партии при всякой стратегии, принятой природой.

Сказанное свидетельствует о самой тесной связи между логикой и теорией познания. Для разработки логики необходимы теоретико-познавательные исследования и установки. В то же время методы построения ограниченных формализованных языков с точными синтаксисом и семантикой позволяют апробировать и уточнить многие теоретико-познавательные идеи и допущения.

Глава 20. Проблема реальности в естественнонаучном познании и объективная истина

1. Постановка проблемы реальности в естественнонаучном познании *

Фундаментальным понятием научного естествознания является понятие природы (физический, астрономический и биологический мир, природная реальность). В классическом естествознании, теоретическую основу которого составляет механика Ньютона, «проблема реальности» вплоть до середины XIX в. преимущественно выступает как совокупность вопросов, непосредственно касающихся закономерностей и свойств исследуемой природы, ее систем и структуры: существуют ли в действительности скрытые силы и субстанции (теплород, флогистон и т. п.) и каковы методы установления их реального существования; каковы структура и свойства особой, преимущественной (абсолютно неподвижной) среды, в которой происходят все явления природы (абсолютное пространство, механический эфир и т. п.) и передаются силы и взаимодействия, а также средства установления ее реального существования; какова сущность света, гравитации, магнетизма, электричества и других явлений природы?

При этом считалось само собой разумеющимся, что в естественнонаучном знании, получаемом на основе анализа и обобщения результатов наблюдений и эксперимента с помощью логических и математических средств, а также естественного языка, природа в конечном счете представлена исключительно и однозначно такой, как она существует сама по себе, независимо от человека и его деятельности. Содержание философских дискуссий, касающихся выяснения соотношения различных представлений о реальности всего существующего (объективная реальность, мир явлений, мир ощущений, мир идей и т. д.) и выявления первичной, исходной субстанции внешнего мира, не получило сколько-

* В главе речь идет преимущественно о физическом познании как наиболее развитой форме естествознания.

нибудь существенного отражения в структуре теоретического естествознания. То обстоятельство, что в классическом естествознании была принята двухкомпонентная созерцательная схема домарксовского материализма «внешний мир — сознание», из которой следовало строго однозначное соответствие каждого элемента теоретического знания определенному фрагменту природы, устанавливаемое с помощью наблюдений и эксперимента, было обусловлено не только определенным первоначальным уровнем развития науки, но и особенностью объектов исследования механики Ньютона. Эта особенность заключается в том, что воздействие на них экспериментальных средств исследования либо несущественно, либо его можно полностью учесть при теоретической обработке результатов измерений.

Однако к середине и особенно во второй половине XIX в. в естествознании постепенно обнаруживается другая тенденция. Когда естествоиспытатели начали широким фронтом переходить к исследованию непосредственно не наблюдаемых уровней природы (молекулы и атома, клетки, любых электромагнитных, а не только световых колебаний), закономерности поведения которых существенно отличались от уже известных законов механики, проблема реальности все более и более стала приобретать иной характер. Этот процесс, связанный с усовершенствованием наблюдательных и экспериментальных средств, методов применения математического аппарата в естествознании, стимулировал дальнейшее «удаление» теоретических конструкций от эмпирического материала, появление множества различных, нередко взаимоисключающих концепций, с помощью которых объясняли факты, получаемые при исследовании новых сфер действительности.

Перед естествоиспытателями вполне закономерно возник вопрос: каковы эмпирические основы естественнонаучного познания, обладают ли все его элементы, в частности утверждения теории, объективными значениями, т. е. отражают ли все теоретические конструкции, включая и используемые в естествознании математические абстракции, те или иные аспекты природы, а если отражают, то в какой мере эти представления адекватны материальному миру? Иными словами, если теоретические конструкции выступают эффективным средством систематизации чувственных данных исследователя, то являются ли они при этом отражением материаль-

ного мира? Исходным пунктом анализа здесь выступают уже теоретические построения, от которых надлежит найти путь к их эмпирическим основаниям и выяснить, соответствуют им или нет определенные фрагменты этого мира.

Важное практическое, а не только познавательное значение этот вопрос приобрел тогда, когда одним из эффективных методов исследования стал так называемый метод математической гипотезы, с помощью которого удастся предсказывать возможность существования ранее неизвестных явлений природы еще до создания экспериментальных средств их обнаружения. Как известно, после создания Дж. К. Максвеллом теории электромагнитных процессов *, где особенно успешно был применен метод математической гипотезы для получения уравнений электродинамики, физики еще продолжительное время не могли выяснить физический смысл ряда используемых там математических величин — вспомним известный афоризм того времени: «Теория Максвелла — это уравнения Максвелла». Так в философских основаниях естествознания появляются наряду с понятием «объективная реальность», или «природа», представления об «эмпирической» (наблюдаемой, экспериментальной) реальности и «теоретической реальности» (модели, или «картине», природы) и возникает необходимость установления соотношения между ними и соответственно более конкретного обоснования объективности и истинности естественнонаучного знания.

Как известно, огромные успехи в познании механических процессов, создание Ньютоном во второй половине XVII в. первой естественнонаучной теории — механической, оформление механики в строгую научную дисциплину, эффективное применение механики для объяснения разнообразных явлений как неживой, так и живой природы, триумф механики в детальном описании планет Солнечной системы и предсказании новых, ранее неизвестных планет и других космических объектов — все это имело два важных следствия для развития естествознания.

Первое. В естествознании окончательно утверждаются принципы и методы собственно научных исследований и последующего истолкования их результатов. Научное исследование явлений природы теперь

* Первое издание «Трактата об электричестве и магнетизме» Дж. К. Максвелла появилось в 1873 г.

характеризуется организацией и систематическим проведением наблюдений и экспериментов, описание и объяснение результатов которых должно быть дано в рамках и на основе специфической логической формы отражения действительности — научной теории как замкнутой теоретической системы. Все дальнейшие теоретические обобщения в данной научной дисциплине должны постоянно сопоставляться с наблюдениями и экспериментами. Исходя из небольшого количества законов, с помощью теории не только описываются и объясняются результаты наблюдений и экспериментов, но и предсказывается существование новых, ранее неизвестных вещей и процессов.

Второе. Плодотворность и эвристичность механики в научном познании природы и практической деятельности привели в XVIII—XIX вв. к господству механицизма в философских основаниях и стиле мышления естествоиспытателей. Механицизм есть определенный метафизический способ понимания и объяснения действительности, согласно которому механическая форма движения считается основополагающей, откуда и следует стремление ученых объяснять все явления природы с помощью законов механики; механическое объяснение выступает как канон любого научного объяснения (объяснить какое-либо явление — значит создать его наглядную механическую модель); механическая модель природы, или так называемая механистическая картина мира, построенная на базе теории Ньютона, признается единственно возможной и абсолютно истинной в ее существенных чертах. И если первое следствие получило дальнейшую конкретизацию в естествознании XX в., то второе следствие привело к возникновению принципиальных познавательных трудностей на рубеже XIX—XX вв. и было преодолено лишь в первой половине XX в.

Следует заметить, что кризис механицизма начался уже во второй половине XIX в. и выразился прежде всего в отказе естествоиспытателей от метафизического способа мышления и в попытке существенно изменить содержание механической модели природы или даже отказаться от нее как от единственно возможного объяснения природы и теоретического представления о ней. Прежде всего укажем на существование различных направлений в механицизме, представители которых нередко выступали друг против друга. Так, сторонники атомизма выступали против приверженцев концепции

непрерывности материи, сторонники признания действия на расстоянии (дальнодействия) отвергали идеи сторонников близкодействия и т. п. Все чаще появлялись концепции, авторы которых либо пытались отказаться от механистических моделей объяснения, либо низводили их до уровня вспомогательных средств. При попытках объяснить природу электромагнитных процессов по мере роста объема экспериментального и теоретического материала выдвигались все новые и новые сложные и даже взаимоисключающие теоретические допущения. Например, Дж. К. Максвелл пытался с помощью гипотетической концепции механического эфира объяснить сущность полученных им уравнений электродинамики, рассматривая эфир то как твердое тело, то как всепроникающую и пронизаемую среду.

Проявлениями кризиса механицизма явилось также последовательное крушение различных теоретических построений, базирующихся на принципах механики, с помощью которых не удавалось объяснить новые исследуемые процессы (тепловые и электромагнитные излучения и др.), и одновременное использование принципиально различных теоретических систем, построенных на одном и том же исходном эмпирическом материале и одинаково успешно объясняющих определенный класс явлений природы. В качестве примера можно указать на создание теории электромагнитной природы света, почти вытеснившей в тот период волновую теорию света, которую наряду с теорией тяготения Ньютона уже привыкли было считать завершенной и нерушимой.

Быстрая смена различных систем объяснения и эквивалентность некоторых из них при существенном различии их исходных постулатов, трудности в объяснении многих важных открытий в физике на рубеже XIX—XX вв. разрушали веру ученых в абсолютный характер механической модели природы, в единственность механистического объяснения последней и с необходимостью приводили к признанию ее относительности и приближенности, к отказу от господствовавших в естествознании познавательных механистических и метафизических установок, к более глубокому рассмотрению предпосылок и средств исследования, объективного описания и объяснения явлений материального мира. Уже к концу XIX в. в связи с успехами электродинамики формируется новая, электродинамическая модель природы, базирующаяся на представлениях об электронах как

элементарных кирпичиках мироздания и о фундаментальном характере электромагнитных взаимодействий между электронами в природе.

Революционные преобразования, начавшиеся в физике еще на рубеже XIX—XX вв., — радикальные усовершенствования методов исследования, смена основополагающих принципов и понятий, формирование новых фундаментальных теорий, отказ от господствовавшей механической модели природы и создание новых естественнонаучных моделей — привели к смене ядра исходных установок познавательной деятельности, обусловили формирование ряда новых фундаментальных физических теорий (специальной теории относительности, общей теории относительности, квантовой механики и квантовой электродинамики, переход от механической к релятивистской и квантовой модели физического мира) и тенденцию к построению квантово-релятивистской модели сущности исследуемой природы.

Коренные изменения происходят и в других важнейших областях естествознания — астрономии и биологии. И если к концу XIX в. в физике только возникает проблема реальности как проблема соотношения между объективной, эмпирической и «теоретической» реальностью и соответственно как задача более конкретного обоснования объективно-истинного характера физического знания, то в ходе революционных преобразований в естествознании XX в., в первую очередь в физике, эта проблема остро ставится уже во всей ее глубине в сугубо философском плане. С ее решением связывается дальнейший прогресс естественнонаучного познания, в особенности интерпретация математических формализмов новых фундаментальных естественнонаучных теорий.

Дело в том, что переход физиков к исследованию электромагнитных процессов и атомного уровня строения вещества привел к дальнейшему «удалению» теоретико-математических конструкций от экспериментального базиса физической науки, к необходимости раскрытия закономерностей непосредственно не наблюдаемых физических явлений, которые качественно отличаются от законов классической механики. После создания релятивистских и квантовых теорий перед физиками возникло множество вопросов философского порядка: каков реальный физический смысл тех или иных абстрактно-математических формализмов, вводимых, в частности, методом математической гипотезы и составляю-

щих органическую часть физической теории ее следствий (например, преобразований Лоренца, ψ -функции и т. п.). Иными словами, реальны ли релятивистские эффекты, силы инерции, волны материи, сводима ли гравитация к метрике, представляет ли ψ -функция реальные характеристики объектов квантовой механики, выражают ли относительные величины (координаты, длина, интервал времени, одновременность, масса, импульс и т. п.) объективные свойства вещей и процессов, если их значения зависят от выбора исследователем исходной системы отсчета и класса измерительных устройств; присущи ли экспериментально наблюдаемые свойства элементарным частицам, допустим электрону, «самим по себе», или же они создаются только измерительными приборами в экспериментальной ситуации и т. д.?

Кроме того, казавшаяся привычной и единственно возможной схема направленности научного исследования — двигаться только от наблюдений и эксперимента и результатов их обобщений к физическим понятиям, принципам и идеям, а затем — к математическим символам и их соотношениям, объединяя все это в теоретическую систему, с помощью которой потом «отгадываются» новые, еще не решенные «загадки» природы (считалось, что именно такая схема присуща научной деятельности Ньютона и его последователей, — была подвергнута сомнению еще в связи с созданием Дж. К. Максвеллом теории электромагнитных процессов, который шел от математических формализмов к физической теории. Эта познавательная установка как единственно возможная была окончательно дискредитирована в ходе создания релятивистских и квантовых теорий, которые не были получены *только* путем непосредственного обобщения экспериментального материала. При этом оказалось, что на одной и той же экспериментальной базе может быть построено по меньшей мере несколько теоретических систем физики, например теория тяготения Ньютона и теория гравитационного поля Эйнштейна.

При создании общей теории относительности А. Эйнштейн, опираясь на равенство инертной и гравитационной масс, что было известно еще Ньютону, идет от математических абстракций к истолкованию результатов наблюдений гравитационных явлений, наделяя вполне определенным физическим смыслом эти математиче-

ские абстракции. Физические явления гравитации и операции над ними выступают в качестве интерпретации определенной математической схемы, а именно геометрии Римана. Вместо привычных физических терминов — «сила тяжести», «гравитационный потенциал» и др. — в физике гравитации начинают фигурировать такие термины, как «кривизна пространства», «компоненты метрического тензора» и др. Необычность возникающей при этом ситуации заключается еще и в том, что не каждое математическое выражение теории можно интерпретировать с помощью действительных (материальных) или мысленных физических экспериментов и далеко не каждое утверждение принимаемой математической схемы имеет прямой физический смысл.

Известно, что Риманова геометрия оперирует с n -мерным пространством, в то время как физика обрабатывает результаты экспериментов, опираясь фактически на четырехмерный «мир Минковского»; некоторые компоненты метрического тензора не могут быть идентифицированы с гравитационными потенциалами и т. п. Так закономерно возникает проблема установления реального физического смысла геометрических абстракций, используемых при создании и функционировании теории гравитационного поля, как проблема соотношения метрики и гравитации, или как «проблема поля — пространства — времени».

Следовательно, когда физики перешли к исследованию непосредственно не наблюдаемых уровней и процессов природы, когда они с помощью метода математической гипотезы стали предсказывать возможность существования ранее неизвестных физических эффектов еще до создания экспериментальных средств и методов их обнаружения (например, предсказание Дж. К. Максвеллом существования электромагнитных волн, А. Эйнштейном — «искривления» светового луча в поле тяготения Солнца и др.), то, естественно, возник и вопрос об установлении «обратной связи» теоретико-математических конструкций с физическим миром. При этом исходным пунктом научного анализа выступают именно теоретические представления, от которых надлежало найти путь к их эмпирическим основаниям и выяснить, соответствуют им или нет определенные фрагменты материального мира. Разумеется, при этом появилась и настоятельная потребность выяснить более детально теоретико-познавательные основания поразительной эффек-

тивности математических абстракций в естественных науках.

Следовательно, в процессе революционных преобразований в естествознании XX в. перед учеными возникла проблема реальности как в конечном счете проблема соотношения объективной, эмпирической и «теоретической» реальности и соответственно более глубокого и конкретного обоснования объективно-истинного характера научных знаний:

а) каков непосредственный базис естественнонаучных теорий (природа как таковая, экспериментальная реальность, результат взаимодействия наблюдателя с исследуемыми объектами); объясняет ли теория лишь непосредственно наблюдаемые естественные явления или вскрывает их ненаблюдаемую сущность; обладают ли сверхэмпирической значимостью эмпирически интерпретированные теоретические системы естественных наук;

б) лежит ли «по ту сторону» всех наличных естественно-теоретических и математических конструкций объективная реальность, природа, обладают ли все элементы этих конструкций коррелятами в этой реальности, адекватны или нет они фрагментам, элементам, аспектам материального мира, в частности имеют ли объективный естественнонаучный смысл все математические формализмы, используемые в теоретических системах;

в) наконец, могут ли получать ученые объективно-истинное знание, если они используют в своих исследованиях весьма мощные экспериментальные и измерительные средства, которые существенным образом влияют на поведение исследуемых объектов, а тем самым и на получаемую с помощью этих средств информацию об объектах; каким образом наука может давать объективно-истинные знания, если фундаментальные естественнонаучные теории раскрывают связи между идеальными, абстрактными объектами, создаваемыми учеными, т. е. имеют дело не с объективной, а с «теоретической» реальностью? Иными словами, как может сочетаться материально-практическая и теоретическая активность субъекта с важнейшей задачей науки — адекватным отражением объективной реальности, получением *объективной истины*?

Рассмотрим вкратце, как же сами ученые ставили и формулировали проблему реальности в начале революционных преобразований в естествознании ¹. Один из

создателей квантовой физики, М. Планк, анализировал вопрос о соотношении между первичным, «чувственным», или феноменологическим, миром (как совокупностью чувственных впечатлений человека, миром чувственных ощущений), реальным миром в «абсолютном метафизическом смысле» и создаваемой средствами науки «научной (физической) картиной мира», «миром физических теорий», которые вырабатываются наукой, исходя из первичного, «чувственного» мира и на основе законов, принципов и других инвариантов, и которые представляют собой более или менее удачную научную модель реального мира в «абсолютном смысле»².

По мнению М. Планка, цель научных исследований — это «создание такой картины мира, которая бы не нуждалась больше ни в каких улучшениях и представляла бы поэтому нечто окончательно реальное (т. е. когда модель объективной реальности полностью бы совпадала с этой реальностью.— П. Д.). Цель эта никогда не будет и не может быть достигнута»³. Поэтому источником непрерывного обогащения научного знания является «разлад», выражающийся в том, что «мы, с одной стороны, вынуждены без колебания постулировать существование *реального мира* в абсолютном смысле, а с другой стороны, не в состоянии никогда в совершенстве понять его природу»⁴. Тем не менее, полагал М. Планк, «происходящий одновременно с дальнейшим усовершенствованием физической картины мира дальнейший ее отход от мира ощущений означает не что иное, как дальнейшее приближение к реальному миру»⁵.

В процессе создания и последующего развития релятивистской физики (специальной и общей теории относительности, релятивистской модели природы) проблема реальности у А. Эйнштейна формулируется следующим образом: какова связь между актами эмпирических наблюдений и теоретическим описанием (если нет прямого перехода от «мира ощущений» к миру понятий, если нельзя ставить в непосредственную зависимость теоретические конструкции от эмпирического материала); соответствует ли каждый элемент теоретической системы фрагменту физического мира (физической реальности); каков гносеологический статус относительных понятий и вариантных величин, значения которых зависят от выбора системы отсчета; какова

непосредственная эмпирическая основа физических теорий; как соотносится «мир» абстрактных, идеальных объектов теоретической физики с физическим миром, природой? Когда после создания общей теории относительности ряд физиков стали утверждать, будто, согласно этой теории, гравитационное поле и гравитационные силы не являются «реальными», поскольку их существенные характеристики зависят от выбора наблюдателем системы отсчета, А. Эйнштейн выдвинул положение о «равноправии» величин, как зависящих (вариантных), так и не зависящих (инвариантных) от выбора системы отсчета. «Вместо того чтобы различать реальное и нереальное, мы четко различаем величины, принадлежащие физической системе (независимо от выбора координатной системы), и величины, которые зависят от координатной системы... Таким образом, «физическая реальность» соответствует вовсе не гравитационному полю, *взятому самому по себе*, но только этому же полю вместе с другими явлениями. Поэтому нельзя сказать ни того, что гравитационное поле само по себе есть нечто «реальное», ни того, что оно «чисто фиктивно»»⁶. Решая проблему реальности, А. Эйнштейн и вводит в научный обиход понятие «физическая реальность» как одно из важных понятий метатеоретического уровня физического познания.

Как показал Н. Бор, один из основоположников квантовой физики, при анализе квантовых эффектов невозможно провести резкую границу между поведением квантовых объектов «самих по себе» и их взаимодействием с измерительными приборами, которые в познавательном процессе на уровне эксперимента определяют условия протекания физических явлений. В квантовой физике взаимодействие между квантовыми объектами и измерительными приборами включается в единое исследуемое квантовое явление. Отсюда и возникает необходимость специального введения фундаментального различия между исследуемыми объектами и измерительными приборами, а также требуется учет при описании квантовых эффектов условий, при которых получают данные эксперимента.

Для Н. Бора, следовательно, проблема реальности в квантовой физике выступает как проблема исходного базиса физических теорий. Он полагает, что в квантовой физике «всякое наблюдение атомных явлений включает такое взаимодействие последних со средствами наблю-

дения, которым нельзя пренебречь. Соответственно этому невозможно приписать самостоятельную реальность в обычном физическом смысле ни явлению, ни средствам наблюдения»⁷. Н. Бор, как и А. Эйнштейн, широко использует термин «физическая реальность» (вкладывая в него такой же смысл, как и в термин «физическое явление»).

Для другого основоположника квантовой физики, М. Борна, проблема реальности — это трудность, с которой столкнулись физики в XX в. и которая заключается в том, что «нужно говорить о состоянии объективного мира, при условии, что это состояние зависит от того, что делает наблюдатель»⁸. Но если учесть, подчеркивает он, что «наблюдение или измерение относится не к явлению природы как таковому, а только к аспекту, под которым оно рассматривается в системе отсчета»⁹, то можно сделать вывод, что новая физика «зовет нас на новый путь описания физического мира, но не на отказ от его реальности»¹⁰. По мнению М. Борна, в научном знании объективный мир представлен с помощью различных инвариантов и их соотношений.

Проблема реальности как философская проблема, которая, естественно, не сводится к анализу содержания термина «физическая реальность», возникает в любой науке, когда ее достижения приводят к осознанию ограниченности господствующей картины мира и необходимости ее радикального изменения, когда та или иная наука все больше удаляется от исследования непосредственно наблюдаемых вещей и процессов, используя все усложняющиеся экспериментальные средства и все новые и новые математические абстракции и формализмы. Так появились в современной науке понятия «химическая реальность», «биологическая реальность»¹¹ и др.

Проблема реальности в собственно естественнонаучной форме разворачивается путем формулирования эмпирически проверяемых следствий гипотез и теорий, получения определенных экспериментальных результатов и создания новой модели природы и, наконец, завершается однозначными ответами на вопрос о сущности естественных явлений в рамках здравого смысла (существуют ли «на самом деле» гравитоны, кварки, есть ли жизнь на других небесных телах, в чем сущность живого и т. д.). Разумеется, вопрос о том, какова конкретная структура и свойства исследуемой природы и

степень соответствия наших представлений о ней на каждом новом существенном этапе развития естествознания, в конечном счете решается самими естествоиспытателями с помощью их научных средств.

2. Исходный эмпирический базис теоретического знания и понятие «физическая реальность»

Обратимся прежде всего к содержанию термина «реальность», имеющего разнообразный спектр значений. Под «реальностью» (и «реальным») понимается то, что существует вне и независимо от сознания человека, от субъекта познания и его деятельности; существенное, необходимое в вещах и процессах, раскрываемое теоретическим знанием как нечто противоположное второстепенному, несущественному, случайному; действительные формы бытия в противоположность возможным, вероятным формам; нечто, наблюдаемое исследователем непосредственно или с помощью измерительных средств; вообще любое явление, которое может получить материальную форму, и т. д. Например, в науке говорят об «объективной реальности», о «реальных взаимодействиях», о «реальных вещах», о «реальном мире» и т. п.; о «субъективной реальности», о «реальном смысле» утверждений теории, о «реальных элементах» научной модели мира, о «реальном истолковании» идеальных объектов теории, о «реальности наших ощущений и мыслей», о «реальности показаний и измерительных приборов», о «непосредственной (эмпирической) реальности», с которой имеет дело та или иная научная дисциплина. Скажем, для формальной логики язык является исходной «реальностью», для мышления индивида система научного знания выступает «реальностью», которую он рассматривает как существующее независимо от него достояние общества, предназначенное для освоения и дальнейшего развития.

В диалектико-материалистической философии термин «реальность», как известно, употребляется в двух основных значениях, которые существенно отличаются друг от друга. На базе материалистического решения основного вопроса философии функционирует понятие объективной реальности, или движущейся материи. «Материя есть философская категория, — писал В. И. Ленин, — для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая

копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них»¹².

Заметим, что в данном случае слово «независимо» употребляется не в смысле отсутствия взаимосвязей между познающим субъектом и конкретными формами объективной реальности в познавательном процессе, а в «генетическом» смысле, согласно которому субъект возникает исторически лишь на определенном этапе развития движущейся материи, что само познание есть в конечном счете отражение в сознании субъекта на базе его практической деятельности этой движущейся материи. Ведь материализм не только исходит из объективного существования материи, но и признает ее познаваемость, а, как известно, процесс познания немыслим вне разнообразных форм взаимодействия субъекта с конкретными элементами объективной реальности. Рассмотрим теперь вопрос об исходном (эмпирическом) базисе теоретического знания в физике XX в. как одного из аспектов проблемы реальности в естественнонаучном познании.

Как уже отмечалось, для XX века особенно характерны размышления самих ученых о природе естественнонаучного знания, в первую очередь физического знания, в сфере которого еще на рубеже XIX—XX вв. начались революционные преобразования. Исходным пунктом размышлений физиков были по меньшей мере два бесспорных гносеологических факта. Первый: в физике произошло крушение механической модели природы, считавшейся на протяжении двух столетий абсолютной, созданной на века. Начался отход от механицизма, появился (наряду с уже функционирующими теориями — механистической, термодинамической и электромагнитной) ряд новых фундаментальных физических теорий, существенно отличающихся от прежних не только по содержанию, но и по структуре, стала формироваться релятивистская, а затем и квантовая модель природы, коренным образом изменились ядро теоретико-познавательных установок и стиль мышления физиков.

Второй: важнейшим постулатом физического познания оказалось утверждение, согласно которому открываемые физикой законы действуют в настоящее время точно так же, как и миллионы лет назад (в то время как знания о явлениях природы непрерывно изменяются). Например, считается, что пространственно-временная структура на протяжении веков не изменилась сколько-

нибудь существенным образом, в то время как пространственно-временная концепция А. Эйнштейна, принятая в физике XX в., радикально отличается от ньютоновской концепции XVII в.; закономерности поведения атомов признаются неизменными со времен глубокой древности, однако представления Н. Бора о структуре атома не идут ни в какое сравнение с атомистической концепцией Демокрита и т. д.

Перед учеными в этой ситуации, естественно, возникла следующая познавательная проблема: как совместить подвижность физического знания с его объективностью (при предположении неизменности, инвариантности физических законов), исходную предпосылку физического (вообще научного) познания (объективность природы) и признание существенного влияния средств исследования на объекты исследования. Эта познавательная проблема получила свое выражение в постановке ряда более конкретных вопросов, широко обсуждаемых физиками с начала XX в.: сводится ли объективная реальность (природа), исследуемая наукой, к фактам наблюдения, к событиям, эмпирическим данным; какова связь между эмпирией и теоретическими конструкциями (ведь в классической физике предполагалась возможность прямого перехода от обобщений эмпирического материала к теоретическим построениям, в то время как опыт дальнейшего развития физики в XX в. свидетельствовал о возможностях построения нескольких теоретических систем на базе одного и того же эмпирического материала или различных эмпирических интерпретаций одной и той же теории); каков, наконец, исходный эмпирический базис фундаментальной теории?

Ответы на эти вопросы были получены не сразу, новые познавательные установки формировались длительное время в ходе бурных дискуссий ученых и философов — между механицистами и метафизиками, с одной стороны, и стихийными и сознательными диалектиками — с другой. Эти дискуссии не только содействовали формированию новых философских оснований физики, но и стимулировали разработку традиционных философских проблем — соотношения объективного и субъективного, теоретического и эмпирического и др.

В процессе философского анализа природы современного физического знания необходимо учитывать непрерывное расширение и углубление активности субъ-

екта познания в процессе получения эмпирических данных и их последующей обработки и использования. Поскольку уже на уровне эксперимента все более возрастает степень воздействия средств исследования на поведение объектов, то результат этого воздействия должен учитываться как на эмпирической, так и на теоретической ступени знания. Переход физиков к изучению быстрых движений, которые можно было сравнивать со скоростью света, и явлений атомного масштаба привел к необходимости существенного уточнения и конкретизации понимания исходного познавательного отношения — взаимодействия объекта и субъекта познания¹³.

Обратимся к рассмотрению понимания физического объекта. Физика как экспериментальная и теоретическая наука имеет дело прежде всего с той частью, фрагментом объективной реальности, которая вступает в физическое взаимодействие с орудиями познавательной деятельности субъекта в эксперименте. Одним из важных положений философских оснований классической физики было положение об абсолютном характере исследуемых физических явлений, т. е. о независимости объекта исследования от средств исследования. Соответственно объект исследования мыслился как вместилище определенных свойств, независимых от его окружения, в частности и от воздействия экспериментальных средств исследования (либо этим воздействием можно пренебречь, либо его следует как-то учесть при обработке результатов измерения и получить знание о физическом явлении «самом по себе»).

Но если в философских основаниях классической физики постулировалось абсолютное разделение объекта и субъекта познания, то релятивистская физика исходит из признания зависимости описания физических объектов от определенных условий познания (учет состояния движения систем отсчета при постоянстве скорости света в вакууме), а квантовая физика учитывает еще и существенное влияние средств исследования на объекты исследования. В философских основаниях физики XX в. формируется понятие объекта исследования «неклассического» типа, т. е. такого объекта, связью которого со средствами исследования (в той или иной мере) уже нельзя пренебречь. Это по сути дела означает, что если в классической физике исходная предпосылка физического познания (признание объективного существования физического мира) и утверждение об абсо-

лютом характере исследуемых физических явлений отождествляются, то в физике XX в. эти положения рассматриваются как разные предпосылки, причем справедливость положения об абсолютном характере исследуемых физических явлений подвергается сомнению.

В классической физике предполагалось, что в случае принятия абсолютной системы отсчета для исследования всех физических процессов (которую пытались связать с абсолютным пространством Ньютона, α -телом Неймана, эфиром Лоренца) возможно описание этих процессов без каких-либо ссылок на конкретные условия познания, которые так или иначе связаны с исследователями. Правда, как показало дальнейшее развитие физики, это предположение безосновательно с физической точки зрения, ибо оказалось невозможно установить существование этой абсолютной системы отсчета.

Подобного рода теоретико-познавательная иллюзия стала источником созерцательно-метафизического, механистического предрассудка: будто утверждение об объективной реальности физических процессов тождественно тезису об абсолютном характере физических явлений, и потому содержание понятий «физический мир» и «физический объект» должно полностью совпадать. Отказ в современной физике от тезиса об абсолютном характере физических явлений был воспринят метафизически мыслящими учеными как отказ от признания объективности физического мира.

Однако признанию объективной реальности исследуемых физических явлений вовсе не противоречит ни утверждение о том, что описание этих процессов невозможно без явных ссылок на средства исследования, в частности на специально выбранные исследователем в каждом конкретном случае системы отсчета или измерительные устройства, ни утверждение о том, что состояние исследуемой физической системы существенным образом зависит от применяемых средств исследования (например, существенное влияние на квантовые объекты измерительных приборов — тел макроскопического масштаба).

Другая сторона познавательного отношения — субъект познания, «субъективные моменты» в познавательном процессе, формы проявления активности познающего человека — в философских основаниях современной физики характеризуется с помощью таких понятий, как «наблюдатель (исследователь)» и «условия

познания». «Наблюдатель (исследователь)» — это представитель человеческого общества, преобразующий физический мир с помощью экспериментальных и теоретических средств в соответствии с потребностями общества, или, как говорят физики, «отгадывающий загадки природы с помощью эксперимента и математики». Он является носителем сознательных целей, решает определенные задачи, обладает «внутренним опытом» как осознанным синтезом всей предыдущей познавательной деятельности человеческого общества, способностью наблюдать и преобразовывать окружающие вещи и процессы и мыслить. Кроме того, при определении наблюдателя учитываются также сконструированные им измерительные устройства, выступающие продолжением его органов чувств, которые обязательно рассматриваются на любом уровне развития познания в рамках классической физики.

Под «условиями познания» на уровне эксперимента подразумевается определенный «фон» протекания исследуемых наблюдателем физических процессов, который опосредованным путем взаимодействует с физическими объектами, а также средства исследования последних, орудия-посредники, а именно системы (тела) отсчета и экспериментальные и измерительные устройства, сконструированные исследователем на основе определенных теоретических предпосылок. Соответственно под «условиями познания» на теоретическом уровне понимается функционирующий в данной научной дисциплине «язык наблюдений», а также научный фон и средства развертывания и интерпретации теоретических систем: исходное знание, необходимое для построения каждой отдельно взятой теории, включая философские и логические предпосылки, наглядные образы и модели, проверенные опытом фундаментальные физические теории — классическая механика, термодинамика, специальная теория относительности и др., эвристические принципы, например принцип соответствия, принцип дополнительности, фундаментальные понятия — масса, энергия, импульс и др., нормы и идеалы построения знания.

Обратимся теперь к обсуждению вопроса о непосредственном, исходном базисе физических теорий. В качестве формально возможных и логически допустимых значений этого термина можно указать на природу, или физический мир, взятый безотносительно к субъек-

ту познания, в частности к экспериментальной или наблюдательной ситуации; на совокупность физических объектов и взаимосвязанных с ними экспериментальных средств, т. е. на всю экспериментальную ситуацию; на результат взаимодействия физических объектов, наблюдательных или экспериментальных устройств с исследователем как частью природы.

В ходе возникновения и последующего развития научного естествознания, которое начинается с исследования непосредственно окружающей и наблюдаемой природы (макромира), возникло представление, что исходным эмпирическим базисом является природа «сама по себе» (физический мир), независимо от деятельности человека как исследователя. Укреплению этого взгляда способствовало то обстоятельство, что вещи и процессы в макромире кажутся независимыми друг от друга и при определенных условиях могут рассматриваться как изолированные. Поэтому важнейшим постулатом философских оснований классической физики выступает тезис о независимости исследуемых явлений от условий познания, при этом предполагается, что либо влияние условий познания на исследуемые объекты несущественно, либо его можно всегда учесть при обработке результатов наблюдений или измерений.

Так сформировалось в классической физике понятие объекта «самого по себе», как фрагмента природы, который представляется исследователю точно таким же, каким он существует в природе, не подверженной влиянию человеческой деятельности. Считалось само собой разумеющимся, что содержание понятий «природа (физический мир)» и «эмпирическая (наблюдаемая и экспериментальная) реальность» совпадает. Однако между такого рода представлениями и методами исследования сначала электромагнитных процессов, а позже и явлений атомного уровня, а также методами теоретических обобщений экспериментальных ситуаций возникли непреодолимые противоречия. Уже при описании даже электростатического поля, которое не воспринимается непосредственно органами чувств исследователя, вводится прибор — «пробный заряд» (электрический заряд, связанный с вещественным образованием), и поэтому в само определение этого поля и его характеристик входит указание на пробный заряд («напряженность электростатического поля есть сила, действующая на единицу пробного заряда»).

В специальной теории относительности, а затем и в общей теории относительности последовательно устанавливается зависимость описания исследуемого явления от выбора исходной системы отсчета, ибо ряд важных характеристик явления зависит от выбора вполне определенной системы отсчета, и результат взаимосвязи физических объектов в определенной наблюдательной или экспериментальной ситуации представляется различным образом на эмпирическом и теоретическом уровнях знания: явления «выглядят» по-разному в различных системах отсчета, но физические законы, которым подчиняются явления, одинаковы в любой системе отсчета. Принципы относительности как раз и определяют в обеих теориях степень независимости наблюдений от выбора систем отсчета и ориентации измерительных устройств. В квантовой физике еще в большей степени учитывается опосредствование физических объектов условиями познания (учет существенного влияния экспериментальных средств различного класса, ориентации измерительных приборов и т. д.). В результате возникла необходимость радикального пересмотра содержания понятия «непосредственного исходного базиса теории».

В фундаментальной работе А. Эйнштейна 1905 г. «К электродинамике движущихся тел», в которой были изложены основы специальной теории относительности, содержалось новое понимание исходного базиса физической теории, получившее окончательное выражение в работах Нильса Бора. «...Суждения всякой теории, — писал А. Эйнштейн, — касаются соотношений между твердыми телами (координатными системами), часами и электромагнитными процессами»¹⁴. Таким образом, если, согласно познавательным установкам классической физики, теория опирается на мир физических объектов «самих по себе» и соответственно включает лишь средства объяснения исследуемого физического мира, то в соответствии с познавательными установками физики XX в. она должна включать и описание средств исследования вместе с процедурой познания закономерностей и свойств физических объектов.

Разумеется, и в современной физике при построении новых физических теорий ставилась и ставится задача исчерпывающим образом объяснить определенную совокупность физических явлений, т. е. раскрыть законы, действующие в какой-либо сфере природы, и в результате получить объективное знание. Однако, как показал

опыт развития физической науки, эта задача может быть разрешена в рамках не одной отдельной теории, а лишь в ходе бесконечного поступательного развития науки. Содержание важнейших элементов теории — объектов и величин — включает, как оказалось, в снятом виде результат взаимосвязи и взаимодействия объектов и средств исследования (систем отсчета, экспериментальных средств).

До появления релятивистских теорий считалось, например, что, предположив существование абсолютного пространства, можно будет полностью исключить из содержания физической теории те характеристики, которые касаются отношений условий познания (движущихся друг относительно друга систем отсчета, выбираемых исследователем, кроме единственной естественной системы — абсолютного пространства) к объектам исследования (телам, движущимся в абсолютном пространстве), и таким образом получить «чистое» (абсолютное) знание о физических объектах «самих по себе» (т. е. полностью исключить выбор исследователем различных систем отсчета).

Однако на самом деле не только представление об абсолютном пространстве (в смысле Ньютона) является несостоятельным, но и вообще исключение одного типа влияния условий познания на объекты исследования в классической механической теории (системы отсчета, связанной с «неподвижными» звездами) приводит к признанию иного типа влияний в релятивистских теориях. Это, конечно, не исключает, а, наоборот, предполагает получение физикой объективного знания, но в форме не абсолютной, а относительной истины. И хотя она содержит момент абсолютного знания, ее важнейшими характеристиками являются приближенность и неокончателность.

Итак, А. Эйнштейн впервые после работ И. Ньютона существенным образом уточнил понимание исходного базиса физических теорий. Для характеристики этого базиса он и ввел понятие «физическая реальность». Под последней А. Эйнштейн понимал прежде всего опосредствованные условиями познания проявления физических объектов на уровне наблюдений и эксперимента, которые фиксируются, представляются, моделируются различным образом на разных уровнях познавательного процесса. Следовательно, понятие физической реальности характеризует определенные форму и способ дан-

ности исследователю объективной реальности. С этой точки зрения можно говорить о существовании физической реальности на наблюдательном или экспериментальном уровне (допустим, как о проявлении механических процессов в различных системах отсчета, как о формах проявления микромира в макроприборе, что фиксируется специальными регистрирующими устройствами и органами чувств) и соответственно о представлении этой физической реальности на эмпирическом и теоретическом уровнях знания.

На эмпирическом уровне физическая реальность представлена обобщениями, систематизациями данных наблюдений и эксперимента, образами наблюдательных и экспериментальных ситуаций, а на теоретическом — специфическими теоретическими конструктами различной степени общности. Но на каждом из этих уровней ученый имеет дело с неодинаковыми представлениями одной и той же объективной физической реальности, одного и того же базиса научного знания. Новое понимание исходного базиса теоретического знания стало одной из познавательных предпосылок физики XX в.¹⁵

Как видно, развитие физики в XX в. привело к раскрытию специфической формы проявления активности субъекта познания, что получило выражение в существенном изменении понятия исходного базиса теоретического знания и в появлении в концептуальной системе этой науки нового понятия — «физическая реальность». И если понятие «природа», или «физический мир», характеризует источник любого естественнонаучного познания, то понятие «физическая реальность» относится к конкретным формам данности исследователю этой природы при различных условиях познания. Введение понятия «физическая реальность» в философские основания физики XX в. свидетельствует об отходе ученых от созерцательных познавательных установок, о более глубоком понимании ими природы физического познания.

3. Формирование теоретического представления природы в физике и понятие «физическая реальность»

Выше был рассмотрен один аспект возрастания активности субъекта в научном познании — применение таких средств исследования (в специально избираемых внешних условиях), которые существенным образом влияют либо на описание исследуемых явлений, либо

на поведение объектов исследования. Однако активность субъекта в познавательном процессе не ограничивается созданием наблюдательной или экспериментальной ситуации с последующей ее фиксацией и непосредственным обобщением. Активность субъекта проявляется и в процессе создания теоретических конструкций различной структуры и степени общности.

Известно, что объект познания задается субъекту через практическую деятельность. В научном познании эта заданность реализуется на экспериментальном уровне путем воздействия условий познания на естественный объект познания, что приводит к его изменению в той или иной степени и выявлению тех его аспектов, познание которых и является задачей данного исследования. Однако исследуемые свойства естественных объектов познания становятся объектом теоретического знания только в результате творческой теоретической деятельности субъекта по конструированию абстракций особого рода — идеальных объектов и понятий, их определяющих.

Таким образом, в научном познании объект исследования задается субъекту не только через экспериментально-наблюдательные условия познания, но и через специфическую совокупность теоретических идеализаций — абстрактных или идеальных объектов; между объективной и эмпирической (экспериментальной) реальностью появляется «теоретическая реальность», которая как бы претендует на определенную самостоятельность, становясь единственным объектом теоретического уровня знания. Появление теоретического познания как самостоятельной ступени, возрастание его значения в научном познании существенным образом актуализировало в теории познания и в науке проблему реальности и объективности, истинности знания: в каком смысле «теоретизированный мир» науки, ее идеальные объекты могут рассматриваться как реальность? Если мышление формирует объекты теоретического знания, если это знание имеет дело только с совокупностью идеальных объектов и их связей, то имеет ли теоретическое знание значение объективной истины (соответствует ли оно объективной реальности)? Объективная реальность не сводится к существованию отдельных, единичных вещей, процессов, событий, явлений; она представляет собой их закономерную, необходимую, существенную связь. Однако для познания ее сущности,

которая непосредственно не наблюдаема и не дана «в чистом виде» в эксперименте, не может быть выделена из отдельных, единичных явлений путем простого абстрагирования и обобщения, требуются особые познавательные средства и формы ее выражения, специальные теоретические конструкции. Сущностная основа объективной реальности, проявляющаяся в отдельных, единичных вещах и процессах, получает свое выражение в теоретических системах (теориях и частнонаучных моделях), где строятся идеальные объекты и их связи, представляющие объективную реальность прежде всего в ее сущностных аспектах. Таково главное назначение и важнейшая функция теоретической ступени научного познания.

На каждом шагу исследователи сталкиваются с вопросом: существуют ли и в каком смысле те объекты и закономерности, с которыми имеет дело непосредственно теоретическая система (в каком смысле существует, например, абсолютно твердое тело, идеальный газ, различные инварианты и т. д.)? Таким образом, суть проблемы реальности, связанной с теоретической ступенью познания, заключается в установлении объективно-реального существования форм непосредственной данности субъекту объекта теоретических систем, т. е. идеальных объектов. При этом учитывается, что они играют в познании двоякую роль: выступают и средством, и предметом познания. Попытки представить их как непосредственное отражение объективной реальности (метафизически-механистическая концепция) или отождествить с объективной реальностью (наивный реализм) в равной мере несостоятельны.

Как известно, всеобщие формы мышления — категории — не являются непосредственными абстракциями чувственно воспринимаемых отдельных вещей и процессов, событий, явлений, а представляют собой отраженные в сознании человека всеобщие формы его материально-практической деятельности по преобразованию объективного мира. Соответственно и реальность идеальных объектов также заключается не в том, что они непосредственно представляют определенные фрагменты или аспекты объективной реальности, а в том, что их объектно-реальные прообразы формируются и функционируют в многообразии форм материально-практической деятельности субъекта по освоению объективной реальности. Отсюда и становится понятной кажущаяся

парадоксальной ситуация: в различных теориях и частнонаучных моделях, раскрывающих сущностную основу одной и той же объективной реальности, используются различные идеальные объекты, которые при этом «объективируются». Поскольку реальность, исследуемая наукой, рассматривается в свете определенных научных теоретических систем, каждая из них вскрывает с различной степенью глубины и точности разные аспекты и уровни непосредственно не наблюдаемой сущностной основы материального мира. «Теоретическая реальность» в конечном счете представляет материальный мир в его сущностных аспектах именно в том виде, как он раскрывается с помощью конкретной теоретической системы.

Но если идеальные объекты не формируются и не вводятся в теоретическую систему путем прямого абстрагирования и непосредственного обобщения наблюдений и эксперимента и, как уже отмечалось, не всегда выступают непосредственными «заместителями» естественных объектов исследования, то каким образом можно утверждать, что эти объекты и их связи в конечном счете в теоретической форме представляют объективную реальность, ее сущностную основу? Специфика ситуации здесь заключается в том, что идеальные объекты, используемые в теории, не могут характеризоваться непосредственно в терминах «истина» или «ложь». Но если следствия, вытекающие из теоретической системы, подтверждаются наблюдениями и экспериментом, в особенности если оправдываются предсказания теории в отношении существования новых, ранее неизвестных эффектов и событий, то тем самым можно утверждать, что данный идеальный объект или их совокупность в их связях и опосредованиях представляют в теоретической форме саму объективную реальность в ее сущностной основе, т. е. служат средством выражения объективной истины. Так осуществляется в материально-практической деятельности переход через «эмпирическую» реальность от «теоретической» реальности к объективной реальности.

Как уже отмечалось, революционные преобразования в физике XX в. привели к усилению математизации физического знания, к резкому расширению теоретических исследований, использующих математические абстракции и методы, к возрастанию роли теоретического знания в физике, появлению ряда новых фундамен-

тальных теорий, упоминавшихся выше. После работ Ньютона в физике выделяют две основные формы теоретического знания — собственно теории и модели «физической реальности» (или, как нередко пишут, «физические картины мира»). Обратимся в этой связи к содержанию понятия «модель физической реальности»¹⁶, предполагая понятие «теория» вполне определенным.

Под «моделью физической реальности» (или «физической картиной мира») понимается совокупность теоретических конструктов (объектов и понятий), которые моделируют сущностную основу физического аспекта материального мира. Эти теоретические конструкты получают онтологическую трактовку, т. е. понимаются как непосредственные представители объективной реальности. В синтетических структурах, именуемых в естествознании «научными картинами мира» (в данном случае — «физическими картинами мира»), просматриваются черты и собственно научного образования, и мировоззрения: с одной стороны, из естественно-научных теорий заимствуется ряд понятий, абстрактных объектов и принципов их связи, подчеркивается искусственное происхождение этих конструктов, их условно-модельный характер и т. п., а с другой стороны, выделяются мировоззренчески значимые принципы науки, появляется некоторая наглядность, провозглашается полная адекватность принятой «картины» природе.

Поскольку «модель физической реальности» опирается на конструкты одной или нескольких теорий и выражает сущностную основу физического мира, то в физике XX в. стали толковать термин «физическая реальность» и в смысле «теоретической реальности», идентифицируя термин «физическая реальность» с терминами «модель реальности» и «физическая теория». Так, А. Эйнштейн употреблял понятие «физическая реальность» («реальное», «физически реальное») для характеристики образа объективной реальности, совокупности теоретических конструктов, представляющих закономерности и свойства объективного физического мира в рамках и средствами фундаментальной физической теории или их совокупности, для выражения результатов познавательной деятельности в модели физического мира, для адекватного представления сущностной основы объективной реальности. Это свидетельствует об установлении истинного «физического смыс-

ла» (в плане объективности) математических абстракций и величин, используемых в конкретных физических теориях.

В книге А. Эйнштейна «Эволюция физики», написанной совместно с польским физиком Л. Инфельдом, в которой рассматриваются генезис физических идей, процесс создания физических теорий и физических картин мира, подчеркивается: «Мы видели новые реальности, созданные прогрессом физики... Для физика начала девятнадцатого столетия реальность нашего внешнего мира состояла из частиц, между которыми действуют простые силы, зависящие только от расстояния... Квантовая теория раскрыла новые и существенные черты нашей реальности. Прерывность встала на место непрерывности. Вместо законов, управляющих индивидуальностями, появились вероятностные законы. Реальность, созданная современной физикой, конечно, далеко ушла от реальности прежних дней»¹⁷. Как видно, у А. Эйнштейна идет речь о «реальности» («физической реальности»), под которой понимается объективный физический мир, представленный идеализациями конкретных физических теорий и моделей. В таком же примерно смысле употребляют термин «реальность» и другие физики, в частности основоположник гипотезы квантов М. Планк, который по сути дела идентифицирует понятия «физическая картина мира» и «реальность»¹⁸. При этом М. Планк подчеркивал объективный характер теоретического знания в физике и полагал, что эта объективность устанавливается не единичными опытами, а всем ходом развития этой науки.

Возрастание роли теоретической физики в физическом познании, усложнение структуры «теоретической реальности» и ее связей с «эмпирической реальностью» порождали трудности в определении объективной значимости теоретических конструктов. Особое внимание на эту трудность обратил А. Эйнштейн, указав на умозрительный характер основ теории, на то, что понятия и объекты теоретического знания являются «свободным творением человеческого ума», которое тем не менее нельзя оправдать «ни природой самого человеческого ума, ни тем более как-то априори»¹⁹. Однако выявление умозрительного характера основных положений теории вовсе не означает, будто эти положения не имеют объективного значения, постоянно подчеркивал А. Эйнштейн. По его мнению, творческое начало в теоретичес-

ком исследовании хотя и принадлежит математике, поскольку «природа является осуществлением того, что математически проще всего себе представить»²⁰, тем не менее опыт, эксперимент «является началом и концом всех наших знаний», остается «единственным критерием пригодности некоторого математического построения для физики»²¹. Иными словами, объективный характер теоретического знания — в чем не сомневается А. Эйнштейн — устанавливается с помощью экспериментальных исследований (отнюдь не единичных опытов), т. е. путем обращения к «эмпирической реальности».

Выступая против позитивистской концепции теоретического знания, согласно которой теоретические конструкты не имеют объективного содержания, т. е. не характеризуют материальный, физический мир, М. Борн выдвинул инвариантную концепцию реальности, подчеркнув, что не только понятия эмпирического уровня знания, но и теоретические конструкты в форме инвариантов физических теорий представляют этот мир, хотя и непривычным для человека образом. Объективное содержание инвариантов раскрывается в конечном счете с помощью всего многообразия экспериментальных исследований, которые проводятся физиками²². Ограниченность этой концепции, пожалуй, заключается только в том, что М. Борн «не замечает» объективного содержания вариантных величин, полагая их исключительно субъективными характеристиками.

Можно, конечно, указывать на отдельные неточности, выявлять неудачные высказывания в работах тех или иных ведущих физиков XX в., однако в целом следует подчеркнуть, что ими четко осознается сложность проблемы статуса и значимости теоретических конструктов и намечены пути и методы установления их объективного характера.

Итак, следует различать проблему реальности в современном естествознании и содержание таких терминов, как «физическая реальность», «биологическая реальность» и др. Это было показано на примере развития физики в XX в. Подобного рода анализ является необходимой предпосылкой обсуждения проблемы объективности современного теоретического естествознания. Как отмечалось, в современной физике используются три понятия реальности: «объективная реальность» (природа, физический мир), «эмпирическая

(наблюдательная или экспериментальная) реальность» и «теоретическая реальность» (мир конструктов, теорий и моделей). Сложность ситуации заключается в том, что исследователи не всегда четко различают эти реальности, чему способствует и некоторый разнобой в применяемой терминологии. Как среди физиков, так и среди философов различных направлений имели и имеют место различные толкования соотношения этих реальностей.

В процессе развития физики в XX в. имели место попытки сведения понятия материального физического мира (природы) к понятию физической реальности на различных уровнях познания *. Игнорирование активности субъекта познания посредством выбора условий познания (на уровне наблюдений и эксперимента) — при постулировании инвариантности физических законов — с неизбежностью приводило и приводит либо к попыткам интерпретации новых физических теорий и моделей в духе метафизическо-механистических познавательных установок физики, либо к попыткам доказать неполноценность, неполноту новых теорий или даже опровергнуть их научный характер.

* Этому способствовало и отсутствие строгих различий между содержанием понятий «объективная реальность» и «физическая реальность» в философской и физической литературе.

Список цитированной литературы

К главе 1 (с. 9—21)

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 131.
² См. там же. С. 314.
³ См., в частности: Смирнов С. А. Психология образа: Проблема активности психического отражения. М., 1985.
⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 112.
⁵ См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 281.
⁶ См.: Лотман Ю. М. Семиотика культуры и понятие текста // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 515: Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам XII. Тарту, 1981. С. 7.

К главе 2 (с. 22—40)

- ¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 363.
² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 91.
³ Там же. С. 40.
⁴ См., например: Современные проблемы теории познания диалектического материализма: В 2 т. Т. I. М., 1970. С. 265. Аналогичный смысл имеет различие А. М. Коршуновым функционального и нефункционального отражения.
⁵ Кукушкина Е. И. Диалектический материализм: Общие проблемы теории познания. М., 1982. С. 26.
⁶ См.: Ленинская теория отражения и современная наука: Отражение, познание, логика. София, 1973. С. 57.
⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 40.
⁸ Там же. С. 5.
⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 512.
¹⁰ См.: Отражение // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 4. М., 1967. С. 184.
¹¹ Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 55.
¹² Тютин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М., 1972. С. 82.
¹³ Коршунов А. М. Отражение, деятельность, познание. М., 1979. С. 41—42.
¹⁴ См.: Современные проблемы теории познания диалектического материализма. Т. II. М., 1970. С. 206, 207.
¹⁵ См.: Бассин Ф. В. О подлинном значении нейрофизиологических концепций Н. А. Бернштейна // Вопросы философии. 1967. № 11; Физиология активности // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
¹⁶ Физиология активности... С. 328.
¹⁷ Бассин Ф. В. Указ. соч. С. 73.
¹⁸ Там же. С. 75.

- ¹⁹ Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1976. С. 51.
- ²⁰ См., например: Коршунов А. М. Теория отражения и творчества. М., 1971. С. 18—23.
- ²¹ Гальперин П. Я. Указ. соч. С. 51.
- ²² Там же. С. 56—57.
- ²³ Пономарев Я. А. Психика и интуиция. М., 1967. С. 166.

К главе 3 (с. 41—61)

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 252.
- ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 358.
- ³ Гальперин П. Я. Введение в психологию. С. 45.
- ⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 198.

К главе 4 (с. 62—88)

- ¹ Ильин В., Разумов А. Догматизм теории — дефицит ответственности // Коммунист. 1988. № 12. С. 60.
- ² Подробнее об этом см.: Ойзерман Т. И. К вопросу о практике как критерии истины // Вопросы философии. 1987. № 10. С. 110—112. См. также: Диалектика и практика. М., 1984. Гл. 2.
- ³ Обстоятельный анализ данного явления см.: Хамидов А. А. Диалектическая логика: Категории сферы сущности и целостности. Алма-Ата, 1987. С. 231—240.
- ⁴ См., в частности: Гносеология в системе философского мировоззрения. М., 1983; Категориальные структуры познания и практики. Киев, 1986; Мировоззренческая культура личности. Киев, 1986.
- ⁵ См.: Лой А. Н. Сознание как предмет теории познания. Киев, 1988.
- ⁶ См.: Свирский С. Я. К вопросу о содержании категории «практика» // Вопросы философии. 1986. № 8.
- ⁷ Там же. С. 137.
- ⁸ См.: Практика и познание. М., 1973. С. 8, 27; Ярошевский Тадеуш М. Размышления о практике. М., 1976. С. 69—70, 96.
- ⁹ Последнее убедительно продемонстрировал XVIII Всемирный философский конгресс в Брайтоне, на котором обнаружились, в частности, широкие мировоззренческие устремления «новой» гносеологии (см.: Мотрошилова Н. Философия и социальные императивы // Коммунист. 1988. № 16. С. 59).
- ¹⁰ Подробнее об этом см.: Шинкарук В. И., Яценко А. И. Гуманизм диалектико-материалистического мировоззрения. Киев, 1984. С. 8—11.
- ¹¹ Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 353.
- ¹² См.: Гносеология в системе философского мировоззрения. С. 28.
- ¹³ См.: Человек и мир человека: Категории «человек» и «мир» в системе научного мировоззрения. С. 34.
- ¹⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 92.
- ¹⁵ См. там же. С. 93, 94.
- ¹⁶ Там же. С. 93.
- ¹⁷ См. там же. Т. 3. С. 29.
- ¹⁸ См. там же.
- ¹⁹ См.: Маслиева О. В. Становление категории причинности (на материале истории языка). Л., 1980. С. 25—36.

- ²⁰ Фейербах Л. Избр. филос. произв.: В 2 т. Т. I. М., 1955. С. 190.
- ²¹ Мегрелидзе К. Р. Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси, 1973. С. 288.
- ²² См.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 273—275.
- ²³ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. С. 478—479.
- ²⁴ Подробнее об этом см.: Абишев К. А. О предметном содержании общественных отношений и категорий мышления // Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики. Киев, 1981. С. 207—208.
- ²⁵ См.: Смирнов С. Д. Психология образа: Проблема активности психического отражения. С. 146. Предпосылки такого понимания содержатся также в теории психологической установки Д. Н. Узнадзе и его последователей.
- ²⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 92.
- ²⁷ Там же. Т. 2. С. 47.
- ²⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 16.
- ²⁹ См.: Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1980. С. 70—81.
- ³⁰ См.: Ойзерман Т. И. Указ. соч. С. 99.
- ³¹ Диалектическая логика: Общие проблемы. Категории сферы непосредственного. Алма-Ата, 1986. С. 220.
- ³² См.: Юдин Э. Г. Указ. соч. С. 5—12.
- ³³ Швырев В. С. Научное познание как деятельность. М., 1984. С. 131.
- ³⁴ См., в частности: Батищев Г. С. Проблема овещнения и ее гносеологическое значение // Гносеология в системе философского мировоззрения. С. 250—272.
- ³⁵ См.: Хамидов А. А. Понятие превращенной формы // Материалистическая диалектика как логика. Алма-Ата, 1979. С. 239—249.
- ³⁶ См.: Столяр М. Б. Современное научно-теоретическое познание и общение (социально-гносеологический аспект): Автореф. дис. канд. филос. наук. Киев, 1988.
- ³⁷ См.: Батищев Г. С. Указ. соч.
- ³⁸ См.: Мамардашвили М. К. Форма превращенная // Философская энциклопедия. Т. 5. С. 387.
- ³⁹ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 263; Т. 42. С. 154.
- ⁴⁰ См. там же. Т. 42. С. 24, 118.
- ⁴¹ См. там же.
- ⁴² Сознание — это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть: Интервью с М. К. Мамардашвили // Вопросы философии. 1989. № 7. С. 116.
- ⁴³ Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 106.
- ⁴⁴ Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. М., 1987. С. 215.

К главе 5 (с. 89—118)

¹ См.: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М., 1960.

² См.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики; Он же. Деятельность. Сознание. Личность.; Лурия А. Р. Об историческом развитии познавательных процессов: Экспериментально-психологическое исследование. М., 1974; Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука

в СССР. Т. I. М., 1959; *Он же.* К исследованию интеллектуального развития ребенка // Вопросы психологии. 1969. № 1; *Он же.* Введение в психологию; *Запорожец А. В.* Развитие произвольных движений. М., 1960; *Давыдов В. В.* Виды обобщения в обучении. М., 1972; *Он же.* Анализ структуры мыслительного акта // Доклады АПН РСФСР. 1960. № 2; *Он же.* Категории логики и педагогика // Проблемы диалектической логики: Материалы к симпозиуму. Алма-Ата, 1968; *Вергилес Н. Ю., Зинченко В. П.* Проблема адекватности образа // Вопросы философии. 1967. № 4; *Запорожец А. В., Венгер Л. А., Зинченко В. П., Рузская А. Г.* Восприятие и действие. М., 1967.

³ См.: *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. С. 95.

⁴ Там же. С. 97—98.

⁵ См.: *Роговин М. С.* Проблемы теории памяти. М., 1977. С. 78.

⁶ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 42. С. 123.

⁷ См.: *Мещеряков А. И.* Слепоглухонемые дети. М., 1974; *Гургенидзе Г. С., Ильенков Э. В.* Выдающееся достижение советской науки // Вопросы философии. 1975. № 6; *Ильенков Э.* Становление личности: К итогам научного эксперимента // Коммунист. 1977. № 2.

⁸ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 42. С. 118.

⁹ См.: *Пиаже Ж.* Избр. психолог. труды. М., 1969; *Piajet J.* Le langage et la pensée chez l'enfant. P., 1948. P. 4; *Idem.* Pensée egocentrique et pensée sociocentrique // Cahiers internationaux de Sociologie. 1951. Vol. X; *Idem.* Comments on Vygotsky's Critical Remarks Concerning «The Language and Thought of the Child». Cambridge, 1962; *Лекторский В. А., Садовский В. Н.* Генезис и строение интеллектуальной деятельности в концепциях Ж. Пиаже // Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах. М., 1966.

¹⁰ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 62 (примеч.).

¹¹ *Ayer A.* The Problem of Knowledge. L., 1956. P. 47, 48, 50—52.

¹² См., например: *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977; *Ziman J. M.* Public Knowledge. Cambridge, 1968.

¹³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 184.

К главе 6 (с. 119—135)

¹ *Лекторский В. А.* Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 179.

² См.: Диалектика общения. М., 1987 (ротапринт ИФ АН СССР). С. 4—51.

³ Тенденция, шаг за шагом приводящая в итоге к проблематике онтологического общения, во многом обязана работам М. М. Бахтина (см.: *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества; *Он же.* К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 82—160). Попытки выделить общение в отличие от коммуникативности, но еще в пределах категории деятельности имеются у М. С. Глазмана и В. С. Библера (см.: Научное творчество. М., 1969. С. 216—217, 221). Десубстанциализации категории деятельности особенно способствовали работы А. П. Огуцова (см.: Эргономика: Методологические проблемы исследования деятельности. М., 1976. С. 189), Ю. Н. Давыдова (см.: Проблемы теории культуры. М., 1977. С. 101). Самокритику на почве деятельностного подхода см.: *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности. С. 189.

⁴ Подробнее об этом см.: *Батищев Г. С.* Деятельностная сущ-

ность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии. М., 1969. С. 86.

⁵ Там же. С. 90.

⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 171.

⁷ Подробнее об этом см.: Гносеология в системе философского мировоззрения. С. 250.

К главе 7 (с. 136—169)

¹ См.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. С. 175.

² См.: Идеалы и нормы научного исследования. Вып. 2. Минск, 1981 (статья А. П. Огурцова, Э. Г. Юдина); Гносеология в системе философского мировоззрения.

³ См.: Идеалы и нормы научного исследования. С. 294—295 (статья Д. И. Дубровского). Ср.: Наука и культура. М., 1984 (статья А. П. Огурцова); Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания. М., 1984.

⁴ См.: Карпинская Р. С. Биология и гуманизм // Биология в познании человека. М., 1987.

⁵ См., например: Пигров К. С. Научно-техническое творчество: Социально-философский анализ: Автореф. дис. д-ра филос. наук. Л., 1985. С. 21.

⁶ См.: Деятельность: Проблемы и перспективы. М., 1990.

⁷ См.: Лосев А. Ф. История античной эстетики: Ранняя классика. М., 1963. С. 320—321. Ср.: Он же. История античной эстетики: Высокая классика. М., 1974. С. 497.

⁸ Уттомский А. А. Письма // Пути в незнание. Сб. 10. М., 1973. С. 383.

⁹ См. там же.

¹⁰ Возражения со стороны Б. С. Грязнова см.: Позитивизм и наука. М., 1975. С. 87, 88.

¹¹ См.: Гайденок П. П. Эволюция понятия науки. М., 1980.

¹² Пуанкаре А. Математическое творчество // Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 316.

¹³ См.: Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. М., 1970. С. 33, 114.

¹⁴ Такого рода материал см.: Научное творчество; Проблемы научного творчества в современной психологии. М., 1971; Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 1978. См. также ряд специальных науковедческих и историко-научных работ Н. И. Родного, М. Г. Ярошевского, Я. А. Пономарева, Б. А. Фролова, М. С. Бернштейна, особенно обзоры А. Н. Лука, опубликованные в виде четырех книг под названием «Проблемы научного творчества» (Вып. 1—4. М., 1982, 1983, 1985).

¹⁵ Рильке Р. М. Лирика. М.; Л., 1965. С. 222, 227.

¹⁶ Рильке Р. М. Новые стихотворения. М., 1977. С. 307.

¹⁷ См.: Словарь иностранных слов. М., 1979. С. 600.

¹⁸ См.: Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству. М., 1981; Она же. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов н/Д., 1983.

¹⁹ См.: Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. С. 152.

²⁰ Цит. по: Драбкина Е. Невозможного нет! // Новый мир. 1961. № 12. С. 10.

- ¹ См.: *Лекторский В. А.* Специфика теоретико-познавательного исследования в системе диалектического материализма // Гносеология в системе философского мировоззрения. С. 40, 45 и др.
- ² *Выготский Л. С.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 146—147.
- ³ Там же. С. 145—146.
- ⁴ Там же. С. 146.
- ⁵ См. там же. С. 56.
- ⁶ *Лекторский В. А.* Субъект, объект, познание. С. 281.
- ⁷ Там же. С. 283.
- ⁸ См.: *Леонтьев А. Н.* Избр. психолог. произв.: В 2 т. Т. II. М., 1983. С. 153—158.
- ⁹ См.: *Бернштейн Н. А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- ¹⁰ См.: *Запорожец А. В. и др.* Восприятие и действие.
- ¹¹ См.: *Булгаков М.* Романы. Л., 1978.
- ¹² *Рильке Р. М.* Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971. С. 144.
- ¹³ См.: *Запорожец А. В.* Проблема генезиса функций и структуры перцептивных действий // Третий Всесоюзный съезд Общества психологов СССР. Т. I. М., 1968. С. 123.
- ¹⁴ См.: *Венгер Л. А.* Восприятие и обучение. М., 1969.
- ¹⁵ См.: *Поддьяков Н. Н.* Мышление дошкольника. М., 1977.
- ¹⁶ См.: *Новоселова С. Л.* Развитие мышления в раннем возрасте. М., 1978. С. 19, 31 и др.
- ¹⁷ См.: *Запорожец А. В.* Избр. труды. Т. I. М., 1986.
- ¹⁸ *Леонтьев А. Н.* Избр. психолог. произв. Т. II. С. 86.
- ¹⁹ См.: *Давыдов В. В., Андронов В. П.* Психологические условия происхождения идеальных действий // Вопросы психологии. 1979. № 5.
- ²⁰ *Пиаже Ж.* Роль действия в формировании мышления // Там же. 1965. № 6. С. 43.
- ²¹ Там же. С. 34.
- ²² *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 537—538.
- ²³ См.: *Библер В. С.* Творческое мышление как предмет логики: Проблемы и перспективы // Научное творчество. С. 200.
- ²⁴ *Ильенков Э. В.* Диалектическая логика. 2-е изд., доп. М., 1984. С. 178.
- ²⁵ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 164.
- ²⁶ *Кедров Б. М.* Обобщение как логическая операция // Вопросы философии. 1965. № 12. С. 48.
- ²⁷ Цит. по: *Крылов А. Н.* Собр. трудов. Т. VII. М.; Л., 1936. С. 1—2.
- ²⁸ См.: *Попович М.* Теория // Философская энциклопедия. Т. 5. С. 205—207.
- ²⁹ *Дробницкий О. Г.* Проблемы нравственности. М., 1977. С. 88.
- ³⁰ Там же. С. 86.
- ³¹ См.: *Рубинштейн С. Л.* О мышлении и путях его исследования. М., 1958. С. 43.
- ³² *Рубинштейн С. Л.* Бытие и сознание. М., 1957. С. 153.
- ³³ Дидактика. М., 1959. С. 77.
- ³⁴ *Богоявленский Д. Н., Менчинская Н. А.* Психология учения // Психологическая наука в СССР. Т. II. М., 1960. С. 304.
- ³⁵ *Шардаков М. Н.* Мышление школьника. М., 1963. С. 128.
- ³⁶ *Кедров Б. М.* Указ. соч. С. 49.

- ³⁷ Леонтьев А. Н. Избр. психолог. произв. Т. II. С. 80—81.
- ³⁸ Колмогоров А. Предисловие // Лебег А. Об измерении величин. М., 1960. С. 10.
- ³⁹ См.: Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М., 1972. С. 111—134.
- ⁴⁰ Грозов М. Д. Развитие мышления младшего школьника // Психология младшего школьника. М., 1960. С. 97.
- ⁴¹ Занков Л. В. О начальном обучении. М., 1963. С. 20.
- ⁴² Эльконин Д. Б. Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание обучения // Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы). М., 1966. С. 50.
- ⁴³ Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. М., 1968. С. 21.
- ⁴⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 21.
- ⁴⁵ См.: Леонтьев А. Н. Проблемы развития психологии. М., 1981. С. 373, 544.
- ⁴⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 272.
- ⁴⁷ Там же. Т. 19. С. 377.

К главе 9 (с. 200—212)

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 131.
- ² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 382.
- ³ См.: Смирнова Н. М. Теоретико-познавательная концепция М. Полани // Вопросы философии. 1986. № 2.

К главе 10 (с. 213—225)

- ¹ См.: Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации. Киев, 1974.
- ² См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12.
- ³ Лосев А. Ф. О значении истории философии для формирования марксистско-ленинской культуры мышления // А. Ф. Лосеву: К 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983. С. 149.
- ⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 159.
- ⁵ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 290.
- ⁶ См.: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 365.
- ⁷ Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966. С. 111.
- ⁸ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 110.
- ⁹ См.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 169.
- ¹⁰ См.: Бахтин М. М. Указ. соч. С. 364.
- ¹¹ Мамардашвили М. К. Наука и культура // Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982. С. 53.
- ¹² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 157.
- ¹³ См.: Шинкарук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. Киев, 1964.

К главе 11 (с. 226—244)

- ¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 82.
- ² Polanyi M. Personal Knowledge: Toward a post-critical philosophy. N. Y., 1958. P. 17; Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. М., 1985. С. 136.

³ *Polanyi M. Sense-giving and Sense-reading // Intellect and Hope: Essays in the Thought of Michel Polanyi. Darham, 1968. P. 404.*

⁴ *Ibid. P. 402—403, 407—408.*

⁵ *Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. С. 252.*

⁶ *См.: Гальперин П. Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления // Вопросы философии. 1977. № 4. С. 99.*

⁷ *Дубровский Д. И. Существует ли внесловесная мысль? // Там же. № 9. С. 102.*

⁸ *Лекторский В. А. Указ. соч. С. 255.*

⁹ *Лекторский В. А., Швырев В. С. Диалектика практики и теории // Вопросы философии. 1981. № 11. С. 14—15.*

¹⁰ *См.: Брутян Г. А. Трансформационная логика: Общая характеристика и основные понятия // Там же. 1983. № 8. С. 95—97, 104—105.*

¹¹ *Strawson P. Identifying reference and truth — values // Theoria. 1964. № 50. См. также: Ишмуратов А. Т., Омелянич В. И. Контекст знания и пресуппозиция // Пути формирования нового знания в современной науке. Киев, 1983. С. 82—90.*

¹² *См.: Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 448—495.*

¹³ *Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 9.*

¹⁴ *См., например: Бессмертный Ю. Л. Мир глазами знатной женщины IX века: К изучению мировосприятия каролингской знати // Художественный язык средневековья. М., 1982.*

¹⁵ *Харитонович Д. Э. К проблеме восприятия гуманистической культуры в итальянском обществе XVI в. // Культура Возрождения и общество. М., 1986. С. 157, 161.*

¹⁶ *Баткин Л. М. На пути к понятию личности: Кастильоне о «Грации» // Там же. С. 91.*

¹⁷ *Бахтин М. Смелее пользоваться возможностями // Новый мир. 1970. № 11. С. 240. Близкая к этой мысль высказана и Д. С. Лихачевым в статье «Принцип историзма в изучении литературы» (см.: Взаимодействие наук при изучении литературы. Л., 1981. С. 93).*

¹⁸ *Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 332.*

¹⁹ *См. там же. С. 285—299.*

²⁰ *Там же. С. 305—306.*

²¹ *О различных формах существования текста в культуре и способах его исследования см.: Кузнецова Н. И. Наука в ее истории: Методологические проблемы. М., 1982. С. 99—112.*

²² *См.: Марковина И. Ю. Культурные факторы и понимание художественного текста // Изв. АН СССР. Сер. Литература и язык. 1984. Т. 43. № 1.*

²³ *Лисевич И. С. Литературная мысль Китая. М., 1979. С. 4.*

²⁴ *См.: Федоришин М. С. Диалог мировоззрений // Человек и мир в японской культуре. М., 1985. С. 248—251; Kihuchi M. Creativity and Ways of thinking: The Japanese Style // Physics Today. 1981. P. 42—51.*

К главе 12 (с. 245—264)

¹ *Об этом свидетельствуют, в частности, философские дискуссии. См.: Круглый стол: Литература и литературно-художественная критика в контексте философии и обществознания // Вопросы философии. 1983. № 11.*

² См.: *Марков М. Е.* Искусство как процесс. М., 1970; *Филиппов Ю. А.* Что и как познает искусство? М., 1976; *Иванов В. П.* Человеческая деятельность — познание — искусство. Киев, 1977. См. также работы Ю. Я. Барабаша, Г. Д. Гачева, А. Я. Зися, А. С. Мигунова, П. В. Палиевского и др.

³ *Роднянская И. Б., Кожин В. В.* Образ художественный // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968. С. 363.

⁴ *Гегель Г. В. Ф.* Эстетика: В 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 384.

⁵ См.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1953. С. 473.

⁶ См.: *Гегель Г. В. Ф.* Собр. соч. Т. 14. М., 1958. С. 190.

⁷ См.: *Белинский В. Г.* Указ. соч. С. 473.

⁸ См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 392—393.

⁹ См. там же. Т. 37. С. 36; Т. 10. С. 648.

¹⁰ См.: *Лукач Д.* Своеобразие эстетического. М., 1985. С. 279.

¹¹ *Чернышевский Н. Г.* О поэзии. Сочинения Аристотеля // *Чернышевский Н. Г.* Избр. эстет. произв. М., 1974. С. 318.

¹² *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 2. Л., 1977. С. 144.

¹³ См.: *По Э.* Рассказы. М., 1980. С. 275, 276.

¹⁴ *Манн Т.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1961. С. 473—474.

¹⁵ См. там же. С. 345.

¹⁶ См. там же. С. 196; Т. 9. М., 1960. С. 626.

¹⁷ *Лосев А. Ф., Шестаков В. П.* История эстетических категорий. М., 1965. С. 197.

¹⁸ Цит. по: *Алт С. Томас Манн.* М., 1972. С. 278—279.

К главе 13 (с. 265—293)

¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 3. С. 24.

² Там же. Т. 1. С. 245.

³ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 156.

⁴ См. там же. С. 314.

⁵ См. работы историков науки: *Kneller G. F.* Science as a human endeavor. N. Y., 1978; *Elkana Y.* A programatic attempt at an anthropology of knowledge // *Sciences and Cultures: Sociology of the Sciences.* Vol. 5. Dordrecht, 1981.

Блестящий анализ познавательных традиций в их взаимоотношении с донаучными и внеаучными типами знания, культурой в целом дан в книгах П. П. Гайденоко «Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных программ» (М., 1980) и «Эволюция понятия науки (XVII — XVIII вв.): Формирование научных программ нового времени» (М., 1987).

⁶ *Холтон Дж.* Тематический анализ науки. М., 1981. С. 47—48. Можно возразить, что пример с Кеплером не показателен, поскольку он относится к раннему периоду науки. Однако из статьи «Корни дополнительности», помещенной в этой же книге, можно узнать о не менее разнообразном спектре источников, использованных при обосновании одной из центральных идей современной физики — принципа дополнительности.

⁷ См., например: *Огурцов А. П.* Образы науки в буржуазном общественном сознании // *Философия в современном мире: Философия и наука.* М., 1972. С. 339—383; *Юлина Н. С.* Образы науки и поиски альтернатив демаркационизму // *Вопросы философии.* 1981. № 5. Подчеркнем, однако, что в нашем контексте понятие «образ знания» обозначает оценку знания самими его производителями, что несколько отличается от рассмотренных в этих статьях образов знания в повседневном и философском сознании.

⁸ *Holzner B., Marx J. H.* Knowledge application: The knowledge system in society. Boston etc., 1979. P. 108—109.

⁹ В последнее время проблема повседневного сознания активно и плодотворно разрабатывается в этом плане болгарскими философами и социологами Д. Деяновым, А. Райчевым, К. Коевым, Ж. Георгиевым и др. (см.: *Деянов Д.* Маркс и проблемът за всекидневието // *Философска панорама* (София). 1984. № 3; Международна младежна научна конференция «Маркс и проблемът за всекидневието». София, 1984; *Георгиев Ж.* Езикът във всекидневието // *Социологические проблемы* (София). 1985. № 1; *Деянова Л.* Символите и всекидневието // *Ibidem*).

¹⁰ *Фейербах Л.* Избр. филос. произв. Т. I. С. 191.

¹¹ Там же. С. 98.

¹² Там же. С. 124.

¹³ Тщательный анализ процесса освоения научных понятий на основе «житейских» см.: *Выготский Л. С.* Мышление и речь. Гл. 6 // *Выготский Л. С.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1982.

¹⁴ *Грегори Р. Л.* Глаз и мозг: Психология зрительного восприятия. М., 1970. С. 228. О том, что семантика чувственного образа перестраивается подобным способом, свидетельствуют и работы советских психологов (см.: *Восприятие и деятельность*. М., 1976).

¹⁵ *Зинченко В. П., Мамардашвили М. К.* Проблема объективного метода в психологии // *Вопросы философии*. 1977. № 7. С. 122.

¹⁶ *Бройль Л. де.* Революция в физике: Новая физика и кванты. М., 1965. С. 186.

¹⁷ *Гейзенберг В.* Физика и философия. М., 1963. С. 35.

¹⁸ *Крымский С. Б.* Научное знание и принципы его трансформации. С. 58.

¹⁹ *Дюгем П.* Физическая теория: Ее цель и строение. СПб., 1910. С. 311—312.

²⁰ См.: *Гуревич А. Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.

²¹ См.: *Никигин Е. П.* Природа обоснования: Субстратный анализ. М., 1981. С. 40—41.

²² *Мак-Клоски М.* Интуитивная физика // *В мире науки*. 1983. № 6. С. 90—91. Наряду с подобными неявными, интуитивными концепциями существуют и достаточно разработанные, например такие, которые входят в «народные науки» (народная медицина, агрокультура, метеорология и т. п.).

²³ См.: *Гайденко П. П.* Эволюция понятия науки. С. 26—29.

²⁴ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 277.

²⁵ См.: *Рабинович В. Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 332.

²⁶ Подробнее о таких системах см.: *Огурцов А. П.* Дисциплинарная структура науки. М., 1988.

²⁷ *Yates F. A.* Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago, 1964; Reason, experiment and mysticism in the scientific revolution. N. Y., 1975.

²⁸ Цит. по: *Лосский Н.* Обоснование интуитивизма. СПб., 1908. С. 151—152. Рассуждения об отличии натурфилософии от эмпирических наук мы находим и у Гегеля (см.: *Гегель Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук: В 2 т. Т. 2. М., 1975. С. 10—24).

²⁹ См.: *Михайлов А. В.* Глаз художника: Художественное видение Гёте // *Традиция в истории культуры*. М., 1978. С. 163—173.

³⁰ См.: *Геллерштейн С.* Парапсихология // *Философская энциклопедия*. Т. 4. С. 212—213.

- ³¹ Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 302.
³² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 188.
³³ См.: Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. С. 146—153.
³⁴ См.: Сычева Л. С. Современные процессы формирования наук: Опыт эмпирического исследования. Новосибирск, 1984.
³⁵ О его особенностях см.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. С. 298.
³⁶ См.: Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Указ. соч.
³⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 170.
³⁸ Там же. С. 171.

К главе 14 (с. 294—323)

- ¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 152—153.
² См., например: Звегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968. С. 54.
³ Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи. М.; Л., 1934. С. 32.
⁴ Булаховский Л. А. Введение в языкознание. Ч. II. М., 1953. С. 13.
⁵ См., например: Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М., 1965.
⁶ Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.; Л., 1965. С. 73.
⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 81.
⁸ Гегель Г. В. Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 1. М., 1970. С. 82.
⁹ См., например: Вандрисс Ж. Ж. Язык. М., 1937; Булаховский Л. А. Указ. соч.; Азманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957; Звегинцев В. А. Семасиология. М., 1957; Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959; Кацнельсон С. Д. Указ. соч.; Бахалина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.
¹⁰ Смирницкий А. И., Азманова О. С. О лингвистических основах преподавания иностранных языков // Иностранные языки в школе. 1954. № 3. С. 47.
¹¹ Колерс П. Межъязыковые словесные ассоциации // Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972. С. 269.
¹² Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. Л., 1964. С. 221, 234.
¹³ Там же. С. 214.
¹⁴ См.: Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 13.
¹⁵ Цит. по: Звегинцев В. А. История языкознания XIX — XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. М., 1964. С. 80.
¹⁶ См.: Гумбольдт В. фон. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859. С. 56—57.
¹⁷ Sapir E. Culture, Language and Personality: Selected Essays/ Ed. by D. G. Mandelbaum. Berkeley; Los Angeles, 1960. P. 75.
¹⁸ Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960. С. 135. Ср.: Whorf B. L. Language, Thought and Reality/Ed. by J. B. Garroll. Massachusetts, 1966. P. 134.
¹⁹ Новое в лингвистике. Вып. I. С. 192. Ср.: Whorf B. L. Op. cit. P. 240.
²⁰ Новое в лингвистике. Вып. I. С. 175. Ср.: Whorf B. L. Op. cit. P. 214.

- ²¹ Whorf B. L. Op. cit. P. 221.
- ²² См.: Сепир Э. Указ. соч. С. 14.
- ²³ См., например: Новое в лингвистике. Вып. I. С. 120—121; Whorf B. L. Op. cit. P. 26; ETC: A Review of General Semantics. 1960. Vol. XVII. N 3. P. 339, 348—359.
- ²⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 233.
- ²⁵ Новое в лингвистике. Вып III. М., 1963. С. 95.
- ²⁶ Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954. С. 8.
- ²⁷ Whorf B. L. Op. cit. P. 263.
- ²⁸ Theorie (Pietermaritzburg). 1957. N 9. P. 57.
- ²⁹ См.: Новое в лингвистике. Вып. I. С. 170. Ср.: Whorf B. L. Op. cit. P. 208.
- ³⁰ Новое в лингвистике. Вып. I. С. 203.
- ³¹ Линцбах Я. Принципы философского языка: Опыт точного языкознания. Пг., 1916. С. 198.
- ³² Там же. С. 200.
- ³³ Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 49.
- ³⁴ Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 127—128.
- ³⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 290.
- ³⁶ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 539.
- ³⁷ Там же. С. 538.
- ³⁸ См.: Бор Н. Указ. соч. С. 111.
- ³⁹ См. там же. С. 113.
- ⁴⁰ Комс. правда. 1975. 12 февр.
- ⁴¹ Kozzybski A. Science and Sanity. Lakeville; Connecticut, 1945. P. 371.
- ⁴² Hayakawa S. I. Language and Thought in Action. N. Y., 1964. P. 17.
- ⁴³ Более подробно см.: Брутян Г. А. Трансформационная логика: Общая характеристика и основные понятия // Вопросы философии. 1983. № 8; Он же. Трансформационная логика. Ереван, 1983.

К главе 15 (с. 324—344)

- ¹ См.: Бурбаки Н. Очерки по истории математики. М., 1963.
- ² Tarsky A. Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford, 1956.
- ³ См.: Смирнова Е. Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики. М., 1982. С. 33.
- ⁴ См.: Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960; Смирнова Е. Д. Указ. соч.
- ⁵ Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980. С. 21.
- ⁶ Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. С. 19.
- ⁷ См.: Шенк Р. Указ. соч.
- ⁸ Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974. С. 6—7. Аналитический обзор развития формальной лингвистической семантики см.: Васильев С. А. Проблема ассимиляции новых смысловых единиц структурами естественного языка // Пути формирования нового знания в современной науке. Киев, 1983. С. 148—187.
- ⁹ Carnap R. The logical syntax of language. L., 1937. P. XIII.

¹ Semantics: An Interdisciplinary Reader. L., 1971. Другой возможный подход к моделированию подобной связи — теоретико-игровая семантика естественного языка, разработанная финским логиком Я. Хинтиккой (*Hintikka J. The Semantics of Questions and the Questions of Semantics. Amsterdam, 1976*).

² См.: *Смирнов В. А. Значение аксиоматизации теорий для разработки методологии науки // Дифференциация и интеграция научного знания. М., 1982.*

³ *Feyerabend P. Against Method. New Jersey, 1975; O'Connor D. The Correspondence Theory of Truth. L., 1975; Toulmin S. From Form to Function // Daedalus. 1977. Vol. 106. N 3; Reference, Truth and Reality. L., 1980.*

⁴ Exact Philosophy: Problems, Tools and Goals / Ed. by M. Bunge. Dordrecht, 1973; *Montague R. Formal Philosophy. L., 1974; Scientific Discovery, Logic and Rationality. Dordrecht, 1980.*

⁵ *McKinsey J. C., Sugger A., Suppes P. Axiomatic Foundations of classical Particle Mechanics // Journal of Rational Mechanics and Analysis. 1953. Vol. 2. P. 253—272; Adams T. W. The Foundations of Rigid Body Mechanics // The Axiomatic Method/Ed. by L. Henkin, P. Suppes, A. Tarsky. Amsterdam, 1959. P. 230—265; Suppes P. What is Scientific Theory? // Philosophy of Science Today/Ed. by Morgenbesser. N. Y., 1967. P. 56—67.*

⁶ *Sneed J. D. The Logical Structure of Mathematical Physics. Dordrecht, 1971; Stegmüller W. Theorie und Erfahrung. Berlin, 1973.*

⁷ См.: *Мульд Н. Анализ и смысл: Очерк семантических предпосылок логики и эпистемологии. М., 1979. С. 256—270.*

⁸ См.: *Яновская С. А. Методологические проблемы науки. М., 1972. С. 290—302; Кулагина О. С. Исследования по машинному переводу. М., 1979. С. 3—34.*

⁹ См.: *Глушков В. М. Математизация научного знания и теория решений // Вопросы философии. 1978. № 1. С. 31. На переход математизации при последовательном ее проведении в формализацию указывает западногерманский методолог Г. Ленк (*Lenk H. Philosophische Bemerkungen zu Erforg und Grenzen der Mathematisierung // XVI-th World Congress of Philosophy. Düsseldorf, 1978. P. 379—385*).*

¹⁰ См.: *Ершов Ю. Л. Некоторые вопросы применения формализованных языков для исследования философских проблем // Методологические проблемы математики. Новосибирск, 1978. С. 82—88.*

¹¹ См. там же. С. 86.

¹² *Tarsky A. A Concept of Truth in Formalized Languages // Tarsky A. Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford, 1958.*

¹³ См.: *Петров Ю. А. Диалектика взаимосвязи формы и содержания в научных теориях // Вопросы философии. 1976. № 8. С. 62—66.*

¹⁴ *Carnap R. Logical Syntax of Languages. L., 1956. P. 281—282.*

¹⁵ *Bach E. The Metaphysics of Natural Languages // The VII Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Salzburg, 1983. Vol. VI. P. 237.*

¹ *Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 132. И несколько ниже В. И. Ленин вновь подчеркивал: «Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств» (там же. С. 134).*

- ² Там же. С. 123.
- ³ Там же.
- ⁴ Там же. Т. 29. С. 98.
- ⁵ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 92.
- ⁶ Там же. С. 88.
- ⁷ Там же. С. 93.
- ⁸ Там же. С. 92.
- ⁹ Там же. С. 89.
- ¹⁰ Там же. С. 556.
- ¹¹ Там же. С. 549.
- ¹² Там же. С. 548.
- ¹³ Там же. Т. 21. С. 276.
- ¹⁴ Там же. С. 275.
- ¹⁵ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 23. С. 43—44.
- ¹⁶ См. там же. Т. 18. С. 119.
- ¹⁷ Там же. Т. 29. С. 189.
- ¹⁸ Там же. С. 233.
- ¹⁹ Там же. С. 173.
- ²⁰ Там же. Т. 18. С. 137.
- ²¹ Там же. Т. 29. С. 202.
- ²² Там же. Т. 18. С. 345.

К главе 18 (с. 386—401)

- ¹ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 178.
- ² Чхандогья упанишада. М., 1965. С. 128.
- ³ См.: *Платон.* Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 279.
- ⁴ *Аристотель.* Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 133.
- ⁵ *Галилей Г.* Диалог о двух главнейших системах мира — птоломеевой и коперниковой. М.; Л., 1948. С. 89.
- ⁶ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 18. С. 329.
- ⁷ См.: *Лазарев Ф. В., Новоселов М. М.* Методологическое значение проблемы точности в развитии естественнонаучных теорий // *Материалистическая диалектика как общая теория развития.* Т. 2. М., 1982.
- ⁸ *Крымский С. Б.* Научное знание и принципы его трансформации. С. 193.
- ⁹ *Бройль Л. де.* Революция в физике. С. 13.
- ¹⁰ *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 29. С. 162.

К главе 19 (с. 402—423)

- ¹ *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 20. С. 629.

К главе 20 (с. 424—452)

- ¹ Более детально об этом см.: *Бажан В. В., Дышлевый П. С., Лукьянец В. О.* Диалектический материализм и проблема реальности в современной физике. Киев, 1974.
- ² См.: *Планк М.* Смысл и границы точной науки // *Вопросы философии.* 1958. № 5; *Он же.* Единство физической картины мира. М., 1966; *Он же.* Двадцать лет работы над физической картиной мира // *Планк М.* Избр. труды. М., 1975.
- ³ *Планк М.* Смысл и границы точной науки... С. 107.

⁴ Там же. С. 108.

⁵ Планк М. Двадцать лет работы над физической картиной мира... С. 572.

⁶ Эйнштейн А. Диалог по поводу возражений против теории относительности // Эйнштейн А. Собр. научн. трудов: В 4 т. Т. I. М., 1965. С. 621.

⁷ Бор Н. Квантовый постулат и новейшее развитие атомной теории // Бор Н. Избр. научн. труды: В 2 т. Т. II. М., 1971. С. 31.

⁸ Борн М. Философские аспекты современной физики // Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 81.

⁹ Борн М. Физическая реальность // Там же. С. 279.

¹⁰ Там же. С. 278.

¹¹ Например, о проблеме реальности в биологии и о содержании понятия «биологическая реальность» см.: Фролов И. Т. Жизнь и познание: О диалектике в современной биологии. М., 1981. Гл. IV.

¹² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 131.

¹³ О диалектико-материалистической концепции исходного познавательного отношения и о содержании категорий «объект» и «субъект» познания см.: Лекторский В. А. Субъект, объект, познание.

¹⁴ Эйнштейн А. Собр. научн. трудов. Т. I. С. 8.

¹⁵ См., например: Борн М. Физика в жизни моего поколения. С. 231; Фок В. А. Квантовая физика и строение материи. Л., 1965. С. 11; Бор Н. Избр. научн. труды. Т. II. С. 31, 187—188, 283, 485—488, 517, 521—522, 526—532, 603; Марков М. А. О природе физического знания // Марков М. А. Размышляя о физике. М., 1988; Гейзенберг В. Физика и философия.

¹⁶ Более детально о частнонаучных моделях исследуемой реальности см.: Дышлевый П. С., Яценко Л. В. Научная картина мира и мир культуры // Научная картина мира. Киев, 1983; Они же. Что такое общая картина мира. М., 1984.

¹⁷ Эйнштейн А. Собр. научн. трудов. Т. IV. М., 1967. С. 541—542. См. также: С. 138 и др.

¹⁸ См.: Планк М. Единство физической картины мира. С. 48. См. также: Планк М. Смысл и границы точной науки... С. 102—111.

¹⁹ См., например: Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965. С. 62 и др.

²⁰ Там же. С. 64.

²¹ Там же. С. 62, 64.

²² См.: Борн М. Физическая реальность...

Именной указатель

- АДАМАР Жак (1865—1963), франц. математик. Труды по дифференциальным уравнениям, теории функций, теории чисел, механике 153
- АВЕНАРИУС Рихард (1843—1896), швейц. философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма (махизма) 381
- АЙЕР Алфред Джулс (р. 1910), англ. философ, представитель неопозитивизма. Для поздних работ характерна тенденция к лингвистической философии 110
- АЙТМАТОВ Чингиз (р. 1928), сов. киргизский писатель, автор известных остросоциальных и психологически достоверных художественных произведений 263
- АНАКСАГОР из Клазомен (ок. 500—428 до н. э.), др.-греч. философ и ученый, основоположник афинской философской школы. Выдвинул учение о неразрушимых элементах — «семенах» вещей 145
- АНАКСИМАНДР (ок. 610—после 547 до н. э.), др.-греч. философ, представитель милетской школы, ученик Фалеса. Автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе» 282
- АНОХИН Петр Кузьмич (1898—1974), сов. физиолог, академик АН СССР и АМН. Автор фундаментальных трудов по нейрофизиологическим основам жизнедеятельности целостного организма 24, 31, 33
- АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (384—322 до н. э.), др.-греч. философ и ученый-энциклопедист. Основатель перипатетической школы в Афинах. Основоположник формальной логики, создатель силлогистики. Автор сочинений, охватывающих все области античного знания 237, 256, 388, 391, 392, 402, 405, 408
- АРХИМЕД (ок. 287—212 до н. э.), др.-греч. ученый. Родом из Сиракуз (Сицилия). Автор многочисленных изобретений, разработал предвосхитившие интегральные исчисления методы нахождения площадей, поверхностей и объемов разл. фигур и тел. Дал образцы применения математики в естествознании и технике 225
- АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (р. 1924), рус. сов. писатель, автор остропроблемных, психологически углубленных повестей и романов о войне и современной сибирской деревне 263
- БАЛЬЗАК Оноре де (1799—1850), франц. писатель, автор знаменитой эпопеи «Человеческая комедия» из 90 романов и рассказов, связанных общим замыслом. Бальзак оказал большое влияние на развитие реализма в мировой литературе 255
- БАХ Иоганн Себастьян (1685—1750), нем. композитор и органист. Создал около 1000 произведений различных жанров, которые представляют собой вершину искусства полифонии 156
- БАХТИН Михаил Михайлович (1895—1975), сов. литературовед, теоретик искусства. Автор историко-теоретических трудов, посвященных эпосу, роману, худ. форме, содержанию и языку произведений 19, 218, 242, 243
- БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811—1848), рус. лит. критик, публицист, рев. демократ, философ-материалист. Разработал положения реалистической эстетики и литературной критики, основанной на конкретно-историческом анализе явлений искусства 250
- БЕМЕ Якоб (1575—1624), нем. философ-пантеист, мистика и натурфилософия которого пронизаны стихийно-диалектическими идеями 286
- БЕРГСОН Анри (1859—1941), франц. философ-идеалист, представитель интуитивизма и философии жизни 383

- БЕРДЯЕВ Николай Александрович** (1874—1948), рус. религ. философ. Представитель философии личности и свободы в духе религ. экзистенциализма, персонализма и христ. эсхатологии 64
- БЕТХОВЕН Людвиг ван** (1770—1827), нем. композитор, пианист и дирижер. Крупнейший симфонист, выразивший принципы венской классической школы и проложивший пути нем. музыкальному романтизму 255
- БЕРНШТЕЙН Николай Александрович** (1896—1966), сов. нейро- и психофизиолог, создатель физиологии активности 24, 31—34, 173
- БИРИНГУЧЧО Ванноччо** (1480—1539), итал. инженер и ученый. Автор труда «О пиротехнике» — своеобразной технической энциклопедии того времени 241, 242
- БЛОК Александр Александрович** (1880—1921), рус. поэт, поднявшийся от истоков символизма к вершинам гуманистического пафоса, историзма мышления и отточенности поэтической формы, которые сделали лирику Блока значительным явлением национальной культуры 254, 261
- БЛЭК Макс** (р. 1909), амер. философ и логик. Исследователь проблем общего метода науки в духе неопозитивизма. Сторонник так называемого активного скептицизма 312
- БОГДАНОВ Анатолий Петрович** (1834—1896), рус. зоолог и антрополог, один из основателей антропологии в России 371
- БОЛЬЦМАН Людвиг** (1844—1906), австр. физик, один из основателей статистической физики и физической кинетики. Автор закона излучения и статистического обоснования второго начала термодинамики 285
- БОР Нильс Хенрик Давид** (1885—1962), дат. физик, один из создателей современной физики. Автор теории атома, которая легла в основу квантовой механики 210, 212, 314, 316, 318, 322, 323, 434, 435, 438, 443
- БОРН Макс** (1882—1970), нем. физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Философ естествознания 435, 451
- БРАГЕ Тихо** (1546—1601), дат. астроном, реформатор практической астрономии 272
- БРОЙЛЬ Луи де** (1892—1987), франц. физик. Один из создателей квантовой механики. Выдвинул идею о волновых свойствах материи 277
- БУЛАХОВСКИЙ Леонид Арсеньевич** (1888—1961), сов. языковед. Труды по проблемам русского и украинского языкознания, славистике, слав. акцентологии 299
- БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич** (1891—1940), рус. сов. писатель. Автор сатирико-философского романа «Мастер и Маргарита» 175
- БУЛЬ Джордж** (1815—1864), англ. математик и логик, один из основоположников математической логики. Разработал алгебру логики («Исследование законов мышления») 325
- БЭКОН Фрэнсис** (1561—1626), англ. философ, родоначальник английского материализма 87, 141
- ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович** (1896—1934), сов. психолог. Разработал культурно-историческую теорию, положившую начало школе в сов. психологии. Труды по развитию высших психических функций, мышлению и речи, психологии искусства 71, 91, 170—172
- ГАЛИЛЕЙ Галилео** (1564—1642), итал. ученый, один из основателей точного естествознания. Заложил основы современной механики 265, 325, 392
- ГАУСС Карл Фридрих** (1777—1855), нем. ученый. Для его творчества характерна органическая связь между теоретической и прикладной математикой, широта проблематики 285
- ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих** (1770—1831), нем. философ, представитель немецкой классической философии. Создал на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики 96, 97, 191, 214, 223, 250, 269, 274, 285, 286, 300, 370
- ГЕЙЗЕНБЕРГ Вернер** (1901—1976), нем. физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, философ естествознания 278

- ГЕЙНЕ** Генрих (1797—1856), нем. поэт и публицист, выдающийся мастер лирической и политической поэзии 257
- ГЕЛЬМГОЛЬЦ** Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894), нем. ученый, автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии. Впервые математически обосновал закон сохранения энергии 285
- ГЕДЕЛЬ** Курт (р. 1906), логик и математик. Родился в Австро-Венгрии, с 1940 г. — в США. Автор трудов по математической логике и теории множеств 326, 337, 365, 367, 414
- ГЕЛЬДЕРЛИН** Фридрих (1770—1843), нем. поэт. В своем творчестве выражал принципы просветит. классицизма и зарождающегося романтизма 254
- ГЕТЕ** Иоганн Вольфганг (1749—1832), нем. писатель, основоположник нем. литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель 141 254, 257, 259, 286
- ГИЛЬБЕРТ** Давид (1862—1943), нем. математик. Для его творчества характерна убежденность в единстве математики и естествознания 365—367, 407
- ГОГОЛЬ** Николай Васильевич (1809—1852), рус. писатель. Оказал решающее влияние на развитие критического реализма, становление сатирических жанров и утверждение гуманизма и демократических принципов в русской литературе 261
- ГОЙЯ** Франсиско Хосе де (1746—1828), исп. живописец, гравер. Искусство Гойи отличается смелым новаторством, эмоциональностью, фантазией, остротой характеристики и социально-нравственным гротеском 262
- ГОМЕР**, легендарный др.-греч. эпический поэт, которому со времен античной традиции приписывается авторство «Илиады», «Одиссеи» и др. произведений 282
- ГОРЬКИЙ** Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868—1936), рус. сов. писатель и общественный деятель. Основоположник литературы социалистич. реализма, лит. критик и публицист 254
- ГУМБОЛЬДТ** Вильгельм (1767—1835), нем. филолог, философ, языковед, гос. деятель. Один из виднейших представителей нем. классического гуманизма 299, 305
- ГУССЕРЛЬ** Эдмунд (1859—1938), нем. философ-идеалист, основатель феноменологии. Оказал влияние на экзистенциализм, философскую антропологию 108, 111, 118, 371
- ДАНТЕ** Алигьери (1265—1321), итал. поэт, создатель итальянского литературного языка. Вершиной его творчества стала поэма «Божественная комедия», которая, как и все творчество Д., оказала большое влияние на развитие европейской культуры 255
- ДИЛЬТЕЙ** Вильгельм (1833—1911), нем. историк культуры и философ-идеалист, ведущий представитель философии жизни, основатель философской герменевтики, духовно-исторической школы в литературоведении 290
- ДОСТОЕВСКИЙ** Федор Михайлович (1821—1881), рус. писатель, творчество которого, отличающееся тончайшим психологизмом и гуманизмом, оказало глубокое влияние на русскую и мировую литературу 258
- ДЮГЕМ** Пьер (1861—1916), франц. физик-теоретик, философ и историк естествознания 279
- ДЮРКГЕЙМ** Эмиль (1858—1917), франц. социолог-позитивист, основатель французской социологической школы 39
- ЕРШОВ** Юрий Леонидович (р. 1940), сов. математик, ч.-к. АН СССР. Труды по теории алгоритмов, теории нумераций, теории моделей, теории чисел 352

ЖАНЭ Пьер (1859—1947), франц. психолог и психопатолог. Разработал иерархическую систему форм поведения от рефлекторных актов до высших интеллектуальных действий 93

- ЗАНКОВ Леонид Владимирович** (1901—1977), сов. психолог и педагог, д. ч. АПН СССР. Труды по психологии обучения, общей психологии, дидактике 193
- ЗАПОРОЖЕЦ Александр Владимирович** (1905—1981), сов. психолог и педагог, д. ч. АПН СССР. Труды по психологии, психолого-педагогическим проблемам дошкольного воспитания 91, 175
- ИЛЬЕНКОВ Эвальд Васильевич** (1924—1979), сов. философ, доктор философских наук. Область научных исследований — история философии, проблемы теории познания 181
- ИНФЕЛЬД Леопольд** (1898—1968), польск. физик, один из основателей польской школы теоретической физики. Труды по общей теории относительности 450
- КАВЕНДИШ Генри** (1731—1810), англ. физик и химик. Исследовал свойства газов, получил водород и углекислый газ, определил состав воздуха и воды, определил гравитационную постоянную, массу и ср. плотность Земли 207
- КАНТОР Георг** (1845—1918), нем. математик. Разработал основы теории множеств, оказавшей большое влияние на развитие математики 113
- КАРДАШЕВ Николай Семенович** (р. 1932), сов. астроном, ч.-к. АН СССР. Область научных исследований — экспериментальная и теоретическая астрофизика, радиоастрономия 126
- КАРНАП Рудольф** (1891—1970), австр. философ и логик, ведущий представитель логического позитивизма и философии науки 336, 337, 359, 403
- КАСТИЛЬОНЕ Бальдассаре** (1478—1529), итал. писатель. Создал идеальный тип человека эпохи Возрождения в трактате «Придворный» 240—241
- КАФКА Франц** (1883—1924), австр. писатель, социально заостренное творчество которого близко экспрессионизму 262
- КЕДРОВ Бонифатий Михайлович** (1903—1985), сов. философ, химик, историк науки. Акад. АН СССР 182, 188
- КЕМЕНИ Джан Джорджи** (р. 1826), амер. логик, философ и математик. Философские взгляды носят неопозитивистский характер 411
- КЕПЛЕР Иоганн** (1571—1630), нем. астроном, один из творцов астрономии Нового времени 272
- КЛИНИ Стивен Коул** (р. 1909), амер. логик и математик, автор «Введения в математику» — одного из ведущих сочинений по логике и основам математики 412, 419
- КОЛМОГОРОВ Андрей Николаевич** (1903—1987), сов. математик, основатель научных школ по теории вероятностей и теории функций. Акад. АН СССР 418
- КОНФУЦИЙ** (ок. 551—479 до н. э.), др.-кит. мыслитель, основатель конфуцианства 243
- КОПНИН Павел Васильевич** (1922—1971), сов. философ. Исследовал проблемы логики и диалектики. Ч.-к. АН СССР 15
- КРАТИЛ** из Афин (2-я пол. V в. — нач. IV в. до н. э.), др.-греч. философ. По преданию, последователь Гераклита и учитель Платона 391
- КУАЙН Уиллард ван Орман** (р. 1908), амер. логик, математик и философ, представитель так называемого неопрагматизма, или логического прагматизма 229
- КУН Томас** (р. 1929), амер. философ и историк науки. Автор концепции научных революций как смены парадигм — способов постановки проблем и методов исследования, господствующих в науке определенного истор. периода 233
- ЛЕВИ-СТРОС Клод** (р. 1908), франц. этнограф и социолог, один из главных представителей структурализма. Создал теорию первобытного мышления, во многом противостоящую теории Л. Леви-Брюля 219
- ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм** (1646—1716), нем. философ-идеалист, математик, физик, языковед, юрист, историк и изобретатель. Предшественник немецкой классической философии 220, 416
- ЛЕКТОРСКИЙ Владислав Александрович** (р. 1932), сов. философ, д-р

- филос. наук. Область научных исследований — проблемы теории познания 230, 233
- ЛЕНИН** Владимир Ильич (1870—1924), теоретик марксизма, организатор и вождь КПСС, основатель Советского социалистического государства 12, 18, 25, 46, 76, 117, 168, 181, 201, 270, 290, 294, 300, 310, 370, 371, 374, 381—384, 436
- ЛЕОНТЬЕВ** Александр Николаевич (1903—1979), сов. психолог, д. ч. АПН СССР. Основные труды по генезису, биол. эволюции и общественно-историческому развитию психики 28, 73, 91, 172, 178, 190
- ЛОКК** Джон (1632—1704), англ. философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. Основоположник ассоцианизма в психологии 37, 189
- ЛОРЕНЦ** Хендрик Антон (1853—1928), нидерл. физик, ин. ч.-к. Петерб. АН и ин. поч. чл. АН СССР. Создал классическую электронную теорию, с помощью которой объяснил многие электрические и оптические явления 430, 440
- ЛОСЕВ** Александр Федорович (1893—1988), сов. философ и филолог, д-р филол. наук. Видный исследователь античной философии и культуры 216, 239
- ЛОТМАН** Юрий Михайлович (р. 1922), сов. литературовед. Исследует проблемы истории, теории лит-ры и культуры в широком ист.-филос. контексте, а также с точки зрения семиотики 19, 20
- ЛУРИЯ** Александр Романович (1902—1977), сов. психолог, один из основателей нейропсихологии, д. ч. АПН СССР 91
- ЛЫСЕНКО** Трофим Денисович (1898—1976), сов. биолог и агроном, академик АН СССР, АН УССР, академик и президент ВАСХНИЛ. Ряд трудов в области агробиологии не получил экспериментального подтверждения 206
- МАКСВЕЛЛ** Джеймс Клерк (1831—1879), англ. физик, создатель классической электродинамики, один из основателей статистич. физики, организатор и первый директор Кавендишской лаборатории 209, 426, 428, 430, 431
- МАЛЕВИЧ** Казимир Северинович (1878—1935), сов. художник, основоположник одного из видов абстрактного искусства, т. н. супрематизма 262
- МАНН** Томас (1875—1955), нем. писатель. Брат Генриха Манна. Писатель-антифашист, представитель критического реализма («Черный квадрат» 1913) 254, 258
- МАРКОВ** Андрей Андреевич (1856—1922), рус. математик, акад. Росс. АН (акад. Петерб. АН). Его исследования по теории вероятностей стали основой последующего ее развития 419
- МАРКС** Карл (1818—1883), теоретик пролетарской революции, основоположник диалектического и исторического материализма, марксистской политэкономии и научного коммунизма, основатель и руководитель первых международных пролетарских организаций 10, 49, 58, 63, 68, 69, 74—78, 82, 84, 96, 100, 107, 128, 195, 197, 201, 216, 217, 223, 224, 227, 228, 234, 269, 343, 372
- МАРТИН** Рудольф (1864—1925), нем. антрополог. Создатель совр. методики антропологических исследований 412
- МАХ** Эрнст (1838—1916), австр. философ-идеалист, физик. Оказал значительное влияние на становление и развитие неопозитивизма 381
- МАЯКОВСКИЙ** Владимир Владимирович (1893—1930), рус. сов. поэт. Реформатор поэтического языка. Оказал большое влияние на мировую поэзию XX в. 262
- МЕЙЕ** Антуан (1866—1936), франц. языковед, ин. ч.-к. Петерб. АН. Гл. соведитель школы в языкознании. Осн. труды по сравнительному индоевропейскому языкознанию и отд. языковым семьям 311
- МОНТЕГЮ** Уильям Пепперелл (1873—1953), амер. философ-идеалист, предст. неореализма; эволюционировал к неотомизму 338, 365
- МОРРИС** Чарлз Уильям (р. 1901), амер. философ-идеалист, сочетал принципы прагматизма с идеями логического позитивизма. Сформулировал основные понятия и принципы семиотики 229
- МОЦАРТ** Вольфганг Амадей (1756—1791), австр. композитор. Предста-

витель венской классической школы, музыкант универсального дарования, проявившегося необычайно рано. Переосмыслил и обогатил все современные ему музыкальные жанры 144

НЕЙМАН Джон фон (1903—1957), амер. математик. Внес большой вклад в создание первых ЭВМ и разработку методов их применения 440
НЬЮТОН Исаак (1643—1727), англ. математик, механик, астроном и физик, основатель классической физики. Открыл закон всемирного тяготения, создал основы небесной механики 183, 265, 392, 395, 424—426, 427, 428, 430, 440, 443

ПАВЛОВ Тодор Димитров (1890—1977), болгарский философ-марксист, литературный критик, общественный деятель, акад. и президент (с 1947) Болгарской АН 23

ПИАЖЕ Жан (1896—1980), швейц. психолог, создатель операциональной концепции интеллекта и генетической эпистемологии 106—108, 179
ПИКАССО Пабло (1881—1973), франц. живописец, испанец по происхождению. Создавал произведения в духе неоклассицизма. В ряде работ близок к сюрреализму 262

ПИРС Чарлз Сандерс (1839—1914), амер. философ-идеалист, логик, математик и естествоиспытатель. Родоначальник прагматизма, основатель семиотики 402

ПЛАНК Макс (1858—1947), нем. физик, основоположник квантовой теории. Ввел квант действия (постоянная Планка) и вывел закон излучения 153, 433, 450

ПЛАТОН Афинский (427—347 до н. э.), др.-греч. философ-идеалист, ученик Сократа. Родоначальник платонизма 217, 223, 239, 391

ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (1899—1951), рус. сов. писатель. Автор своеобразных по стилю и мировосприятию лиро-эпических, сатирических произведений 263

ПО Эдгар Аллан (1809—1849), амер. писатель-романтик, критик. Родоначальник детективной литературы, предтеча символизма 257

ПОППЕР Карл Раймунд (р. 1902), философ, логик и социолог, представитель аналитической философии. Родился в Австрии, с 1945 г. — в Великобритании. Развил концепцию, близкую к логическому позитивизму 420

ПОРШНЕВ Борис Федорович (1905—1972), сов. историк, социолог, доктор исторических и философских наук. Область научных интересов — история, социальная психология, политэкономия, этнография, антропология 71

ПРОТАГОРА из Абдеры (ок. 490—ок. 420 до н. э.), др.-греч. философ, виднейший софист старшего поколения 391

ПУАНКАРЕ Жюль Анри (1854—1912), франц. математик, физик и философ. Независимо от Эйнштейна развил математические следствия «постулата относительности». В философии — основатель конвенционализма 421

РАПОПОРТ Анатолий (р. 1911), амер. философ, психолог, специалист в области математической биологии. Один из виднейших представителей операционализма 320

РАСПУТИН Валентин Григорьевич (р. 1937), рус. сов. писатель. Мастер психологической прозы, поднимающий нравственную проблематику современности 263

РАССЕЛ Бертран (1872—1970), англ. философ, логик, математик, общественный деятель. Основоположник английского неореализма и неопозитивизма 326, 337, 410

РЕМБРАНДТ Харменс ван Рейн (1606—1669), голл. живописец, искусство которого отличает новаторство, демократизм, жизненность и психологическая глубина образов 255

РИЛЬКЕ Райнер Мария (1875—1926), австр. поэт. Ведущая тема — преодоление одиночества через любовь к людям и слияние с природой 175, 254

РУБИНШТЕЙН Сергей Леонтьевич (1889—1960), сов. психолог, философ,

ч.-к. АН СССР. Область научных интересов — философские проблемы психологии, иссл. памяти, речи, мышления 186

СЕЗАНН Поль (1839—1906), франц. живописец. Представитель постимпрессионизма 261

СЕПИР Эдуард (1884—1939), амер. языковед и этнолог. Дал типологическую классификацию языков, оказал влияние на развитие современного амер. структурализма 298, 306, 313, 319, 322, 324

СКИННЕР Беррес Фредерик (р. 1904), амер. психолог, лидер современного бихевиоризма 229

СПИНОЗА Бенедикт (1632—1677), нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист. Оказал большое влияние на развитие атеизма и материализма 23

СПИРКИН Александр Георгиевич (р. 1918), сов. философ и психолог, ч.-к. АН СССР. Область научных исследований — проблемы диалектического материализма и общие проблемы философии 24

ТАРСКИЙ Альфред (1902—1983), логик и математик, один из главных представителей львовско-варшавской школы. Основоположник логической семантики как дедуктивной теории 326, 337, 360, 368, 410, 414

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828—1910), граф, рус. писатель, гениальное творчество которого оказало огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречия целой эпохи русского общества. Центральная тема — мучительный поиск нравственного идеала 255, 258

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818—1883), рус. писатель, выдающийся реалист, мастер психологического анализа и пейзажной живописи 252

УКРАИНЦЕВ Борис Сергеевич (р. 1917), сов. философ, доктор философских наук. Область научных исследований — проблемы диалектического материализма, филос. вопросы теории информации и управления 84

УХТОМСКИЙ Александр Александрович (1875—1942), сов. физиолог, академик АН СССР. Создал учение об усвоении ритмов раздражения, доминанте и др. 146

УЭЛЛС Герберт Джордж (1866—1946), англ. писатель, классик научно-фантастической литературы 168

ФЕЙЕРБАХ Людвиг Андреас (1804—1872), нем. философ-материалист и атеист. Материализм Фейербаха оказал большое влияние на становление философии марксизма 71, 274

ФИХТЕ Иоганн Готлиб (1762—1814), нем. философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма 96, 97, 102

ФРЕГЕ Готлоб (1848—1925), нем. логик, математик и философ. Основоположник логицизма, один из основоположников логической семантики 324—326, 337, 402—403

ХАЙДЕГГЕР Мартин (1889—1976), нем. философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма 87

ХЛЕБНИКОВ Велемир (Виктор Владимирович) (1885—1922), рус. сов. поэт. Экспериментальная поэзия в духе футуризма 262

ХОМСКИЙ Аврам Ноам (р. 1928), амер. языковед. Основоположник теории порождающей (генеративной) грамматики, теории формальных языков как раздела математической логики 327

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828—1889), рус. рев.-демократ, ученый, писатель, лит. критик. Разрабатывал вопросы философии, социологии, этики, эстетики, педагогики 256, 384

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860—1904), рус. писатель. Тончайший психолог, мастер подтекста, сочетавший иронию и лирику. Оказал огромное влияние на развитие русской и мировой литературы 258

ШЕКСПИР Уильям (1564—1616), англ. драматург и поэт. Крупнейший

- гуманист эпохи Позднего Возрождения, масштабное творчество которого стало выдающимся явлением мировой культуры 255, 257
- ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм Иозеф (1775—1854), нем. философ, представитель немецкого классического идеализма. Развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы 254, 285—286
- ЩЕРБА Лев Владимирович (1880—1944), сов. языковед, акад. АН СССР. Глава Ленинградской фонологической школы 336
- ЭЙНШТЕЙН Альберт (1879—1955), физик-теоретик, один из основоположников современной физики. Создал специальную и общую теорию относительности, квантовую теорию света 153, 210, 430—431, 433—434, 438, 443—444, 449, 451
- ЭКХАРТ Иоганн (ок. 1260—1327), представитель немецкой средневековой мистики, приближавшийся к пантеизму 286
- ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820—1895), один из основоположников марксизма, друг и соратник К. Маркса 22, 26, 179, 196, 283, 316, 375—379, 404
- ЭРСТЕД Ханс Кристиан (1777—1851), дат. физик. Труды по электричеству, акустике. Открыл магнитное действие электрического тока 287
- ЯКОБСОН Роман Осипович (1896—1982), рус. и амер. языковед, литературовед. Один из основоположников структурализма в языкознании и литературоведении 311

Предметный указатель

- Виды обобщения и абстракции 190
- Виртуальные уровни бытия субъекта 128, 146
- Гармонически-полифонические целостности 162
- Гармония 130, 260, 272
- Гипотеза Сепира — Уорфа 308—310, 313, 319—320, 322
- Глубинное общение 131, 143, 154, 158
- Гносеология искусства 245
- Действие 98, 172, 182, 196, 215, 216
- Детерминация мышления 308, 309, 319
- Децентрация 107
- Запороговое содержание 146, 154
- Знаки-события 332
- Знание 14, 19, 45, 65, 81, 102, 105, 291
- Идеальное 16
- Идеология 271, 336
- Идея художественно-эстетическая 252
- Интерпретация 222
- Интуиция 263
- Искусство 185, 210, 215, 216, 245—264
- Истина 18, 155, 213, 220, 246, 258, 259, 357, 370—372, 374, 376, 379, 386, 388—390, 394—396, 399
- История науки 14, 15
- Картина мира 294, 295, 310, 318, 319, 321, 343, 387
- «Коллективное представление» (Дюркгейм) 39, 40
- Коммуникация 98—100, 102, 114, 119, 131, 219, 232, 238
- Коммуникативный 80, 86, 98, 119, 131, 219
- Красота 260, 272
- Креативность 136, 138, 140, 144, 146, 149, 152, 154, 162, 164—165
- Культурно-исторический мир 129
- Лингвистическая относительность 305, 306, 308, 309, 311, 318, 320, 321
- Логическая (концептуальная) модель действительности 294, 295
- Междусубъектность 120
- Методологии науки 20, 337
- «Модель потребного будущего» (Бернштейн Н. В.) 32
- Мышление 177—180, 182, 184—187, 189, 190, 191, 193—195, 218, 296, 321
- Неопозитивизм 9, 46
- Неявное знание 226, 228, 229, 233, 244
- Образ 25, 26, 33, 41—43, 46, 50, 53, 54, 92, 94, 173, 174, 219, 247
- Общение 119, 120, 127, 132
- Общительская природа познания 143
- Объект 41, 42, 44, 49, 50, 58, 89, 92, 247, 250
- Объективация 90, 92, 101
- Онтогенез познания 170—172, 199
- Опредмечивание 49, 92, 97, 145, 214, 216, 217, 373
- Отражение
- как всеобщее свойство материи 24, 25
 - актуальное 24, 25
 - информативное 28
 - нейрофизиологическое 30
 - потенциальное 25
 - психическое 27, 30, 33, 35—37
- Подсознание 263
- Позитивизм 9, 11
- Познание 21, 41, 45, 46, 48, 54, 81, 90, 99, 103, 105, 120, 132, 140, 171, 215, 223
- Полифонирование 147
- Понятие 41, 180, 183, 188, 190, 192, 219, 364
- Предвидение 44, 247, 263
- Предмет-посредник 90, 91, 102, 103, 105
- Предметная деятельность 142, 177
- Предпосылки 78, 235

Принцип

- дополняемости 318, 323
- лингвистической дополнительности 317—319
- лингвистической относительности 313, 318

Психика 16, 17, 37, 40, 95, 332

Психология 16—18, 35, 96, 100, 186, 404

Развитие мышления 191

Распредмечивание 49, 98, 120—122, 126, 129, 145, 146, 154—155

Реальность

- теоретическая 449—450, 451
- физическая 449, 450, 451

Рефлексия 50, 81, 107—109, 111, 120, 186, 213, 282, 390

Своемерие 134, 163

Семантика возможных миров 415—417, 419

Снятие

- логика снятия 121, 151

Совершенствование 121, 139, 145

Сознание 22, 23, 38, 171, 214

Субстанциализм и антисубстанции-

ализм 123, 163

Субъект 115—118

- индивидуальный 171

- коллективный 172

Субъективное состояние сознания 91, 231

Творчество 18, 105, 135—144, 151, 153—155, 161, 162, 167

Текст 19

Теория лингвистической относительности 320

Тип 251

Типизация 252

Типы мышления 179

Точность 362, 365, 394

Физиология активности 31

Художественная правда 259, 260

Художественное познание 247

Языковая картина мира 295, 296, 298, 300, 302, 303, 305, 311, 317

Языковая (словесная) модель действительности 294, 295, 318

Языковое миропонимание 299, 302

Содержание

| | |
|--------------------|---|
| Введение | 5 |
|--------------------|---|

Раздел 1

| | |
|--|----------|
| ПОЗНАНИЕ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ | 9 |
|--|----------|

| | |
|---|----|
| Глава 1. Теория познания и специальные науки о познании | — |
| Глава 2. Развитие форм отражения | 22 |
| Глава 3. Категории познавательного образа | 41 |

Раздел 2

| | |
|---|-----------|
| ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИКА: ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО . . . | 62 |
|---|-----------|

| | |
|---|---|
| Глава 4. Принцип практической деятельности в марксистской теории познания и универсальность предметного содержания практики | — |
|---|---|

| | |
|--|----|
| Глава 5. Диалектика субъекта и объекта в деятельности и познании | 89 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| Глава 6. Познание, деятельность, общение | 119 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 1. Является ли субъект-объектное отношение достаточным началом для познания? Не искажает ли антропоцентризм это отношение? | 120 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 2. Предметные истоки междусубъектных отношений и историческая драматизация | 127 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| 3. Взаимопорождение и взаимопроникновение человеческого познания и общения | 130 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Глава 7. Познание и творчество | 136 |
|--|-----|

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Насущность креативности | — |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|-----|
| 2. От творчества в развитии к творчеству в совершенствовании | 139 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 3. Подводимы ли познание и творчество под категорию деятельности? Запороговое как виртуальное | 141 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 4. От креативно значимого факта к креативной задаче. Критика метода восхождения | 148 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| 5. Общение и креативное отношение как противоположное познавательному | 154 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| 6. Особенность креативной задачи в отличие от познавательной | 158 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| 7. Три смысловых поля | 164 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Глава 8. Предметная деятельность и онтогенез познания | 170 |
|---|-----|

Раздел 3

ПОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ

200

| | |
|--|-----|
| Глава 9. Соотношение индивидуального и социального в процессе формирования и распространения нового знания . . . | — |
| Глава 10. Место познания в системе различных способов духовного освоения мира | 213 |
| Глава 11. Неявное знание как феномен сознания и познания | 226 |
| Глава 12. Проблемы гносеологии искусства | 245 |
| Глава 13. Единство и многообразие типов знания | 265 |
| 1. О культурно-историческом подходе к изучению различных типов знания | 267 |
| 2. Донаучные и внеаучные типы знания и их отношение к науке | 273 |
| 3. Гуманитарное и техническое знание | 289 |

Раздел 4

ПОЗНАНИЕ И ЯЗЫК

294

| | |
|--|-----|
| Глава 14. Языковая картина мира | — |
| 1. Относительная самостоятельность языковой картины мира и ее компоненты | — |
| 2. Лингвистическая относительность | 305 |
| 3. Лингвистическая дополнительность | 313 |
| Глава 15. Анализ языка науки и гносеология | 324 |
| Глава 16. Формализованные языки: их познавательные возможности и внутренняя ограниченность | 345 |

Раздел 5

ПРОБЛЕМЫ ИСТИНЫ

370

| | |
|---|-----|
| Глава 17. Истина как гносеологическая проблема | — |
| Глава 18. Объективная истина и уровни реальности | 386 |
| 1. Истина и реальность: культурно-исторический аспект . . . | 388 |
| 2. Революция в естествознании: новая гносеологическая ситуация | 393 |
| 3. Диалектика абсолютного и относительного в познании | 399 |
| Глава 19. Проблема истинности в логической семантике . . . | 402 |
| Глава 20. Проблема реальности в естественнонаучном познании и объективная истина | 424 |
| 1. Постановка проблемы реальности в естественнонаучном познании | — |
| 2. Исходный эмпирический базис теоретического знания и понятие «физическая реальность» | 436 |
| 3. Формирование теоретического представления природы в физике и понятие «физическая реальность» | 445 |
| Список цитированной литературы | 453 |
| Именной указатель | 468 |
| Предметный указатель | 476 |

479

Т33 Теория познания. В 4 т. Т. 2. Социально-культурная природа познания/АН СССР. Ин-т философии; Под ред. В. А. Лекторского, Т. И. Ойзермана. — М.: Мысль, 1991. — 478, [1] с.

ISBN 5-244-00253-8;
ISBN 5-244-00260-0

Во втором томе познание представлено как социальный процесс, обуславливающий познавательную активность людей, стимулируя ее или ограничивая. Недостаточно исследованные аспекты познавательной деятельности раскрываются на материале физики, психологии, физиологии органов чувств, лингвистики; на основе обобщения данных истории культуры, науки, социологии познания и др.

0301010000-009

Т — Подписное
004(01)-91

ББК 15.13

Научная

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Том второй

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
ПРИРОДА ПОЗНАНИЯ

Редактор В. Е. Викторова
Младший редактор О. А. Рябченко
Оформление художника А. Косоланова
Художественный редактор Г. М. Чеховский
Технический редактор В. Н. Корнилова
Корректоры Ф. Н. Морозова, Б. Г. Прилишко

Сдано в набор 20.03.90. Подписано в печать 11.02.91. Формат 60х88/16. Бумага офс. № 1. Обыкновенная, новая гарн. Офсетная печать. Усл. печатных листов 29,40. Усл. кр.-отт. 29,40. Учетно-издат. листов 28,28. Тираж 6800 экз. Заказ № 1280. Цена 6 р.

Издательство «Мысль».

117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Набрано в типографии «Печатный Двор»

197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский пр., 15.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 11 Министерства печати и массовой информации РСФСР
113105, Москва, Нагатинская ул., д. 1.